ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3

1961

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
3
1961

«Моим сыновьям, которых я оставляю и, быть может, не увижу больше, я хочу сказать, что будущее Конго прекрасно...»

(Из последнего письма Патриса Лумумбы жене)

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

...Сочатся капли, орошая корни.
Тебе на сердце наступил палач,
край милый, Конго, Конго!
Со всех концов до синевы небесной
возносится твоих тамтамов плач
беспрестанный —
неслыханные ритмы, ритмы джунглей.

Твой вождь замучен, и в предсмертной дрожи
потряс он землю, воды взволновал.

...А сброд наемный
пускай дрожит в проломанных цилиндрах,
к позорному столбу Историей прикован!

Проклятья горы шлют,
проклятья реки шлют.
И славит джунглей хор ударами тамтамов
шагающего по земле Лумумбу.

Вацлав Гонз

Перевод с чешского Ал. Ревича

Потрясшее мир известие о злодейском убийстве Патриса Лумумбы застало меня в Каире.

Я знал, что в этом городе живут дети героя Конго, и почувствовал — не могу покинуть Каир, не повидав их. Я хотел почтить память Патриса Лумумбы и как художник. Так появились эти зарисовки маленьких Жюлианы, Патриса и Франсуа, взволновавших мое сердце.

Н. Осенев

Патрис

Жюлиана

ДЕТЯМ ЛУМУМБЫ

Когда уже занес топор убийца
над вашим муки вынесшим отцом,
вы все еще свои склоняли лица
над трогательным детским письмецом.

— Любимый папка, ты нам очень дорог,
мы не видались столько долгих дней!
Вернись скорей, пусть будет путь недолог,
мы ожидаем о тебе вестей...

Нет, не придется вам его увидеть —
должны вы весть ужасную узнать...
О, как убийц должны вы ненавидеть,
как целый мир их будет презирать!

Не плачьте, дети. В справедливость верьте.
Отец ваш будет вечно с нами жить.
Ведь смерть сама порой родит бессмертье.
Упал Лумумба, чтобы победить.

Свирепый враг творил свои бесчинства,
бои гремели и в моей стране,
герои гибли... Но светло и чисто
они живут в свободном нашем дне.

Вы, Франсуа, Патрис и Жюлиана,
в других борцах узнаете отца.
В Болгарии, во всех на свете странах
сегодня с вами братские сердца!

Асен Босев

Перевод с болгарского Виктора Варина

Франсуа

ИНОСТРАННАЯ литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Гравюра китайского художника Ван Ци

Содержание

ДАМЯН ДАМЯНОВ — Мужество (Стихи) . . 3

ВОЛЬФГАНГ НЕЙХАУЗ — Украденная юность (Роман. Окончание) 6

МИТЧЕЛ УИЛСОН — Встреча на далеком меридиане (Роман. Продолжение) 74

ОЧЕРКИ

ЭЛФРЕД ХАТЧИНСОН — Путь в Гану . . . 163

ПУБЛИЦИСТИКА

ДЖЕК ЛИНДСЕЙ — Силы, преобразующие мир (Письмо советскому коллеге) . . . 195

КРИТИКА

Е. П. КИРИЛЮК — Т. Г. Шевченко в славянских литературах (К 100-летию со дня смерти) 200

М. КОРАЛЛОВ — Роза Люксембург — литературный критик 206

П. БАЛАШОВ — Единство лирического и эпического (О художественном новаторстве Шона О'Кейси) 214

СЛОВО, БОЛГАРСКИХ ДРУЗЕЙ (Обсуждение журнала «Иностранная литература» на читательской конференции в Софии) . . 222

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 228

3

1961

МАРТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ"
МОСКВА

90 ЛЕТ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ

ТВОРЕЦ БЕССМЕРТНОГО «ИНТЕРНАЦИОНАЛА»

Ю. ДАНИЛИН — Говорит поэт революции . . 235
ЭЖЕН ПОТЬЕ — Речь, произнесенная 18 марта 1878 года 236
АЛЕКСАНДР ГАТОВ — В думах об Эжене Потье 239

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

В. ГОРЯЕВ — На Цейлоне 243

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Н. В. РЕФОРМАТСКАЯ — Французские художники и Маяковский 249

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

А. Тишков — О бескорыстном и самоотверженном человеке. ◇ **Ф. Брескина** — Голос подлинной Франции. ◇ **Д. Жуков** — Рассказы боснийского писателя. ◇ **А. Мартынова** — Исповедь пламенного сердца. ◇ **И. Геевский** — Новая книга Альберта Кана. ◇ **В. Скороденко** — Грустная и правдивая история. ◇ **Н. Таманцев** Настольный справочник литературоведа-зарубежника. ◇ Библиография новых изданий 252

Издано за рубежом

Юрий Дашкевич — Путь кубинской литературы. ◇ **Г. Злобин** — Черное пламя разгорается ярче. ◇ **Ю. Певцов** — В борьбе за свет. ◇ **Е. Мандель** — Начало нового пути. ◇ **В. Чернышев** — Певец индийской деревни 259

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ . . . 267

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ (Хроника) 269

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . 288

Дамян Дамянов

Мужество

Перевод с болгарского Виктора Виноградова

ПАРТИЯ

Он так похож на всех других людей,
ничем не отличается от прочих,
что за окном проходят каждый день,—
учителей, строителей, рабочих...
А у меня дороже друга нет:
на вид небрежен, но всегда сердечен,
приходит он и свой приносит свет,
и дорог мне тогда мой будний вечер.
И слушать, слушать я его готов:
он говорит, как говорят поэты,—
читает он слова своих стихов,
мечтает он о счастье всей планеты.
Но он не говорит о часе том,
когда жандармы вдруг вломились в сенцы,
как по лицу секли его кнутом
и что тогда в его творилось сердце.
Да, он молчит, но я и раньше знал:
в шестнадцать лет, в разгар кровавой бойни,
за Родину, за правду он шагал,
закованный в железо, как разбойник...
О ясный свет его простых очей!
Тюремных камер озарял он своды,
он смог пробить теплом своих лучей
и камень и безрадостные годы.
Он от меня не прячет теплоты,
в нем жизнь и ласка — чем я их измерю?..
О партия моя — вот так и ты.
Я верю. Я в тебя глубоко верю.
Я узнаю тебя не в нем одном —
везде, где люди, ты живешь повсюду.
Идешь ты трудным праведным путем,
в твоем ряду и я не лишним буду.

ОСТРОВСКОМУ

В окошке — тополиные рои.
У дня свои заботы и тревоги.
А здесь, под простыней, лежат мои
ненужные, безжизненные ноги.

«Молчи!..» — твержу себе в который раз,
а все горит слеза, беде не веря...
Но вот приходишь ты — безног, безглаз,
я слышу — ты легко стучишь у двери.

Ты не изведал в жизни ложных троп,
ты научился гнать сомнений муку.
«Ж и в и!» — ты гладишь мой горячий лоб,
ты ощупью свою даешь мне руку.

О как она тепла, как хороша!
В ней хватит сил для битвы и для буден!
Ты доказал — великая душа,
пусть и без ног, найдет дорогу к людям.

ВЕТЕР

Как оживился мой притихший дом!
Далекий гром в стекле отдался эхом,
взметнулась занавеска над окном,
как облако... Смеется тихим смехом...
Стой, ветер! В дом не входят так, как ты!
Не постучишь, в дверях не помолчишь ты —
ты разметаешь по столу листы,
ты нос суешь повсюду, как мальчишка.
Вот снова не спросясь ты раскурил
забытую на стуле папиросу;
то, гневно стукнув, двери затворил,
то снова все раскрыл ты их без спросу.
Пейзаж ты сдвинул с места на стене,
и в нем проснулся добрый дух природы —
шумит листва, две птицы в тишине
поют о том, о чем молчали годы...
Как оживился мой притихший дом!
Садись же, друг, мы видимся не часто!
Ты можешь пробежать любым путем,
встречаешь ты счастливых и несчастных.
Поведай о борьбе и о любви,
кури со мной, пускай часы минуют.
Мой тихий дом немного оживи —
друзья ведь для того и существуют.

СКАЗКА О ТАЙНЕ ДВЕРИ

Вся ты — тайна. Ты не прекословь.
Я любил, я тосковал по чуду;
чтоб открыть пути в твою любовь,
ключ волшебный я искал повсюду.

Принц — своих дворцов я бросил хлам,
я с драконом дрался, двигал горы.
Ключ добыл, хотел открыть твой храм,
но не мог взломать его запоры.

Заклинанья — тоже пустяки!
Будто вор, я выжидал недели,
я оббил о двери кулаки,
но вдвойне крепки стояли двери.

Положил я руку в тишине
на замок, из золота отлитый,
и внезапно понял, как во сне,
что была та дверь всегда открытой...

Вздор — ключи. Известно мне теперь:
жаждет, тяготясь сиротской долей,
сердца человеческого дверь
ласки человеческих ладоней!

РАЗГОВОР У ОКНА

Эй, уходи-ка! Уснуть не даешь!
Что ты под окнами блу́дишь?
Что ты, парнишка, так громко поешь —
ты же всех мертвых разбудишь!

Молод-то как — двадцати, верно, нет,
сам ты поешь, сам и млеешь.
Может, не мил тебе весь белый свет,
может, друзей не имеешь?..

Глянул парнишка, взглядом коря,
а в этом взгляде сквозило:
«Разве ты не был таким же, как я,
когда тебе двадцать было?»

И я на парнишку махнул рукой.
Ушел он в ночную дымку,
и будто ушел городской покой
с песней его в обнимку...

О, пой же, юность! Когда б и в тебе
пламени не было много —
кто запевал бы в ночах, в пальбе,
менял покой на тревогу?!.

Вольфганг Нейхауз

Украденная юность

РОМАН

Перевод с немецкого И. Каринцевой

X

В Берлине ночи стали спокойнее, страх, этот засидевшийся гость, наконец покинул берлинские дома. Никто не звонил в колокола, возвещая мир, но мир наступил. Из убежищ, подвалов и земляных нор вылезали люди, бледные, пропыленные, оборванные. Не зная еще, что будет, они начали расчищать развалины. И Радлов, вскинув на плечо лопату, шагал каждое утро вместе с «фермерами с Миссисипи» к каналу засыпать противотанковые рвы и убирать мусор. Работал он с раздражением и неохотой, твердя про себя: «Все это бессмысленно. Повсюду груды развалин, а мы ковыряемся киркой и лопатой. Чтобы все убрать, нужна тысяча лет». Но какой бы бессмысленной ни казалась ему эта работа, он все же выполнял ее. Выполнял, как и многие другие люди: ведь нельзя же сидеть целый день дома; к тому же за нее давали немного картофеля. Ведал делами уже не народный комитет, созданный Лаутербахом, а районное управление той части города, к которой принадлежал их поселок. В этом управлении Лаутербах был назначен руководителем хозяйственного отдела. Старика будто подменили — он помолодел, день и ночь не знал покоя, и Радлов спрашивал себя: когда же Седой все-таки спит? Лаутербах почти перестал бывать у них, лишь иногда забегал на несколько минут поблагодарить Урсулу, помогавшую его слепой жене по хозяйству. До сих пор еще не было ни света, ни газа, а воду для питья приходилось носить из колодца и кипятить. Зайдя к ним, он усаживался в плетеное кресло и посасывал трубку, уставший от ночной работы, с воспаленными глазами, но счастливый, и по его радостному лицу разбегались тысячи лучистых морщинок.

Да и в однорукого Шольца словно бес вселился. Он сделался уполномоченным поселка и давно уже сдал картотеку жителей, аккуратно вписав туда фамилию и год рождения Радлова; тут Иоахим узнал, что Урсула старше его на два года. Однорукий по сто раз в день носился из поселка в управление или в комендатуру, расклеивал плакаты, доставал продукты, вмешивался во все, относящееся к работам на канале, и все поручения выполнял с такой энергией и упорством, что Радлов только диву давался.

Сам же Радлов наблюдал за происходящим с внутренней неприязнью и недоверием, как посторонний, которого все это не касается. Он слушал разговоры других и кивал, когда Шольц говорил об «антифашистско-демократической» Германии, но ничего конкретного себе при этом

Окончание Начало см. в № 2.

не мог представить. «Что же,— думал он,— движет этими людьми, жертвующими собой во имя столь безнадежного дела? Что за этим кроется, если уж такой простой человек, как Шольц, мечется взад и вперед с пустым желудком, но полный энтузиазма, будто от этого зависит исход сражения?»

Долгими ночами, которые стали теперь такими странно тихими, лежал Иоахим без сна, мучился сомнениями, тревожился, тосковал о родном городе. Порой ему так хотелось убежать, что он готов был зашвырнуть лопату и дать тягу. День ото дня тревога все росла. Почта еще не работала. Его беспокоила судьба родителей, а рассказы о боях в родном городе рождали в нем самые мрачные предчувствия. Порой ему казалось, что родителей уже нет в живых, тогда он решал бежать на следующий же день. А утром на него умоляюще глядели глаза Урсулы, и у него не хватало духу оставить ее одну. Как часто смотрела она ему вслед из калитки садика, когда он направлялся к каналу, и ему чудилось, что она догадывалась, какие его терзают сомнения. «Скоро мы покончим со рвами,— думал он,— и тогда я ей скажу. Дольше я ни за что не останусь».

Но вот они, наконец, утрамбовали последний ком земли и пошли по домам. Многие задавали себе вопрос: что же дальше? И тут посреди дороги их встретил Однорукий, помахивая пачкой листовок. Оказывается, им наконец-то выдадут продуктовые карточки. Вечером он принес их всем, а Радлову положил на стол еще и повестку. Это было приглашение явиться на машиностроительный завод на Гольцтифштрассе.

— Где это?

— За каналом, двадцать минут ходьбы. Прежде здесь был крупный завод.

И Однорукий объяснил, как туда дойти. Он, по обыкновению, спешил.

Оставшись наедине с Урсулой, Радлов в раздумье скомкал повестку и заявил:

— А теперь хватит!

И посмотрел на Урсулу, которая сидела напротив и что-то чинила. Она чуть приподняла голову, опустила руки и ответила с усталой улыбкой:

— Я так и думала.

— Как?

— Что ты хочешь уехать.

«Стало быть, она давно это знала, знала, что я все это время лгал ей, и ни разу даже вида не подала».

— Я же вернусь, я только хочу...

Она покачала головой, видимо не желая и слушать его доводов. Может быть, она почувствовала по его голосу, что он в нерешительности и сам не верит своим словам.

— Это связано с твоей... тайной?

Вот он опять, этот вопрос, который мучает его,— отданный Брандтом приказ, о котором он не может забыть. И снова в голове молотом застучали слова: «Предателей ждет суд Феме!» Он не был предателем, нет. Когда Лаутербах вторично пошел в комендатуру к Гартману, он не взял его. А то, что делал Иоахим, делали и другие, это не причина, чтобы заклеймить его как предателя. Но все же беспокойство грызло его. Он хочет уехать к своим товарищам, с которыми был связан одинаковыми мыслями и чувствами. Может ли он рассказать обо всем этом Урсуле?

— Нет! Дело не в тайне,— возразил он,— я хочу уехать, чтобы повидать родителей, разве ты этого не понимаешь? — И прибавил, чтобы успокоить ее:— Да и вообще никакой тайны уже не существует.

Она сделала вид, что поверила.

— Я понимаю тебя. Но мне так страшно оставаться одной, и потом...— она помолчала.— Подожди еще несколько дней. Может быть, пойдут поезда.

«Кто знает, пойдут ли когда-нибудь поезда,— подумал он.— До чего мы были наивны, воображая, что все когда-нибудь опять будет как прежде». Он искоса взглянул на нее. Она сидела, чуть наклонившись вперед, ожидая его решения.

Мысленно он говорил ей: «Если родители умерли, я сейчас же вернусь, тогда мы оба окажемся в одинаковом положении и у меня не будет родного угла. Мы заживем вдвоем. Я ведь люблю тебя».

— Еще несколько дней? — спросил он, и по блеску ее глаз понял, что она и прежде догадывалась о его решении. Слова «Но тогда мне завтра надо на завод» звучали уже неуверенно и подтверждали его отступление.

— Ну и что ж? — она встала, подошла к нему и, обняв, поцеловала в губы.— Я так рада...

— Урсула,— с нежностью прошептал он.

А утром она снова стояла у калитки, провожая его на работу.

От завода сохранилось немногое. Остатки полуразрушенных красных закопченных стен торчали над грудами кирпичей, железных стропил и обгоревших балок. На месте входных ворот теперь была протоптана дорожка, которая вела в глубь изрытого ямами двора. Среди гор мусора, словно кроты, копошились несколько человек.

При взгляде на беспорядочные кучи кирпичей у Радлова сжалось сердце, и он спросил себя: «Неужели они всерьез надеются восстановить завод этими первобытными орудиями? Это же просто каменный век».

Однако, как он скоро узнал, большинство действительно верили в это. К нему тут же подошел маленький худой человек с впалыми щеками и недоверчивыми, колючими глазками.

— Что вам угодно? — спросил он.

Иоахим молча протянул ему повестку. Тот поднес бумажку к самым глазам, как делают очень близорукие люди. Прошло несколько мгновений, пока он ее прочел. Потом сказал:

— Моя фамилия Бухвальд. Я здесь, так сказать, за главного. Хозяин-то дал тягу,— и, обернувшись к остальным, крикнул, Радлов никак не ожидал, что у него такой громкий голос: — Пришел новенький. Районное управление посылает нам помощь.

Люди-кроты выразили удовольствие, не прерывая своей подземной работы.

— Идите к тому вон, в пушистой шапке,— продолжал Бухвальд и указал Иоахиму на гору развалин, у подножия которой сновал какой-то человек в синей теплой шапке.— Ему вы понадобитесь.

Так было оформлено поступление Радлова на работу, и ему ничего не оставалось, как присоединиться к остальным.

Человека в шерстяной шапке звали Шнейдер. Он был занят тем, что пытался обвязать тросом железную балку.

— Если нам удастся вытащить балку,— объяснил он Радлову,— мы сможем попасть в подвал. Дело в том, что там сохранились станки.

— Если подвал не обвалился,— возразил Радлов.

— Нет, он цел, он и не то выдержит.

Радлов принялся вместе со Шнейдером укреплять трос. Это продолжалось недолго. Когда они наконец справились, Шнейдер позвал остальных. Всего собралось семнадцать рабочих, среди них были старики и три женщины. Запыленные, с потными лицами, они трудились, не обращая

внимания на Радлова. Взявшись за конец троса, все тянули под команду Бухвальда:

— Раз-два, взяли!

Однако балка не сдвинулась с места. Голод в последние месяцы войны подорвал силы этих людей. Но они не отчаялись и после короткой передышки предприняли новую попытку. Бухвальд снова командовал:

— Раз-два, взяли!

Радлов с такой силой тянул за трос, что у него на лбу вздулись жилы, лицо разгорелось, а сердце бешено колотилось в груди. Но все было напрасно — балка не сдвинулась ни на один сантиметр.

— Так не годится,— Бухвальд тяжело перевел дыхание.

— Но станки нужно вытащить,— настаивал Шнейдер.— Если просто разгребать, пройдет не меньше недели.

— Надо добыть грузовик или тягач,— сказал Бухвальд,— тогда все будет просто.

— Где же нам так сразу добыть его?

Бухвальд подумал, затем обернулся к Радлову:

— Не сбегаешь ли в транспортный отдел русских... здесь совсем близко... они нас знают...

— Да я не найду его,— попытался отвертеться Радлов.

Он все еще боялся заходить в советские учреждения. Но Бухвальд не интересовался его чувствами, он просто указал ему кратчайший путь. Радлову не пришлось далеко идти, через сотню-другую метров он увидел кативший ему навстречу грузовик. Иоахим встал посреди дороги и замахал обеими руками. Только когда машина подошла ближе, он разглядел ее зеленую защитную окраску и подумал: «Черт побери, там же русские, как это я не заметил, а теперь уж поздно». Грузовик затормозил, дверца раскрылась, и из кабины вылез широкоскулый солдат с узкими щелочками глаз в меховой, несмотря на весеннюю погоду, шапке.

— Ну, что хотеть? — произнес он на ломаном немецком языке.

Отступать Радлову было некуда. Он попытался объяснить солдату, зачем нужен грузовик, а у самого душа ушла в пятки от страха. «Мы здесь одни,— думал он,— а кто их знает, этих азиатов».

Водитель не понимал его и стал проявлять признаки нетерпения. Но тут из-под брезентового верха машины послышались голоса, сидевшие там что-то кричали, наверно, интересовались причиной задержки. Водитель им ответил, и тогда с машины соскочил сержант.

— Что вы хотите? — спросил он на довольно приличном немецком языке. Радлов объяснил. Сержант обменялся несколькими словами с водителем, солдат улыбаясь показал на дверцу машины, а сержант сказал:

— Пожалуйста, садитесь. Показывайте, где завод.

Сидя рядом с водителем, Радлов чувствовал себя далеко не спокойно, у него даже мелькнула мысль: «Еще уволокут куда-нибудь». Но когда он указал рукой вправо и водитель с готовностью завернул, он снова приободрился. Перед развалинами завода они остановились. Сержант и шесть солдат спрыгнули с машины.

Бухвальд услышал, как подъехал грузовик, и уже бежал к ним, крича на ходу:

— Быстро же ты его раздобыл.

— Я остановил его по дороге,— не без гордости объяснил Радлов. Бухвальд поговорил с сержантом, и оба направились к подвалу; сержант приказал солдатам следовать за ними. Водитель недоверчиво поглядел на узкую тропинку, вившуюся между кучами мусора, и сказал:

— Ой-ой-ой!

Он еще колебался, очевидно не решаясь пустить свою машину по этой ухабистой дорожке. Потом вынул коробку папирос и закурил. Радлов с жадностью взглянул на коробку: та горстка самосада, которую ему выдали «фермеры», давно уже была выкурена. Но он не решился попросить у солдата папиросу. Шофер, однако, перехватил его взгляд, снова открыл коробку, протянул ее Радлову, дал прикурить и сплюнул, не спуская глаз с сомнительной тропинки. Затем вернулся к грузовику и влез в кабину. Придерживая одной рукой дверцу, он включил мотор. В машине так затрещало и загрохотало, что Радлов испугался, как бы она не взлетела на воздух. «Да он сразу третью скорость включил»,— подумал Радлов. И вот грузовик уже одолел самые трудные места и загромыхал дальше — два колеса катились по дорожке, два других подпрыгивали по кочкам и разбитому кирпичу. Солдаты двинулись за ним.

Дальше дело пошло споро. Перед развалинами расчистили узкий проход — столько места, сколько было нужно для подъезда. Солдаты закрепили трос, грузовик рванулся вперед, трос натянулся, Бухвальд успел только крикнуть:

— Отойдите, вдруг оборвется!

Балка сдвинулась с места и медленно поползла из кучи мусора. Гора осела, водопадом посыпались кирпичи и штукатурка. Шофер широко улыбнулся и закурил новую папиросу. Сержант тоже с удовольствием смотрел на ржавую балку, лежавшую у их ног.

— Вы нам очень помогли,— сказал Бухвальд.

Сержант ответил:

— Ладно, ладно. Только у нас времени мало.

И вместе с солдатами пошел за грузовиком, который двинулся обратно, подскакивая на ухабах. Теперь можно было очищать подвал от мусора.

В обед все прилегли отдохнуть на солнце, и каждый выложил свою скудную пищу: два кусочка поджаренного хлеба и две-три картофелины. Радлов не насытился, да и радости мало давиться всухомятку такой едой. Уже много дней его грыз голод, и муки эти рождали в воображении фантастические картины.

— Хорошо бы шницель съесть,— вздохнул он.

Шнейдер, снявший рубашку и подставивший худой торс солнечным лучам, пробурчал:

— Будет, все будет.

— Вы думаете?

— Уверен.

Иоахим взглянул на человека, который лежал рядом с ним на животе, подперев руками подбородок, и смотрел в синее весеннее небо.

— Да вы-то откуда знаете? — спросил Радлов с любопытством.

— Мы восстановим завод, будем, может быть, выпускать плуги, необходимые крестьянам. Все очень просто,— Шнейдер сорвал травинку и зажал ее зубами.

— На это уйдет несколько лет,— пробормотал Радлов.

— Только не у нас,— ответил Шнейдер и обернул травинку вокруг пальца. Рука у него была большая, узловатая, вся ладонь — сплошная желтая мозоль.— Достанем станки из подвала, и дело пойдет быстро. Пятый цех не совсем разрушен. Там мы и начнем.— Он указал на какую-то развалину.— Да и на электростанции в Клингенберге уже работают. Значит, скоро дадут ток.

— Вы и раньше здесь были? — спросил Радлов.

Шнейдер кивнул.

— Все мы здесь работали. Директор, некий доктор Йегер, был известным нацистом. Вот он и удрал со всем своим барахлом. К американцам. У этого типа немало грехов на совести. Но нас они не сцапали.

— Кого это «нас»?

— Да Бухвальда и меня и еще кое-кого, кто здесь работает. У нас была подпольная группа сопротивления.

— Вы коммунист?

— Нет, член профсоюза. Но Бухвальд коммунист.— Он отбросил травинку, которую все еще вертел в руках, и встал.— Пожалуй, пора приниматься за дело.

Пока они шли к своей куче мусора, Шнейдер рассказывал:

— Бухвальд и наладил здесь все. Не успели кончиться бои в наших краях, а он уже всех нас созвал.

Так они работали до трех-четырех часов. Радлов, как и все, сгребал в кучи кирпичи и мусор, а сам при этом размышлял: сколько же было у Гитлера противников и сколько людей надеется, что теперь жить будет легче? Лаутербах, Гаргман, однорукий Шольц и этот вот Шнейдер. Но почему они были против, ему до сих пор никто не объяснил. А сам он не мог этого понять и еще меньше представлял себе, чего именно ожидают они от демократической Германии, которая будет к тому же антифашистской.

Прошло часа три, прежде чем был отрыт вход в подвал. С напряженным вниманием ждали они, пока Бухвальд спустится по лестнице. Наконец они услышали его крик:

— Все в порядке. Спускайтесь.

Под мрачными сводами подвала, едва освещенного мигающими голубыми огоньками зажигалок и спичек, стояли станки, они были целы и невредимы. Радлов насчитал пятнадцать токарных станков, кроме того, кругом валялись подшипники и маховики. Станки покрылись толстым слоем пыли. Иоахим слышал, что Бухвальд сказал:

— Смотрите-ка, не заржавели, их хорошо смазали маслом. Йегер неплохо заботился о своем добре.

И тут Радлов заметил, как Бухвальд нежно погладил один из станков.

Когда они снова поднялись наверх, Бухвальд объявил:

— Кончайте. Сегодня все равно больше не наработаем. А за пятый цех возьмемся завтра.— И, выдержав короткую паузу, добавил:— Сегодня охранять машины буду я. Это все наше достояние, а как знать, кто ночью тут бродит среди развалин. Карл, ты предупредишь мою жену?

Шнейдер кивнул.

— И не забудьте поговорить с соседями.

Радлов прошел часть пути со Шнейдером. Новый знакомый осведомился о его адресе и, услышав ответ, сказал:

— На Викингштрассе в доме восемнадцать живет Генрих Кордштедт. Сходи-ка к нему, узнай, жив ли он и что поделывает, да скажи, пусть выходит на работу. Мы решили, чтобы каждый привел с собой по одному рабочему.

Радлов обещал все выполнить.

Так день за днем проходил в работе, требующей напряжения всех сил, к тому же людей терзало постоянное мучительное чувство голода. Радлов с рассветом выходил из дому и возвращался поздно, когда на домики поселка уже спускались тени. Лицо его осунулось и еще боль-

ше побледнело, глаза ввалились. Вечером в низенькой комнате Урсулы он сразу бросался на кушетку и засыпал глубоким крепким сном. А девушка будила его, только подав уже на стол картофель в мундире и соль. Обычно они ужинали молча.

Невысказанный вопрос словно висел в воздухе, и хотя Радлов больше не упоминал о своем желании уехать, он знал, что Урсула постоянно об этом думает. Точно стена встала между ними, правда, прозрачная, как стекло, но все-таки она разделяла их.

Только однажды, когда он после особенно тяжелого рабочего дня вернулся домой лишь под утро, стена эта как будто исчезла. Урсула, решившая, что он уехал, провела мучительную ночь и утром была белее полотна. Обняв его за плечи, она всхлипывала:

— Ты еще здесь!

И он гладил ее, пока она не успокоилась.

Иоахим надеялся, что Лаутербах предупредит Урсулу об этой задержке. Седой зашел к ним на завод незадолго до конца рабочего дня. Он искал добровольных помощников, которые согласились бы остаться и на ночную смену.

— Красная Армия предоставила нам муку,— пояснил он.— Значительная часть больших пекарен разрушена. А мелким не хватает рабочих рук. Подумайте, без вашей помощи население завтра не получит хлеба.

Почти все антифашисты тотчас заявили о своем согласии. Радлов же, самый младший из рабочих, не хотел отставать от старших. Всю ночь он напряженно трудился в одной из пекарен и лишь потом узнал, что у Лаутербаха не было времени сообщить об этом Урсуле.

С того дня Иоахим не осмеливался даже упоминать об отъезде. Но мысль эта не покидала его, а преследовала, точно собственная тень; как ни пытался Иоахим от нее отделаться, мысль эта неотступно следовала за ним, присутствовала незримо в комнате, где они сидели с Урсулой, шла вместе с ним на работу, не оставляла, когда он разгребал щебень и мусор.

Однажды кто-то из рабочих принес на завод газету. Это была первая газета, которую они увидели после долгого перерыва. «Берлин возрождается»— гласил крупный заголовок, и владелец драгоценного листка прочел вслух о том, что в Берлине создан новый магистрат. Радлов, стоя тут же, слушал оживленный и радостный обмен мнениями и думал: «Какое мне до этого дело, я хочу знать, что происходит в Вергенштедте». Он мельком проглядел листок, но не нашел там ничего о своем родном городе. А дни между тем бежали...

На заводе кое-что изменилось. Правда, станки все еще стояли в подвале, а кругом лежало достаточно мусора и рухляди, но теперь здесь уже не копошились, как кроты, семнадцать человек. Теперь дружно работали более шестидесяти мужчин и женщин. И с каждым днем число их росло. Пятый цех поднимался из развалин, и через несколько дней предполагалось монтировать станки. Да, да, дело двигалось вперед. Но денег не было. Радлов ждал молча неделю, потом еще три дня и, так как Бухвальд даже не заговаривал о деньгах, спросил:

— Послушай-ка, а когда же нам выдадут жалованье?

Бухвальд опешил:

— Жалованье?

По его лицу можно было понять, что он и не думал об этом.

— Денег у нас нет. Мы сможем выплачивать жалованье, только когда начнем продавать свою продукцию. А чтобы продавать, надо производить. С этим придется подождать.

Радлову все стало ясно. «На нет и суда нет»,— подумал он. Вечером он отдал Урсуле последние сто двадцать марок — остаток своего военного жалованья, отложив для себя тридцать марок на карманные расходы.

— Платить нам начнут еще не скоро,— сказал он и подумал при этом: «Любопытно, что будет дальше. А был бы хозяин, так и деньги нашлись бы».

В тот вечер он вернулся раньше обычного. Папаша Шольц, уполномоченный поселка, обещал ему двух кроликов, и Иоахиму хотелось заранее подготовить для них клетку. Он принес из сарая старый ящик, а проволоку для решетки нашел в развалинах.

— Вырастут, будет шикарное жаркое,— сказал он Урсуле.— У меня уже заранее слюнки текут.

Клетка была еще не совсем готова, как появился Шольц. Он вытряхнул кроликов из мешка, и они тут же запрыгали по садику. Урсула бросилась их ловить, а мужчины, свернув себе сигареты из самосада Однорукого, закурили.

В эту минуту на центральной улице появился советский «джип», оставляя позади себя клубы черной пыли. Радлов успел рассмотреть внутри трех красноармейцев в фуражках с зеленым околышем и с автоматами в руках.

— Что случилось?— удивился Шольц.— Не ко мне ли они?

Вместе с Радловом он подошел к забору. И в других садиках показались люди, несколько любопытных вышли на улицу, остальные стояли в дверях. Машина давно миновала дом Однорукого и затормозила в конце центральной улицы. Солдаты выпрыгнули на тротуар.

— Они идут к Флейшеру,— сказал Шольц.

«Флейшер, кажется, бывший блокварт»,— подумал Иоахим и почувствовал, как похолодели у него ладони. Он попытался принять равнодушный вид, но это ему не удалось. Судорожно сжатые губы выдавали волнение.

— Теперь его заберут,— сказал Шольц.— Давно пора. Он сажал евреев в концлагери, да и с «вервольфом», наверно, снюхался.

— Ага,— ответил Радлов как мог равнодушнее.

Но мысль его лихорадочно работала: «Вервольф»— концлагери — евреи! Разве в Вергенштедте не шептались о том, что старик Брандт только потому так разбогател и приобрел влияние, что сажал в концлагери своих конкурентов-евреев? А что это вообще такое — концлагерь?»

И вдруг он вспомнил, как однажды отец сказал: «Их отправляют в лагерь... Иной раз, когда перевожу стрелку, я вижу эшелоны с людьми...» При этом у него было суровое лицо, и Иоахиму показалось, будто отца что-то мучает, камнем лежит на сердце.

Но вот русские вывели блокварта Флейшера. Машина снова проехала мимо, Флейшер сидел между двумя советскими солдатами. Они так быстро промелькнули, что Радлов не успел рассмотреть его лица. Он еще не преодолел волнения, а «джип» уже исчез из виду.

— Да что с тобой?— спросил Шольц.

— Ничего! А что может быть со мной?— резко ответил он.

Но страх по-прежнему сжимал его сердце и заставлял лихорадочно работать мысль. «Флейшер и «вервольф». Это значит — сначала он, а потом, быть может, и я».

На центральной улице собрались женщины. Их шумная болтовня доносилась до садика, и Шольц, вдруг заторопившись, стал прощаться

Радлов молча доделал клетку и посадил в нее кроликов.

— Тебе придется раздобыть замок,— сказал он Урсуле, но по тону его было ясно, что мысленно он уже далеко отсюда.

— Значит, ты уезжаешь?— спросила она, стараясь быть спокойной.

— Да.

— Сегодня?

— Сегодня.

Оба помолчали. А когда взглянули друг на друга, Радлов так и не разжал плотно стиснутых губ.

— Боишься, что и тебя заберут?— сказала девушка.

— Ты же знаешь, я был солдатом.

— Но ведь не это причина?

— Именно это.

— И больше ничего?

— Нет, ничего.

Он почувствовал, что она ему не верит. Но удивился, как она спокойно и с полным самообладанием выслушала его.

— Я уже давно примирилась с мыслью, что ты когда-нибудь уйдешь,— сказала она и вошла в дом.

Позже, прощаясь, он попытался привлечь ее к себе. Но она не поддалась, в ней чувствовалось внутреннее сопротивление.

— Значит, мне не возвращаться?— спросил он.

— Ты можешь вернуться, когда захочешь...— тон, которым Урсула произнесла эти слова, заставил его насторожиться. Впервые Радлов заметил в ее глазах твердую решимость.

— Но?..— спросил он.

— Но уже без всяких тайн,— ответила она, и ему почудилось, что она знает больше или догадывается о большем, чем хочет сказать.

Он как-то неуклюже, волоча ноги, пошел к двери. Она проводила его, как всегда, до садика. Он не пытался больше поцеловать ее. Но когда ее тонкие холодные пальцы коснулись его ладони, им овладело глубокое уныние.

— До свидания, Урсула! — с трудом произнес он. Потом быстро отвернулся и зашагал прочь.

Прислонясь к садовой калитке, она долго смотрела ему вслед, пока его не поглотила тьма. И только тогда неудержимо разрыдалась.

XI

Вергенштедт был расположен севернее Эльбзандштейн-Гебирге, близ Пирны.

Городок лежал окутанный нежной прозрачной дымкой раннего утра. Ничто, казалось, не изменилось в этих местах.

Иоахим Радлов стоял на вершине Салоппе, холма, с которого открывался чудесный вид на город. Вытянутый в форме изящного дамского башмачка с высоким каблуком, он был перерезан посредине узенькой речушкой Верге. Эта картина напомнила ему игрушечный городок, обычно выставлявшийся на рождество в витрине универсального магазина «Меркурий». Взгляд его скользил по красным и синим крышам, он искал островерхий домик на Банхофштрассе, где родился и вырос. Дом стоял на своем месте, целехонький, из трубы столбом поднимался дым.

От этого городка с виноградниками и руинами старинного замка вдали, казалось, веяло покоем и довольством. Между крышами не видно было зияющих дыр, нигде ни одного разбитого дома. Вергенштедт на первый взгляд был таким же, каким Радлов его оставил. Вон желтое

здание школы, которое отсюда, с вершины, выглядит таким нескладным, а там — угловой дом с круглым эркером в первом этаже. Принадлежал он аптекарю Муку, лысому человечку, лечившему своих клиентов собственноручно составленной смесью из разных сортов чая. С его сыном Гансом Иоахим учился в одном классе. Ратуша, вокзал — все как было прежде, все дышало покоем и тишиной, словно время прошло мимо этого места, не затронув его. Город имел такой мирный вид, будто войны никогда и не было. Но ведь Губертус Брандт сказал, что здесь шли бои, что здесь, в этом городе, погиб его отец, депутат рейхстага. Как же могло случиться, что город, несмотря на бои, остался цел и невредим? Разве русские не обстреливали его артиллерией, не вводили в него танков? Иоахим все еще искал разрушений, но напрасно. Город стоял неповрежденным. Радлов перевел взгляд на виллу в конце города, почти скрытую густым парком,— дом семьи Брандтов. И тут заметил первое чисто внешнее изменение. На крыше дома сквозь зелень деревьев светилось алое пятнышко: советский флаг, знак того, что не все здесь осталось нетронутым, как могло показаться на первый взгляд.

Но лишь спускаясь с холма, Радлов отчетливо осознал, что ему еще предстоит проделать тяжкий путь — в большой многонаселенный дом у рынка. Туда, родителям своего друга Клауса Адама, должен он принести жестокую весть. Он снова увидел перед собой своего друга, навек умолкшего, с запекшейся кровью в волосах, и невольно спросил себя: какой же смысл имеет теперь его смерть?

Когда он шел по знакомым улицам, город начал просыпаться. Ему навстречу изредка попадались случайные прохожие. На Банхофштрассе вдова столяра Крумбигеля как раз открывала окно своей спальни.

— Иисус-Мария, Ахим вернулся! Беги скорее, мальчик, вот дома обрадуются...

Радлов не расслышал и половины того, что сказала ему вдова, он лишь кивнул ей в знак приветствия, и, как только ее дом скрылся из виду, его охватила бурная радость предстоящей встречи. Не в силах больше сдерживаться, он помчался со всех ног, тяжело дыша остановился у подъезда, взлетел вверх по лестнице и позвонил у ободранной коричневой двери с белой эмалированной дощечкой, на которой черными буквами было написано: «Радлов». Дверь открыла мать. Веки у нее покраснели от слез, в волосах серебрилась седина, лицо было измученное, в морщинах — такой предстала перед ним мать. За те несколько месяцев, что он отсутствовал, она постарела на годы. Несколько секунд они стояли друг против друга, не в силах произнести ни слова, но вот мать всхлипнула и упала сыну на грудь, бормоча бессвязные слова.

— Ну, мама... мамочка,— говорил он, пытаясь улыбнуться, но получалась у него какая-то гримаса, он едва сдерживал слезы.

— Ты жив, ты жив,— лепетала мать,— мы уже и не чаяли увидеть тебя.

Он гладил ее руки и уговаривал:

— Успокойся, мама, теперь все будет хорошо.

Стоя в тесной прихожей и прислонясь спиной к косяку кухонной двери, она пристально вглядывалась в сына, словно не веря, что он действительно вернулся. Но вдруг она как бы очнулась.

— Ты, верно, голоден, Ахим, и устал. Я сейчас поставлю воду тебе помыться.

— А как отец? — спросил Иоахим.— Он на работе?

— Отец дома,— вокруг рта у нее залегла горькая складка.— Он в комнате. Кажется, спит.

Интонация, с которой она говорила об отце, озадачила его.

— Я пойду к нему,— сказал он и отворил дверь в комнату.

Отец сидел в кресле и застывшим взором глядел перед собой. Несмотря на свой протез, он прежде был рослым, сильным мужчиной. Теперь это была лишь тень, от его былой силы не осталось и следа. Тонкая морщинистая кожа обтягивала кости лица, похожего скорее на череп. Иоахима испугал его вид, и он в первое мгновение подумал: «Должно быть, отец ужасно голодал». Но когда старик не выказал никакого желания поздороваться с сыном, а все так же молча глядел на него тусклыми глазами, Иоахим понял, что не только голод превратил отца в развалину.

Иоахим вполголоса произнес:

— Здравствуй, отец.

Отец протянул ему руку и сказал:

— Вот, стало быть, ты и вернулся.

Но голос его звучал холодно, в нем не было и искорки радости.

— Да, я вернулся...— подтвердил Иоахим и не знал, что сказать дальше.

— Стало быть, и ты не смог выиграть войну,— продолжал отец беззвучно и скривил узкие губы.— Многого же ты достиг, чертовски многого. Нечего так на меня смотреть. Я говорю серьезно.

Иоахим не знал, что отвечать. Упреки отца он считал несправедливыми. Разве он виноват, что все так сложилось? Еще радоваться надо, что он остался жив. Клаусу Адаму меньше повезло.

— Очень легко могло случиться и так, что я бы не вернулся,— сказал он.

— А ты, небось, гордишься, что тоже воевал?— возразил отец.— Воображаешь себя, верно, героем? Гордиться тебе тут нечем. Стрелять да орать «хайль» — вот и все, чему ты научился. К тому же ты был из самых усердных.

Иоахим был испуган и возмущен. Как может отец так говорить?!

— Не сваливай вину на меня. Ты тоже кричал «хайль» и был членом нацистской партии,— ответил он.

Но тут отец подскочил и в ярости схватился за костыль, висевший на спинке кресла.

— Вон! — заорал он громовым голосом.— Убирайся вон, не то...

Иоахим вышел, хлопнув дверью. Он весь побелел от волнения.

Мать из кухни все слышала.

— Не надо было напоминать ему о партии, — сказала она.

— А разве это не так?— спросил он.

Она горестно вздохнула.

— Ах, мой мальчик, что ты понимаешь... Они уволили его с железной дороги за то, что он был в партии.

Сын испытующе взглянул на изможденное лицо матери, но она смотрела мимо него в окно, и ему показалось, что она о чем-то умалчивает.

Погруженный в раздумье, засунув руки глубоко в карманы, шагал он по кухне. Вот, значит, с чего они начинают создавать свой антифашистский демократический строй. Отец ведь никому ничего дурного не сделал. А они выгнали его ко всем чертям. Но почему же он так разозлился на меня? Только потому, что я упомянул о партии?

— Отец ничего не ест, приходится уговаривать его проглотить хоть кусочек,— сказала мать,— целый день сидит в кресле, уставившись в одну точку. Вот что из него сделали нацисты, Брандт и вся эта коричневая братия.— Она беззвучно заплакала.— А как-то раз он даже сказал, что повесится, ведь жизнь потеряла для него смысл. Ах, сынок, что же будет дальше,— и она с отчаянием взглянула на Иоахима.

Радлов заставил себя улыбнуться.

— Ну, конечно, мама, все опять наладится,— попытался он утешить ее. Однако сам не верил своим словам.

— Хоть ты вернулся, сыночек, это главное.— Мать отерла слезы.— А теперь ешь, картофель совсем остыл.

Мать подала ему поджаренную на сале картошку, залитую яичницей-глазуньей. Такого лакомства он уже давно не ел.

— Откуда у тебя эта роскошь? — удивился он.

Мать от души обрадовалась, что угодила ему.

— Да я тут кое-что наменяла у крестьян,— сказала она.— Купить-то ничего не купишь. За хлебом приходится часами стоять. А вчера и вовсе ничего не выдали, одни талончики. У меня был двадцать четвертый номер, я рано пришла. Сегодня в обед привезут хлеб, и мне не придется долго стоять, вызывают-то по номерам.

Иоахим рассеянно слушал. Мысленно он был еще у отца. «Мне и правда не надо было говорить ему,— думал он,— о его принадлежности к партии. Я же вижу, как он все болезненно воспринимает. Он любит профессию железнодорожника; если его не восстановят на работе, он погибнет. Да и мне будет не легко, надо как-то зарабатывать...» Вопрос матери оторвал его от раздумий:

— Верно ли, что вы были в Берлине?

— Конечно.— Он с удивлением посмотрел на нее. Неужели она знает, что его имя было упомянуто в одном из специальных сообщений? Неужели она знает, что он подбил русский танк?

— Значит, правда, что люди говорят!— воскликнула мать.— И ты прямехонько из Берлина?

Иоахим кивнул.

Мать всплеснула руками.

— Боже мой, сыночек, ведь это так далеко! Расскажи-ка, ты ведь много пережил.

— Хватает,— Иоахим попытался подавить волнение.— Ну а что рассказывают обо мне люди?

По тону, каким он произнес эти слова, мать почувствовала что-то, заставившее ее насторожиться.

— Да что они могут рассказывать? — ответила она, запинаясь.— Говорят, вас отправили в Берлин. Вот и все.

Он вздохнул с облегчением. Если в Вергенштедте узнают о том танке, русские рано или поздно его арестуют. Но, видно, никто ничего не знает, иначе матери было бы известно.

— Я так и чувствовала,— продолжала она.— Когда по радио сообщили о боях за Берлин, я испугалась, что и ты там. Но потом не было тока, и мы больше ни о чем не слышали. А через несколько дней пришли русские.

Иоахим промолчал. Итак, в Вергенштедте ничего не известно о его поступке. Это хорошо и ему теперь на руку.

— Никому не надо говорить об этом,— продолжала мать и вдруг умолкла, словно испугавшись чего-то. Дрожащим голосом она спросила:— Ты ведь никого не убил?

— Ну, где там,— вскользь ответил он, и мать, обрадовавшись, сказала:

— Тогда все в порядке. А то ведь все солдаты обязаны явиться.

— Но, мама, ты же знаешь, я не был солдатом. Я был только в гитлерюгенде!

— А все-таки лучше, если мы никому не скажем. И если Клаус тоже не скажет...

Он прервал ее:
— Клаус не вернулся.
— Нет?
— Его нет в живых.
Они помолчали. Только немного погодя Иоахим сказал:
— Убит.
На глаза матери навернулись слезы. Она прошептала:
— Какой удар для родителей.
— Я пойду к ним вечером.
Мать провела рукой по его волосам.

— Да, ты должен сходить, Ахим. А теперь приляг. Ты, наверно, устал.

Прежде чем уйти, он спросил:

— А как вам тут жилось? Ты мне ничего не рассказала. У вас ведь тоже шли бои.

— Какое там, ничего у нас не было. Завыла сирена, а через несколько часов сюда уже пришли русские. И все — без единого выстрела.

— Но Губертус...

— Брандт? Прекрати, наконец, поминать эту банду! Важный господин Брандт сначала произнес речь, а потом захватил манатки и удрал. Старуха Трамлер своими глазами видела, как он укатил на машине.

Иоахим пошел в свою комнату. Собственно говоря, это была узенькая каморка: кровать, шкаф, стол и стул — больше места ни для чего не оставалось. Слова матери оглушили его. Он бросился на кровать и закрыл глаза. «Брандт,— думал он,— удрал на машине. Слишком трусил, чтобы сражаться. А Губертус? Тот ведь тоже не сражался. Когда мы отправились на фронт, он предпочел скрыться в глубоком убежище Гитлера».

Сон не приходил. Радлов прислушивался к шумам большого дома, таким знакомым с детства. Наверху, на третьем этаже, хлопнула дверь и тяжелые шаги застучали по лестнице. «Это Мильке,— решил Иоахим,— видно, у него, как и прежде, ботинки подбиты гвоздями». Где-то захныкал ребенок, в другом месте полилась из крана вода, а из кухни доносилось звяканье посуды. Позже он услышал, как мать, стараясь не шуметь, быстро прошла по коридору и закрыла за собой дверь. Отправилась, верно, за хлебом.

И снова его мысли вернулись к Брандту.

С презрением вспомнил он высокопарные речи, которые произносил Губертус. Легко говорить громкие слова о сражениях, а самому стоять в сторонке, чтобы другие за тебя воевали. И он, Иоахим, ему верил! Он горько рассмеялся. Сражаться? За таких вот пройдох — никогда! Тут никакой приказ не поможет. Приказ — это просто смешно! Пусть себе кричат: «Предателей ждет суд Феме!» Он не предатель, предателями были они, они обманывали его своими приказами, своим «вервольфом» и высокопарными речами. С него достаточно. Один раз он попался на их удочку, во второй это им не удастся.

Резко и требовательно задребезжал звонок в передней. С трудом поднявшись, Иоахим подошел к двери. Стоявшая на пороге женщина в черном пальто обратилась к нему:

— Здравствуй, Иоахим, я зашла только поздороваться с тобой. Или мне называть тебя на вы?

— Заходите, заходите, фрау Кремер.

Иоахим с досадой захлопнул дверь. «Надо же,— подумал он,— самая вредная сплетница с нашей улицы».

— Мамочки нет дома? — сладким голоском запела фрау Кремер.

Жила она в доме напротив; длинное и остренькое личико, на котором быстро бегали не знавшие ни минуты покоя маленькие глазки, делало ее похожей на мышь.

— Мне ведь сказала фрау Крумбигель, что ты приехал.

«Если знает Кремерша, значит, знает весь город»,— подумал Иоахим.

— Ну, рассказывай же, Иоахим, рассказывай,— потребовала фрау Кремер, и ее мышиные глазки заблестели от любопытства.

— Мама пошла за покупками,— сказал Иоахим,— говорят, будут давать хлеб.

Как ни старалась фрау Кремер, он продолжал угрюмо молчать, и ей не удалось ничего из него выудить. Ему же хотелось одного — чтобы старая сплетница поскорее убралась. Но она и не помышляла об этом, и его замкнутость нисколько ей не мешала. Она уселась в кухне на табурете и всем своим видом показывала, что это место она готова защищать от всякого, кто посмеет согнать ее оттуда.

Снова раздался звонок, и снова это оказалась не мать. Появилась вторая сплетница, вдова Трамлер, и Иоахиму пришлось полчаса терпеть болтовню двух кумушек, пока наконец мать все-таки не выручила его.

— А теперь я уйду ненадолго,— сказал он, и мать дружески улыбнулась ему.

Он вышел, намереваясь прежде всего посетить родителей своего погибшего друга. Но по дороге к рынку замедлил шаги. Ему стало страшно от одной мысли, как он предстанет перед матерью Клауса и объявит ей, что у нее больше нет сына. Может быть, лучше, пока все на службе, зайти к отцу, если того не уволили с почты? Ведь почтовый инспектор Адам тоже был членом нацистской партии. И Иоахим отправился на «Бродвей».

«Бродвей», так называли ребята и девушки его возраста часть главной улицы, тянулся примерно метров на сто пятьдесят. Он начинался у кафе «Вахендорф», где прежде проводили послеобеденные часы жены состоятельных горожан, а затем шел мимо кинотеатра «Хейде» и отеля «Хейде» — лучшей гостиницы города, как все еще гласила вывеска у входа. Во время войны в здании помещался лазарет, а сейчас здесь была гостиница для советских военнослужащих. За отелем улица делала поворот, на углу стоял дом торговца скобяными товарами Дамашке, и здесь «Бродвей» кончался. Эта часть улицы служила обычно местом встреч для молодежи и подростков города. Под вечер, между пятью и семью, сюда приходили, взявшись под руки, ученицы лицея, а неуклюжие мальчишки, засунув руки в карманы, плелись за ними следом, покуривая выкраденные у отцов сигареты. Приходившие раньше пяти стояли возле кино, поджидая, пока явятся остальные. Если кто-нибудь возвращался после каникул или приезжал в отпуск на несколько дней, то первым делом шел на «Бродвей» — показаться.

У кинотеатра Иоахим встретил аптекарского сынка Ганса Мука. Ганс, светло-русый веснушчатый парень, стоял, прислонясь, у входа в кино и небрежно курил сигарету, манерно поднося ее к губам. На нем был новый с иголочки светло-синий костюм, явно сшитый из запасов бывшего офицерского состава военно-воздушных сил. При виде Радлова он не выразил ни малейшего удивления.

— Слышал уже, что ты вернулся,— сказал он, поздоровавшись.— Адам тоже приехал?

— Нет.

И Иоахиму пришлось во второй раз за сегодняшний день сообщить

о том, что Клаус погиб. Несколько секунд они помолчали, потом Мук спросил:

— А ты был у его родителей?

И когда Иоахим ответил отрицательно, посоветовал:

— Сходи поскорее. Лучше, если они узнают об этом от тебя, чем от других. И Гильде Эйснер тебе тоже надо сказать, они ведь дружили. Кстати, Эме тоже погиб.

«Значит, и он,— подумал Иоахим.— Эме был старше нас, ему уже стукнуло двадцать». Он был когда-то левым нападающим их футбольной команды. У Иоахима дома сохранилась фотография всей команды. «Нас было одиннадцать, и шестеро погибло. Эме уже седьмой. А насчет Гильды Мук прав, ей должен сказать именно я. Кажется, и сам бы мог додуматься».

— Не знаешь, старик Адам все еще служит на почте? — спросил Иоахим.

Он хотел добавить: «Или они его тоже выставили, как и моего отца?» Но промолчал. Какое, в конце концов, Муку дело до его семейных неприятностей.

— Мне кажется, да. Почта скоро опять откроется.— Мук с наслаждением выпустил дым через ноздри. Иоахим жадно вдохнул — остатки его табака кончились по дороге домой, и он уже несколько дней не курил. Не пожертвует ли ему Ганс одну сигарету? Возможно, если суметь подойти. Осторожно, обходным путем устремился он к цели, пощупал материю на костюме Мука и спросил:

— Новый, а?

— Мм,— пробормотал Мук с напускным равнодушием, но Радлов заметил, что это ему польстило.

— Материал офицерский? — продолжал спрашивать Иоахим.

Мук что-то пробурчал, но потом не без гордости ответил:

— Сшито на заказ. У Ландвера. Я отдал за работу другой отрез.

Радлов удивился.

— Зачем же? — спросил он.— Да и откуда у тебя столько отрезов?

Он безуспешно пытался скрыть свою зависть.

Сын аптекаря хвастливо улыбнулся.

— Так ведь в нынешние времена никто тебе ничего не сделает, если не подмазать. А у меня дома добра полным-полно, милый мой. Запасся основательно.

И тут все выяснилось. Незадолго до прихода Красной Армии в Вергенштедт население разграбило склад фольксштурма. При этом обчистили и некоторые магазины.

— У сапожника Блейхерта выдавили витрины и вынесли все, что попало под руку. И так везде! — рассказывал Мук.— Я тоже был там. Тащили целые ящики с маргарином, даже бочки с кислой капустой. Жаль, что тебя не было, за час бы разбогател. Я нацелился на определенные вещи — пишущие машинки и материи. Сейчас они ценнее золота.

— И что же ты намерен с ними делать? — спросил Иоахим.

— Там будет видно. Ищу компаньона, такого, как ты, настоящего парня. Подумай,— он сделал выразительный жест,— дело себя оправдает.

— Дай-ка сигаретку,— попросил Радлов. Мук с готовностью извлек из кармана пачку «Особых» и протянул ему. Иоахим, доставая сигарету, обдумывал его предложение. «Деньги мне понадобятся, раз отец уже не зарабатывает,— размышлял он,— матери приходится считать каждый пфенниг. Теперь придется мне их кормить. Надо надеяться, что Ганс не станет заниматься темными делишками». Сигарета тлела. Мук сказал:

— Подумай, мы еще поговорим об этом деле. Сигарета стоит две пятьдесят.

— Что?

— Две пятьдесят, дружище. Давай живей, даром нынче только на тот свет отправляют.

Он вдруг заторопился. Радлов, пораженный, вытащил бумажник, протянул Муку свои последние десять марок и сказал:

— Я все еще не понимаю...

— Милый мой, весь город торгует,— ответил Мук.— Нет у тебя помельче? Не могу разменять. Постой, я дам тебе еще три сигареты.— И он уже собрался сунуть бумажку в карман.

— Нет-нет,— Радлов испугался.— Это мои последние деньги.

— Отдашь завтра,— быстро ответил Мук и похлопал его легонько по плечу.— Ну пока.

И с показной небрежностью медленно перешел улицу. На той стороне стояла тоненькая темноволосая девушка. Мук подошел к ней, взял ее под руку и направился, ни разу не обернувшись, в кафе «Вахендорф». Радлов, провожавший его взглядом, подумал: «Да ведь это Вера Гофман. За ней бегал Брандт. Интересно, роман у них, что ли?»

Иоахим и не заметил, что небо заволокло темными тучами. Не успел он опомниться, как хлынул ливень. Пришлось укрыться под навесом в подъезде кино, чтобы не промокнуть до нитки. Людей с улицы словно вымело. Подул ветерок и окатил дождем стоявших под навесом, но затем снова сквозь тучи пробилось солнце, и дождь прекратился так же неожиданно, как и начался. За домами засияла фиолетовая радуга, красный и синий шифер крыш весело засверкал.

Но на Радлова вымытая дождем улица произвела грустное впечатление. Неожиданно он заметил, что навес кинотеатра дал трещину, что нарядная отделка кафе «Вахендорф» отваливается и что даже «лучший отель» выглядит заброшенным. С тяжелым чувством отправился он к отцу Клауса Адама.

Главный вход на почту был закрыт. Две львиные морды с кольцами в зубах в середине двустворчатой двери по-дурацки выпучили на него глаза. Радлов пошел к входу со двора и нажал на ручку. И в тот же миг на него снова нахлынули воспоминания. Только раз побывал он здесь, в служебном помещении, в этом святая святых почтамта. Тогда его взял с собой Клаус, который что-то принес отцу. А теперь он стоял здесь один, без своего друга. Постучав два раза в большую желтую дверь слева с вывеской «Служебное помещение. Вход посторонним воспрещен», он вошел.

Свет проникал сюда сквозь задвинутые гардины, не согревая пустого, заваленного пыльными папками помещения. В конце узкой комнаты за столом сидел седой чиновник, худощавый, узколицый, с высоким лбом. Даже сидя, он производил впечатление человека высокого роста. Радлов, не выпуская ручку двери, остановился, ошеломленный сходством между отцом и сыном. Это сходство никогда так не бросалось ему в глаза. Он мог бы принять этого человека за погибшего друга, только очень постаревшего.

— Вот и Ахим! — воскликнул господин Адам.— Ты уже здесь, значит, и Клаус скоро явится.— И он поднялся, чтобы поздороваться с гостем и предложить ему стул. Приветливый и веселый, он всем своим видом выражал уверенность, что Клаус явится со дня на день. Адам стал расспрашивать Иоахима, довелось ли им быть в Берлине и что пришлось там пережить, но тут же прервал себя, сказав:— Ладно, ладно, все это я услышу от Клауса.

Затем рассказал без околичностей, что здесь он, так сказать, временный гость и каждый день ждет увольнения; но надеется остаться если не инспектором, то по крайней мере простым служащим. И хотя он не упоминал об отце Радлова, все же Иоахим слышал в его тоне сочувствие, и ему казалось, что господин Адам как будто оправдывается в том, что его тоже немедленно не уволили. Сидя перед ним на стуле, Иоахим отвечал односложно, беспомощный, удрученный, не зная, как сообщить отцу своего друга ужасную весть. Память отказывала, все фразы, приготовленные с такой тщательностью, улетучились, и бумажник друга, который он носил с собой, раскаленным железом жег ему грудь. «Как же мне сказать ему,— думал он с отчаянием,— ведь это так тяжело, невыразимо тяжело. Я просто не в силах».

— Когда же ты видел Клауса в последний раз?

«Когда он лежал передо мной мертвый, с запекшейся кровью в волосах...»

Иоахим даже вздрогнул от этого вопроса. Бледный, не отрываясь смотрел он на человека за письменным столом, словно ища у него поддержки, и увидел, как в его серых глазах затрепетал тревожный огонек, а губы пытались что-то произнести.

И вот он услышал свой голос, но ему казалось, будто говорит кто-то другой. Бормоча бессвязные слова, он повторял, что Клаус уже умер, никогда не вернется, что все произошло очень быстро и Клаус ничего не заметил. А потом замолчал, выбившись из сил.

При этом он смотрел в пол на блестящий линолеум, оттого что не осмеливался смотреть в глаза отцу Клауса. Но вот он поднял голову. Лицо человека за письменным столом изменилось. Серое, осунувшееся, с резкими морщинами, которые залегли крутыми бороздами между носом и ртом, оно казалось лицом глубокого старца. Видно было, что весть эта его поразила. Как слепой, уставился он в одну точку, потом плечи его начали тихо вздрагивать и он закрыл лицо руками — сильными и крепкими, «как руки Клауса»,— подумал Иоахим.

Иоахим не смел пошевельнуться. Ему хотелось обнять отца своего друга за плечи и сказать ему что-нибудь утешительное. Но ничего не приходило в голову. Осторожно положил он бумажник Клауса на край стола и тихо пошел к двери.

На следующий день Иоахим встретился с Гильдой Эйснер. Эта полненькая девушка поплакала, а потом рассказала ему, что хочет стать певицей. Она-де будет брать уроки пения у опереточного тенора из городского театра, она в восторге от него. А Радлов вдруг понял: тенор лишь милостиво разрешил ей восторгаться собой, ведь отец Гильды был хозяином сырной лавки, что по нынешним временам нельзя недооценивать. После встречи с девушкой у Иоахима осталось впечатление, что ее чувства к Клаусу были весьма поверхностными.

Отношения Иоахима с отцом не улучшились, хоть он и пытался извиниться еще в тот вечер, когда с тяжелым сердцем вернулся от господина Адама. Но старик не дал ему и рта раскрыть. С тех пор Иоахим ел в кухне и входил в комнату к отцу только в самых крайних случаях. Он не питал злобы к нему, хотя и чувствовал, что пропасть между ними с каждым днем становится глубже. Иоахим пытался доискаться причин их разрыва и не мог. Если же он спрашивал об этом у матери, то получал уклончивые ответы, из которых можно было понять, что она знает эти причины, но говорить о них не хочет. Напряженная обстановка делала его жизнь в семье невыносимой, так что он в конце концов приходил домой только есть и спать. Он много бродил по городу, наведывался ко всем школьным приятелям и знакомым.

То, что ему пришлось увидеть и услышать, потрясло его. Люди, которых он раньше уважал за силу характера, оказались на поверку тряпками. Те самые люди, которые еще полгода назад болтали о гении фюрера, о конечной победе, о необходимости всем немцам отказаться от личных удобств, уверяли теперь в своей непричастности, докучали своими мелочными страхами и, боясь потерять место на службе или мастерскую, клялись и божились, что всегда были противниками нацистского режима. От идеалов, за которые сражался Иоахим, не осталось и следа, они исчезли как по волшебству, словно никогда и не существовали. Ему было стыдно за этих людей, когда они, сидя в мягких креслах посреди всяких безделушек, причитали и хныкали, словно малые дети. В семьях Верхнего города, как и у него в семье, может быть только не так явно, воцарились страх и недоверие, здесь расшатались все традиции и устои. Иоахиму были глубоко отвратительны подобная трусость и смятение, так же как и пассивность его школьных приятелей, которые отсиживались по домам, погруженные в ленивую и безнадежную апатию, они питались только ходившими по городу слухами, что вот придут американцы и положат конец «этому наваждению».

Под «наваждением» жители города разумели прежде всего русские оккупационные власти и новое городское управление. В первые же дни после вступления в город Красной Армии бургомистром был назначен строительный рабочий Хельдорф. Радлов его не знал, это имя было забыто в городе, но теперь, когда Хельдорф стал бургомистром, многие вдруг вспомнили о нем. Говорили, что старик Брандт засадил красного Хельдорфа в концлагерь и тот вернулся тощий, словно скелет, и совсем больной, но несмотря ни на что ежедневно отправляется в ратушу. Надо сказать, что Красная Армия заняла город без единого выстрела, как ему и говорила мать. Когда старик Брандт укатил на своем «мерседесе», фольксштурмисты разбрелись по домам, а заместитель Брандта, директор гимназии доктор Крафт, был не в состоянии предотвратить бегство начальника и участие своих подчиненных в разграблении магазинов. В отчаянии он застрелил сначала жену, потом обоих детей, затем застрелился сам. Итак, город все-таки изменился. Изменения эти вначале заметить было трудно, но теперь Радлов сталкивался с ними на каждом шагу, и особенно они бросались в глаза в Нижнем городе.

Жителями Нижнего, или Старого, города, как его часто называли, были главным образом рабочие металлургического и кирпичного заводов и расположенной поблизости каменоломни. Эта часть города выросла вместе с предприятиями; позже в верховьях реки Верге поселились коммерсанты, а служащие разместились в заводских домах, и с течением времени Верхний город, или Новый, стал районом мелкой буржуазии, которая стремилась резко отмежеваться от Старого города. Иоахим жил там с родителями в доме, принадлежащем железнодорожному ведомству.

Правда, в городе было одно почтовое отделение и один пастор, но две церкви, и по воскресеньям пастор Хенниг с утра произносил проповедь перед обитателями Старого города, а позже — в «верхней церкви», для буржуазии. И начальных школ тоже было две: одна в нижней, другая в верхней части города. Средняя школа и лицей имелись только в Верхнем городе. Так с самого возникновения города было положено начало классовому разделению. Мальчики Нижнего города не осмеливались прогуливаться по «Бродвею», а мальчики Нового города делали вид, что не замечают их, не желая допускать в свою компанию.

В гитлеровские времена здесь было даже два отделения гитлерюгенда; нацистское городское управление пыталось создать иллюзию со-

циального благополучия и ежегодно для двух лучших учеников начальной школы Нижнего города назначало стипендии. Благодаря этому каждый год один ученик из Нижнего города попадал в среднюю школу и один в лицей. Этих мальчиков, правда, терпели в классах, с ними разговаривали, но никто не дружил. Их не приглашали участвовать в развлечениях, не звали на семейные праздники. В одном классе с Иоахимом учился такой мальчик по фамилии Гензель, бледный долговязый паренек, который был даже симпатичен Иоахиму. И вот именно Гензель оказался единственным, к кому он до сих пор еще не заглянул. Но так как теперь все шло вверх дном и в Верхнем городе все перемешалось, Иоахим решил зайти и к нему. Отчасти его подхлестывало любопытство.

С недавнего времени антифашистские партии были вновь разрешены, и Верхний город с тайным ужасом и тревогой наблюдал за развитием событий в рабочем квартале. Рассказывали, что в Старом городе организована коммунистическая ячейка, появились снова социал-демократы и какой-то неистовый парень собирает вокруг себя рабочую молодежь. Иоахиму это нравилось. Его собственная репутация в Верхнем городе была не из лучших, недаром о нем отзывались как о забияке и сорвиголове, и ему ужасно захотелось увидеть этого энергичного парня.

Радлов встретился с Гензелем в прокуренной пивной на углу двух переулков. Иоахим решил, что этот бедный парень стал еще более худым и высоким, но, может быть, ему только показалось, ведь они давно не виделись. Вместе с двумя другими, крепкими ребятами в матросских шапках, Гензель стоял у стойки и отвинчивал пивные краны.

— Что же здесь будет, когда вы все это кончите? — спросил Иоахим. Он был немного смущен и пытался поэтому держаться нахально.

Гензель не отрывался от работы. Не поднимая глаз, он ответил:

— Это не секрет. Молодежный клуб.

Ответ прозвучал весьма холодно, и Иоахим почувствовал, что его визит пришелся Гензелю не по вкусу. Удивленный столь недружелюбным приемом, какого он никак не ожидал, Иоахим растерянно остановился посреди пивной. Оба парня, которых он не знал, подозрительно приглядывались к нему.

Гензель как будто пожалел, что так резко обошелся с Иоахимом, и примирительно сказал:

— Старик Стефан умер, и бургомистр передал нам эту пивную, чтобы мы организовали здесь клуб.

Иоахим, правда, не знал, кто такой старик Стефан, но ответил, будто давно все знает:

— Ах вот что.

Гензель усмехнулся.

— Можешь заглянуть к нам как-нибудь, если смелости хватит,— сказал он.— Да ведь из Нового города вряд ли кто решится.— Гензель все еще улыбался, и Иоахиму казалось, что он смеется над ним.

— Отчего ж, зайду,— отпарировал он со злостью,— и не знаю, почему для этого нужна особая смелость.

Гензель вышел из-за стойки. Он уже не улыбался, наоборот, его напряженное лицо выражало твердость. Иоахим, видевший в нем заурядного, слабого здоровьем юношу, дивился изменениям, которые произошли с Гензелем. А может быть, он до сих пор его недооценивал?

— Послушай-ка, парень, может случиться, что ты утром найдешь у дверей «петлю оборотней».

— Что, что?

— Да, «петлю оборотней». Эти молодчики рисуют такие штуковины, а что это значит, тебе известно. Сегодня они были у меня, у

бургомистра и у Егера, начальника полиции. Однако думаю, что ребят из Старого города в их банде нет, хотя кто знает...— и он испытующе посмотрел на Иоахима.

Радлов отвел глаза. Так вот где обнаружился след их организации. В Верхнем городе он ничего такого не заметил. В тот же миг ему вспомнились слова Брандта, пароль и место встречи: «Камень Наполеона». Но ведь с этим покончено. «Какая-то чепуха,— подумал он,— эти «петли оборотней». Бессмыслица. Не сегодня-завтра их схватят».

— Может, и ты один из них,— услышал он голос Гензеля.— Ты ведь тоже был фюрером в гитлерюгенде. Впрочем, не так уж ты глуп, чтобы связываться с эдакой безнадежной затеей.

«Нет, действительно, я не так уж глуп. В этом Гензель прав. Но ему нечего задирать нос. Что он воображает, подумаешь — шишка! Может, один из красных Старого города? Наверняка».

— А почему именно тебя взяли на мушку? — спросил он, стараясь говорить как можно равнодушнее.— Мне это непонятно, я ведь только недавно вернулся.

— Да потому, милый мой, что я председатель Молодежного комитета. Мы уже тут многое сделали.— Теперь Гензель снова улыбнулся.— Наши дела кое-кому не по вкусу. Но нацизму крышка, можешь мне поверить.— Он сплюнул в открытое окно.— Да и ты,— продолжал он,— злись не злись, но так и знай — с фашистами покончено.

— Что касается меня...— ответил Радлов, но почувствовал, как его охватывает ярость. «Поливать себя помоями я не дам,— подумал он,— особенно такому, как этот флюгер. Раньше прикидывался невинным младенцем, а теперь разыгрывает из себя важную особу. В городе болтают о каком-то храбреце, а это вон кто... Боже мой, да если бы не двое других, я бы его одной рукой осилил, дохляка эдакого... Я бы трех таких осилил». Его глаза загорелись враждебным огнем.— По мне пусть с фашизмом покончено,— ответил он и даже охрип от злости.— Но с твоей стороны, довольно подло делать вид, будто никогда ничего и не было. Все, за что мы...

— Хватит. Знаем.— И, не давая вывести себя из равновесия, Гензель заявил: — В мозгах у тебя еще порядочная путаница. Но все своим чередом. А геройство свое припрячь, мы таких видали. Теперь нам приходится расхлебывать кашу, которую вы заварили. Для этого нам нужны совсем другие герои.— Он подтолкнул Иоахима к двери.— Заходи к нам, Радлов, мы собираемся по средам в семь... А теперь сматывайся, нам надо еще кое-что сделать.

И он захлопнул дверь за ошеломленным Радловом. Иоахим услышал, как все трое разразились хохотом. Кто-то из них низким голосом сказал:

— Этого типа нам только не хватало. Из Верхнего города начали засылать к нам шпионов.

За ночь весь «Бродвей» был облеплен плакатами. Радлов увидел их рано утром, по дороге к Муку. На шершавой желтой бумаге так и светились черные буквы:

«Юноши и девушки!

Помогайте уничтожать следы войны. Все на воскресник! Мы собираемся в семь часов утра на рынке.

От Молодежного комитета
И. А. Гензель».

Идя дальше, Радлов думал: «Он совсем с ума спятил: печатает на плакатах свою фамилию». И все-таки Гензель внушал к себе уважение. Иоахим, правда, не хотел себе сознаться в этом, потому что был еще зол на этого долговязого парня, так просто выставившего его из пивной. Но вынужден был признать, что тому, видно, было наплевать и на «петлю оборотней» и на самих «оборотней», а это кое-что да значило. Восхищался и смелостью, с какой Гензель пошел в наступление на Новый город.

Ганс Мук еще лежал в постели. Он зевал и потягивался под одеялом, встряхивал черной кудрявой шевелюрой и наконец потянулся к ночному столику за сигаретами.

— Что это ты среди ночи людей будишь,— пробормотал он недовольно.

Было уже девять часов.

— Я только деньги хотел отдать,— ответил Радлов и не без зависти посмотрел, как Мук закуривает сигарету.— Да за ту...— пояснил он, видя, что Ганс не сразу вспомнил, о чем идет речь.

— Ах да, я чуть не забыл...— Мук затянулся несколько раз, смял сигарету, зевнул и наконец вылез из-под одеяла.

Потом они перешли в столовую. Фрау Мук — в утренние часы она помогала в лавке — оставила горячий чайник под колпаком. Ганс угостил Иоахима чашкой чая «Здоровье» — специальность фирмы Мук,— а Радлов рассказал ему о плакатах. Мук выслушал известие с невозмутимым видом.

— Ко мне пусть и не суются,— отрезал он, сидя с набитым ртом.— Пусть сами с дерьмом справляются. Я не пойду.

Радлов поддакнул. Но тут же вспомнил о Лаутербахе, об однруком Шольце и о других жителях поселка «Фермеры с Миссисипи», с которыми вместе засыпал рвы. В глубине души он чувствовал, что ему-то следует принять участие в работе.

— Ну как, обдумал мое предложение? — спросил Мук, отодвинув посуду. Он протянул Радлову сигарету, на этот раз не требуя платы.— Говорю же тебе, дело стоящее. Неплохо заработаешь.

Иоахим медлил с ответом. Если Мук дарит ему сигарету, значит, он ему нужен. «А мне нужны деньги,— размышлял Иоахим,— сижу без гроша. Но ведь такое дело одному не осилить. Надо знать, кому я буду сбывать товар». Он уже в течение нескольких дней обдумывал предложение Мука. В городе процветал черный рынок, хлебные и продуктовые карточки продавались и покупались по невероятным ценам. Но кому можно продать отрез на костюм, Радлов себе не представлял.

— Поди-ка сюда,— позвал его Мук.

Из шкафа в спальне он достал три отреза, все такого же синего цвета, как и его костюм.

— Чистая шерсть,— заявил он.

Иоахим молча пощупал материю. «Товар хорош»,— подумал он.

— За три тысячи отдам,— предложил Мук.

— За сколько?

— За три тысячи, чудак. Дешевка. Ты же за каждый полторы получишь.

Заработать пятьсот марок на одном куске очень соблазнительно. Четыреста он отдал бы матери, а остальные оставил бы себе. На некоторое время их хватило бы, и он мог бы подыскать подходящую работу. Искушение было велико. Но где взять три тысячи марок, чтобы купить материал? В кредит Мук ему вряд ли даст. И он сказал:

— Три тысячи... были бы, я бы дал.

Мук запер шкаф и сунул ключ в карман брюк. Он сделал несколько шагов по комнате, словно обдумывая что-то, затем спросил:

— А ты никого не знаешь, кто дал бы тебе взаймы?

По его тону было ясно, что он заранее уверен в отрицательном ответе. Он снова зашагал из угла в угол, и Иоахим заметил, что в нем происходит внутренняя борьба. В конце концов он резким движением отпер шкаф.

— Бери,— коротко бросил он,— даю тебе под честное слово. Хочу поскорее избавиться. Мой старик уже начал ворчать. Но расписку ты мне все-таки дай.

Через пять минут подпись Радлова стояла под распиской, в которой он подтверждал, что получил взаймы у Мука три тысячи марок. Прощаясь, Мук сказал:

— Если что случится, скажи, из ваших запасов. Тогда полиция ничего сделать не сможет.

У Иоахима, когда он прощался, екало сердце: а вдруг Мук передумает. Над тем, с какой стати тот отдал ему так дешево материю, Радлов не задумывался. Его привлекала возможность быстро заработать кучу денег.

А на следующий день в Новом городе произошло взволновавшее всех событие. Ночью кто-то сорвал желтые плакаты Молодежного комитета, и на их месте угрожающе чернели со стен «петли оборотней». По городу поползли слухи: «Оборотни!» Женщины, со страхом и опаской поглядывая вокруг, решались произносить это слово только шепотом. Слухи о том, что скоро придут в город американцы, усилились, кое-кто даже утверждал, что Гитлер вовсе не умер, а нашел себе убежище в Испании и будет оттуда руководить подпольной борьбой. Слушая эту чепуху, Радлов только посмеивался, он оставался при особом мнении. Никто лучше его не знал, что Гитлер действительно умер. Иоахим видел эту развалину. Даже представить себе невозможно, что он еще жив.

На другой день «петли» были снова заклеены плакатами, а ночью плакаты опять сорвали. Потом все затихло. С четверга до субботы в Новом городе царило спокойствие; никто не стер черные «петли» под обрывками плакатов, и они злобно скалились в лицо прохожим. Парни из Верхнего города ликовали: те, мол, празднуют труса. У Гензеля-де душа ушла в пятки, болтали одни. Да они просто испугались, говорили другие. Но Иоахим этому не верил. Ребята Старого города вовсе не были похожи на тех, кто сдаются без боя. Скорее всего, полагал он, Гензель, не подымая шума, готовит новый план. И верно, в субботу, часов около трех, когда «Бродвей» особенно оживлен, Гензель возглавил наступление. На Банхофштрассе показался грузовик, он обогнул магазин скобяных товаров и медленно покатил по «Бродвею». В грузовике стояло человек двадцать. Приложив рупором ладони ко рту, они хором выкрикивали:

— Слушайте все! Слушайте все! В воскресенье молодежный воскресник! Юноши и девушки! Мы вас ждем!

Голоса разносились по улицам, привлекая к окнам обитателей домов. Машина несколько раз проехала взад и вперед по «Бродвею», затем покатила к рынку и еще раз вернулась обратно. Вначале молодежь Нового города просто опешила, ведь до сих пор «Бродвей» считался их заповедной территорией, где ребятам из Старого города делать нечего. Но замешательство вскоре улеглось. Ухмыляясь, глубоко засунув руки в карманы, наблюдали они за машиной. Вид у них был довольно заносчивый, но Радлов знал, что у большинства на сердце кошки скребут. В сущности, все они перепугались. Правда, когда старогородцы

сошли с машины, бывшие хозяева «Бродвея» сбились тесной кучкой. Но поняв, что ребята из комитета не замышляют ничего враждебного, они тоже перестали петушиться. А пареньки из Старого города завладели «Бродвеем», словно он принадлежал им извечно. Новыми плакатами они заклеили «петли оборотней» и смешались с молодежью из Нового города, не обращая внимания на то, что те их избегают. Гензель, увидев Радлова, крикнул ему, иронически улыбаясь:

— Сегодня мы возвращаем тебе визит. А завтра ты ведь придешь поработать?

Радлов ничего не ответил. Гензель подошел ближе.

— Ты что, разговаривать не желаешь?

— Глупости! Но зачем было устраивать этот цирк?

Радлов злился. Сперва выгоняет в шею, а теперь делает вид, будто ничего не случилось, и при всем честном народе заговаривает с ним. А может, это провокация?

— Из ничего ничего и не получится,— сказал Гензель.— Отлично можете завтра поработать. Ничего с вами не сделается. До обеда засыпем окопы фольксштурма.

Вокруг них уже собрались любопытные. Гензель обратился к окружающим:

— И в клуб к нам заходите. Мы вовсе не такие уж...— он улыбнулся.— Спросите у Радлова, он знает, где клуб.

Вечером мать спросила Иоахима:

— Ну как, пойдешь завтра на воскресник?

Радлов неохотно пробормотал что-то в ответ, но мать уловила в его тоне согласие.

— Вот и хорошо,— сказала она,— тем более что ты был в гитлерюгенде, имел зеленый шнур...

Но Радлов перебил ее:

— Перестань, я иду совсем не поэтому. Хочу просто посмотреть на их толкучку.

Он и не подозревал, что во многих семьях Верхнего города велись в тот вечер подобные разговоры. Он думал о Лаутербахе и Бухвальде, которые трудились в Берлине, не жалея сил, и с ужасом обнаружил, что Гензель действительно внушает ему уважение. Как здорово он сегодня все это провернул! У этих богатых маменькиных сыночков лица так и вытянулись.

XII

Юргенс сдержал слово. Через несколько дней после ночи в «Трокадеро» он принес лицензию. И с этой минуты оба Брандта потеряли покой. Фирма Альфонса Шиндлера «Надземные и подземные сооружения» должна была с первых же дней работать бесперебойно, чтобы не вызывать никаких подозрений. А это требовало труда, времени, беготни и отнимало много сил. Губертус улаживал дела в официальных учреждениях, так как отец, шеф фирмы, все еще побаивался появляться там. Старший Брандт нашел подходящее помещение, раздобыл строительные материалы, которые тут же сам у себя купил. При этом он одним выстрелом убил двух зайцев и совершил двойную махинацию. Это были его первые шаги на новом поприще.

Юргенс — он, правда, редко появлялся у них — обеспечил первый крупный заказ. Американская военная администрация в Мюнхене поручила фирме строительство здания для офицерского клуба. Брандт-отец с рвением принялся за дело, рано вставал, громко спорил с рабочими,

и день ото дня к нему возвращалась былая самоуверенность. Он и пил теперь значительно меньше, чем раньше. Скоро он снова стал прежним ловким дельцом, стремящимся извлечь из любого дела наибольшую выгоду.

Но Губертуса рвение отца не трогало. Он не полюбил их фирму и ничего не понимал в строительном деле. Запах свежего дерева и цемента, грохот бетономешалки и сочная брань рабочих внушали ему отвращение. Его вполне устраивало, что отец усиленно занимается фирмой, оставляя ему время для собственных дел. Правда, в отношениях с Юргенсом он пока не преуспел. Этот гончий пес с мордой лисицы и не думал знакомить его с капитаном Броуном из Особого отдела американской армии. А когда Губертус сам с ним заговаривал, твердил всякий раз одно и то же:

— Ваша фирма — чисто немецкое предприятие, Броун не имеет к ней никакого отношения.

Однажды Брандт спросил с издевкой:

— А наши деньги тоже немецкого происхождения?

Лисья морда не ответил ему. А когда Губертус требовал, чтобы Юргенс в конце концов связал его с кем надо, тот прикидывался немым и глухим.

В конце концов Губертус перестал нажимать. Он был явно недоволен. Каждое утро в восемь часов он приходил в контору и в течение нескольких часов работал — вел конторские книги. «Словно жалкий чинуша»,— думал он в сердцах. К полудню он не выдерживал и после обеда выходил погулять в город, в отчаянии от всех проволочек и от невозможности найти выход из безнадежного положения. «И что это Юргенс задумал, почему он мучает меня? — размышлял он.— Ему просто нравится эта проклятая таинственность. Но ведь не могу я просто так явиться к Броуну и заявить: вот и я! Что же мне делать? А может, американцы и хотят представить нашу фирму как чисто немецкое предприятие? Если что-нибудь сорвется, они всегда смогут сказать: мы знать ничего не знаем. А отцу все нипочем. Ему и дела нет до политики, целыми днями гоняет по стройкам, даже судьба Деница его не взволновала».

Да, Дениц... Новый кабинет гроссадмирала тоже лопнул, как мыльный пузырь. Через шесть дней после прибытия советских представителей Контрольной комиссии английские войска арестовали «правительство Деница» и переправили в отель «Палас» в Бад-Моондорфе. Итак, русские победили, и Юргенс оказался прав. Разве не говорил он еще в «Трокадеро», что во Фленсбурге все вот-вот будет покончено? «Счастье еще, что я вовремя навострил лыжи,— думал Губертус,— но откуда у этого негодяя такая точная информация, хотел бы я знать. А о «филиале» в Берлине, которым я должен руководить, он и не заикается...»

Так, без особых событий, тянулось время. В один прекрасный день кое-что все-таки произошло. Губертус, как всегда, явился в контору в восемь утра, чтобы заняться корреспонденцией. Настроение у него было отвратительное, к тому же его слегка мутило: накануне ночью все показалось ему столь мрачным и безнадежным, что он напился. Поэтому, когда вошел Юргенс — он появлялся и исчезал, когда ему вздумается,— Губертус встретил его раздраженно и нервозно. У него уже вертелись на языке какие-то ядовитые слова, но ухмылка на лисьей мордочке Юргенса предвещала нечто приятное. Он удержался от замечаний и спросил:

— Что случилось?

— Позаботься, чтобы через час здесь никого не было. И вызови отца.

— Да в чем дело?

— Приедет Вольф.

Известие о приезде бывшего штурмбаннфюрера подействовало на Брандта, как удар тока. Он словно онемел и растерянно таращил глаза на Юргенса. Приезжает Вольф, доверенное лицо Бормана, к которому он должен был обратиться во Фленсбурге. Какую же роль играет теперь этот человек и как он попадет в Мюнхен? Но прежде всего интересно, как он связан с Юргенсом, ведь Лисья морда принадлежит к организации Гелена.

Губертус выслал из приемной машинистку, затем сам принялся вызывать по телефону различные строительные площадки. Наконец ему удалось найти отца. Тот, очевидно, по голосу понял, какого рода клиент желает с ним срочно переговорить, и вскоре явился — запыхавшись, весь в поту, перепачканный цементом.

Вольф вошел с таким видом, словно фирма принадлежит ему. На нем была широкополая серая шляпа, которую он низко надвинул на лоб, так что она закрывала половину лица. Решительным и уверенным движением он бросил ее на стол.

— Господа! — воскликнул он и засмеялся.

Губертус увидел два ряда ослепительно-белых зубов. Толстощекое лицо покрывал коричневый загар, глаза неопределенного цвета были ясны, энергичный подбородок выступал вперед. Коренастый, с быстрыми движениями Вольф производил впечатление целеустремленного человека. Тыльной стороной ладони он фамильярно хлопнул Брандта по животу.

— Ну, старина, ловко ты удержался на поверхности. Дело процветает? — и, не дожидаясь ответа, обратился к Губертусу: — Ага, это вы! Во Фленсбурге мы разминулись.

На Юргенса Вольф не обратил внимания. Пододвинув себе стул, он вытянул ноги и объявил:

— Надеюсь, мы быстро договоримся.— Он вынул сигару и закурил.— Итак, мой милый Отто,— начал он, но тут же, смеясь, поправился: — То есть Альфонс, хотел я сказать. Я прибыл из Марии-Лаах *, где имел встречу с нашими американскими друзьями. Я там как бы исповедовался, в таком местечке это ведь принято. Там же, к слову сказать, был и Спеллман... Вот мы и добрались до сути нашей беседы. Со святым престолом,— при этих словах Вольф осклабился,— мы договорились. Германский епископат будет сотрудничать с военной администрацией. А это означает создание клерикальных партий во главе с высшим католическим духовенством Рейнской провинции.— И добавил с мрачным юмором: — Так что тебе придется заново креститься, если хочешь сделать карьеру.— Но тут же снова стал серьезным.— Ну, пока все ясно. Это необходимо. Мы объединились с католиками, чтобы нас не сожрали красные. Церковь в качестве условия требует сепаратной Западной Европы, и, конечно, католической. Ладно, пусть получают. Но и мы в этой Западной Европе получим свое место, можешь не сомневаться.

Он умолк. Но так как никто не отвечал, тут же спросил старшего Брандта:

— Что, не нравится?

— А русские? — спросил в свою очередь Отто Брандт.

— О войне с русскими в ближайшие три года нечего и думать. У американцев достаточно забот в собственном доме. Сторонники Рузвельта еще пользуются слишком большим влиянием, а они дудят в одну

---

* Бенедиктинский монастырь невдалеке от Бонна.

дуду с русскими: экспроприация, денацификация, судебные процессы над военными преступниками.

— И значит...

— ...процессы эти будут. Геринга, Гесса, еще кого-нибудь публично повесят. Американцы покажут всем, что они выкорчевывают национал-социализм. Сядет за решетку и твой гаулейтер. Но не пройдет и года, как все кончится. Политическая ситуация вынуждает американцев работать с нами, если они не хотят, чтобы Сталин большевизировал всю Западную Европу. А этого они не хотят. Мы договорились с нашим уважаемым мистером Булем, что их тайная полиция — скучнейшее учреждение, вынюхивающее зондерфюреров и гестаповцев,— будет поставлять нам подходящих людей. Гелен с помощью американцев вновь создает свой штаб и на следующей неделе вылетит в Пентагон. Он представил несколько таких докладов о своей сети, что американцы только ахнули. Но Гелен поставил условие — он будет работать для американцев, но его организация должна остаться немецкой. Придется подождать, чем кончатся переговоры в Пентагоне. Однако мистер Буль заверил меня, что сделает все возможное, чтобы Гелен беспрепятственно мог работать в Кэмп Пуллак. А это означает немецкий центр шпионажа под американским крылышком.— Быстрым движением Вольф швырнул сигару на пол и растоптал ее.— В скором времени немецкая промышленность получит американские кредиты, чтобы вновь встать на ноги. До тех пор... Насколько мне известно, Крупп уже арестован.

Он помолчал и снова заговорил:

— Последуют и дальнейшие аресты в среде промышленников, моего друга Тиссена ожидает та же судьба. Но это ничего не значит, болтовня о декартелизации, о национализации и мирном договоре останется болтовней,— повторил он,— ибо, как только мы получим новые американские кредиты, ни о каком роспуске картелей и речи уже не будет. Конечно, русские в своей зоне введут социалистические порядки, в этом нет сомнения. С твоими филиалами на Востоке можешь распроститься.

Вольф снова рассмеялся, искренне, заразительно, и Губертусу даже показалось, будто он действительно рад тому, что русские начали в своей зоне национализацию промышленности. Брандт никак не мог понять, почему Вольф доволен и весел, словно сидит за партией в скат у себя в пивной. Откуда он все это знает и, прежде всего, от чьего имени говорит? И откуда его знает отец?

Тут бывший штурмбаннфюрер сказал:

— Я предполагаю, что ты столь же мало, как и другие, жаждешь потерять на веки вечные свою собственность на Востоке. Следовательно, все дело в том, чтобы предотвратить там экспроприацию!— Он несколько раз стукнул кулаком по колену и повторил: — Предотвратить любыми средствами! На этот счет мы полностью договорились с Геленом, его специальность ведь в основном — военный шпионаж. Нас поддерживают также известные американские... ну, скажем, круги. Правда, в настоящее время не они играют первую скрипку, и в армии еще достаточно сторонников Рузвельта, которые поддерживают антифашистские настроения. Поэтому вначале мы должны вести дело на свой страх и риск. А потом нам будут благодарны.

Старший Брандт до сих пор внимательно слушал, но тут он перебил Вольфа:

— Итак, снова двойная игра?

Вольф пожал плечами, как бы отметая его сомнения.

— Но у нас же есть опыт, Отто.— Он обратился к младшему Брандту: — Я слышал, вы берете на себя филиал в Берлине?

Губертус вопросительно взглянул на Юргенса. Вольф заметил его взгляд.

— Все в порядке, молодой человек,— сказал он. И, кивнув в сторону капитана, добавил: — Он будет держать вас в курсе, когда вы понадобитесь. Вы все слышали, и теперь вам известно, ради чего мы боремся. Но если хотите соблюсти свои личные интересы, старайтесь работать, не слишком бросаясь в глаза.— Он встал.— Итак, договорились. Еще одно, Отто. Новая христианская партия будет прежде всего создана в вестфальском городе Алене, и ты не ошибешься, если окажешь ей финансовую поддержку. Позже она будет образована в Баварии, тут хватает добрых католиков. Но разумнее будет вначале не вылезать на передний план. В утешение скажу тебе: самое позднее в конце года наши акции снова будут котироваться на бирже.

После этих слов, спокойный, уверенный, он исчез, глубоко надвинув на лоб свою широкополую шляпу. За ним последовал ухмыляющийся Юргенс, хотя Вольф его и не пригласил с собой.

Оставшиеся молчали. Солнце лило ослепительный свет сквозь два широких окна, в его лучах, мерцая, вилась сухая пыль. Оба Брандта, сидя друг против друга, размышляли: старший, полуприкрыв глаза, словно его охватила дремота, лениво развалился в удобном кресле, младший, закинув ногу на ногу, облокотясь о колено и подперев ладонью подбородок, поглядывал на отца.

Но вот Отто Брандт сложил руки на животе и свел вместе большие пальцы. «Так он всегда делает, когда что-нибудь обдумывает,— отметил про себя Губертус.— Похоже на то, что штурмбаннфюрер загадал не одну загадку... Неужели он все еще считает, что надо выжидать?»

Неожиданно старший Брандт сказал:

— Вольф прав. Принять участие в игре надо с самого начала.— Он открыл глаза, но руки все еще держал на животе.— Вот не предполагал, что Гелен так быстро наладит свою машину. Думал, пройдет, пожалуй, два-три года. А когда Юргенс начал здесь вести с нами дела, я полагал, что он делает это на свой страх и риск, использует свои связи с американской разведкой.— Он снял руки с живота и выпрямился в кресле.— Довольно околачиваться на строительствах. Теперь будем работать с размахом, разрешение мы получили... и когда мой приятель, гаулейтер, выйдет из тюрьмы, его денежки дадут хороший урожай.

Отто встал и подошел к окну.

Губертус проводил его взглядом. Он все еще сидел, подперев подбородок.

— Я, правда, не в курсе того, что было задумано,— сказал он.— И откуда ты знаешь Вольфа — мне тоже неизвестно, хотя кое-что в делах я уже смыслю. Однако в твоих...— он запнулся, подыскивая подходящее слово,— соображениях, или как ты их там называешь, мне, видимо, тоже отведена какая-то роль.

Губертус говорил осторожно, но в его голосе слышались нотки раздражения. Он сам это почувствовал и решил: «Старик должен понять, что я уже не мальчишка, я был офицером и теперь хочу знать, что они затеяли, хочу ясности. Такими ситуациями, как в Берлине и Фленсбурге, я сыт по горло. И если старик не откроет мне карт...»

Отец, до сих пор смотревший в окно, обернулся. Заложив руки за спину, он сделал несколько шагов и остановился посередине комнаты.

— Ты прав,— произнес он,— в моих соображениях ты играешь известную роль и будешь играть ее.— Он улыбнулся.— Это ты сказал правильно. И теперь пришло, пожалуй, время поговорить нам с тобой в открытую.

«Наконец-то! — подумал Губертус. Он поднял голову и взглянул на отца.— Надеюсь, он не станет сентиментальничать. Этого еще недоставало. Хотя он ведь не из таких».

— В один прекрасный день все это барахло будет принадлежать тебе,— начал Отто Брандт.— Мы не бедняки, но и не богачи. С тем, что у меня есть, можно показаться на людях, хотя среди крупной рыбы я лишь мелкая рыбешка.

Он пододвинул стул и опустился на него. Но уже не так тяжеловесно, как прежде, а легко, готовый каждую минуту подняться.

— Всего у нас в бумагах два миллиона марок,— начал Отто Брандт,— наследство твоей матери составляет пятьсот тысяч марок. Они теперь принадлежат тебе.

Он испытующе посмотрел на Губертуса. Но у того не дрогнул в лице ни один мускул, хотя мозг жгли цифры: пятьсот тысяч марок! И они принадлежат мне! А два миллиона у него еще в бумагах. Мелькнула мысль, которую он напрасно старался отогнать,— если бы оправдалось то, что сказал тогда Борман в Берлине... Он, Губертус, оказался бы теперь наследником... Наследником двух миллионов! Но тут он снова услышал голос отца:

— Деньги эти до поры до времени заморожены. Лежат в Швейцарии. Но это еще не все.

Лицо Губертуса оставалось неподвижным, он старался не выдать своего разочарования. Деньги заморожены, он их получить не может, хотя они и принадлежат ему.

— К тому, что я перечислил, надо добавить филиалы на Востоке, их всего двадцать,— продолжал Отто Брандт,— кроме того, вилла с электростанцией в Вергенштедте. Как видишь, я неплохо заработал. Что ж, Западный вал, Атлантический вал, заказы крупных промышленных фирм, заказы партии — все приносило деньги. Здесь, на Западе, у меня не больше восьми филиалов. Созданы совсем недавно, перед самым концом.— Он вынул портсигар, открыл, и через мгновение вверх поднялись голубые кольца.— Я пустил деньги в оборот, чтобы потом, позднее, заседать в наблюдательном совете — как крупный делец среди крупных дельцов. Но все это были мечты, иллюзии, надежды. А у твоей матери имелось свое честолюбие, ты ведь знаешь ее, она просто была помешана на высшем свете. Этого я не достиг, нет у меня тонкости в обращении, я слишком груб для них, слишком неотесан. Мечты о наблюдательном совете лопнули.— Он откинулся на спинку стула.— Но у тебя еще все впереди, ты можешь многого достигнуть, ты похож на мать — манеры хорошие, есть лоск. Кем ты был? Штандартенюнкером СС? Никому до этого теперь дела нет. Я же человек одиозный, вместе с Гитлером шел в свое время к Галерее полководцев и только благодаря ему выбился в люди.

Губертус ничего не отвечал. От слов отца у него буквально язык отнялся. Вот это планы, грандиозные планы! Горячей волной поднялось в нем чувство благодарности, и стало стыдно за мысли о возможной смерти отца. Сам он далеко не так умен и дальновиден. А какое будущее обеспечил ему старик!

— Я хочу,— сказал Отто Брандт,— чтобы ты, мой сын, стал влиятельным лицом, чтобы один из Брандтов добился этого. Я расчистил дорогу, тебе остается только по ней пройти, а я буду помогать, пока хватит сил.— Он наклонился к Губертусу и заговорил тише: — Надо тебе сказать, что одно время я уже потерял было всякую надежду, ты все не ехал и не ехал, а тут я узнаю, что Гитлер остался в Берлине. Ты-то ведь тоже был в Берлине, в окружении. Все получилось не так,

как мы задумали...— Он заговорил громче: — Гаулейтер поставил не на ту карту.

Указательным пальцем он постучал по столу, как бы в подкрепление своих слов.

— Иначе я никак не могу этого объяснить: он слишком понадеялся на Шпеера и его инспираторов. А те сейчас вынуждены уступить. Я знаю, что Шпеер играл роль посредника и хлопотал перед Гитлером — только благодаря ему Дениц стал рейхсканцлером. Но Дениц провалился, и над Руром на ближайшее время установлен интернациональный контроль. Крупп арестован. Крупповские акции у меня тоже есть, да и другие, но не это главное. Есть у меня и кое-что про запас. И этим я обязан Вольфу. Знаешь, кто он?

Губертус отрицательно покачал головой.

— Старый офицер,— начал рассказывать отец,— довольно состоятельный. Он был доверенным лицом и осуществлял связь между католическими финансовыми тузами и СС. Позже он наладил через Швейцарию связь с Ватиканом и обменивался информацией с неким графом Ледоховским из ордена иезуитов. Мы совместно совершили одну неплохую сделку, и он позаботился о том, чтобы мое состояние теперь оказалось в Швейцарии. Мы оба акционеры ИГ-Фарбен, и он имел в виду именно эти наши бумаги, когда говорил, что в конце года акции снова пойдут в ход. У него есть и контакт с Геленом.— Он задумался, словно хотел что-то еще добавить.— Да-да,— сказал он наконец,— Вольф — приятель Тиссена, а Тиссен еще до тридцать третьего года финансировал партию. Благодаря этому Вольф и стал доверенным лицом Бормана. А затем возникли трения между армией, СС и партией.

Губертус все еще молчал. Но теперь он вспомнил подслушанный им разговор, когда приезжал гаулейтер. «Сказать отцу, что я об этом знаю? Нет, не стоит. А то еще подумает, что я шпионю за ним».

Отец продолжал:

— Мы — гаулейтер, я и еще кое-кто — пытались разрядить атмосферу где только могли.— Он улыбнулся.— Другими словами, мы за спиной партии сотрудничали с вермахтом. Мы заранее предвидели, что из всего этого получится.

«Знаю,— подумал Губертус,— об этом я слышал».

— Борман доверял мне до последней минуты,— сказал отец,— и благодаря этому я смог обеспечить тебе специальное задание по «вервольфу». Из Берлина ты вместе с Борманом и Главным командованием вермахта должен был перебраться на юг. Для Бормана «вервольф» был последним козырем. Он спас бы ему жизнь, ведь после капитуляции американцам Борман надеялся продолжать свою деятельность. Конечно против русских. С помощью американцев.

Губертус удивленно посмотрел на отца. Этого он не знал. Так вот почему ему следовало в Плёне явиться к Вольфу, а не к Хаазе.

— Борман, конечно, и не предполагал, что Вольф уже сотрудничает с Геленом и иезуитами,— продолжал Отто Брандт.— Вот почему, если бы он и выжил, то сейчас был бы все-таки обречен. Всего этого ты не мог раньше узнать, потому что Гитлер во что бы то ни стало хотел остаться в Берлине.— Он вздохнул.— Ты мне нужен был тогда, нужен и сейчас — на нашей ключевой позиции. Ведь наша собственность в руках у русских. От нее ни в коем случае отказываться нельзя. И твоя будущая деятельность в Берлине особенно поможет тебе выяснить судьбу наших филиалов на Востоке.

— Так я и думал,— улыбнулся Губертус.— Ведь были же у тебя причины...

Отто Брандт громко расхохотался.

— Так-то, мой мальчик. Ты весь в меня. Ты ловко сдружился с Юргенсом. А поедешь в Берлин, помни, что тебя ждет блестящая карьера. Привлеки какого-нибудь парня, нашего человечка. Мы хорошо заплатим, если он на месте позаботится о наших филиалах. Все должно быть в порядке, когда мы вернемся. Не забывай об этом.

Сигара была выкурена. Он бросил окурок в пепельницу и продолжал:

— С американской лицензией в руках я снова открою свои восемь филиалов. Конечно на имя Шиндлера. Сначала в американской зоне, а там видно будет. Гаулейтер получает двенадцать процентов. Придется мне, видно, предпринять кое-какие шаги для вступления в новую партию. Под ее крылышком с голоду не умрешь.— Он поднялся.— Вот так-то, Губерт, теперь ты все знаешь и можешь действовать. Надо было внести ясность в наши отношения. Как ты считаешь?

— Верно, отец...

— Ну что ж, мальчик, вперед, к победе. Мы с тобой всего добьемся.

И он вышел.

Через две недели после их беседы Юргенс уже провожал Губертуса Брандта. На запасном пути стоял американский воинский состав, уходивший ночью в Берлин. По решению Контрольного совета там создавалась Союзная комендатура, и американцы вводили в свой сектор войска. Для Губертуса в этом поезде было забронировано отдельное купе. Это через капитана Броуна устроил Юргенс.

Поздно ночью, когда поезд уходил из Мюнхена, Губертус через щелку в занавеске смотрел на проплывавшие мимо черные силуэты развалин. Для него начинается новый этап в жизни, его ждет новая деятельность, которая принесет ему успех. Он вспомнил прощальные слова отца: «Год, самое большее два придется тебе еще потерпеть». Он представил себе, как все будет выглядеть, когда он снова вернется в Вергенштедт — богатый, уважаемый, облеченный властью...

Вергенштедт — с ним связаны школьные годы, первые знакомства с девушками, но прежде всего гитлерюгенд, где он блистал как руководитель отделения. Он видел перед собой лица младших учеников, благоговейно взирающих на него. Иоахим Радлов был одним из самых надежных, и он вспомнил их разговор в эсэсовском казино гитлеровского убежища.

«Радловом, если он еще жив, стоит заняться. Из него может выйти толк,— подумал Губертус,— он станет нашим человеком...»

XIII

Почти в тот же час, когда из Мюнхена на Берлин отошел американский воинский состав, в Вергенштедте Иоахим Радлов открыл узкое окно своей комнаты и выглянул в теплую звездную ночь. Он вспомнил, что сегодня первая пятница июля и что согласно приказу в полночь у «Камня Наполеона» должны встретиться «оборотни». Но этот приказ его больше не касался, все связанное с ним произошло, казалось, в другой, чуждой ему жизни, оставшейся где-то далеко-далеко позади. С той жизнью он больше ничем не связан. Остались лишь разочарование, горечь и презрение к тем, кто в свое время старались, чтобы на пиджаке был заметен значок, а теперь из страха за место или за свою мастерскую лебезили перед новой властью, понося ее за глаза. Как все это отвратительно и трусливо, какое кругом убожество!

А Гензель? Разве и он такой же? Нет. Он по крайней мере человек смелый. С горсткой рабочих ребят он вмиг завладел «Бродвеем». К тому же Гензель не лукавит. Когда он, Иоахим, заглянул к ним в клуб, Гензель ничего не стал ему накручивать, а попросту выкинул вон. А это было в тысячу раз лучше, чем фальшивая дружба.

Но Иоахим постарался поскорее отделаться от мыслей о Гензеле, они были ему неприятны. Где-то в глубине души жило смутное ощущение того, что Гензель олицетворяет какое-то новое, здоровое начало. Но это новое, зародившееся в Нижнем городе, требовало от него самого активных действий, и тут он противился всеми силами. Он хотел не споров и действий, а покоя. Покоя и честности, но их-то он здесь и не находил. Что же удерживало его? Отец? Он стал ему чужим. А мать? Ах да... мать... она любила его, была добра, как всегда, подсовывала лучшие куски. Но и она не удерживала его здесь. Где же все-таки найдет он покой и честную жизнь? Возле Урсулы? Разве не мечтал он остаться у нее и забыть все, что было в прошлом и что совершалось вокруг? Разве не был этот домик в берлинском дачном поселке гнездышком, островком, где он мог найти убежище, и разве не приглашала его Урсула вернуться? «Но без каких-либо тайн»,— сказала она, а тайны больше не существует. Он же любит ее, а она его, она относилась к нему искренне, честно, до тех пор пока... да, пока их не разделила та стеклянная стена.

«Значит, не было между нами полной откровенности,— раздумывал Иоахим,— хотя я это и внушал себе. Конечно, я люблю ее, и мы могли бы чудесно жить. Я бы снова устроился на работу. Возможно, Бухвальд уже платит, у нас был бы покой и достаток. Но тогда мне пришлось бы рассказать ей все, объяснить, что стояло между нами, раскрыть эту проклятую тайну. Ведь не остался же я у нее, только чтобы скрыться, вовсе нет. Для этого были другие причины, конечно же другие... И она это тоже знает».

При мысли об Урсуле у него потеплело на сердце. Урсула! Она была для него символом новой жизни и забвения... И он решил завтра же готовиться к отъезду.

Он продаст отрез, оставит себе на самое необходимое, а большую часть денег отдаст матери. Завтра же сходит к доктору Фишеру, бывшему городскому советнику по строительству. Говорят, он покупает все, что попадется под руку,— вкладывает деньги.

Но на следующий день все сложилось совсем иначе. Как раз когда он в кухне доедал мучной суп, раздался звонок. Мать открыла дверь, и он услышал мужские голоса. Не успел Иоахим встать, как в кухню уже вошли двое мужчин, один в форме железнодорожника, другой в обычном плаще. У обоих были серьезные лица, и по их смущенным взглядам Иоахим почувствовал, что им не по себе. На лице матери было написано смятение.

Человек в форме коротко спросил:

— Вашего мужа нет дома?

— Отец болен,— пробурчал Иоахим и вышел из-за стола.

Холодный тон, каким этот железнодорожник обратился к матери, оскорбил его.

Тут в разговор вмешался человек в плаще:

— Не имеет значения. Мы можем все уладить и здесь.

И он оглянулся, поискав глазами, на что присесть. Иоахим резко спросил:

— В чем, собственно, дело?

Но прежде чем незнакомцы успели ответить, мать, заикаясь, проговорила:

— Нет... нет... входите.

Она засеменила по коридору, мужчины неохотно последовали за ней. Шествие замыкал Иоахим.

Отец, как всегда, сидел в кресле. Он даже не сделал попытки подняться. На лице его нельзя было прочесть ни удивления, ни страха.

— Я так и знал, что в один прекрасный день вы придете, Густав,— сказал он с неестественным спокойствием.

Железнодорожник ответил:

— Не мы виноваты в том, что довелось встретиться при таких обстоятельствах.

Отец устало отмахнулся, на щеках его горсли яркие лихорадочные пятна, он явно избегал взгляда железнодорожника. Но тот протянул ему сложенную бумажку, откашлялся и сказал, понизив голос:

— Очень сожалею, но так решил производственный совет.

Отец, даже не взглянув на бумажку, ответил.

— Этого надо было ожидать. Сначала вы отбираете у меня работу, все, что составляло смысл моей жизни, теперь вы отбираете у меня жилье.

Железнодорожник сочувственно пожал плечами и промолчал. А человек в плаще резко заявил:

— Дом принадлежит управлению железной дороги. А вы больше не железнодорожник. Кроме того, теперь всех уплотняют, в городе полно беженцев...

Он хотел еще что-то добавить, но железнодорожник прервал его:

— Это сотрудник жилищного управления. Он предоставит тебе другую квартиру.

Мать, прижимая к глазам платок, тихо плакала. Отец указал на бумагу и ответил:

— Здесь сказано, что я обязан выехать в течение сорока восьми часов. Почему вы меня так торопите? Ты же знаешь, Густав, я ни в чем не виноват.

Но железнодорожник твердо ответил:

— Все-таки с нацистами ты был заодно и предал свой класс. Квартира же нам нужна срочно.

Иоахим увидел, как судорожно отец вцепился в ручки кресла, словно ища опоры, и тут же рявкнул на сына:

— Уйди отсюда, Ахим. Этот разговор не для тебя.

Обидевшись, Иоахим вышел в коридор.

В кухне он нашел окурок, закурил и, затягиваясь, нервно принялся шагать из угла в угол. Отец предал свой класс? Каким образом? Радлов не понимал этого. Отец вступил при нацизме в гитлеровскую партию. Но ведь так делали многие. Теперь его за это уволили с работы на железной дороге, за это же их выселяют, хоть и дают другую квартиру. Но почему отец предал свой класс, почему именно он, не кто-нибудь другой из Верхнего города?

Иоахим приник к двери, пытаясь хоть что-нибудь уловить, но ничего не мог разобрать. Всхлипывания матери заглушали слова.

Наконец посетители ушли, и Иоахим вернулся в комнату. Родители сидели друг против друга, мать — с красными заплаканными глазами, сложив руки на коленях, отец — с угрюмым суровым лицом. Оба молчали. Иоахим, став спиной к высокой, чуть не до потолка, зеленой кафельной печи, переводил взгляд с одного на другого. Беспомощность родителей до глубины души трогала его, и он сказал:

— Ничего, все как-нибудь образуется.

И в тот же миг ясно понял, что не может сейчас покинуть родителей. Он их единственная опора, и как раз теперь они в нем нуждаются. Ему придется подождать, пока наладится их жизнь, только тогда он сможет вернуться к Урсуле. Он нахмурился и злобно пробормотал:

— А все-таки это свинство!

Но отец не обратил на его слова никакого внимания и сказал матери:

— Придется сходить к Зиберту. Он организует переезд. Если будет дорого стоить, придется продать сервиз.

Зиберт, торговец углем, у которого была упряжка, принимал заказы на перевозки. Мать ответила с запинкой:

— Может быть, тебе поговорить с новым руководством... Ты же тридцать лет проработал на железной дороге, может быть, тебя снова возьмут. Пусть хоть билеты компостировать. Тогда нам не надо будет переезжать.

При этих словах отец сердито взглянул на нее, потом горестно сжал губы.

— Брауер тверд, как железо,— буркнул он.— А я в жизни не просил милостыню.

— Но попытаться ты бы мог... только спросить...— торопливо поправилась она. Но отец решительно замотал головой, видя, что она хочет продолжать. Мать вполголоса попросила:

— Сделай это для меня, отец.

У Иоахима защемило сердце. Им обоим тяжело уезжать отсюда. Они прожили в этих стенах всю свою совместную жизнь, постепенно приобретали вещь за вещью, он здесь появился на свет. Квартира стала частью их самих. Иоахим отвернулся, чтобы не смотреть на мать.

Отец неожиданно мягко произнес:

— Только ради тебя, мать, я попытаюсь еще раз переговорить с Брауером.— И, кряхтя, поднялся с кресла.

У двери он обернулся, слегка улыбнувшись матери. В этой улыбке можно было прочесть любовь и боль. Мать с сыном смотрели ему вслед из окна кухни, когда он переходил улицу. Сутулый, седой, тяжело опираясь на палку, ковылял он по тротуару. Оба знали, как тяжек для него этот путь.

— Хорошо, если бы его взяли обратно,— вздохнула мать.

Иоахим мрачно молчал. И только после небольшой паузы спросил:

— А если нас заставят переехать... тебе придется продать сервиз?

Это был столовый сервиз на двенадцать персон из старинного розентальского фарфора XVIII века. Мать получила его в подарок к свадьбе от своей матери, которая в свою очередь получила его по наследству. Эта наследственная драгоценность выставлялась на стол только в дни особых торжеств — крестин или свадеб, а обычно ее тщательно припрятывали. Сервиз составлял единственную ценность их семьи. Его утрата была бы для матери настоящим ударом. Однако она спокойно и сдержанно сказала:

— Переезд стоит денег, Ахим. А у нас их осталось очень мало.

Хотя в словах матери не таилось упрека, его мучила мысль, что он ничем не в состоянии ей помочь. И он решил про себя: «Я обязан, наконец, что-то предпринять». Не говоря ни слова, он отправился к себе в комнату, взял сверток с отрезом и, пробежав мимо кухни, крикнул матери:

— Я сейчас вернусь.

Прежде чем мать успела ответить, Иоахим выскочил на улицу.

Бывший государственный советник по строительству доктор Фишер жил на окраине Верхнего города в небольшом доме на две семьи. Когда Иоахим нажимал черную кнопку звонка, у него отчаянно билось сердце. Ему никогда не приходилось заниматься подобными делами, и он не знал, как себя держать. Но не успел он обдумать, что ему говорить, как дверь открылась и перед ним появился советник, маленький жирный человечек без пиджака, в рубашке с короткими рукавами.

Иоахим пробормотал что-то вроде приветствия и спросил, нельзя ли ему войти. Но уже в полутемном коридоре он понял, что явился совершенно некстати. Кругом стояли ящики и чемоданы, а сквозь приотворенную дверь в комнату видны были раскрытые шкаф и комод.

Доктор Фишер не очень-то дружелюбно рассматривал незнакомого парня и наконец сказал, словно желая объяснить всю эту кутерьму, что и ему приходится переезжать, его выселяют из квартиры.

У них дома такая же история, ответил Иоахим, неожиданно нашедший нить, за которую и ухватился. Его отец, рассказал он, был рядовым членом партии, а теперь его уволили с железной дороги и у них нет ни гроша. А так как он слышал, что доктор Фишер... Радлов запнулся, но потом, мгновенно решившись, развернул свой пакет и спросил бывшего советника:

— Не хотите ли приобрести?

Зная, что Фишер тоже был нацистом, он считал, что они быстро найдут общий язык.

Так и случилось, доктор Фишер несколько смущенно захихикал, пощупал шерсть, осведомился о цене и без лишних слов выложил на стол пятнадцать стомарковых бумажек.

Юноша был настолько ошарашен, что даже не заметил, с какой быстротой за ним заперли дверь. Он и не подозревал, что застал советника в самый разгар сборов, потому что тот решил бежать на Запад, и принял Иоахима за шантажиста.

Иоахим несказанно обрадовался деньгам, благодаря которым мог теперь помочь родителям. Сбегав к Муку и отдав ему тысячу марок, он вернулся домой и с гордостью пошел к матери. Та вначале ни за что не хотела брать деньги и, только выслушав историю этих бумажек, заперла их в кухонный шкаф. Нежно, однако не без упрека в голосе она сказала:

— Но больше этого не делай, Ахим.

И все-таки Радлов чувствовал, что мать рада — ведь теперь ей не придется продавать сервиз.

Вскоре вернулся отец. Его хлопоты оказались тщетными.

Новая квартира Радлова находилась в Нижнем городе, на Вальгассе, как раз напротив пивной Стефана, которую Гензель превратил в молодежный клуб. Она была куда меньше их прежней и состояла всего из одной комнаты и небольшой каморки. В комнату, служившую одновременно гостиной и спальней родителей, попадали прямо с лестничной площадки. Кухни не было. Нишу с плитой мать отделила от комнаты занавеской.

В каморке поселился Иоахим. Непосредственная близость их квартиры к молодежному клубу ему вовсе не нравилась, того и гляди встретишь Гензеля.

Семья Радлова постепенно свыклась с новым жилищем. Как-то раз, за ужином, мать даже сказала:

— Все могло сложиться и хуже. Другие потеряли больше, чем мы...

Отец совершенно изменился. Он все еще был подавлен, но тем не менее словно очнулся от летаргического сна. Теперь ему снова хотелось работать.

— Сторожем я еще, пожалуй, могу быть,— сказал он.

Однажды вечером к ним зашел Ганс Мук. Иоахим обрадовался, увидев на пороге сына аптекаря, и подумал: «Хоть один еще помнит о нас». Но радость скоро сменилась разочарованием. Едва они уселись в каморке на узкую кровать, как Мук с упреком сказал:

— Мог бы меня по крайней мере известить о том, что вы переезжаете.

— Да ведь все произошло слишком быстро,— оправдывался Иоахим,— времени не было. К тому же мы надеялись до последней минуты...

— Ну, ладно, ладно. Что с материалом?

Иоахим заметил быстрый недоверчивый взгляд, который бросил на него Мук, и удивленно сказал:

— Конечно я взял его с собой.

Вдруг ему стало ясно, что Мук пришел вовсе не ради него. Он, видно, испугался, что Иоахим удерет, забрав отрезы.

Мук почувствовал, что он раздражен, и живо отозвался:

— Я вовсе не подгоняю тебя, но мне хотелось бы кончить наше дельце...

Иоахим обиделся:

— Можешь забирать свои отрезы, если не доверяешь.

Мук попытался успокоить его.

— Пойми меня, Иоахим,— сказал он, избегая, однако, смотреть Радлову в глаза.— Расписка с твоей подписью, собственно говоря, недействительна. Ты же еще несовершеннолетний, и ее должен был бы гарантировать твой отец. Но с него нечего взять, особенно теперь, раз вы переселились в этот рабочий район...

Так вот где собака зарыта! И впервые Иоахиму стало ясно, в какое положение он попал. Узенькая комнатка, со стен осыпается штукатурка, нищенская мебель, а на нем самом старый, во многих местах залатанный костюм. Какой контраст в сравнении с этим ухоженным элегантным аптекарским сынком. Значит, вот в чем дело: когда он жил в Новом городе, Мук избрал его своим компаньоном, но теперь он для этой роли не годится, теперь ему нельзя доверять. Тьфу, черт! Взять бы да попросту выставить Мука за дверь!

Но Мук уже встал и, подходя к двери, заявил:

— Даю тебе еще срок. Я, конечно, понимаю, что ты хочешь заработать. Но если не продашь отрезы — верни их.

И он вышел на улицу.

Иоахим много дней не показывался на «Бродвее», не хотел иметь дела с ребятами из Верхнего города. Но втайне он надеялся, что кто-нибудь из его школьных товарищей заглянет к нему. Хоть один-то порядочный парень найдется среди них. Но никто не приходил. Он чувствовал себя одиноким и забытым и часто вечерами подолгу стоял у окна. Обычно около пяти из-за угла появлялся Гензель и отпирал двери клуба. Вскоре после него приходили юноши и девушки, и Иоахим еще долго слышал доносившиеся оттуда смех и пение. У них был стол для пинг-понга, а как-то раз они принялись разучивать новую песню. Поначалу дело не ладилось, и первую строфу они повторяли много раз:

Чтоб ты не блуждал в потемках,
Чтоб мог ты легко вздохнуть,
Чтоб жил ты на свете лучше,
Открыт пред тобою путь!

Мелодия долго звучала у него в ушах, а благодаря повторениям, он, сам того не желая, выучил вместе с ними и текст. Радлов не раз задавал себе вопрос: в чем же их цель?

С тоской глядел он на окна клуба, сознавая, что исключен из общества этой молодежи. Но стеснялся пойти к Гензелю и спросить: «Можно и мне прийти к вам?»

Уж лучше еще раз сходить на «Бродвей». Однако там все произошло именно так, как Радлов и ожидал. Старые товарищи делали вид, что не замечают его, и держались в стороне. Никто не пригласил его пройтись вместе. Они, как и прежде, слонялись маленькими группами. А он стоял в одиночестве, сгорая от стыда, что пришел к ним. Из упрямства он начал насвистывать мелодию песни, которую пели в молодежном клубе.

Он все еще насвистывал, когда сзади его хлопнул по плечу Вацман:

— А здорово они тебя обработали,— съязвил он.

Иоахим смерил его взглядом с головы до ног, не переставая насвистывать. Коренастый Вацман с сытым красным лицом был похож на откормленного быка, и Иоахим подумал: «Сразу видно, что его отец мясник». Они всегда недолюбливали друг друга и часто дрались на школьном дворе.

Иоахим перестал свистеть и ответил:

— А тебе какое дело?

Вацман втянул голову в плечи, как боксер перед атакой.

— Всяк на свой лад подыхает. В один прекрасный день заведение Гензеля взлетит ко всем чертям, а сам он будет болтаться на суку. Очень возможно, что и тебе перепадет при этом.

И ушел, размахивая короткими толстыми руками, а Иоахим посмотрел ему вслед и равнодушно повел плечами. Он не обратил внимания на его угрозы — Вацман всегда отличался болтливостью...

Через два дня, когда Радлов, очнувшись в своей постели с перевязанной головой, старался сообразить, как же он сюда попал, слова Вацмана вспомнились ему не сразу. В голове гудело, мысли путались. Еще не вполне придя в себя, он увидел над собой озабоченное лицо матери и, с трудом ворочая языком, спросил:

— Что, очень плохо?

Мать покачала головой и стала поглаживать его руки. Ему было приятно ее прикосновение, он улыбнулся и заснул.

Проснувшись, он увидел у своей кровати Гензеля. Худощавый бледный юноша сказал ему:

— Тебе нужно беречься, много говорить нельзя. Я зайду еще.

Несколько дней спустя Радлов чувствовал себя уже значительно лучше. Гензель навестил его, как обещал, и принес букет полевых цветов и пачку сигарет.

Иоахим улыбнулся ему, не зная, что сказать. Гензель торопливо положил букет и сигареты на кровать, словно боясь обнаружить свои чувства.

— От всех нас,— сказал он.— На сигареты каждый дал сколько мог.

— Спасибо.

— Молчи, это мы тебе должны спасибо сказать.

Разговор не получался, а Радлов подумал: «Не поймешь, то ли у него еще что-то на уме, и он не решается это выложить, то ли зашел просто из приличия».

Гензель смущенно ерзал на краю кровати, и Иоахим, которому ничего другого не пришло в голову, предложил:

— Давай выкурим по одной? Мне, правда, еще нельзя, врач не рекомендует, а мама следит, как цербер. Но если открыть окно, она не заметит...

Гензель рассмеялся и открыл окно. А когда они закурили, сказал.

— Ты уж извини за тогдашнее, я ведь не знал, что ты наш...

Иоахим нетерпеливо отмахнулся. Но Гензель не отступал.

— Собственно говоря, ты ведь тоже рабочий парень,— продолжал он,— и если бы не ты, эти негодяи разгромили бы наш клуб.

— Есть о чем говорить,— Иоахим даже приподнялся.

— Конечно есть,— Гензель с силой выпустил дым из ноздрей.— Конечно есть,— повторил он.— В этом-то и дело.— На его худом лице уже не было смущения.— Другие бы и пальцем не шевельнули, притворились бы глухими. Ты и представить себе не можешь, чем до сих пор у многих, даже у рабочих ребят, голова забита. Хватает и таких, кто нас знать не хотят, обзывают по-всякому. Но теперь правда, кажется, начала и до них доходить.

— С чего бы это?

— Верно, ты ведь и не знаешь. Эти свиньи намалевали свои «петли» у нас на двери и внутри, в помещении.

Иоахим чуть заметно побледнел.

— «Оборотни»?

— Да, «оборотни». Но полиция уже напала на их след. А ты никого не узнал?

Иоахим ответил не сразу. С трудом старался он подавить волнение. Ни за что и никогда не подумал бы он, что это были «оборотни». Пойди он тогда к «Камню Наполеона», ему пришлось бы участвовать в налете на молодежный клуб. Какая бессмыслица! Этим же ничего не изменишь.

— Нет,— ответил он, запинаясь.— Я никого не узнал.

— И не подозреваешь, кто там мог быть?

Иоахим отрицательно замотал головой. И подумал: «Даже если бы знал, все равно не сказал бы тебе. Выдавать я никого не намерен. Мне наплевать, что они там делают, я с ними ничего общего иметь не хочу. Пусть оставят меня в покое».

Однако о том, что избили его именно «оборотни», он не подумал.

— Жаль,— сказал Гензель, пожимая плечами,— но ничего не поделаешь.

— А я ведь совсем случайно попал туда,— продолжал Иоахим.— Никак не мог уснуть. Ночь была душная, и окно открыто. Я разозлился на шум и хотел закрыть окно. Тут и заметил, что напротив крадутся какие-то тени, что-то звякнуло. Всего разобрать я не мог, ночь-то была темная, а фонари не больно ярко горят. Но тени внизу трудились усердно, хотя очень тихо и осторожно, и меня просто жуть взяла. Я заподозрил неладное и в одной рубашке и спортивных брюках слетел вниз. Ну а потом и произошло все...— Он смолк и отшвырнул окурок, который описал дугу и вылетел в окно.

Гензель, внимательно слушавший его, спросил:

— А что было дальше?

Иоахим повернулся на бок и оперся головой на руку. Впервые, с тех пор как сознание вернулось к нему, воспоминание о той ночи ярко встало перед его глазами.

— А потом все пошло очень быстро,— сказал он.— Факт. Во-первых, я потерял туфлю на лестнице, и найти ее было нелегко, ведь я не зажег света. Я открыл входную дверь, тихохонько и медленно-медленно — она, надо тебе сказать, скрипит,— и прислушался. Что-то несколько раз

забренчало, как если бы взламывали замок. И тут я увидел, что замок они открыли и уже вошли внутрь. Один из них зажег карманный фонарик, и луч света заметался по стенам. А другой остался у двери караулить.

— Как же он выглядел? — Гензель нагнулся к Иоахиму, все в нем напряглось от ожидания.

— Не знаю, помню только одно: он закрыл лицо чем-то черным. Кажется, это галстук гитлерюгенда. А сам он маленького роста, приземистый...— Иоахим испуганно замолчал. Он отчетливо вспомнил все — и того парня в черной маске, коренастого здоровяка, который прохаживался вдоль улицы, а руки у него висели, словно у обезьяны. В тот же миг в его сознании всплыли слова Вацмана, и Иоахим понял, что на посту стоял именно он, бывший юнгцугфюрер.

— Маленький? В черной маске? А больше ты ничего не помнишь? — Гензель был явно разочарован.

Иоахим с ужасом понял, что невольно впутался в такие дела, от которых хотел уйти. Невольно он стал соучастником. Вацман-то свинья порядочная, он ничего другого, кроме тюрьмы, не заслуживает. Но дело ведь не только в Вацмане, за ним стоят и другие, если он выдаст Вацмана, провалятся и они. А почем знать, кто это; вернее всего — молодчики из Верхнего города, возможно, те самые, кто отворачивались от него... Теперь он мог бы подложить им свинью. Но нет, доносчиком он никогда не был. Со всей этой историей он ничего общего иметь не хочет, к черту, пусть оставят его в покое.

— Нет,— с усилием проговорил он,— больше я ничего не знаю. Я прыгнул на него и, кажется, закричал, точно не припомню. Остальные выскочили и бросились на меня, один из них стукнул меня кастетом или чем-то еще. Я видел, когда он замахнулся, как что-то блеснуло у него в руке, и успел только отвести голову. Удар не достиг цели, кастет лишь скользнул по моей голове, но этого оказалось достаточно. Дальше я уже ничего не помню.

— И ты никого не узнал?

— Все произошло слишком быстро, и на всех были черные маски. Остальных он действительно не узнал.

— Да ведь они, сволочи, могли убить тебя.— Голос Гензеля дрожал от едва сдерживаемой ярости.— Только бы их схватить. Кто знает, кого они еще укокошат.

Иоахим вспомнил об угрозах Вацмана и сказал себе: «Надо бы все-таки предупредить Гензеля. Но, черт побери, это не годится, не то сам влипну. Тогда выплывут наружу и подбитый танк, и Железный крест, и история с Брандтом. Со мной произойдет то же, что с блоквартом в Берлине: приедут русские и заберут».

Терзаемый сомнениями, он все-таки сказал:

— Тебе теперь надо быть очень осторожным.

Гензель звонко расхохотался.

— Ты в точности как моя мамаша. Она повторяет это уже четыре года.— Он помолчал, а затем продолжал: — Наша группа передает тебе сердечный привет и просит сказать, что все желают тебе поскорей выздороветь и приглашают наконец заглянуть к нам.

Иоахим ответил, раздираемый противоречивыми чувствами:

— Хорошо. Приду, как только встану на ноги.

А сам подумал: «Почему бы и нет? Можно сходить, взглянуть на это заведение».

Когда Гензель уже ушел, Радлов долго раздумывал. Он не знал, как ему относиться к этому бледному юноше, и безуспешно пытался понять причины, побудившие Гензеля создать антифашистскую молодежную группу.

Две недели пролежал Иоахим в постели. А потом выполнил свое обещание — отправился в молодежный клуб. С первого же взгляда он заметил перемены, происшедшие с того дня, когда он случайно заглянул к ним. Радлову понравились чисто выбеленные стены молодежного клуба, на которых висели портреты Ленина, Сталина и Тельмана, а на одной он увидел лозунг: «Учиться, учиться и еще раз учиться». Правда, буквы кое-где были потолще, кое-где потоньше, но это делу не мешало. В глубине зала стоял стол для пинг-понга и старенький патефон, другие столы были покрыты скатертями, сшитыми девушками, как рассказал ему Гензель. Потом пришли девушки и ребята и здоровались с Радловом как со старым знакомым. Скоро беленький мячик весело запрыгал по столу, а один из двоих ребят в бескозырках — он был в ней и в тот раз — завел патефон. Оба эти паренька очень понравились Радлову. Они были похожи, как братья, оба высокого роста, блондины с голубыми глазами, и все звали их «два капитана». Всего здесь собралось десять юношей и две девушки. Но девушки не произвели на Радлова никакого впечатления, они показались ему грубоватыми и чересчур бесцеремонными; третья, Эрна, пришла попозже. Изящная, с тонкими чертами лица, обрамленного темными локонами, она понравилась ему. Все вели себя непринужденно и шумно, смеялись и шутили, втянули в разговор и Радлова. Когда же наконец выдалась спокойная минутка, Гензель громко сказал:

— Внимание, друзья! — Все стихли, и он продолжал: — Сегодня к нам приедут гости. Товарищ Хельдорф, бургомистр, хочет с нами побеседовать.

Его слова сопровождал шепот одобрения. Кто-то выкрикнул:

— А зачем?

— Увидишь,— отпарировал Гензель,— мне сегодня утром он уже показал, где раки зимуют.

Кое-кто рассмеялся, оба «капитана» одновременно воскликнули:

— Хо-хо!

А Эрна спросила:

— Но почему же?

— Он сказал, что все мы здесь шляпы и что толку от нас ни на грош,— крикнул Гензель, а «капитаны» снова пробурчали свое «Хо-хо!».— Конечно же, он прав,— продолжал Гензель. —После воскресника мы больше ничего не сделали.

— Ну а что он еще сказал? — спросила Эрна.

Все подвинулись ближе, но Гензель отрицательно покачал головой.

— Подождите, он скоро придет и всем нам задаст.

Остальные просили продолжать. Гензель заинтересовал их, и им не терпелось узнать, чего хочет от них бургомистр.

— Он упрекнул меня,— начал Гензель,— за то, что мы мало работаем с молодежью. Ясно же, он прав. Наша группа за последнее время ничуть не увеличилась. Мы видим здесь все одни и те же лица. А ведь воскресник прошел очень удачно, народу собралось больше, чем мы ожидали.

Что верно, то верно. Иоахим поразился, как много молодежи из Верхнего города приняло участие в воскреснике. Он еще помнит споры

на «Бродвее», когда Гензель уехал на своем грузовике. Большинство высказывалось против, и все-таки на другой день почти все взялись за кирки и лопаты. Даже Мук, который громче всех кричал «без меня», пришел на работу.

— Но мы не использовали нашего успеха,— продолжал Гензель.— Мы играли в пинг-понг и разучивали песни. Все это очень хорошо и правильно, но мы упустили главное — не работали с молодежью, не разъясняли ей преимуществ нашего демократического порядка.

— И тем, из Верхнего города? — спросил Иоахим.

— И тем тоже. вернее говоря, именно тем.

— Ну, на них вы обломаете зубы.

— Не скажи, в Новом городе тоже много таких, кто по горло сыты войной. У них сейчас еще нет точки опоры, они пока не разобрались, к кому примкнуть. Если бы они хоть раз заглянули к нам, мы могли бы с ними поговорить.

— Не верю я в это,— ответил Радлов. Он нахмурился, вспомнив унижение, которое ему пришлось пережить, и в нем закипела злоба на своих бывших сотоварищей.— Если они и придут, так только из страха перед вами.

— А такой, как Пфюцнер? — поймал его на слове Гензель.— Он всегда был против нацистов. Теперь он основал ХДС *. Или инженер Бамберг, который собирается создать партию либерал-демократов? Может, и они только из страха это делают?

— Этого я не думаю! Но все они там что-то скрывают. Уж я-то их знаю!

Оба юноши и их слушатели так увлеклись спором, что даже не заметили, как в комнату вошел бургомистр.

Хельдорф, высокий и худощавый, с загорелым лицом и красными от бессонницы глазами, был явно переутомлен и измучен. Внешнему виду бургомистра совершенно не соответствовали его движения — энергичные, быстрые, лишенные нервозности и торопливости. Да и ясный, почти юношеский голос никак не вязался с седыми волосами.

— Спорьте, спорьте! Главное — спорьте! — крикнул он еще с порога.— Только так и можно вас расшевелить.

Оба боевых петуха сразу умолкли, и Радлов, видевший бургомистра впервые, по стародавней привычке привстал со стула. Но Хельдорф положил ему руку на плечо и усадил на место.

— О чем же речь? — спросил он.

— Радлов считает, что ребят из Верхнего города не переубедишь,— ответил Гензель.

А Иоахим пробурчал:

— Нет, не переубедишь.

Хельдорф пододвинул стул и сел. Быстрым проницательным взглядом окинул он Радлова, потом дружески кивнул ему, как старому знакомому, и задумчиво произнес:

— Так это ты, Иоахим Радлов...

Иоахиму показалось, что с его именем у Хельдорфа связаны какие-то воспоминания.

— Ты храбро действовал,— сказал бургомистр,— и если ты честный человек, то признаешь, что три месяца назад так бы не поступил.

Иоахим пожал плечами. «Если бы я знал,— подумал он,— что это «оборотни» громят клуб, неизвестно, спустился ли бы я».

---

* Христианско-демократический союз.

— Ты молчишь,— продолжал Хельдорф,— знаешь, что так оно и есть. По отношению к вам, молодежи, совершено много преступлений. Нацисты вас околпачили. Теперь вам надо прежде всего вновь вернуть веру в то, что стоит жить и работать. Войной большинство из вас сыты по горло, но вы стали недоверчивы и не знаете, что будет с вами дальше. Мы все вместе должны вам помочь.

Манера Хельдорфа говорить понравилась Радлову. Не столько смысл сказанных им слов заинтересовал его, сколько именно та дружеская манера, с которой он, словно это само собой разумелось, обращался с присутствующими, как с равными. Бургомистр, как видно, не любил громких фраз, все, что он говорил, было простым, будничным, но за этой будничностью скрывалась непоколебимая убежденность. Хельдорф напомнил Радлову Лаутербаха и Гартмана — они говорили так же.

— Молодежь пока еще не может разобраться. Не только в Верхнем городе, Иоахим Радлов. Но мы хотим сотрудничать со всеми, кто честно готовы отказаться от нацистов и от их идеологии. Это наше единственное условие. Кто отмежевывается от фашистов, тому можно помочь. Конечно, тут нужен не один день, процесс этот требует времени и прежде всего терпения. Какое сейчас сложилось положение, мне вам объяснять нечего. Речь идет о жизни и смерти. А раз мы все хотим жить, нам надо собственными силами выбираться из развалин.— Бургомистр от волнения закашлялся, а затем продолжал: — Наши враги — это заядлые нацисты, милитаристы и капиталисты, те, кто немало зарабатывали на каждой американской бомбе, упавшей на немецкую землю...

Он не договорил — его резко прервал Иоахим:

— Неправда.

Оба «капитана» вслед за ним воскликнули:

— Хо-хо!

Радлов не слушал их. Обвинения, которые выдвигал Хельдорф, были ему непонятны. Иоахим при этом не представлял себе ничего конкретного.

— Дорогой Иоахим Радлов,— сказал бургомистр,— наш металлургический завод принадлежал концерну Флика. А тот, в свою очередь, заключил соглашение с американским стальным картелем. Он зарабатывал на каждой американской бомбе, как и американцы на каждом немецком снаряде.

— Этого не может быть,— с усилием проговорил Радлов.

— Не веришь, сходи на завод. Почитай документы. Придется, пожалуй, опубликовать их в газете.

Иоахим ничего не ответил. То, о чем Хельдорф сейчас рассказал, обрушилось на него лавиной, которой он всеми силами пытался сопротивляться, чтобы его не увлекло в пропасть. Одна мысль упорно стучала в мозгу: невероятно! Смерть миллионов людей, веривших, что они защищают родину, оказалась бы бессмысленной. Подобное преступление чудовищно! И все-таки: с какой уверенностью отвечал ему Хельдорф. Откуда она у него? И разве он сам не задавал себе вопроса: за что погиб Клаус? Неужели за это? Нет, нет и еще раз нет.

Исступленно твердил он про себя «нет», чтобы подавить грызущие его сомнения. Особенно когда он думал о Брандте. Он пытался освободиться от этих сомнений и вслушаться в то, что обсуждали окружающие. Но слова о помощи в уборке урожая не доходили до его сознания. Все вновь и вновь вставал перед ним вопрос: неужели все, что рассказал Хельдорф, верно?

Он долго еще сидел мрачный и молчаливый. Все уже ушли, остались только Гензель и Эрна. Гензель, видимо догадывавшийся о том, что творилось в душе Иоахима, заметил мимоходом:

— Наш бургомистр, кажется, вывел тебя из равновесия? Он отличный человек.

— Не могу поверить, что его слова — правда.

Они вышли на улицу, и Гензель, запирая дверь клуба, ответил:

— А все-таки это правда.

И Эрна подтвердила:

— Я собственными глазами видела документы.

Радлов пожал плечами. Он стоял в нерешительности, слишком взволнованный, чтобы сразу идти домой.

Гензель подхватил Эрну под руку, они уже отошли на несколько шагов, а Иоахим, глядя им вслед, думал: «Мне вообще не нужно было сюда приходить. Они тут любого с ума сведут. Теперь я и сам не отличу, где правда и где ложь. А эти двое... как влюбленные. И я бы тоже мог вот так идти рядом, стоит мне вернуться в Берлин. И что, черт подери, держит меня здесь?»

Тут Эрна окликнула его:

— Иоахим, а ты разве не идешь с нами?

Они остановились и помахали ему. Иоахим обрадовался, что о нем не забыли. Когда он их догнал, Гензель сказал ему:

— А ты не стесняйся. Бери Эрну под руку с другой стороны и пошли.

Втроем они зашагали вдоль берега реки.

Многое понял Иоахим в этот вечер.

В долину с окружающих холмов полз белый туман, солнце заходило за их вершины, и небо пылало яркими красками.

До молодых людей, словно отдаленное грохотание грозы, доносился шум завода, время от времени его прерывало резкое дребезжание машин. Гензель обнял девушку, а Эрна доверчиво положила голову на плечо юноши. Радлов смутился и подумал: «И зачем они меня с собой потащили, если хотят побыть вдвоем?» Он невольно вспомнил об Урсуле, и ему захотелось, чтобы она тоже была здесь и он мог бы обнять ее за плечи.

Несколько минут царило молчание, но вдруг его нарушил Гензель:

— Тебе, Иоахим, следовало бы, собственно говоря, поступить на завод. Если хочешь, я поговорю с отцом. Он теперь председатель производственного совета.

Впервые Гензель назвал Радлова по имени, и Иоахиму стало неприятно, что он никак не может вспомнить имя своего бывшего школьного товарища. Предложение застало юношу врасплох, он ничего не ответил. У него ведь другие планы, и совесть его не совсем чиста — он все еще надеялся выгодно сбыть второй отрез, а на выручку продержаться еще некоторое время и подыскать себе подходящее место. Когда он вспоминал укоризненные взгляды отца, ему казалось заманчивым сказать дома: у меня есть работа, завтра я иду на завод. Кроме того, деньги, которые он там заработает, помогут ему вернуться к Урсуле.

Гензель продолжал:

— Ты сможешь стать литейщиком, а потом и мастером. Даже инженером. Или думаешь, отец смог бы оплачивать твое учение?

— Нет. Особенно теперь.

— Теперь ты будешь учиться даром, дорогой мой. Ни одного пфеннига не придется платить. А такие ребята, как ты, нам на заводе нужны.

— Я тебя не понимаю...— Иоахим не договорил. Он не решился продолжать, боясь обидеть Гензеля.

Но тот уже спросил:

— Чего же ты не понимаешь?

— Откуда ты все знаешь и как это получилось, что ты так внезапно переметнулся, когда пришли русские, хотя учился со мной в одном классе? И ты тоже был членом гитлерюгенда.— Он умолк, испугавшись своих слов. Не зашел ли он слишком далеко?

Гензель сразу стал серьезным. Но уголки его рта вздрагивали, словно он улыбался.

— Милый мой,— сказал он, растягивая слова.— Ты сразу хочешь взять быка за рога. В трех словах всего не объяснишь.

Он глубоко вздохнул, как человек, которому надо разбежаться, и, казалось, обдумывал, как лучше начать.

— Когда ты еще верил в нашу победу,— наконец заговорил он,— я вместе с Эрной уже путешествовал по деревням, не правда ли? — он с улыбкой взглянул на девушку, и та ответила ему улыбкой.— Мой отец был электромонтером на заводе, и ему приходилось бывать повсюду, в разных цехах, даже у иностранных рабочих. У них существовала группа Сопротивления, и отец тайком смастерил им приемник, который принимал Москву и Лондон. На заводе была также группа, выпускавшая листовки. Отец выполнял обязанности связного, а Эрна и я развозили листовки по деревням, где тоже были товарищи!

Так вот, значит, как! Он учился в одном классе с человеком, который даже получал стипендию и послушно вскидывал руку, крича «хайль Гитлер», когда надо было. Оказывается, этот бледный долговязый парнишка, которого никто всерьез не принимал, уже тогда боролся против Гитлера! И никто об этом не догадывался. Иоахим покачал головой. Жизнь, видимо, устроена совсем иначе, чем было написано в учебниках.

— Конечно, я был в гитлерюгенде,— продолжал Гензель.— Все обратили бы внимание, если бы я не вступил в союз, и тем самым я повредил бы отцу. Кроме того, форма мне очень помогала, когда я разъезжал по деревням. И в том, что я учился в гимназии, тоже заслуга отца. Тот с пеленок твердил: «Тебе надо учиться, ведь когда рабочие возьмут власть, им понадобятся образованные люди». Ну я и учился.

— Я чего-то не понимаю,— сознался Иоахим.— Вот вы говорите, что во всем виноват Гитлер, он хотел войны, а потом вы же твердите, что войну затеяли капиталисты. А что будет теперь, никто объяснить не может.

— Нам приходится расхлебывать кашу, которую заварили нацисты. Но на этот раз мы покончим с ними, создадим демократию, в которой не будет места ни нацистам, ни капиталистам. И если ты заглянешь в газеты, то увидишь, что скоро страны-победительницы встретятся в Потсдаме. Там они обсудят вопросы нашей новой демократической системы.

— Ах, Руди, нельзя так с ним говорить,— заметила Эрна.— Ты же видишь, у него в голове полная путаница.

«Значит, его зовут Руди,— подумал Иоахим,— как быстро я забыл. А насчет моей головы малютка может не беспокоиться».

Они еще долго болтали и спорили, Радлов прислушивался к доводам Гензеля с некоторым недоверием. Кое в чем тот был все же прав: богатые потому и богаты, что они заставляют других работать на себя. При этом он вспомнил Брандтов и их строительные конторы, виллу, машину. Вспомнился ему и Губертус Брандт, тот, с кого он брал пример.

И Радлов понял: между ним и Брандтом всегда существовала пропасть. Гензель был ему много ближе.

Так случилось, что через два дня Иоахим поступил на завод чернорабочим. Но в то, что он станет когда-нибудь инженером, он не верил.

XIV

Каждое утро в пять часов Иоахим вылезал из-под одеяла, а под вечер, усталый и разбитый, возвращался домой. Спину ломило от тяжелой работы, руки покрылись ссадинами и мозолями. Он возил тачки, нагружал их железным ломом и выполнял всевозможную вспомогательную работу. За это он по пятницам получал сорок пять марок — недельную зарплату. Десять марок оставлял себе, остальные отдавал матери. Видя, как у нее радостно блестят глаза, он забывал, каким тяжким трудом добыты деньги. У отца все еще не было работы. Он по-прежнему сердито и односложно отвечал на вопросы, словно ему было безразлично, чем занимается сын. Но когда Иоахим однажды сказал, что надеется выдвинуться и зарабатывать больше, отец бросил на него внимательный взгляд.

Работал Иоахим охотно. Он впервые попал на металлургический завод и везде находил для себя много интересного. Так, его увлек кузнечный цех, где полуголые люди плясали вокруг раскаленного металла. Но самое сильное впечатление произвел на него литейный. Там стояло шесть печей, темных, с разверстой пастью. Правда, действовали из них только три. Однажды Иоахим случайно присутствовал при плавке металла. Раскаленный белый поток вырвался из печи, осветив цех багровым светом. Во все стороны брызгами разлетелись искры, в лицо Иоахиму полыхнуло горячей волной, но раскаленный ручей принял данное ему человеком направление — в изложницы. Потом изложницу подхватил кран, и Радлов, провожая ее глазами, увидел наверху, у пульта управления, напряженное девичье лицо. Девушка внимательно следила за изложницей. Это была Эрна, подруга Руди Гензеля.

Выпуск металла произвел на Иоахима такое впечатление, что он в тот же день обратился к своему мастеру:

— Я хочу стать литейщиком. Нельзя ли мне перейти в литейный цех?

Но мастер рассердился:

— С ума сошел! Литейщиком! Пойдешь лом собирать, там не хватает рабочих рук.

В следующий понедельник Радлову действительно пришлось собирать лом. Это его злило, так как он втайне надеялся, что мастер все же передумает и пошлет его в литейный. Он чувствовал себя обойденным и несчастным по сравнению с Эрной, ведь она, сидя у пульта управления, несла всю ответственность за кипящий металл и за человеческие жизни. Но очень скоро он понял, что при сборе лома тоже нужны определенные профессиональные знания. Надо было научиться отличать в груде металлического лома железо от цветных металлов и литье от ковки. Он восхищался теми рабочими, кто уверенно судили о качестве железа, которое можно выплавить из разбитых станков.

Его бригадир Эрих Лаукнер — небольшого роста, коренастый, с черной вьющейся шевелюрой, сросшимися на переносице густыми бровями и огромным ястребиным носом — был коммунистом и членом антифашистской группы Сопротивления. В бригаде работали еще две женщины и шесть мужчин. Но, кроме Лаукнера, никто из них и слышать ничего не хотел о новом укладе жизни. Они ругали и проклинали скуд-

ную пищу, русских, однако работали, как лошади, и все смеялись над Лаукнером, который по любому поводу горячился и кричал:

— Из грязи мы можем выбраться только сами! Тут нам никто не поможет. Хотим есть, значит, надо работать.

Какой-то длинный, тощий рабочий иронически заметил:

— А русские что? Они за наш счет набивают себе брюхо! Почему же они не пришлют нам пожрать, а? Раз уж в России рабочий рай?

Но Лаукнер резко ответил:

— Ты лучше помалкивай, Миснер. Сам-то ты в штурмовиках ходил, прямехонько из «Стального шлема» в СА попал. Будь доволен, что мы тебя не посадили.

Но тощий Миснер стал взволнованно защищаться:

— В «Стальной шлем» я вступил только из-за квартиры, а в тридцать четвертом ушел из СА. Ты отлично знаешь, что мне тогда сказал господин директор Крейсиг...

— Плевать я хотел на твоего господина директора.

Подобные споры возникали очень часто, и Радлову, который попытался как-то раз сгладить острые углы, досталось и от бригадира и от других. С тех пор он слушал молча, но про себя думал, что когда Лаукнер не горячится, то он в большинстве случаев прав.

Одно только его удивляло: многие не верили, что им удастся собственными силами выбраться из хаоса, но при этом так усердно работали, словно были в этом твердо уверены. «Может быть,— размышлял Иоахим,— они хотят работой заглушить свои тяжелые мысли. Но в одном Лаукнер прав: жрать можно, если есть что жрать, а раз ничего нет, то нужно заработать себе жратву. За кастрюли и сковородки мы что-нибудь да получим, пусть это будет хоть сладкий сироп».

Дело в том, что бургомистр обменял в соседнем районе их продукцию на сладкий сироп и уже две недели весь город питался этим сиропом. Иоахим не мог больше выносить его запаха, а рабочие, не переставая, острили по этому поводу, что выводило Лаукнера из себя.

— Лучше буду десять лет жрать этот сироп, чем допущу, чтобы вернулись прежние господа,— гремел он.— Но вам, верно, Крейсиг милее, чем рабочая власть.

Одна из женщин крикнула в ответ:

— Мне все равно, кто теперь правит. Главное — не голодать.

Женщина годилась Радлову в матери, она потеряла на фронте мужа и сына. Лаукнера, который уже снова вошел в раж и хотел резко ответить, отвлек вопрос Радлова:

— А вы считаете, что Крейсиг может вернуться?

Бывший коммерческий директор до сих пор не показывался на заводе. Раньше он жил вблизи Вергенштедта в имении Лобенштейн и ежедневно приезжал на своем темно-синем «мерседесе». Крейсиг был подчинен уполномоченному концерна доктору Дорнхоферу, вервиртшафтсфюреру, который появлялся на заводе всего два раза в год. Дорнхофер был известен среди рабочих как провокатор, но о Крейсиге мнения расходились. Многие твердили, что ведь не может же он действовать так, как хотел бы. Но Лаукнер и другие рабочие объясняли, что Крейсиг просто шпик, хотя доказательств привести никто не мог.

Из прежних руководителей завод не бросил только инженер Бамберг — тот самый, который в Верхнем городе хотел организовать либерально-демократическую партию,— и заводской комитет временно назначил его директором. Лаукнер любил рассказывать, как это произошло:

— Мы ему сказали: «Хоть вы и капиталистический инженер, а дело понимаете. Вы теперь директор, а работать будете для нас, рабочих».

Это случилось всего через пять часов после освобождения города Красной Армией, когда антифашистская группа Сопротивления пришла на завод.

— А Крейсиг,— сказал Лаукнер,— не смеет здесь показаться,— и плюнул, словно от одного этого имени его тошнило,— смелости не хватит.

— Как же дальше жить? — спросила седовласая вдова резким голосом.

— Да мы уж сами все наладим. Без Крейсига.

— Тогда мы никогда ничего, кроме сиропа, не будем жрать,— насмешливо отозвался Миснер.

Иоахим подумал: «А пойдет ли дело? Как могут рабочие руководить таким сложным предприятием, если они уже сейчас из-за каждой мелочи вцепляются друг другу в волосы? Все пойдет вкривь и вкось, и мы в самом деле будем годами получать один сироп». И все-таки уверенность Лаукнера производила на него впечатление. Он вспоминал Гартмана и многих других, кто твердо верили в силы рабочих. А ведь и там всего не хватало. Он вспомнил слова, сказанные тогда Гартманом Лаутербаху: «Мы же все мечтали о том, что власть будет в руках рабочих». Вот власть теперь в руках рабочих, но справятся ли они с ней? Эти вопросы и сомнения мучали Радлова, но он не решался поговорить о них с Лаукнером. «Заорет на меня, и все тут,— думал он,— а вот Гензеля надо бы спросить. Может, они снова сделают Крейсига директором, если он вернется. Они ведь и Бамберга выдвинули только потому, что им самим не справиться, и они это знают».

Но в действительности все произошло иначе.

Однажды светлым солнечным утром на заводе появился Крейсиг. Иоахим и Лаукнер как раз пытались поднять железную балку, когда раздался язвительный голос Миснера:

— Гляди-ка, Лаукнер, вон идет господин Крейсиг.

Лаукнер от неожиданности выпустил из рук балку, и Иоахим, который не мог один удержать такую тяжесть, отскочил в сторону. С грохотом балка рухнула на груду железного лома.

Господин директор шел по заводской территории как ни в чем не бывало. Высокий и сухопарый, в накинутом на плечи пыльнике, лавировал он между грудами лома. Иоахим никогда не видел этого человека и по рассказам рабочих скорее представлял его себе кругленьким и добродушным. Это надменное лицо с поджатыми губами ему сразу не понравилось. «Для него,— подумал Иоахим,— человек начинается только с директора». И тут он увидел, что Лаукнер устремился навстречу Крейсигу.

Все затаили дыхание. Рабочих так поразило появление Крейсига, что в первую минуту они просто не знали, как им держаться, и стояли, беспомощно опустив руки. Раньше всех опомнился Лаукнер.

— Что вам здесь надо? — его голос дрожал от ярости.

Крейсиг, несомненно почувствовавший эту ярость, ответил:

— Но, мой милый Лаукнер...

Однако Эрих не дал ему договорить. Он крикнул:

— Никогда не был для вас «милым»! А теперь тем более!

Рабочие, слышавшие все, подошли ближе. Как видно, по заводу с быстротой молнии распространилась весть о том, что приехал Крейсиг. Радлов увидел, как из кузнечного цеха выскочили обнаженные до пояса

люди, они даже не успели набросить на себя пиджаки. Рабочие спешили отовсюду — из литейного, из кузницы, из формовочного... а вот уже бежит отец Гензеля, председатель заводского комитета... Вокруг Лаукнера и директора собиралось все больше народу, все теснились, толкались и оттерли Радлова. Вот уже сбежалось больше двухсот человек.

— Вам здесь делать нечего,— кричал Лаукнер,— убирайтесь отсюда! Вам хотелось бы опять сесть в свое кресло, теперь, когда мы уже пустили производство.

Кое-кто поддержал его:

— Верно, Эрих, задай ему перцу.

Крейсиг, кажется, что-то ответил, но Иоахим не разобрал, что именно, так как в первых рядах поднялся ропот. Кто-то крикнул:

— Дайте же и Крейсигу сказать!

Другие поддержали его. Крейсиг, заметивший, что кое-кто готов его выслушать, сделал приветственный жест и начал:

— Коллеги...

— Мы тебе не коллеги!

— Ха-ха-ха! Коллеги! — раздался хохот, но директор продолжал свое:

— Дирекция благодарит вас за ваши усилия...

— Плевали мы на это!

— Теперь мы и без дирекции живем!

Но снова раздались голоса:

— Дайте же ему сказать!

Смех, свистки, крики. Прошло некоторое время, пока была восстановлена тишина и Крейсиг смог продолжать:

— Правление в Дюссельдорфе поручило мне сообщить вам, что мы получили достаточно заказов...

— Не Дорнхофер ли?

— Этого провокатора еще не вздернули?

— Тише!

— Дай ему в морду, Эрих.

Люди шумели и кричали, перебивая друг друга. Крейсиг из последних сил крикнул:

— Правление хочет помочь вам продовольственными посылками.

Сразу стало тихо. Это неожиданное для всех сообщение подействовало умиротворяюще. За спиной Радлова кто-то пробормотал:

— Об этом можно поговорить.

Иоахим оглянулся, за ним стоял полуголый кузнец, он был так худ, что все ребра выступали под кожей. Такими же истощенными были здесь многие.

Директор, не ожидавший, что его слова так быстро подействуют, сразу же воспрянул духом.

— Да-да, коллеги,— продолжал он,— правление в Дюссельдорфе дало мне даже письменное подтверждение.

Теперь уже никто не ворчал в ответ на такое обращение. Почти все с любопытством смотрели на белый листок бумаги с напечатанным на машинке текстом, который Крейсиг обеими руками держал над головой.

— Продукты и заказы,— повторил он, и голос его сорвался.— Мы пустим в ход еще три печи, тогда формовщикам не придется выполнять вспомогательную работу...

— Откуда это вам известно? — перебил его кто-то, но другие зашикали:

— Тише! Дай ему сказать.

— Все будет опять в порядке,— настойчиво продолжал директор.— Я могу вам также сообщить, что доктор Дорнхофер арестован американцами. С ним мы больше дел вести не будем. Тем лучше и для нас. В эти тяжкие времена мы все должны быть вместе, коллеги, один за всех и все за одного. Тогда у нас будет настоящая демократия...

— Минутку! — Старику Гензелю удалось протиснуться вперед.— Минутку, господин Крейсиг,— прервал он бывшего директора и обратился к рабочим:— Слышали вы эти речи насчет демократии, коллеги? Вы внимательно слушали? Да, господин Крейсиг, на этот раз мы построим социалистическую демократию. Но без вас и без правления в Дюссельдорфе.

— Верно, Макс.

В задних рядах снова послышались выкрики:

— Но ведь Крейсиг не был нацистом.

Гензель побагровел.

— Да, конечно, нацистом этот чистюля не был! Верно! Но как он обделывал с нацистами дела, я вам сейчас расскажу. Если уж сводить счеты, господин Крейсиг, так окончательно!

— Правильно, Макс, покажи ему...

— Еще минутку, коллеги! Мы перерыли весь архив и кое-что нашли. Карл,— кивнул он худому седовласому человеку.— Карл, в моем письменном столе лежат две папки, ты знаешь где, принеси-ка их сюда.

Карл поспешил выполнить поручение.

— Дай же ему сказать, как он собирается нам продукты доставлять,— крикнула под одобрительный гул одна из женщин.

— Это я и сам скажу,— ответил Гензель,— их вам пришлют американцы, партнеры бывших владельцев завода, чтобы завод продолжал работу. Да-да, на сало только мышей ловят, а нас не поймаешь.

Некоторые из присутствующих начали энергично протестовать, и Гензель, обозлившись, заорал:

— Да что вы, черт побери, за рабочие! Неужели куском сала вас купить можно? Не видите, что ли, как он к вам подлизывается? Черти проклятые, попались на приманку! Теперь завод принадлежит нам, а вы хотите обменять его на продукты? Что мы — барахольщики? Нет, коллеги, заказы от этих господ нам не нужны, их продукты тоже, а сами они уж тем более.

Он даже задохнулся; в эту минуту прибежал седой Карл, принес две папки и быстро передал их стоящим впереди.

— Так вот слушайте,— снова начал Гензель.

Теперь он говорил тише, и задние ряды не разбирали его слов, поэтому раздались крики:

— Громче! Говори громче, Макс!

Гензель высоко поднял обе папки и начал, изо всех сил напрягая голос:

— Здесь все черным по белому написано, с собственноручной подписью этого чистюли! — Перелистав несколько страниц, он продолжал: — В 1943 году господин директор Крейсиг перевел на счет войск СС двадцать пять тысяч марок, а через год уже сорок тысяч. К тому же он ежегодно переводил национал-социалистской партии по восемьдесят тысяч.

— Но это делалось по распоряжению Дорнхофера,— запротестовал Крейсиг, побледнев.

— Но чеки подписывали вы. И еще, господин директор, разрешите один нескромный вопрос: существовали ли на нашем заводе черные списки и кто передавал их в гестапо? Отвечайте, господин Крейсиг!

Никто не шелохнулся. Мгновенно воцарившаяся тишина длилась почти две минуты. Крейсиг не отвечал. Тогда опять заговорил Гензель.

— Вы молчите, уважаемый господин. Но молчание — знак согласия.— И снова, возвысив голос, продолжал: — Вот они, здесь, эти черные списки,— он хлопнул ладонью по папке.— Этот негодяй предал восемьдесят человек. Под списком стоит его подпись.— Он открыл папку, несколько страничек вылетело и упало на землю. Лаукнер нагнулся и поднял их.— Вот, коллеги, я только зачитаю вам кое-что: «Шуман Пауль, бывший красногвардеец, член компартии, принимал участие в ночных стычках с нацистами, уволен; Шпангенберг Альбин, социал-демократ, в последнее время часто затевает драки, пьяница, неполноценный работник. Заменить штурмовиком».

В задних рядах началась какая-то свалка. Радлов увидел, что двое рабочих пытаются удержать человека в спецовке. А тот кричал:

— Я этому мерзавцу все кости переломаю! Теперь я знаю, кого мне благодарить за то, что три года без работы сидел.

Он все пытался вырваться. Но Гензель крикнул ему:

— Спокойно, Шпангенберг, ты не единственный. Слушайте дальше. «Клюг Мартин, эпилептик, политически неблагонадежен, неквалифицированный рабочий, заменить штурмовиком. Миснер Антон, бывший штурмовик, порвал с СА, пьяница, лодырь, порученную работу выполнить не может. Гейслер Георг, коммунист, принимал участие в демонстрациях, уволен...»

Гензелю не дали продолжать. Возмущение рабочих было слишком велико. Оно прорывалось гневными выкриками, свистками, ревом. Все начали тесниться вперед, раздались возгласы:

— Дайте ему в морду!

Лаукнеру и нескольким другим коммунистам стоило большого труда защитить бывшего директора Крейсига от ярости рабочих, но люди наступали на Крейсига все запальчивее, и председатель производственного совета крикнул:

— Оставьте его, коллеги! Не стоит руки марать.

Только тогда они угомонились, и волнение постепенно улеглось. Гензель снова заговорил:

— Вы все знаете, сколько зарабатывал формовщик, когда дела шли хорошо,— шестьдесят марок в неделю. А господин Крейсиг, будучи членом наблюдательного совета, ежегодно клал в карман сорок три тысячи марок.— Его прервали негодующие крики.— И все же в 1942 году он отказался построить нам душевую. Господин Крейсиг, ваша карта бита, и теперь уже навсегда. Пропустите его, друзья, мы не желаем видеть его среди нас.

Гензель ждал, что люди потеснятся и образуют проход, чтобы пропустить Крейсига. Однако никто не двинулся с места. Крейсиг стоял посредине бледный, не в силах произнести ни слова.

Иоахим, который опять протиснулся вперед, видел, что директор больше не поджимает губ. Наоборот, нижняя губа у него теперь безвольно отвисла, и он со страхом озирался вокруг. Куда девалась его надменность! Иоахиму стал вдруг необычайно противен этот ничтожный человек.

— Пропустите его,— снова обратился Гензель к окружающим.

Рабочие молчали с грозным видом, наконец кое-кто отступил, а когда Гензель, схватив директора за руку, потянул его вперед, все двинулись вместе с ними. Более двухсот человек провожали Крейсига до ворот, и только там разомкнулось их плотное кольцо. Мрачно, в молчании глядели они ему вслед.

XV

Среди тех, кто выставляли директора с завода, был и Иоахим Радлов. Ни на секунду не вспыхнуло в нем чувство жалости. И если бы рабочие даже до смерти избили Крейсига, он и пальцем не шевельнул бы. «Крейсиг такой же, как и все хозяева. Будь здесь на его месте старик Брандт, и он выглядел бы не лучше».

Как же случилось, старался понять Иоахим, что рабочие вдруг выступили единым фронтом? Ведь всего четверть часа назад они спорили и многие даже готовы были принять предложенные Крейсигом продукты. Но, когда Гензель огласил черные списки, гнев вспыхнул, как пожар. Вот в чем кроется объяснение этого единства: рабочие узнали наконец, как подло поступал с ними Крейсиг. Иоахим почувствовал то же, что и все, когда услышал, что Крейсиг зарабатывал в год целое состояние, и чем горячее разгорались вокруг него споры, тем больше рос его гнев.

В тот день завод больше не работал. Во всех цехах рабочие волновались, снова и снова собирались группами во дворе, горячо спорили. А инженер Бамберг не показывал и носа.

В бывшем директорском кабинете происходило совещание членов производственного совета вместе с представителями коммунистов и социал-демократов. Немного позже подъехала машина, из нее вышли бургомистр, городской советник по хозяйственным вопросам и советский комендант. Они быстро направились к зданию дирекции.

Иоахим впервые видел советского коменданта. Это был стройный худощавый человек, небольшого роста, в надвинутой на лоб фуражке.

Прибытие этой тройки усилило всеобщее волнение. Рабочие начали собираться перед зданием дирекции, хотя никто их не созывал.

Когда совещание закончилось и участники его покинули помещение, Гензель, комендант и бургомистр остались на верхней площадке наружной лестницы, а остальные — на их лицах была написана озабоченность — смешались с толпой рабочих. Лаукнер подошел к Радлову, и тот спросил его, что же решено на совещании. Но в это время раздался голос Гензеля:

— Друзья, мы потребовали ареста Крейсига и прямо заявили коменданту, товарищу Федорову, что объявим забастовку, если Крейсиг еще раз здесь появится.

Все притихли, затаив дыхание. Гензель продолжал:

— Но товарищ Федоров заверил, что нам незачем бастовать. Крейсиг уже арестован или будет вот-вот арестован. Завод принадлежит нам. В программе Коммунистической партии Германии сказано: «Все имущество нацистских заправил переходит в руки народа». И это свершилось! Мы стали хозяевами завода, концерн не имеет к нам больше никакого отношения.

Он перевел дыхание и продолжал:

— Но это только первый шаг. Мы убеждены, что дюссельдорфский центр еще не раз попытается вмешаться в наши дела, сорвать нашу работу, организовать саботаж. А поэтому производственный совет решил немедленно назначить нового директора. Нам необходимо как можно скорее пустить все печи, а для этого нужно новое руководство.

Гензель сделал паузу и отер пот со лба. Позади Радлова кто-то пробормотал:

— А зачем? Чтобы новый директор жирел за наш счет?

Другой зашептал:

— Ну скажи же, скажи.

Первый выкрикнул:

— Зачем директора? Разве не хватит нам Бамберга?

Недовольные голоса зазвучали громче, кое-кто своими возгласами поддержал говорившего. Комендант снял фуражку и помахал ею, призывая к тишине. Радлов увидел, что у него светлые волосы. Снова все смолкли.

— У нас в Советском Союзе,— громко и отрывисто начал комендант на ломаном немецком языке,— рабочий есть директор. У вас рабочий тоже есть директор.

Кто-то прошипел:

— Все хотят быть директорами, ни один черт не хочет работать.

Некоторые рассмеялись, тогда Лаукнер, обозлившись, заорал:

— Эй, вы там, задние, заткнитесь!

— Бамберг останется главным инженером,— продолжал Гензель.— Он будет работать под нашим контролем. Но каждому предприятию необходимо четкое руководство. Поэтому мы постановили: пост директора временно займет коллега Кампендонк. Вы все его знаете, он уже двадцать лет работает старшим мастером литейного цеха. У Вилли Кампендонка есть опыт и необходимые профессиональные знания, он изучил производство, как, пожалуй, никто другой. Кроме того, должен вам сообщить, советский комендант обещал, что со следующей недели все рабочие нашего завода будут получать дополнительные продукты из запасов Красной Армии.

Никто не аплодировал его словам, но Радлов почувствовал, что на всех они произвели впечатление. Собрание начало расходиться, и Иоахим услышал, как самый первый из протестовавших сказал соседу:

— Если это Кампендонк, то все в порядке. Отзывчивый человек.

У ворот Иоахим столкнулся с крановщицей Эрной Вагнер. Лицо этой изящной темноволосой девушки сияло, и она тут же подхватила Иоахима под руку.

— Вот видишь, какая мы сила! Видел, как дрожал Крейсиг?

Иоахим кивнул. Он тоже был взволнован, но ему не нравилась чрезмерная восторженность девушки. По дороге она болтала безумолку, он же по-прежнему был молчалив, зато его голова усиленно работала. Пережитое событие заполняло его душу, но он был не в состоянии громко выразить свои чувства. Самое сильное впечатление на Радлова произвело в этот день сознание, что власть рабочего класса стала фактом. Об этой власти он до сих пор только слышал, но сегодня присутствовал при ее действиях, и его восхищало самообладание таких людей, как Гензель и Кампендонк, с готовностью принявших на себя ответственность за столь огромное предприятие, как их завод.

— Чего же ты молчишь? — девушка замедлила шаги и нарушила ход его мыслей.

— Я как раз думал о том, что ведь нелегко придется...

— Конечно,— прервала его Эрна,— будет еще много неприятностей и трудностей, но мы своего добьемся. А может, ты не веришь, что мы добьемся?

Она испытующе посмотрела на него, но Иоахим ответил с чистосердечной убежденностью:

— Вовсе нет, я верю.

На углу, где им предстояло разойтись в разные стороны, они остановились.

— Вот, чуть не позабыла,— сказала она.— Сегодня вечером экстренное внеочередное собрание молодежи. Ты, конечно, придешь?

— Конечно. А что случилось? — спросил он, удивленный ее серьезным тоном.

Она ответила шепотом, бросив быстрый взгляд на проходящих:

— Руди велел передать, чтобы ты непременно приходил. Речь пойдет о борьбе со спекулянтами.

— О борьбе со?..

— Да, со спекулянтами,— нетерпеливо прошептала она.— Придут товарищи из полиции. Коммунисты тоже примут участие.

— Я все еще не понимаю...

— Но, Ахим.— Она потащила его с оживленного перекрестка в какой-то подъезд. Там она объяснила:— Мы переживаем сейчас трудности с картофелем и другими продуктами. Хотя известно, что всего этого хватает. В городе существуют потайные склады, куда торговцы припрятали свои товары. Эти-то гнезда мы и хотим обнаружить. Пойдешь с нами?

Он только кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Эрна ничего не заметила, уже уходя, она крикнула:

— Так не забудь. В восемь. Может продлиться до полуночи.

Потом еще раз обернулась и дружески кивнула ему. Он смотрел ей вслед, словно оцепенев от ужаса.

Дома он подумал: «Нет, выше головы не прыгнешь. Прошлое связало меня по рукам и ногам, от него не избавиться. Что бы я ни делал, все ложь. Началось с Железного креста и дошло до отрезов Мука. А тут еще история с «оборотнями». Какой-то водоворот, и хоть мне удалось один раз выплыть из него, в конце концов он затянет меня в пучину».

Угрюмый и раздраженный, хлебал Иоахим жидкую кашу, которую мать поставила перед ним на стол. Каша была приторно сладкая, в ней чувствовался сироп, но голод заставлял его есть. С раздражением слушал он причитания матери:

— Почти четыре часа выстояла за картофелем, да понапрасну, ничего не досталось. А я точно знаю, что у зеленщика Рихтера полный подвал.

Иоахим посмотрел на мать.

— Но он хочет спекульнуть,— продолжала она.— Запрашивает восемьдесят марок за полцентнера. Жиреет на этом. Вот если бы у меня были деньги...

— У меня тоже нет! — крикнул Иоахим со злостью и отодвинул от себя полупустую тарелку. Это нытье действовало ему на нервы. «День за днем все та же каша,— подумал он,— к тому же наши раздоры, а сегодня вечером еще и это дело... Черт, меня уже тошнит от всего...»

Мать мягко возразила:

— Ну, мальчик, не надо так, ешь...

Но увидела его упрямое лицо и молча отвернулась.

Иоахим переменил тон. Ему стало неприятно, что он не сдержался.

— Извини, пожалуйста, мама,— сказал он.— Я вовсе не то хотел сказать.

— Я так стараюсь хоть чем-нибудь тебя накормить, а ты кричишь на меня и ничего не ешь.

— Я ем, ем, мама.

— А все оттого, что у нас нет денег. Но, может быть, сегодня отцу удастся устроиться.

— Куда же он пошел?

— На кирпичный завод Может, возьмут ночным сторожем.

В своей комнате Иоахим вытащил оба отреза и положил на кровать. «Надо от них избавиться навсегда,— подумал он,— не хочу иметь с такими делами ничего общего».

Самое простое — отнести отрезы сыну аптекаря. Но можно ли так поступить при создавшемся положении? Не выдаст ли его Мук, если Иоахим сегодня вечером явится с обыском именно на аптекарский склад? Тогда всплывет, что и он участвует в этих темных махинациях. Что же будет? Или вовсе не ходить, увильнуть от сегодняшней облавы? «Нет,— решил он,— это не годится, они будут считать меня трусом. А ведь я всей душой с ними. Если я приму участие в сегодняшнем деле, то между ребятами из Верхнего города и мной окончательно ляжет пропасть. Этого они мне никогда не простят. Да оно и к лучшему, по крайней мере каждому будет ясно, кто на чьей стороне».

Собрав последние крошки табаку, он свернул себе сигарету. И снова выругался: «И на черта я связался с этим Муком! Может, они уже напали на след и позвали меня, чтобы заманить в ловушку?.. Нет, чепуха, это немыслимо. Руди Гензель порядочный, честный малый, он этого не допустит. Неужели нет выхода?»

Конечно, есть. Стоит ему только отнести отрезы Муку и сказать, чтобы тот хорошенько их припрятал, вечером-де у всех торговцев будут обыски.

«Нет! И не подумаю,— тотчас ответил он себе.— Если за тех как следует возьмутся — это правильно. Стоит мне только заикнуться Муку, и он обежит своих, чтобы предупредить. Этого я не сделаю. С меня хватит всяких пакостей, к чертям все это, пора выбираться из грязи...»

Он затягивался нервно и торопливо. Что делать? Оставить у себя отрезы, а завтра вернуть их? Нет, так не годится. Он не сможет пойти сегодня к Гензелю и, честно глядя ему в глаза, сказать: я с вами. Он не будет знать ни минуты покоя. Просто продать их? По тысяче марок? Гм. Это, пожалуй, лучше. Тогда он не заработает ни пфеннига и никто не упрекнет его, что он наживается. Кроме того первого куска, но за него Гензель не снимет же ему голову с плеч. Он все ему сегодня расскажет. Отведет его в сторону до собрания и все ему объяснит. И по крайней мере с этим будет покончено.

Он облегченно вздохнул. Но кто купит у него эти два отреза и у кого дома найдутся наличными две тысячи марок? Может, портной Витшток? Его мастерская недалеко отсюда, на Брюдерштрассе, пройти всего несколько переулочков. Попробовать можно, но, конечно, с одним отрезом, ведь вряд ли у этого портного есть две тысячи марок. У него же не такое шикарное ателье, как у Ландвера в Верхнем городе. У Витштока заказывают рабочие и мелкие служащие, он берет много дешевле, чем Ландвер.

Но когда Радлов уже стоял на Брюдерштрассе, перед дверью Витштока, его вновь начали одолевать сомнения. Правильно ли он поступает? Не вернуться ли ему лучше домой, оставив материю у себя, а вечером выложить Гензелю всю правду? «Ах, что там,— решил он,— ведь я уже здесь. Продам, и концы в воду, а больше — никогда!»

Портной Витшток, долговязый худощавый человек, похож был на жердь. Приглашая Иоахима в комнату, он вежливо пропустил его вперед.

На душе у Радлова было прескверно.

— Я хотел только спросить,— начал он, запинаясь,— не купите ли вы у меня отрез шерстяной материи? Мне, знаете ли, нужны деньги.— И чувствуя, что должен еще что-то добавить, сказал.— Я в очень за-

труднительном положении. А отрез хороший, довоенного качества, я дешево отдам.

Ему показалось, что Витшток подозрительно посмотрел на него: «Черт,— подумал он,— не гожусь я для таких делишек».

Но тут Витшток ответил:

— Ну что ж, покажите ваш товар.

Он развернул бумагу и вынул отрез. Иоахим между тем исподтишка оглядел комнату. В углу стояла старая железная печка, рядом — манекен, на котором висел серый жилет. Большую часть комнаты занимал стол. Витшток задумчиво разворачивал материю. Когда он принялся мерить ее сантиметром, из складок выпала какая-то бумажка. Не успел Иоахим наклониться, как ее уже поднял портной. Он только взглянул на нее и тут же сунул в карман.

— Откуда у вас этот отрез, господин?..— спросил он.

— Радлов,— представился Иоахим. И вспомнил о предостережении Мука.— Старые запасы,— ответил он,— у меня есть еще один. Не хотите ли купить и второй?

Портной помолчал, потом все так же задумчиво начал складывать материю.

— А цена? — спросил он после небольшой паузы.

— Тысяча марок,— выпалил Иоахим.

— Тысяча марок — большие деньги,— сказал Витшток.— И второй отрез стоит столько же?

Иоахим подумал, что портной хочет торговаться. Но это не пойдет. Мук должен получить свои деньги. Поэтому он ответил:

— Дешевле я никак не могу.

Портной медлил, видимо, он что-то прикидывал. И наконец сказал:

— Ну, ладно. Материал действительно хорош. Лучше всего, если вы принесете сейчас и второй. Тогда мы рассчитаемся сразу за оба. Этот,— он постучал по лежащему перед ним куску,— может пока остаться здесь.

Иоахиму такое предложение не понравилось. Хорошо, если бы Витшток выложил ему сейчас тысячу марок. Им овладело невольное беспокойство, смутное предчувствие, что портной задумал какую-то гадость. Но он не осмелился возражать, опасаясь, что портной рассердится за такое недоверие и дело сорвется.

Через четверть часа, тяжело дыша, он снова стоял перед дверью. Беспокойство его усилилось. К тому же он боялся, что Витшток надует. «А столько денег я ни за что не смогу вернуть Муку»,— подумал он.

Портной открыл ему дверь и пропустил, как и в первый раз, вперед. По лицу его ничего нельзя было заметить. Когда же он неожиданно повернул ключ в замке и сунул его в карман, Иоахиму стало не по себе. Однако было поздно. Из мастерской раздался чей-то голос:

— Заходи, заходи, пташечка!

Безвольно дал он втолкнуть себя в комнату, но лишь когда увидел стоявшего у стола полицейского, понял, что пропал. В первую минуту его от страха бросило в жар, но он тут же подумал: именно так все должно было кончиться. И оставил всякую мысль о сопротивлении.

— Ну, заходи, заходи,— второй раз сердито крикнул полицейский, так как Иоахим хотел остановиться у печки.— Откуда у тебя отрез?

— Старый запас,— ответил Иоахим.— Уже много лет у нас лежит.

Он пытался говорить равнодушным тоном, но никак не мог справиться с дрожью в голосе. В нем вдруг вспыхнула нелепая надежда, что полицейский его отпустит. Но тут вмешался Витшток.

— Да ведь ты его украл!— крикнул он.— Ты из той банды, которая ограбила мою мастерскую.— Он вытащил из кармана бумажку, лежавшую раньше в отрезе.— Вот квитанция. Здесь указана моя фамилия.

Иоахим невольно отступил, испугавшись, что портной его поколотит.

— Теперь все выяснится,— сказал полицейский.

Но портного не так-то просто было успокоить.

— Да я из него котлету сделаю! — кричал он.— Не хватает еще трех отрезов. Где они? — напустился он на Радлова.

Иоахим только пожал плечами. Он, конечно, отлично знал, у кого они, но ничего не ответил. «Пусть изобьет меня,— думал он,— я это заслужил. Но каков Мук, гад эдакий. Теперь меня подозревают в воровстве, а это он стащил отрезы у Витштока».

— Ну, ладно,— сказал полицейский,— мы их вам разыщем. А теперь надо упрятать виновника. Наконец-то удалось его схватить.

Иоахиму пришлось выложить на стол все, что было у него в карманах. Потом полицейский обыскал его, проверяя, нет ли при нем оружия. И, наконец, щелкнули наручники. Проходя через двор, Иоахим спросил:

— Нельзя ли снять с меня наручники? Я никуда не убегу.

Полицейский расхохотался.

— Не может быть и речи, мой милый. Таким, как ты, мы не доверяем.— У него было бледное, изможденное лицо рабочего-металлурга.

Стоял теплый летний вечер. За синими крышами городка угасал красный диск солнца. Улицы были еще оживлены. Люди прогуливались, дети играли в мяч, парни стояли со своими девушками в воротах домов. Иоахим чувствовал, что все на него смотрят, сам же не глядел ни направо, ни налево, шагая рядом с полицейским, связанный с ним тонкой стальной цепочкой. Он шел по городу, как сквозь строй. Большинство жителей знало его. «Только бы не говорили маме. И отцу. Меня ведут, как настоящего преступника»,— мелькнуло в голове у Иоахима.

Уже в Верхнем городе им повстречался господин Адам. Иоахим не видел его с того вечера и теперь просто испугался, таким дряхлым стариком стал отец его друга. Иоахим отвернулся, но почувствовал на себе укоризненный взгляд и заметил, что господин Адам остановился и посмотрел ему вслед.

Полицейский доставил Иоахима в полицию. А позже его на машине перевезли в городскую тюрьму. Здесь он и провел первую ночь.

Шесть шагов вперед — и он упирается в стальную дверь, шесть шагов обратно — и путь ему преграждает белая стена камеры. Иоахим все утро ходит между стеной и дверью. Словно зверь, которого поймали и заперли в клетку. Ночь он провел более или менее хорошо. Утомленный пережитыми волнениями, он сразу заснул и проснулся только от громкого звяканья тюремных замков. Вспомнив события вчерашнего дня, он покраснел от стыда. Он не находил себе покоя. Кусок хлеба и кружка кофе, которые ему принес надзиратель, стояли нетронутыми на столе. Даже голода он не чувствовал. Его угнетала теснота камеры, и в первые часы ему казалось, что стены вот-вот сдвинутся и раздавят его. Ему пришлось призвать на помощь все свое самообладание, чтобы не броситься со всего размаху на дверь и не закричать: «Откройте! Отпустите!» Этот порыв вырваться отсюда был словно последней попыткой восстать против неотвратимой судьбы. Потом он постепенно успокоился и даже был рад, что один в камере. Он мог теперь обдумать свое положение.

Никаких иллюзий он не питал. Факты были слишком бесспорны: у портного Витштока украли отрезы, ворованное добро обнаружили у него. Стало быть, вор именно он. Любой судья осудит его на этом основании.

«Многого же ты добился»,— услышал он голос отца. Да, что правда, то правда. Он горько усмехнулся. Многого! Заработал себе тюремную камеру. Вспомнив отца и мать, он почувствовал, как ему сдавило горло. Бедная мама... Верно, сидит дома и плачет. А отец? Ему он не посмеет на глаза показаться. Неужели и Гензель поверит, что он вор?

Шесть шагов вперед, шесть обратно. Сколько же придется ему пробыть здесь? Год или два? Он остановился у окна. Оно было узкое, маленькое и расположено под самым потолком. Подтянув табуретку, он взобрался на нее: так можно хоть выглянуть наружу.

Внизу лежал пустынный серый двор, окруженный красной кирпичной стеной, а дальше виднелся кусочек поля и железнодорожного полотна. Тюрьма находилась за городской чертой. Но часть города была все-таки видна — вон церковь и ратуша, а вон вдалеке тянется к небу островерхая крыша углового дома Мука. Там, за тюремной стеной, была свобода, там разгуливал сын аптекаря, втянувший его в эту историю.

Долго стоял Иоахим у окна, с тоской глядя на город. Часов на колокольне он не видел и только по их чистому звону каждые четверть часа догадывался о времени.

До сих пор его никто не допрашивал, ни в полицейском участке, ни в тюрьме. Означает ли это что-нибудь? Может, они и Мука уже схватили? Он пытался вспомнить, что говорил ему тогда на «Бродвее» сынок аптекаря. Как он сказал? «Мог бы за час разбогатеть» или что-то в этом роде. И еще: «Я интересуюсь только определенными товарами — пишущими машинками и отрезами, они нынче дороже денег». Да, так высказался Мук в связи с грабежами, происходившими в городе.

И снова Иоахим беспокойно забегал по камере. «Если я все расскажу начистоту, может быть дешевле отделаюсь. Стоит только сказать, что украл эти отрезы Мук. Какой смысл его покрывать? Он бы определенно втянул меня, если бы сидел здесь. Судя по его поведению... Нет,— решил он,— это не по-товарищески. Я кашу заварил, я должен ее и расхлебывать. Этот негодяй хоть бы сказал мне, где он стащил отрезы. Ведь тогда ничего этого не случилось бы».

Он остановился посреди камеры. «Все это было неизбежно,— рассуждал он.— Слишком глубоко я завяз, началось еще с «вервольфа». Я допустил ошибку. Если бы я тогда сразу рассказал обо всем Руди Гензелю, может быть, дело кончилось бы благополучно. Теперь слишком поздно. Как я посмотрю ему в глаза?»

Со стоном опустился Иоахим на табуретку и сжал голову ладонями. Он вдруг почувствовал себя страшно одиноким и с отчаянием подумал: «Лучше бы я погиб вместо Клауса. Теперь у меня нет выхода. Я загубил свою жизнь...»

Но долго усидеть он не мог. Мучительные мысли гнали его из угла в угол.

«Меня будут судить за воровство,— продолжал он размышлять,— но в этом я ни за что не признаюсь. Пусть сначала докажут. Они начнут расследовать дело и...— Его прошиб холодный пот.— Если сейчас начнется расследование, все всплывет наружу. Они установят, что я вовсе и не был в Вергенштедте, когда начались грабежи, и станут допытываться, пока не узнают обо всем. И насчет танка, и Гитлера, и Железного креста, и наконец «вервольфа»...»

У двери раздалось звяканье ключей, щелкнул замок, и бородатый надзиратель кивнул ему:

— Пошли, Радлов.

Иоахим словно окаменел и не мог сдвинуться с места.

— Идем, ты что, не слышишь? — раздраженно проворчал надзиратель.

Путь по лестницам, через окованные железом двери, по двору до здания суда, казалось, продолжался целую вечность. Иоахима буквально шатало, он с трудом держал себя в руках.

Окна комнаты, куда его ввели, выходили на тюремный двор. Войдя, Иоахим сразу обратил внимание на человека за письменным столом; это был светлый блондин, вдвое старше Иоахима, который, даже сидя, выглядел очень крупным и рослым. Он дружески сказал:

— Ну-ка садись, Иоахим.

Иоахим осторожно присел на краешек стула, весь собранный, готовый дать отпор. Блондин, казалось, почувствовал его сопротивление и поэтому, кивнув ему, заметил:

— Не бойся, Иоахим, я из Управления по делам молодежи, моя фамилия Керн. Документы по твоему делу пока еще не попали к прокурору. И если ты честно все расскажешь, тебе и не придется с ним встречаться.

«Эге,— сказал себе Иоахим,— он хочет меня приручить да поймать на удочку, но пусть не рассчитывает. Ничегошеньки он не узнает, ничего». Он где-то читал, что арестованный должен признаваться только в том, что полиции уже известно. И решил действовать по этому правилу. Упрямо смотрел он на человека, сидевшего напротив.

— Ты только не думай, что мы хотим тебя засадить,— сказал Керн.— Совсем наоборот, мы хотим тебе помочь. До прихода Красной Армии тут много натворили плохого, это нам известно. Но чтобы мы могли тебе помочь, ты должен рассказать всю правду. Вот и расскажи. Как попали к тебе отрезы?

Радлов изобразил на лице уныние. «Лучше всего разыграть дурачка,— подумал он,— конечно же ему ничего не известно. Вот он и напыжился, как поп в церкви...»

— Удивительная история, скажу я вам,— начал он медленно, будто подыскивая слова, и при этом судорожно старался придумать, как из всего этого выпутаться.— Вчера вечером зашел я в ресторан на вокзале, чтобы выпить кружку пива. Я, знаете, шел с работы.— Он говорил, все еще запинаясь, но вдруг как будто напал на идею, которую решил развивать.— Я, знаете ли, всегда хожу мимо вокзала, а тут мне захотелось пить, и я завернул в ресторан. Пью это я себе пиво, вдруг ко мне подходит какой-то посторонний, инвалид войны, на костылях, и спрашивает, не хочу ли я заработать сотню марок. Я отвечаю: «Конечно». А человек этот предупреждает: «Но это будет нелегко».— «Ничего».— говорю я и спрашиваю: «А что надо делать?» И тут-то он рассказал мне свою историю. Он-де едет из лазарета, и ему нужны деньги на обратную дорогу, у него будто бы уцелели два отреза на костюмы, и если я их продам, то за каждый получу по сто марок. Вот как все было, господин Керн. А что произошло дальше, вы знаете. Я бы не стал этого делать, но мне нужны деньги, вот я и отправился к портному Витштоку.

Иоахим, глубоко вздохнув, откинулся на спинку стула и даже положил ногу на ногу.

Керн же сидел, облокотившись обеими руками о стол, и слегка улыбался. Все еще дружелюбно он спросил:

— И ты хочешь, чтобы я поверил этой басне?

— Конечно.

Керн расхохотался звонко и от души.

— Ты считаешь меня глупее, чем я есть.— Голос его стал резче.— А теперь я скажу, как к тебе попали отрезы. Ты их украл, Иоахим!

— Нет! — вырвалось у Иоахима горячо и решительно.— Я не вор! — И слова эти прозвучали правдиво.

Но Керн ответил:

— Ладно. Вот теперь ты впервые сказал правду. Вором ты быть не можешь, потому что во время грабежей тебя в Вергенштедте не было.

«Значит, они и это знают»,— подумал Иоахим, и на лице его отразились напряжение и страх.

— Итак, кто передал тебе отрезы?

— Я вам уже сказал.

— Как всегда — незнакомец? Допустим. Но каким же образом ты уже через двадцать минут снова был со вторым отрезом у Витштока? До вокзала не меньше получаса ходьбы, даже если идти быстро.

— А он пошел мне навстречу.— Иоахим обрадовался, что сумел так здорово соврать.

Керн встал, он был почти на две головы выше Радлова.

И Радлов подумал: «Если он меня стукнет, я вылечу за дверь!»

— Ну и мастак ты на вранье,— сказал Керн, и в голосе его прозвучало раздражение.— А я-то полагал после всего, что о тебе слышал, что ты будешь вести себя разумно. Но если ты настаиваешь, пожалуйста... Тогда мы устроим тебе очную ставку с хозяином ресторана.

Керн остановился напротив него и замолчал, словно приглашая ответить. Иоахим не произнес ни слова.

— У тебя есть еще время, подумай.

Керн открыл дверь. В коридоре ждал надзиратель. Иоахим повернулся, чтобы идти, но тут его словно обухом ударило по голове. Керн спросил:

— А что передать твоей матери, Иоахим? Она очень тревожится о тебе.

Радлов, пристыженный, виновато опустил голову. Он помолчал, потом тихо ответил:

— Передайте ей, что я очень жалею... обо всем.

И ушел так поспешно, что старый надзиратель с трудом догнал его.

Дни текли мучительно однообразно. Некоторым развлечением служила утренняя прогулка, но, как только дверь камеры захлопывалась, Радлова вновь охватывало гнетущее чувство одиночества. Керн больше не появлялся, и Иоахим, предоставленный самому себе, пытался в эти дни сам разобраться в своих делах и поступках. Он все еще считал, что не в праве выдать настоящего вора, и все сомнения отметал одной-единственной фразой: «Это не по-товарищески». Он твердо решил настаивать на своей версии о незнакомце, ибо считал, что отступления для него уже нет.

Иногда в нем вдруг вспыхивала надежда, что все кончится хорошо, но он тут же снова впадал в глубокое уныние. Его волновали различные мысли, но одна все больше выступала на передний план: это было воспоминание об Урсуле. Он вспоминал их совместную жизнь, вызывал в памяти их разговоры, видел перед собой девушку, слышал ее голос — и вся она, как живая, вставала перед его мысленным взором.

И он не переставал спрашивать себя, как вела бы себя Урсула, если бы знала, что он сидит за решеткой. В конце концов Иоахим твердо решил, что она поняла бы его, и теперь цеплялся за это. Мысли об Урсуле были его единственным утешением, но они же и терзали его, и он боролся с желанием написать ей обо всем.

А с воли до него доносились резкие гудки паровозов. И часто, взбираясь на табуретку, он с тоской следил за катившимися мимо вагонами: может быть, этот поезд идет в Берлин...

Однажды вечером с берлинского поезда на перрон вергенштедтского вокзала сошла девушка в поношенном плаще. Посреди привокзальной площади она остановилась, словно не зная, куда же ей идти. Немногие пассажиры, прибывшие вместе с ней, успели разойтись, и над городом уже сгущались сумерки.

Как раз в ту минуту, когда девушка нерешительно подняла с земли свой чемоданчик, из здания вокзала вышел пожилой железнодорожник.

— В первый раз в нашем городе, фрейлейн? — спросил он.— Куда вам?

— В Вергенштедт,— ответила она, беспомощно улыбнувшись.

— Вергенштедт велик,— сказал он.— Вам в Верхний или в Нижний город?

— Именно этого я и не знаю,— ответила девушка и, так как железнодорожник с удивлением взглянул на нее, поспешно добавила:

— Я, видите ли, ищу своего знакомого, по фамилии Радлов, но не знаю, где он живет.

— Я знаю его,— воскликнул удивленный железнодорожник. И с готовностью рассказал Урсуле Хольцман историю старика Радлова, как его уволили с железной дороги и о том, что он устроился теперь ночным сторожем на кирпичный завод.

Урсула молча слушала его и с облегчением решила, что, видно, Иоахим потому и не подавал о себе вестей. Она ждала худшего.

После той ночи, когда Иоахим покинул ее, она окончательно убедилась, что у него есть какая-то тайна. Она подозревала, что это имеет отношение к его пребыванию в гитлерюгенде и что в его прошлом было какое-то темное пятно. Все говорило об этом — и его поведение при аресте блокварта Флейшера, и его упорное молчание, и то, как он вскоре поспешно сбежал.

Но о своих подозрениях она молчала и даже с Лаутербахом не говорила о них. Седой помог ей на первых порах, он пошел с ней к Бухвальду, который, как и прежде, нуждался в рабочей силе. Так случилось, что Урсула заняла место Иоахима и, привычная к труду, быстро освоилась с жизнью завода. А на завод тем временем прибывали все новые люди, организовалась и группа молодежи, которая регулярно собиралась, и на эту молодежь стала опираться в своей работе профсоюзная организация. Урсула приобрела новых друзей и все свободное время посвящала общественным делам на заводе; было даже решено послать ее учиться на курсы, чтобы она могла стать учительницей.

Но несмотря на свою кипучую деятельность, Урсула не забывала Иоахима Радлова. День за днем ждала она весточки от него, а возвращаясь усталая домой, надеялась, что он приехал. Однако каждый раз ее ждало разочарование, и тревога росла день ото дня. Она не допускала мысли, что Иоахим ее забыл, но боялась, что он натворил из-за

своей «тайны» каких-нибудь бед. Она ломала себе голову над этими загадками и не раз засыпала в слезах.

Однажды Урсула попросила на два дня отпуск. Она решила осуществить идею, которую вынашивала в последнее время: собралась и уехала в Вергенштедт.

Подъезжая к Вергенштедту, Урсула чувствовала себя почти счастливой, а надежда увидеть Иоахима заставляла сильнее биться ее сердце. Железнодорожник рассказал ей, как пройти к Радлову, и попрощался. А Урсула, подойдя к дому, вдруг заколебалась. Только теперь перед ней встал вопрос: а что скажут родители, если она сейчас свалится им как снег на голову? «Быть может, Иоахим и не говорил им обо мне?» — думала она. Но все-таки поднялась по лестнице и постучала. Ей тотчас отворили. Из приоткрытой двери на нее смотрели грустные глаза его матери.

— Мне бы хотелось видеть Иоахима,— вполголоса сказала Урсула.

— Сына нет дома,— ответила мать и шире открыла дверь, чтобы луч света упал на девушку.

— Нельзя ли мне подождать его?

Мать слегка нахмурилась и испытующе взглянула на девушку, потом улыбнулась и пригласила:

— Что ж, входите.

Урсула смущенно вошла в просто убранную комнату и поставила свой чемоданчик.

— У мужа ночная работа, он ушел,— сказала мать.— Присаживайтесь, фрейлейн. Вы, как видно, издалека?

— Да, я из Берлина, фрау Радлов. Иоахим вам, верно, рассказывал обо мне. Моя фамилия Хольцман.

Мать Иоахима понравилась ей с первого взгляда, спокойствие, с которым она ее встретила, внушало доверие.

Фрау Радлов села против девушки.

— Стало быть, вы с ним в Берлине познакомились,— сказала она.— Об этом он никогда мне не говорил.

— Нет? — воскликнула Урсула с искренним удивлением.

Мать сразу это почувствовала, и легкая улыбка скользнула по ее лицу.

— Так вы, вероятно, из-за него предприняли эту поездку? — спросила она.

Урсула молча кивнула. Обе немного помолчали, и наконец мать сказала:

— Да видите ли... Он не придет ни сегодня, ни завтра.

— А... что-нибудь... случилось? — В глазах девушки застыл страх.

— Его арестовали,— беззвучно прошептала фрау Радлов.

Урсула всхлипнула.

— Я так и знала!

— Только не плакать, фрейлейн.— Мать поняла чувства девушки.— Снимите-ка прежде всего плащ. И давайте поговорим.

Но так как Урсула продолжала беззвучно плакать, мать ласково подняла ее со стула и помогла раздеться.

— А теперь располагайтесь поудобней. После такого долгого путешествия... И голодны вы, верно, тоже.— И она принялась хлопотать вокруг своей нежданной гостьи.

Собирая ужин, мать Радлова рассказывала о том, что натворил Иоахим, а Урсула слушала.

— Во всех его бедах я тоже виновата,— заключила мать.— Я так

и сказала воспитателю Керну. Из-за нашего переезда, из-за дороговизны Иоахим старался раздобыть денег. Но он не крал. Это сделал Мук, от него сын и получил отрезы. Это я тоже рассказала Керну. Как я себя бранила, вы представить не можете.

Они просидели до поздней ночи, и мать услышала, при каких обстоятельствах Иоахим познакомился с девушкой. Урсула рассказывала, как они вместе жили в поселке и как неожиданно Иоахим покинул ее.

Тихая, всегда озабоченная мать Радлова мужественно подавила собственное горе и старалась ободрить девушку.

Потом она постелила Урсуле на кровати Иоахима.

— Муж вернется только в девять,— сказала она.— Вы можете спокойно спать до восьми.

Урсула еще слышала, как мать убирает в кухне, и с последней мыслью об Иоахиме заснула.

XVI

Рассвет был пасмурным, небо затянуло тучами. И мрачная камера казалась еще мрачнее. Однозвучно стучали в окно дождевые капли.

«Не поведут сегодня на прогулку,— подумал Иоахим.— Отвратительный день! Может, хоть Керн вызовет и положит всему этому конец. Пусть меня засадят, все равно, откуда эти отрезы, я не скажу, и точка!»

Однообразие тюремной жизни и постоянные раздумья вконец измотали его. Он похудел, лицо осунулось, жесткие линии вокруг рта — они обозначились еще во время горьких переживаний в Берлине — выступили резче, видно было, что он страдает.

Урсула встала рано.

Еще до начала рабочего дня, терпеливо дожидаясь, стояла она у дверей Управления по делам молодежи. Она пришла, чтобы просить Керна разрешить ей свидание с Иоахимом.

Керн принял Урсулу дружелюбно, но в просьбе отказал. Следствие еще не закончено, заявил он, к тому же парень запирается и лжет безбожно. На заявление, что Урсула его невеста, он ответил улыбкой.

«Он не верит мне,— подумала девушка,— и, в сущности, его можно понять. Иоахим, как видно, доставил ему много хлопот, вот он и стал недоверчивым». Робко, срывающимся голосом она сказала:

— Прошу вас, выслушайте меня. То, что я хочу сказать Иоахиму, очень важно для нас обоих. Верьте мне, я хочу повлиять на него, чтобы он наконец образумился: мать Иоахима мне ведь рассказала, что вора уже поймали.

— Вы были у фрау Радлов? — Керн пристально посмотрел на Урсулу. Потом, улыбаясь, добавил: — На спекулянтку вы, говоря по правде, не похожи.

Но Урсуле было не до шуток. Ей во что бы то ни стало надо было поговорить с Иоахимом, и она ничем не хотела отвлекаться. Тихо, но твердо и настойчиво она сказала:

— Я очень многим обязана Иоахиму. Он спас мне жизнь, и теперь моя обязанность помочь ему в беде.

На Керна ее слова произвели впечатление.

— Этого я не знал, пожалуйста, расскажите подробнее.

И Урсула рассказала ему, как Иоахим в последние грозные часы войны спас ее и как он потом заботился о ней. Упрямо повторила она затем свою просьбу.

Керн долго молчал, обдумывая ответ. Наконец, он сказал:

— Я думаю, что могу взять на себя ответственность.

Урсула с облегчением вздохнула.

— Можно мне сейчас же к нему?

Керн улыбнулся ее нетерпению.

— Особых формальностей не потребуется. Он сидит в отделении для молодежи. Я позвоню в тюрьму.

Он дружески пожал ей руку и проводил до двери.

— Радлов... посетители!

Иоахим в испуге вскочил с табурета. Посетители? Кто мог прийти к нему? Конечно, только мать. Да, это наверняка она.

Обрадованный, спускался он впереди надзирателя по витой железной лестнице, ждал с нетерпением у решетчатой двери, пока ее не отперли, и, пройдя через длинный коридор, наконец очутился в совершенно пустой комнате. Здесь, правда, было большое окно, но решетка на его внешней стороне напоминала о том, что обитателям этого дома путь на волю закрыт.

— Жди здесь,— пробурчал надзиратель и показал ему на два стула, разделенных столом.

Иоахим кивнул и подошел к окну. Перед ним лежал пустынный тюремный двор, замкнутый четырехугольником ограды и зданий. Дождь прекратился, но над двором все еще висело серое и пасмурное небо.

Услышав в коридоре шаги — тяжелые, гулкие надзирателя и чьи-то быстрые, легкие,— он повернулся к двери. В ту же минуту она открылась.

— Урсула?..— растерявшись, произнес он.

Волна радости словно захлестнула его, смущенно глядел он на девушку, которая медленно шла к столу.

— Здравствуй, Ахим,— глухо произнесла она.

У нее от волнения перехватило горло, и все, что она хотела сказать, пока шла в тюрьму, вдруг испарилось из памяти. Она увидела, как он побледнел и похудел, и почувствовала острую жалость.

— Никак не ожидал тебя увидеть...— сказал он, запинаясь.— Какими судьбами ты сюда попала?

Она села, движения ее потеряли неуверенность. Ей удалось преодолеть робость, охватившую ее в первую минуту.

— Тебе привет от Лаутербаха и Бухвальда,— начала она и после небольшой паузы продолжала: — И от твоей матери.

Он ничего не ответил, и Урсула добавила:

— Мама тоже навестит тебя, с господином Керном она уже договорилась.

Иоахим все еще не собрался с мыслями. Он уселся напротив и не спускал с нее глаз. Вот перед ним неожиданно оказалась та, о ком он целыми днями мечтал, и улыбается ему. И она еще что-то спрашивает.

— Ты плохо выглядишь, мучаешься, верно?

И Урсула заговорила с ним так, словно все само собой разумелось и ничего не было особенного в том, что она приехала из Берлина в Вергенштедт и пришла к нему в тюрьму.

— Дорогой Ахим...— И он почувствовал в ее словах нежность.— Я так ждала тебя, все надеялась, что хоть весточка от тебя придет.

А как я беспокоилась, только и думала о тебе, возвращаясь домой, и мне было так одиноко. А главное, боялась, что с тобой случилась беда...— она замялась,— из-за этой твоей тайны.

Иоахим испуганно взглянул на надзирателя, но тот делал вид, будто ничего не слышит, и читал газету.

— И тогда я решила ехать,— продолжала она.— Я хотела наконец полной ясности. Приехала вчера вечером и сейчас же пошла к тебе домой. Где же еще мне было ночевать?

Он молчал и думал: «Как она боялась за меня!.. Я этого не заслужил, ведь я удрал, как последний негодяй».

— Твой отец уже ушел в ночную смену,— услышал он снова ее голос.— Мы с ним так и не познакомились, он даже не знает, что я здесь. Но твоей маме я все рассказала.— Она вдруг запнулась.

Только теперь он понял, как трудно было Урсуле прийти сюда, и тихо сказал:

— Извини меня, Урсель.

Ее рука скользнула через стол и легла на его пальцы.

— Я была уверена, что ты меня не забыл,— прошептала она.— Теперь все снова будет хорошо.

Надзиратель откашлялся, и она убрала руку, торопливо продолжая говорить:

— Бухвальд сказал, что ты снова сможешь работать у него. Ни одна душа не догадалась, почему ты тогда ушел. А он теперь директор завода и дал мне денег на поездку.

— Да ты-то откуда знаешь Бухвальда? — удивленно спросил Иоахим.

Она рассказала ему о заводе, о работе с молодежью и о плане товарищей послать ее учиться.

— Как ты думаешь,— смущенно спросила она,— я справлюсь?

— Конечно,— с горечью ответил он и смолк.

— Что с тобой?

— Ничего,— сказала он,— только вот... у тебя все так ясно, а я... сам испортил свою жизнь.

Прежде чем заговорить вновь, она испытующе посмотрела на него:

— А почему у тебя нет доверия к людям? Почему ты лжешь и покрываешь вора?

Он прервал ее:

— Этого ты не поймешь. Разве ты знаешь, что такое товарищество?

— Товарищество с вором? А впрочем, его уже поймали. Твоя мать сказала господину Керну, что отрезы тебе дал некто Мук. И она мне говорила, что у него обнаружили в подвале целый склад ворованного добра.

Иоахим отпрянул, ошеломленный.

— Неправда! —с трудом произнес он.

— Правда. Видишь, твоя ложь никому не принесла пользы.

Иоахим закусил губу. «А я-то воображал,— подумал он,— что у него только эти отрезы да, может, еще машинка».

— Иоахим!

Она умоляюще взглянула на него и заговорила еще торопливее, словно боялась, что он не даст ей высказаться до конца.

— Прошу тебя, скажи правду! Господин Керн ничего не знает о твоем прошлом, и если ты еще что-то скрыл, так, пожалуйста, Ахим, скажи все! Он хочет тебе только добра, а я... пока между нами ложь, я не могу быть с тобой.

В ее взгляде появилось что-то, чего Радлов никогда не замечал: не просьба, не мольба — нет, взгляд этот был требовательным и твердым.

Из угла раздался голос надзирателя:

— Пора кончать, время истекло. Я и так дал вам лишних десять минут.

Урсула тотчас встала, она не сводила глаз с Иоахима.

— Обещаешь? — спросила она.

Он кивнул и тоже поднялся.

— Можете пожать друг другу руки,— сказал надзиратель и запер замком.

И вдруг Иоахиму захотелось задать Урсуле еще тысячу вопросов, но она уже стояла в дверях. Еще раз обернувшись, она крикнула ему:

— Выше голову, Ахим! — И ушла.

Возвращаясь в камеру, Иоахим старался справиться с нахлынувшими мыслями, и ему хотелось остаться одному, чтобы разобраться в них. Но когда надзиратель отпер ему дверь камеры, он увидел там на табуретке под окном худенького паренька. Раньше Иоахим, бывало, мечтал о товарище по камере, и вот как раз сейчас, когда он так хотел побыть один, товарищ сыскался.

— Алло, мальчик,— воскликнул новенький,— я так и думал, что здесь уже кто-то живет.

Иоахим кивнул не слишком дружелюбно. Парень ответил на приветствие, вскинув к виску два пальца.

— Небось, с допроса?

— Нет. Посетители.

— Ага. Значит, ты уже давно в этом роскошном отеле. Есть что-нибудь покурить?

Иоахим отрицательно покачал головой. С любопытством разглядывал он новенького. Парнишка был, очевидно, немного старше его. Кудрявые черные волосы давно уже нуждались в стрижке. Да и одежда на нем была очень поношена, широкие матросские брюки обтрепались и залоснились. Рот кривился в язвительной усмешке, а бегающие колючие глазки придавали лицу что-то коварное.

— Жаль,— сказал новенький,— придется закурить мой.

Он развязал ботинок и выудил оттуда табак, папиросную бумагу и даже несколько спичек на картонке. Иоахим с удивлением взирал на его действия. «Видно, опытный,— решил он.— Кто так ловко прячет запрещенное, тот сидит здесь не первый раз».

Новенький высыпал табак на ладонь и быстро свернул две сигаретки, одну тоненькую, другую толстую. При этом он продолжал болтать:

— Сегодня ночью меня схватили и засадили. Но забыли вывернуть карманы. Потом, правда, спохватились, да я уже кое-что припрятал.

Он протянул тонкую сигарету Радлову, и они с наслаждением задымили.

— Что же ты натворил? — спросил Иоахим.

Черноволосый проследил за облачком дыма.

— Да как тебе сказать,— протянул он,— несколько дачек обчистил. Это они, пожалуй, докажут, если у них есть отпечатки моих пальцев, в чем я сильно сомневаюсь. А вчера пошел на крупное дело. Хотел обчистить молочную, да не тут-то было.

Иоахим только диву давался. Стало быть, это настоящий вор и для своих лет уже многое совершил.

А тот все хвастал:

— Это еще что, дорогой. Вот в Бремене мы проворачивали дела почище. Я был во флоте, так мы с ребятами с нашей посудины не в один магазин лапу запустили. А как только на наш след напали, я испарился. Здесь, в этой дыре, живет моя сестра, она взяла меня к себе. Уговаривала, словно девку, чтобы я нашел себе работу. Как бы не так, и зачем мне, матросу, портить себе жизнь работой, когда мне и без нее хорошо. Вот я и подумал: пойду на крупное дело, заработаю монету, а потом — прощайте, укачу в Киль. Англичане организуют поиски мин и принимают в команды немецких матросов. Ну так займусь минами в Северном море, будет у меня койка, барахлишко, жратва. Чего мне еще надо?

Он замолчал было, но тут же спросил в свою очередь:

— А тебя за что упрятали?

Иоахим рассказал ему свою историю. Бывший матрос звонко рассмеялся.

— Мелочь,— воскликнул он.— Ты не засидишься. Да и я, впрочем, не задержусь на этой роскошной квартире.

— Как так?

Черноволосый понизил голос:

— Милый мой, ты не представляешь, что происходит на воле. Через несколько недель здесь будут американцы, можешь мне поверить. И тогда они пойдут против русских, против красных.

— Чепуха!

— Не веришь? Ладно, открою тебе секрет: если не они нас отсюда вызволят, так «оборотни». Они уже взялись за красных. Только вчера пристукнули одного из их вожаков, некоего Гензеля...

Радлов подскочил, лицо его сразу осунулось, и он крикнул:

— Врешь ты все, не может быть!

Бывший матрос опешил.

— Я же своими ушами слышал об этом в полиции. Полицейские говорили об убийстве, а я еще подумал: поделом красной собаке!

Иоахим отвернулся, чтобы скрыть свои чувства. Но, услышав последние слова парня, резко обернулся.

— Мерзавец...— с ненавистью бросил он ему в лицо.

— Ах так,— черноволосый иронически осклабился.— Тоже, верно, из тех? Хочешь выслужиться перед русскими? Жаль, что не знал об этом раньше.

Иоахим больше не обращал на него внимания. Его словно обухом по голове ударили. Гензель убит... От волнения его трясло, он долго не мог успокоиться. «Гензеля убили,— думал он,— это не ложь. Они только и могут, что убивать и стрелять. Что им сделал Руди? Честный, порядочный парень, и вот...» У Радлова вырвался глухой стон, и он растерянно забегал из угла в угол, не замечая, что сосед с явным злорадством следит за ним.

«Мне следовало предостеречь Руди,— твердил себе Иоахим,— и почему я этого не сделал?..— Испугавшись собственной мысли, он внезапно остановился.— Я тоже виноват,— решил он.— Я молчал, хотя и знал, как опасны эти бандиты. Думал, мое дело сторона, не хотел ни во что вмешиваться. Всегда старался не принимать никаких решений».

Он опустился на скамью у стола, подпер голову рукой: «Я уже докатился до того, что стал соучастником убийства. И только из-за своей лжи. Я же знаю одного из них. Если бы Вацмана обезвредили, то и других бы изловили».

Иоахим снова забегал по камере. «Урсула права,— думал он,— нельзя жить с ложью в сердце. Надо быть честным перед собой и перед людьми. Я должен был сделать это значительно раньше, вот в чем моя вина».

Перед дверью он остановился. Тут же находилась сигнальная ручка. Он потянул ее и, когда надзиратель открыл дверь, сказал:

— Сообщите, пожалуйста, господину Керну, что я хочу все рассказать.

Но едва надзиратель удалился, как на Иоахима налетел черноволосый:

— Гад паршивый, хочешь донести на меня!

Он замахнулся, но, увидев дикую ненависть в глазах Иоахима, быстро отступил.

Час спустя Иоахим уже стоял перед Керном. Воспитатель заметил глубокое волнение юноши, но подумал, что оно вызвано встречей с Урсулой, и настороженно спросил:

— Значит, ты все-таки изменил свое решение и хочешь...

Иоахим перебил его:

— Отрезы я получил у Мука, и этим все сказано. Но сюда я пришел не за тем: мне сказали, что банда «оборотней» убила Руди Генделя. Это правда? — И тихо добавил: — Руди был моим другом.

Керн кивнул.

— На Руди действительно напали «оборотни». Но он не умер. Будем надеяться, что выкарабкается. Жизнь его висит на волоске.

Иоахим вздохнул с некоторым облегчением.

— Я хотел бы сделать заявление, касающееся этих преступников,— сказал он твердо.

Керн очень удивился.

— Такое ответственное заявление необходимо запротоколировать,— ответил он.

Женщина села за пишущую машинку, но Радлов ее не видел, он сидел у стола против Керна. Несколько секунд царила полная тишина, слышно было только тиканье карманных часов Керна, лежавших перед ним на столе.

В самом начале Радлов говорил сбивчиво, его смущал стук пишущей машинки. Он торопился, словно боясь потерять нить своих мыслей, в спешке его слова как будто обгоняли друг друга. Но Керн его не прерывал, и постепенно Иоахим успокоился, ему больше не мешала даже машинка.

Это был рассказ о решающем периоде его жизни. Он начал с боев у Хафельского моста, поведал о надеждах и стремлениях члена гитлерюгенда Иоахима Радлова, о его разочарованиях, об утерянной вере после встречи с Гитлером, о надежде, вспыхнувшей благодаря Брандту, о сомнениях, страхе и, наконец, о медленно пришедшем понимании.

Радлов полностью отдавал себе отчет в своей вине и заявил, назвав фамилию Вацмана, что и в этом случае тоже виновен. Виновен в том, что молчал.

Время текло, проходил час за часом, и, когда Иоахим кончил, день уже склонялся к вечеру. В изнеможении откинулся он на спинку стула и почувствовал, как исчезает напряжение, как вдруг стало легко и

свободно на душе. Тяжкий груз, угнетавший его, сброшен. Лжи больше не существовало!

Прошло два дня, и Иоахима Радлова выпустили из тюрьмы. Ему еще раз удалось поговорить с Керном, и тот рассказал ему, что Вацман после ареста назвал имена всех «оборотней». Арестовали еще активную группу в семь человек. У них нашли пистолеты и даже несколько ручных гранат. Там же обнаружили список антифашистских деятелей города, которых эти «оборотни» намеревались уничтожить. Фамилия Радлова также значилась среди них.

Мать молча обняла Иоахима, когда он вернулся. Вот он и дома. Но Радлов пришел домой только проститься. Урсула уехала в тот же день, когда была у него, теперь его место рядом с нею. Иоахим внимательно следил за лицом матери, ища в нем укора. Горечь он, правда, увидел, но в то же время и улыбку сочувствия.

А как предстать перед отцом? Керн отпустил его, но на прощание дал полезные советы. Дело его прекратили, напомнил он Иоахиму, только потому, что тот искупил свою вину, рассказав об «оборотнях». Но оправдается ли он в глазах отца или путь к примирению все еще закрыт?

И верно, когда Иоахим вошел к отцу, тот сделал попытку притвориться спокойным. Но по судорожному подергиванию его рта Иоахим видел, как трудно ему владеть собой. Сын молча протянул руку. В этом движении заключалось все, что он хотел сказать отцу; это была попытка восстановить их прежние сердечные отношения.

И случилось то, чего Иоахим не ожидал: отец взял его руку и крепко пожал. С трудом овладев собой, Иоахим наконец пробормотал:

— До свиданья, отец.

Их взгляды встретились.

— Когда мы снова увидимся, зависит только от тебя,— сказал отец, едва сдерживая волнение.— Только если ты станешь порядочным человеком...— Он замолчал и через некоторое время продолжал уже спокойнее.— Ты ведь и сам не понимаешь, какое горе причинил нам. Я всегда надеялся, что из тебя выйдет порядочный человек. Я отдал тебя в гимназию, чтобы ты получил образование. И к нацистам я перешел, только чтобы попасть на более приличное место и заработать деньги тебе на гимназию. Твоя мать знает, как нелегко мне это далось...

Он умолк, словно подыскивая слова. Но смотрел не на Иоахима, а куда-то мимо него, в пространство. Наконец он снова заговорил:

— Я сказал себе: ты делаешь это для сына. Не страдать же ему всю жизнь от того, что отец был когда-то красным. Из-за тебя я предал своих товарищей. И тяжело за это поплатился.

Он дышал с трудом, волнение одолевало его. И, только сделав над собой усилие, закончил:

— Я слишком поздно понял свою вину. А потом... этот позор.

Он повернулся, направляясь к двери, но остановился и тихо сказал:

— Иоахим, мне еще предстоит искупить свою вину. Но ты одно должен обещать мне: будь всегда честным перед самим собой, как бы трудно это ни было.

После этих слов он вышел из комнаты — седой старик, которого, казалось, гнула к земле тяжкая ноша вины.

Иоахим был взволнован и растерян. Он ничем не мог помочь отцу. Каждый из них пойдет своим путем. Но этих слов отца он никогда не забудет...

В его каморке мать все готовила к отъезду, рюкзак был уже уложен. Она ласково погладила Иоахима:

— Отцу многое пришлось пережить, сынок.

Она крепко обняла и поцеловала сына. И тут, не выдержав, всхлипнула.

— Все наладится, мама. Приезжай к нам. Берлин ведь не на краю света.

Но его попытка пошутить не удалась, перехватило горло — уезжать было нелегко.

Уже стоя на улице, он еще раз взглянул на дом, где жили родители. Потом решительно зашагал к вокзалу. Прошлое осталось позади, как эти старые дома Нижнего города. Его волновало чувство, незнакомое до сих пор: он закладывает основу своей новой жизни, ожидающей его где-то впереди. И быстрыми уверенными шагами он пошел ей навстречу.

Митчел Уилсон

Встреча на далеком меридиане

РОМАН

Перевод с английского И. Гуровой, Н. Дехтеревой и Н. Треневой

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Образ Вали не покидал его — так в пустой комнате, где кто-то играл на рояле, долго еще дрожат потом ликующие звуки. Эта девушка поразила Ника. Только мужчинам и только коллегам мог он открывать важнейшую сторону своего «я». Все женщины, которых он когда-либо знал, находились где-то за пределами его науки, и с ними он мог лишь очень поверхностно затрагивать вопросы, касающиеся его работы, прекрасно зная, что подробности, цели и самое существо дела никогда по-настоящему поняты ими не будут. Женщины способны были лишь беспомощно, с любовью смотреть на него, горя желанием понять то, чем он живет, но так никогда ничего и не понимали. В лучшем случае они лишь смутно о чем-то догадывались. Нику вдруг захотелось от женщины большего.

Хотя было еще очень рано, он позвонил Анни, на этот раз не мучаясь сомнениями, как накануне утром. Анни ответила еще совсем сонным голосом, но весело. Ник тщетно ждал, что она сама расскажет про встречу с Хэншелом, но она так явно обрадовалась его звонку, что теперь это уже не имело никакого значения. Позже он все равно узнает.

— Вы свободны сегодня? — спросил он.

— Весь день.

— Тогда давайте придумаем что-нибудь,— предложил Ник. Он сидел на постели в легком летнем халате. Завтрак он уже заказал, а пока наполнялась ванна. Он представил себе, как Анни лежит, опершись о локоть, короткие ее волосы, наверно, слегка взъерошены. Так она выглядела бы, если бы провела эту ночь с ним.

— Что вы скажете насчет загородной прогулки? — спросила Анни.— По воскресеньям здесь принято ездить на пляж или в парк. По реке, вернее по каналу, курсируют маленькие теплоходики. На таком теплоходике мы доберемся до чудных лужаек и пляжа, где можно и выкупаться. Место называется Солнечная поляна. Только надо поторопиться: теплоходы отчаливают из Химок в девять часов. Я думаю, вам такая прогулка понравится.

---

* Продолжение. Начало см. в № 1 и 2.

Это воскресенье, более похожее на мечту, чем на реальность,— день, который для Ника остался навсегда долгим отзвуком тронутой струны,— с самого начала было отмечено ясной и стремительной четкостью. Принять ванну и позавтракать было делом нескольких минут. И вот он на улице, залитой солнцем и по-воскресному безлюдной. Пять свободных такси стояли рядышком в тени, и все пятеро шоферов спали в одной из машин. На улице никакого движения, только мимо Дома Совета Министров, бормоча что-то про себя, проплыла механическая мойка да через освещенную солнцем асфальтовую пустыню Манежной площади, окунаясь в тень, падавшую от здания гостиницы, торопливо двигался автобус, переполненный пассажирами — все они держали на коленях, словно младенцев, свертки, приготовленные для загородной прогулки. Наконец с улицы Горького подъехало такси, и в нем сидела Анни — она отчаянно замахала рукой, торопя Ника. В их распоряжении оставалось всего двадцать пять минут.

— Кирилл Иванович думает, что мы успеем,— сказала Анни по-русски, из любезности к шоферу, который большим пальцем поддел козырек форменной фуражки и приветствовал Ника короткой застенчивой улыбкой. На сиденье рядом с Анни стояла упакованная корзинка и термос.

— Как это вы успели все приготовить так проворно? — спросил Ник.

— У меня в холодильнике были всякие остатки, к тому же, так как я предполагала, что мы сегодня, может быть, поедем, я кое-что купила заранее, с вечера.

— Звонил вам вчера мой приятель Леонард Хэншел? — спросил Ник как бы мимоходом.

— Да, и мы вместе обедали.

Ник почувствовал себя задетым. Не мешало бы сказать об этом, не дожидаясь расспросов. Но он заметил только:

— Жаль, что вам пришлось так переутомляться два вечера подряд.

Анни рассмеялась.

— Ну, знаете, вчерашний день был не такой насыщенный, как тот, накануне. В десять часов я уже была дома и, как видите, успела приготовиться к воскресенью. Хэншел с его скепсисом по-своему очень мил. Он от вас в восхищенье. Вы действительно едете с ним в Вену?

— Безусловно нет,— резко ответил Ник.— С чего вы взяли? Он что, сказал вам, что я еду?

— Нет, только высказал предположение, что, может быть, поедете. Я вижу, вы на него очень сердиты.

— Вы не ошиблись. Между нами идет нечто вроде битвы за мою душу.— Он секунду колебался, прежде чем спросил: — Вы собираетесь принять работу, которую он предлагает?

Анни пожала плечами.

— Предложение его очень заманчиво, но я еще ничего не обдумала.— Она улыбнулась Нику.— Я же говорю вам: пока мы с ним беседовали, я все время мысленно прикидывала, что надо сделать к сегодняшней прогулке.

Они то ныряли в тень, то снова выныривали на солнце, пролетая по улице Горького, потом выскочили на залитую ослепительным солнечным светом большую площадь перед Белорусским вокзалом, потом по мосту через железную дорогу выехали на засаженное посередине деревьями Ленинградское шоссе и понеслись, догоняя и перегоняя легковые и грузовые автомашины, которые мчались рядом с обеих сторон. Наконец их такси обогнало переполненный автобус, и Анни облегченно

вздохнула. Это был автобус, курсирующий между Химкинским речным вокзалом и ближайшей станцией метро. Несясь со скоростью шестидесяти миль в час, Кирилл Иванович с торжеством посмотрел на них и расплылся в улыбке — теперь-то они поспеют.

Химкинский вокзал — длинное невысокое белое здание с тремя башнями, как у старых кораблей,— это конечный пункт маршрута волжских пароходов в Москве. В это утро зал ожидания гудел от говора и смеха экскурсантов. Все были одеты по-летнему, женщины в легких платьях, мужчины в теннисках, все сновали взад и вперед, задевая друг друга сумками и свертками с едой. Анни оставила Ника с вещами посреди битком набитого зала, а сама кинулась к очереди у одной из билетных касс. Она скоро вернулась, протискиваясь через густую толпу, победоносно вскинув голову, весело блестя глазами. Ей повезло — она купила последние билеты на самый большой, самый лучший теплоход — «Иосиф Сталин». Тут она схватила Ника за руку и вытащила его на солнце, на украшенную флагами эспланаду, где у причала стояло штук шесть теплоходиков. Толпа растеклась на несколько потоков, каждый к соответствующим сходням. Праздничное настроение чувствовалось даже в самом воздухе, и Ник вдруг ясно представил себе, какой Анни была в семнадцать лет.

Прогудели гудки, и один за другим теплоходы отчалили и поплыли, растянувшись на воде целой флотилией. Анни и Ник нашли свободные места в тени возле самых поручней на верхней палубе. Пассажиров набралось много, однако неприятной тесноты не было. Вокруг расположились семейные группы и компании друзей. На богачей никто из них не походил — видно было, что это люди, честно работавшие всю неделю. Анни была в слишком возбужденном состоянии, чтобы усидеть на месте. Ей хотелось показать Нику все, что здесь было интересного. Они прошлись по палубе. Любители позагорать наслаждались солнечными лучами, развалившись в палубных креслах и закрыв глаза; несколько заядлых картежников уже хлопали картами на пустом стуле, поставленном между игроками; некоторые сидели, поглощенные чтением, не замечая сотен людей вокруг и более реально ощущая зиму 1812 года, чем солнечный свет, звуки аккордеона, воду канала и проплывающие мимо зеленые берега,— Наташа и князь Андрей волновали их больше, чем сидящие тут же влюбленные, прижавшиеся друг к другу с видом мрачных заговорщиков, но стоило одному из них улыбнуться, и другой мгновенно отвечал ему улыбкой.

Анни заявила, что не успела позавтракать, и они отправились в буфет с синими плюшевыми гардинами и сели за столик. На всем теплоходе они были единственными иностранцами, и их английская речь заставила на мгновение поднять головы тех, кто сидели за соседними столиками. Больше никто не обратил на них особого внимания. Здесь было тихо, прохладно и чисто.

— Вам нравится? — спросила Анни.

— Я уж не помню, когда чувствовал себя так легко,— ответил Ник.— Должен признаться, что я порядком удивлен. Все выглядит точно так, как на любой воскресной прогулке во всех тех местах, где я бывал. Только,— добавил он, смеясь,— будь это в каком-либо другом месте, вас бы со мной не было. Скажите, что вас держит в Москве? Вы собираетесь остаться здесь навеки?

Она пожала плечами.

— Я же говорила вам: живу здесь, вот и все. И пока не вижу никаких причин уезжать отсюда.

— Вы счастливы?

Она быстро взглянула на него и сразу же отвернулась.

— Не знаю. Обычно и не задаешь себе такого вопроса. У меня есть работа, друзья. Смеюсь, когда мне весело, и стараюсь не показывать виду, когда взгрустнется. Пожалуй, я даже счастлива,— проговорила она медленно.— Здоровье у меня хорошее, дни проходят интересно...

— Да, понимаю,— сказал Ник.— Но... но, может быть, чего-нибудь вам не хватает, чего вам страстно хочется, к чему вы стремитесь,— какой-то цели?

Анни покачала головой.

— Очевидно, я не такого типа женщина,— сказала она.— В свое время было нечто, чего я действительно страстно желала: я хотела, чтобы мой муж был счастлив, у меня с ним были одни мечты — я мечтала о достижении его целей. Помогать ему во всем — вот к чему я стремилась. Создать для него домашний уют, подбадривать в трудную минуту, делить его радости. Я вполне справляюсь со своей работой журналистки, но огня в моей душе больше нет. Моя жизнь покажется вам, наверно, тусклой, бесцельной. Может, так оно и есть, но я-то этого не считаю.— Она посмотрела на него в упор, и Ник вдруг понял, что перед ним самая женственная из всех женщин, которых он когда-либо знал.— Если у меня и нет никакого таланта, во всяком случае, я всегда могу принести пользу тому человеку, который нуждается именно в такой женщине, как я,— сказала она просто.— Что действительно странно, так это то, что мне вдруг приходится все это объяснять вам.

— И все же, почему именно Москва?

— А почему бы не Москва? — И в голосе и в жесте ее рук явно выразилась легкая досада.— Именно в Москве я больше всего чувствовала себя женщиной — вот почему. Мы жили здесь с мужем, здесь он умер и здесь похоронен. Не подумайте, что я так и не снимаю мрачного траура. Нет,— продолжала она с волнением,— через два года после смерти мужа...

Анни внезапно умолкла, и Ник очень тихо, потому что ему было больно это говорить, произнес, не глядя на нее:

— Появился другой?

— Да,— призналась она спокойно.— Появился другой.

Ник взглянул на нее.

— И что же?

— И...— она развела руками,— и я снова стала женщиной.

— Ну и что же? — продолжал настаивать Ник.

— Ничего.

— Вы все еще встречаетесь с ним?

— Нет,— ответила она мягко.

— Он в Москве?

— Я же сказала вам — я с ним не встречаюсь.

Луга отодвинулись, уступив место расширившемуся руслу канала. И вдалеке Ник увидел множество парусных лодок — там происходили гонки.

— Он русский, или кто-нибудь из посольства, или корреспондент?

— Это не имеет значения,— сказала Анни ласково, но решительно.— Оставьте, прошу вас. Просто жизнь у нас с ним не сложилась. Он чудесный человек, с тонкой душой, добрый, порядочный. Но ему хотелось одного, а мне другого, и мы ничего не могли дать друг другу. Некоторым мужчинам нужна совсем не такая женщина, как я. И хотя мы оба чувствовали, что у нас что-то не ладится, он долго отказывался признать это. Я видела и понимала, что не даю ему счастья и никогда не смогу дать. Продолжать отношения было бессмысленно.

Ник молчал. Теплоход обогнал гоночные лодки, берега снова приблизились и заскользили мимо.

— Вы все еще любите его? — спросил, наконец, Ник.

— Да, люблю, но не в том смысле, как вы спрашиваете.— Я люблю его как хорошего старого друга.

— И ждете, когда он переменится?

— Нет,— произнесла Анни все тем же невозмутимым, но теперь и слегка насмешливым тоном.— Он никогда не переменится. И этого нелепо требовать от него. Уж каков есть человек, таков и есть, иным он стать не может. Он не тот, кто мне нужен. Но, право, трагедии тут нет,— добавила она, слегка улыбнувшись Нику, как будто утешая его.— В свое время я воспринимала это трагически, но, разумеется, это не так. Мир полон людей, и рано или поздно каждый человек, если счастье улыбнется ему, обязательно встретит такого, какой ему подходит и нужен.

— А вы и я?

Она ничего не ответила и помешивала ложечкой чай с таким видом, будто это занятие целиком поглотило ее внимание.

— А вы и я? — снова спросил Ник.

Анни все еще не поднимала на него глаз и только слегка пожала плечами.

— Как знать,— сказала она наконец и улыбнулась.— Пока мы только воображаем, что знаем что-то друг о друге.— Она откинулась на спинку стула, покончив с завтраком.— Ну, пожалуйста, не будем говорить об этом,— попросила она.— Лучше пойдем на палубу. Скоро мы уже доберемся до места.

Голос у нее звучал мягко и задумчиво. Ник понимал, что она рассказала ему далеко не все из того, что могла бы рассказать, и он не был уверен, что ему приятно будет услышать остальное.

2

Теплоход вошел в широкое гладкое озеро, образованное слиянием нескольких речек, и даже само небо, казалось, стало вдруг выше, шире и спокойнее. Кругом расстилалась зеленая, слегка холмистая местность. Несколько парусных лодочек на воде чуть накренились от слабого дуновения, но в общем воздух был почти неподвижен, и ничто не тревожило ровной глади воды; где-то далеко у противоположного берега моторная лодка прострочила воздух треском своего мотора. Остальные теплоходы с экскурсантами скрылись из виду: некоторые ушли вперед к следующим пристаням на пути к Московскому морю, другие, наоборот, так отстали, что их уже не было видно за поворотом. Теплоход «Иосиф Сталин» переменил курс и медленно направился к простому деревянному причалу на краю пустынного поля. Едва спустили сходни, как экскурсанты высыпали на берег, торопясь занять хорошее место поближе к воде.

Оглядевшись по сторонам, Ник с удивлением убедился, что никаких кабин, где можно было бы переодеться, нет и в помине. Переодевались тут же, не сходя с места, скромно потупив взоры. Каждый, казалось, уважал чувство стыдливости другого, никто ни на кого не обращал внимания, и Ник решил поступить, как и все. Женщины, которых он только что видел в самых что ни на есть скромных платьях, теперь облачились в такие купальные костюмы, которые показались бы слишком смелыми на каком угодно американском курорте; некоторые были просто в черных трико и бюстгальтерах. Зеленые кусты у воды вдруг расцвели

ярчайшими тропическими цветами — красными, голубыми, желтыми, сиреневыми: это купающиеся, торопясь влезть в воду, раскидали на ветках свою одежду.

Ник оценивающе поглядывал на Анни. На ней был черный купальный костюм, почти такой же открытый, как и у других, и ее стройное, но слегка округлое тело золотилось от загара, еще не сошедшего после отпуска, проведенного в начале лета в Крыму. Как и руки, тело ее и все движения были женственно изящны и грациозны. Точно с такой же откровенностью, с какой он рассматривал ее, Анни смотрела на Ника.

Не сговариваясь, они взялись за руки и по твердому песчаному грунту вошли в воду. и, так же не произнеся ни слова, поплыли рядом, в такт взмахивая руками. Под водой Ник видел, как она отталкивалась ногами и плавно разводила руки. Он слышал приглушенные всплески воды и смех купающихся, слышал отдаленное чавканье невидимого пароходного винта. Солнце жгло ему шею и спину. Почти одновременно, где-то уже далеко от берега, они приостановились и вдруг улыбнулись друг другу — просто так, от ощущения здоровья и бодрости, которое словно мягким прозрачным маслом смягчает застарелые заботы и неприятности.

Их обоих охватило чувство полного покоя — в этот зеленый солнечный день их как будто окутала дрема, приподняв над реальностью ровно настолько, чтобы можно было свободно парить от мысли к мысли, от встречи к встрече, как будто стерлись все грани и уже не могло быть ничего неожиданного, как будто единение со всем, что происходит вокруг, было так же естественно, как естественно дыхание.

Ник и Анни лежали рядом на траве, раскинув руки, чуть касаясь друг друга пальцами. Не успели они опомниться, как уже беседовали с молодоженами — те пришли к ним и сидели на траве, поджав ноги, пришли, чтобы попрактиковаться в английском языке, как объяснила жена, молоденькая женщина, отрекомендовавшаяся школьной учительницей. Муж ее оказался очень застенчивым, он произнес всего несколько слов, но слушал очень внимательно и время от времени поднимался во весь свой длинный рост, брел к воде, нырял и затем уплывал минут на двадцать. Он работает на заводе, он металлист, рассказала его жена, и занимается на инженерно-химическом факультете, на вечернем отделении.

— Пусть поплавает, это ему полезно, у него такая тяжелая вся неделя,— говорила жена, провожая его заботливым взглядом.— По воскресеньям я ни о чем не даю ему думать. Иногда он до того устает, что ему даже говорить трудно.

Молодая женщина исчезла так же незаметно, как появилась. И так же незаметно Ник и Анни в самый разгар их завтрака очутились в новой компании, расположившейся по соседству с ними,— две супружеские пары и их взрослые дети, все они работали на одной и той же обувной фабрике. Мужья вместе прошли войну, а теперь каждое воскресенье, рассказывали они, обе семьи отправляются отдыхать, всякий раз в новое место. Они растянулись на траве и не спеша беседовали о футболе, о войне, о надеждах на мир и о предстоящей свадьбе одной из дочерей. Ник, приподнявшись на локте, попросил у них воды и осушил стакан до половины, прежде чем сообразил, что его не поняли и вместо воды дали водки. Он засмеялся и преспокойно выпил все до дна.

Потом они с Анни опять лежали растянувшись на берегу. В воздухе стоял запах нагретой солнцем травы, и Ник чувствовал на своей спине и солнечное тепло, и прохладное дуновение ветерка. Они подремали немного, и опять пальцы рук их соприкасались; потом встали и еще раз

вместе поплавали. В четыре часа с теплохода послышался гудок, призывающий пассажиров на борт, они оделись и пошли к пристани.

До самой Москвы чувство приподнятости не покидало их. На корме танцевали под звуки патефона. Ник и Анни смотрели на танцующие пары, и Ник снова, хотя с ним рядом стояла Анни, почувствовал себя вне жизни, бесконечно далеко от людей, и эта тоска одиночества была такой острой, что ему пришлось сделать усилие, чтобы не выдать своего состояния. И дело было вовсе не в том, что он находился в чужой стране. Будь он сейчас не здесь, а на пароходе, идущем по Гудзонову заливу, и среди американцев, вот таких же, как эти люди — счастливых, отдыхающих после трудовой недели,— он наверняка испытывал бы точно такую же отчужденность. Он почувствовал, что Анни наблюдает за ним, понимает, что с ним происходит, и принудил себя улыбнуться. Постепенно мрачные мысли его рассеялись. Он взял Анни под руку, они оставили танцующих и медленно зашагали по палубе. Там, где днем были состязания парусных лодок, вода теперь казалась голубым стеклом, и десятка два белых парусов беспомощно поникли, будто усыпленные неподвижностью воздуха. Песчаные берега канала, совершенно пустынные утром, теперь на всем своем протяжении были усеяны небольшими группами отдыхающих: они махали руками плывущему мимо теплоходу. Пловцы спешили ему навстречу, чтобы покачаться на волнах, поднятых винтом. Впереди на пути теплохода, насколько хватал глаз, черные точки одна за другой отрывались от берега, оставляя за собою треугольный след: это купающиеся спешили попасть на середину канала к моменту, когда будет проходить теплоход. И это все тоже было продолжением медлительного танца этого невероятного дня.

В шесть часов показался Химкинский вокзал — длинный ряд высоких белых шестов с красными флагами, которые еле колыхались в легких струях вечернего воздуха, еще не достигших земли. Ник и Анни сошли с теплохода, взяли такси и поехали к центру города. Дорогой они почти не разговаривали, только объяснили шоферу, куда ехать. По шоссе опять неслись такси, легковые машины, автобусы, грузовики, переполненные людьми, возвращавшимися с воскресных прогулок. Одни пели, другие, устав за день, ехали молча. Машины ошалело неслись пестрым потоком, то замедляя, то резко ускоряя ход, и это по-прежнему казалось Нику сном, чем-то нереальным, как все, что было в этот воскресный день — лодочные гонки, вечернее небо, его мысли и чувства.

Уже стемнело, когда они добрались до освещенного фонарями ресторана-поплавка на Москве-реке. Вода была как жидкий оникс: черная, неподвижная, сверкающая отражениями городских огней. Белый тент над столиками ни разу не колыхнулся. Все вокруг замерло. Они вышли из ресторана и, держась за руки, молча отправились домой к Анни и там, не зажигая огня, не произнеся ни слова, обнялись. Только ощутив ее в своих объятиях, Ник понял, что с той минуты, как они вышли из ресторана, настроение, которое, казалось ему, она с ним разделяла, покинуло Анни. Она была теперь в каком-то нервном напряжении, дрожала, прижималась к Нику, в то же время внутренне как бы отстраняясь от него.

Пораженный такой переменой в ней, Ник слегка разжал объятия: при желании, она могла бы теперь отойти, но она по-прежнему стояла, крепко к нему прижавшись. Она дышала часто и неровно, закрыв глаза, плотно сжав веки, как будто не хотела чего-то видеть в эту минуту.

— Что с вами? — прошептал Ник.

— Со мной ничего, ничего,— сказала она скороговоркой, словно подгоняя его.— Ничего!

Губы ее, в ожидании нового поцелуя, были мягки и податливы. Он старался нежностью успокоить ее, унять эту нервную дрожь, но в Анни теперь было как бы два человека, и один из них не хотел сдаваться и не хотел, чтобы его успокаивали. Она вдруг оттолкнулась от Ника, в темноте прислонилась к столу и, закрыв глаза, стиснула ладонями щеки, судорожно глотая воздух. Ник подождал минуту, потом снова осторожно привлек ее к себе. Глаза ее светились лаской, но тело сотрясалось от нервной дрожи. На этот раз Ник крепко прижал ее к себе, целуя ее в глаза, ноздри, мягкую округлость возле губ, ненавидя то, что пыталось отнять ее у него, тогда как сам он отдавал любовь и нежность тому второму существу в ней, которое стремилось к нему так же горячо. Но Анни снова вырвалась из его объятий. Ник опять прижал ее к себе, и она спрятала лицо у него на груди.

И в этот момент загрохотал гром так долго собиравшейся грозы, напугав их своими мощными раскатами, и они молча, не шелохнувшись, стояли в темноте, открыв глаза, боясь хотя бы единым движением нарушить эту минуту близости. Молния осветила комнату, которую Ник еще и не видел, мелькнули очертания стульев, силуэт вазы с цветами на столе, голубая стена... Тут раздался новый удар грома, как будто прямо над головой — звук сокрушающей силы, грозно прокатившийся по небу, и наконец они услыхали шум и рев сильного прямого дождя, падающего с равномерным гулом водопада.

Беззвучные рыдания сотрясали тело Анни.

— Что с вами, Анни? Ну скажите же мне!

— Я сама не знаю. Не надо было приводить вас сюда. Но мне так хотелось этого, Ник, правда!

Он поцеловал ее в глаза, и она, немного успокоившись, прильнула к нему. Гроза уходила куда-то в сторону, все еще перерезая небо полосами слепящего света. Дождь не переставал.

— Тогда почему вы отталкиваете меня?

— Я ничего не могу с собой поделать. На меня вдруг надвигается мрак, и мне кажется, если я не вырвусь, я задохнусь,— проговорила она с отчаянием.— Или у меня такое ощущение, будто мой мозг — внутри стеклянного колпака, и это тоже непереносимо.

Ник помолчал.

— Вот так же было и с тем... с тем другим?

Она кивнула.

— Сегодня, на теплоходе, я сказала вам, что, встретив его, снова стала женщиной. Но я сказала неправду,— проговорила Анни.— В конце концов это и было одной из причин, почему я была даже рада, что он ушел.— Она отодвинулась от Ника.— Дайте мне сигарету.— Она вздохнула, словно признаваясь в полном своем бессилии.

— А с вашим мужем?

При слабом огоньке спички он увидел, что Анни покачала головой.

— Тогда было совсем по-другому.

— Значит, все объясняется просто.— Ник глубоко вдохнул в себя воздух.— Мужа вы любили по-настоящему.

Она снова покачала головой.

— Конечно, я его любила. Но это не так просто, как вам кажется. Ник! — вдруг вскрикнула она, словно моля о помощи. Теперь это была уже не та уравновешенная улыбающаяся женщина, какой он видел ее в посольстве, и не та будто совсем юная, задумчиво ласковая девушка, какой она была весь этот день. Сейчас она терзалась мукой.

— Ник! — снова вскрикнула она, бросившись к нему. От нее все еще шел еле уловимый запах духов, к которому примешивался теперь и сла-

бый, нежный мускусный запах ее кожи и запах волос, и снова она казалась другой, потому что Ник уже понимал в ней больше того, что было открыто пониманию других. Он обнял ее просто и ласково, касаясь щекой ее щеки, но когда она, грустно поцеловав его, отошла в сторону, он не стал ее удерживать.

— Все опять будет точно так же,— с отчаянием проговорила Анни.— В глубине души я с самого начала знала, что это случится. Меня охватывал ужас...

— Потому вы и были со мной так сдержанны?

— Я не хотела, чтобы это произошло,— продолжала она взволнованно.— Я старалась избегать вас. Но когда мы оказались вдруг так близко... Ник! — взмолилась она опять, и в голосе ее была та же мука. В бессильном отчаянии она барабанила своим маленьким кулаком по его руке, а сама прижалась лбом к его плечу.— Не сердитесь на меня. Поймите, меня никогда не оставляет страх. Мне нужен такой человек, который избавил бы меня от страха. Я борюсь с этим, но всякий раз в последнюю минуту мне хочется бежать, скрыться... Я потеряла слишком много близких,— проговорила она в тоске. Ник обнял ее.

— Анни, дорогая, ну что мне сказать вам?

— Не знаю,— ответила она печально. Она снова нежно коснулась щекой его щеки, словно изучая его лицо.— Не знаю, не знаю. Ведь я отлично понимаю это: все, что произошло со мной, не страшнее того, что происходит со множеством других людей.— Она вся как-то притихла.— В ту ночь, когда в Лондоне погибли мои отец и мать, погибли еще сотни людей. Родители послали меня в убежище, и я ждала их там, но они так и не пришли. Но множество других отцов и матерей тоже не вернулись к своим детям.

Она помолчала немного, а когда заговорила, голос ее вновь звучал как-то иначе, она вспомнила иное время.

— Знаете, Ник, мой отец был замечательный человек — высокого роста, рыжеволосый и всегда такой уверенный в себе. Я была с ним, когда он строил плотину в Сезуми, я была с ним повсюду. И опять-таки: что из того? — Она вздохнула, отодвигаясь от Ника и как бы приходя в себя.— Очень многие дочери восхищаются своими отцами. И сыновья тоже. Разве вы своим не восхищались?

— Пожалуй, да,— протянул Ник.— Но у нас дома...

— А у меня никогда не было дома,— сказала Анни.— Я имею в виду один определенный дом, который остается в памяти на всю жизнь — он стоит на такой-то улице, а во дворе растет дерево, и висят качели, и, что бы ни случилось, всегда можно вернуться поглядеть на него. Мы постоянно переезжали с места на место. Моим домом были люди. Когда умерли родители, всему пришел конец. Но ведь не у меня одной случилось такое горе,— продолжала она страстно.— Я это знаю. Тогда я еще не боялась любить. Я безумно, отчаянно хотела любить кого-нибудь. И я действительно любила Элинор...

— Но я ведь не знаю, кто такая Элинор,— ласково остановил ее Ник. Он взял ее руки в свои.— Я не знаю никого из тех, кто были в вашей жизни.

— Я хочу, чтобы вы знали об Элинор,— заговорила Анни настойчиво.— Она работала буфетчицей в том отряде, который пришел расчистить дом или, вернее, то, что осталось от нашего дома, и когда я вернулась из убежища, она забрала меня к себе. Полтора года мы жили вместе, и мне кажется, я любила ее почти так же, как прежде любила мать, хотя трудно найти людей более разных. Не могу себе представить, что сказала бы о ней моя мать. Муж Элинор был морским офицером в Син-

гапуре, он погиб в начале войны. Она многое повидала в жизни. Может быть, даже чересчур многое, потому что время от времени она напивалась почти до потери сознания. Но по отношению ко мне она была замечательная: добрая, веселая, с ней всегда было интересно.

— Тогда почему же вы ушли от нее?

— Я не уходила от нее,— проговорила Анни с резкостью, удивившей Ника.— Я бы никогда не оставила ее. Она умерла почти такой же смертью, как и мои родители.— Анни опять оборвала себя и лишь немного погодя проговорила машинально: — Тогда вместе с ней погибло еще семьдесят два человека, это было прямое попадание, и всех этих людей оплакивали, наверно, не меньше, чем я Элинор.

— Вы говорите так, словно запрещаете себе иметь личное горе,— сказал Ник.— Ведь это же ваши утраты, почему вы отказываете себе в праве переживать их?

— Я уже столько пережила, что стала как деревянная,— ответила Анни.— И мне даже чудится иной раз, что я предала своих родных — ведь я ушла в убежище одна, а они остались дома. Я покинула их в такую минуту, когда была особенно нужна им.

— Но вы же понимаете, что это неправда, ведь не умышленно вы так поступили.

— Нет, все-таки в чем-то я виновата,— настаивала Анни.— То, как я вела себя потом, доказывает это. Почти полгода после смерти Элинор я ходила как потерянная, переезжала с места на место, занималась тем, что попадало под руку. Работала на фабрике. Но когда Оуэн наконец разыскал меня...

— Я ведь и об Оуэне ничего не знаю.— Анни подняла на него глаза, хотела что-то сказать, но Ник продолжал: — И если вы любили его, то я не уверен, что мне очень хочется выслушивать исповедь об этой вашей любви. Я хочу знать только о вас, Анни. Только о вас.

Она вскинула руки каким-то беспомощным жестом.

— Но как вы сможете понять хоть что-нибудь обо мне, если я не расскажу об Оуэне? Я познакомилась с ним через Элинор. И мы трое были почти неразлучны. Он собирался жениться на Элинор, но «Таймс» послала его в Александрию приблизительно за месяц до того, как Элинор погибла. Я не думала, что когда-нибудь снова его увижу... Так вот, вернувшись в Лондон, он стал разыскивать меня и нашел. Помню, как я увидела его тогда — он шел мне навстречу, единственный на всем свете человек, который у меня остался, единственный, кого я в то время знала и любила. Но вместо того чтобы радостно кинуться к нему, я в каком-то необъяснимом ужасе повернулась и бросилась бежать...

Ник ждал, пока она снова заговорит, но она смотрела на него молча, будто вдруг пришла к какому-то заключению.

— Уже тогда во мне зародился страх, что если я кого полюблю, то обязательно потеряю этого человека,— сказала она.

— Но он остановил вас, не дал вам убежать? — спросил Ник не сразу.

От удивления у нее слегка расширились глаза.

— Ну конечно же! Ведь я рассказываю о своем муже, Оуэне Робинсоне. Он взял меня к себе, заботился обо мне, нашел для меня дело. И женился на мне. Да, он не дал мне убежать, и это было одним из самых замечательных событий в моей жизни.

Она снова закурила и отошла к окну. При свете далекой молнии ее поднятое кверху лицо казалось очень бледным и очень молодым. Ник чувствовал, что сейчас она бесконечно далека от него.

— У нас с ним была такая интересная жизнь. В последний год вой-

ны, благодаря моему знанию русского языка, газета послала меня вместе с Оуэном сюда, в Москву. А после войны... Где мы только не побывали после войны! Оуэн любил переезжать с места на место — он хотел все видеть своими глазами, его тянуло туда, где кипела жизнь. Вот почему несколько лет назад мы снова вернулись сюда. Оуэну не терпелось посмотреть, как здесь все изменяется.— Анни глядела на город сквозь сетку дождя, на блестевшую внизу улицу, на ряды мокрых крыш. Ник не мог догадаться, о чем она думает, но она опять заговорила: — Конечно, с моей стороны, неправильно воспринимать все это таким образом. Мы были счастливы. Этого у меня отнять нельзя. Я знаю женщин, которые...

— При чем тут другие женщины? — решительно перебил ее Ник.— И какой смысл в том, что каждое свое чувство, все, что было с вами, вы сравниваете с тем, что случилось с кем-то другим? Главное то, что вы ведь абсолютно уверены, что не бросили его.

— Нет, я его не бросила,— согласилась она.— Я не могла знать, что с ним. Он и сам не знал. Сперва мы оба думали, что он просто переутомился, что ему надо как следует отдохнуть и усиленно питаться. Мы собирались съездить в Италию. Я старалась, насколько было возможно, избавить его от всяких мелких забот. В тот день я была на телеграфе, посылала в газету материал. По дороге зашла кое-чего купить. Возвращаюсь домой и вижу, что возле тротуара стоит длинная сероватого цвета машина с красным крестом — карета скорой помощи и Оуэна уже спускают по лестнице на носилках. Оказывается, он пытался дозвониться мне, но я уже ушла с телеграфа. Он звонил знакомым корреспондентам, но никто не знал, где я. А я в это время стояла в длинной очереди в аптеке, чтобы купить ему аспирин и кодеин: я ведь думала, что у него начинается простуда. В конце концов он позвонил в посольство, и там приняли меры. Было уже поздно переправлять его в Лондон, даже и здешний хирург еще не успел вмешаться, как все было кончено.

— Но вы же знаете — ничего не изменилось бы, если бы вы не стояли в это время в очереди, а были вместе с ним.

— Я же говорила вам: то, что случилось со мной, случается и с другими людьми. Здесь, в этой стране, столько вдов, столько сирот... То, что пришлось пережить мне, пережили десятки миллионов. Об этом нельзя, невозможно не помнить. Может, поэтому я и не уезжаю отсюда.

— Может быть, именно поэтому вам следовало бы уехать.

— Возможно,— согласилась она, хотя в голосе ее не было убежденности.— Но кто-то должен меня удержать, остановить, как тогда Оуэн в Лондоне, кто-то должен взять меня за руку и сказать: «Как ты ужасно выглядишь! Пойдем со мной, я о тебе позабочусь». И тогда все будет хорошо, я уверена в этом! Понимаете ли,— сказала она, взглянув на Ника,— я ищу такого человека так же отчаянно, как вы ищете то, что нужно вам. Я угадала это по вашему лицу в первый же раз, когда мы встретились. Я чувствую, что всякий раз, замыкаясь в себе — вот как сегодня,— вы уходите куда-то, куда никто не может последовать за вами.

— А что, если мне тоже нужен кто-то?

Она с сомнением покачала головой.

— Я бы желала верить этому, Ник, очень,— сказала она горячо.— Но сейчас вы ищете не женщину.

— Вы нужны мне, Анни. Зачем так говорить?

— Но я же чувствую это! То, что вам необходимо сейчас, для вас гораздо важнее, чем женщина. Тут я ничего не в силах вам дать. Я могу кинуться под автобус, могу биться головой о стену — все равно, я ничего, ничего не в состоянии сделать для вас, не смогу заменить собой то, что вам нужно. А через некоторое время, убедившись в этом,

вы снова отправитесь на поиски, но на свете не найдется женщины, с которой вы могли бы быть счастливы до тех пор, пока не обретете того, что ищете. Разве это не правда? — умоляюще проговорила она.— Скажите, что я не ошибаюсь.

Он ничего не ответил.

— Потому что с вами именно так и случалось,— настаивала она, не сводя глаз с его лица,— всякий раз так — правда?

— Да,— признался он наконец, испытывая подлинное облегчение от того, что может говорить теперь с ней совершенно открыто.— Это ужасно, когда тебя ничто не трогает. Но, Анни, клянусь вам — с вами у меня должно быть все по-другому.

Она испытующе, очень серьезно посмотрела на него, потом отвернулась, и плечи ее слегка понурились.

— Вы сказали «должно быть», Ник, а не просто «будет».— Она вздохнула.— Ах, Ник, вам кажется, что вы говорите правду, вы хотите, чтобы это было правдой, но я-то не могу в это поверить. Даже когда я заставляю себя — ведь и мне хочется, чтобы это было правдой,— все равно не верю.

Она опять коснулась его плеча, прижалась к его руке.

— Я так ясно вижу и понимаю вас,— сказала она.— Вы не успокоитесь, пока не получите все, что ищете, меньшее вас не удовлетворит, иначе вы давно бы отказались от поисков. И это не слабость ваша, это ваша сила. Но ищете вы не меня. Вы увидели меня, остановились ненадолго, чтобы отдохнуть, а потом пойдете дальше.— Она еще крепче обхватила его руку, словно рассердившись.— Я боюсь позволить себе полюбить того, кого снова потеряю, кто уйдет от меня.

— Пойдемте вместе, Анни.

— Ведь все равно ничего не выйдет.

В голосе ее звучала мольба, она как будто просила пощады.

— Давайте попытаемся.

— Ник, у вас не хватит терпения. Ни у кого не хватит.

— А мы попытаемся.

— Я все равно найду способ сбежать от вас,— в отчаянии отговаривала она его.— Не потому, что захотела бы этого, но... Ведь я себя знаю, Ник. Я найду повод.

— Ну хорошо, находите.

Она снова пытливо и словно с мольбой посмотрела на него.

— Вы говорите об этом так легко, вы просто не верите мне. Пусть будет по-вашему, Ник, но помните: что бы я ни говорила, как бы ни поступала, я хочу, чтобы это были вы!

Ник обнял и поцеловал ее, и ее мягкие губы ответили ему. Но она все еще дрожала, хотя уже не так сильно. Анни боролась с собой, готовая обратиться в бегство при малейших признаках опасности. И он понимал, что даже это немногое было с ее стороны уступкой — даром тем более щедрым, что уступка давалась ей нелегко.

Он видел, что настаивать бесполезно, и вскоре ушел.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

В ту ночь потоком ясного холодного воздуха с севера в Москву пришла осень. Ник почувствовал ее дыхание, когда утром Горчаков вез его на машине в институт. Женщины, которые вышли еще в ярких

летних платьях, дрожали от холода на залитых солнцем улицах. Темные грузовики, такси, легковые машины и автобусы неслись с поднятыми стеклами. Ник чувствовал апатию и усталость, хотя настал именно тот день, когда свет и движение жизни должны были бы пробиваться даже сквозь стекло, отгораживающее его от внешнего мира. Вместо того чтобы направить мысль на проблемы, ради которых он прибыл из такого далека, он поймал себя на том, что думает об Анни. И вместо того чтобы составить точный план намеченной работы, он вспоминал темную комнату, освещаемую острыми, мгновенными вспышками молний. «Что же я за человек? — сердито подумал он про себя.— Неужели я надеялся, что одна лишь перемена места произведет перемену и во мне самом?» Он ехал молча, и Горчакова это, по-видимому, удивляло, хотя он и не делал попытки нарушить молчание.

Наконец Горчаков все же не выдержал и спросил:

— Скажите, вам и в самом деле понравилось у меня в субботу?

— Очень,— ответил Ник.— Мне понравились все ваши друзья — все без исключения.

Горчаков кивнул, и на лице его отразилось чувство облегчения и удовольствия.

— Ну, очень рад. Вы им тоже понравились. Знаете, они славные люди. Для многих из них жизнь не всегда была легкой, но, хотя им пришлось пройти через большие невзгоды и трудности, самое главное осталось в них нетронутым. Даже те, кто достигли высокого положения, не очерствели душой, не стали самодовольными и нетерпимыми. Я люблю людей, которые любят жизнь,— сказал он просто.— Людей, которые хотят жить, отвоевывают себе это право. Именно этим вот и отличаются лучшие наши люди. Взять, к примеру, моего зятя Петю или хотя бы Борю...— Он умолк, с гримасой отвращения отогнал от себя призраки прошлого и слегка улыбнулся.— Все в один голос сказали, что вас скорее можно принять за англичанина, чем за американца.

— Меня? — в изумлении переспросил Ник.— Почему же?

— Очевидно потому, что для них сдержанность — качество, характерное для англичанина.— Он засмеялся.— Только я не уверен, что им пришлось хоть раз в жизни встретиться с англичанином.

Промчавшись по шоссе, они въехали в ворота института. Вооруженная женщина-милиционер в проходной только кивнула им, она осторожно, маленькими глотками пила что-то горячее и дымящееся из толстой белой чашки.

В кабинете Горчакова они сняли пиджаки и галстуки, как будто готовясь к тяжелой работе, и перешли в смежную с кабинетом лабораторию. Здесь на круглом белом экране осциллографа, извиваясь, как бесконечный червяк, колебалась, дрожала полоска зеленоватого света. Вдоль всей спинки этого зеленого червяка тонкие светящиеся волоски с головками на концах поднимались вертикально и затем исчезали, сигнализируя случайные импульсы в лежавшем на столе счетчике Гейгера. Ник, наблюдая за импульсами, лишь мимоходом отметил про себя, что стержень каждого импульса слабее, а головка ярче, чем он ожидал.

— Ну, с чего же мы начнем? — спросил Горчаков.— С того, в чем расходимся, или с того, в чем согласны? Ведь мы с вами во многом согласны. Мы оба с вами обнаружили частицы во много раз более высокой энергии, чем это предсказывала теория. И я думаю, что оба мы исключили возможность того, что это протоны, ускоренные за миллиарды лет электромагнитными полями внутри нашей галактики. Правда, при условии,— добавил он,— что мы подразумеваем галактику, имеющую форму толстого диска. Мы не исключаем галактику в виде шара.

— Именно тут кончается единство наших мнений и начинаются разногласия,— сказал Ник.— То, что вы утверждаете, верно лишь в пределах ваших измерений. Пока еще не существует прибора, способного объяснить, каким образом энергия, измерением которой занимаюсь я, скопилась в нашей галактике. Скажите,— спросил он,— почему вы настаиваете на замкнутой галактике? Это что, кажется вам логически более убедительным?

— Настаиваю? — Жестом руки и движением плеча Горчаков категорически отверг такое предположение.— Я не настаиваю. Если вам хочется, чтобы я признал возможность того, что, даже имея в виду ту энергию, которую я обнаружил, атмосферу бомбардируют частицы и из других галактик,— пожалуйста, охотно признаю. Но ведь если даже мы с вами придем к согласию, это еще не значит, что мы установили истину. Я придерживаюсь теории замкнутой галактики только до тех пор, пока не будут исчерпаны все возможные исследования или пока я не буду убежден, что ваши измерения вернее моих.

— Итак, мы снова вернулись к измерениям,— сказал Ник.

— Выходит, что так,— согласился Горчаков невозмутимо.

— Тогда с этого нам и придется начать,— сказал Ник, снова поворачиваясь к осциллографу, заинтриговавшему его с самого начала.— Давайте начнем с приборов.

Он повернул регулятор синхронизации осциллографа. Яркий извивающийся червячок задвигался взад и вперед в десять раз быстрее и стал прямой четкой полоской света, но неожиданно выскакивающие вертикально вверх импульсы не стали заметно шире. Ник слегка нахмурился. Он повернул регулятор в следующее положение, дав ускорение в сто раз, потом в тысячу раз, и все же усиленные импульсы расширились лишь незначительно. Нику пришлось увеличить скорость в сто тысяч раз, чтобы увидеть наконец структуру импульсов. Уже лет двадцать как он занимался наблюдением импульсов на счетчике Гейгера, но таких, как сейчас, он никогда не видел: они имели плоскую головку и ширину гораздо меньшую одной миллионной доли секунды.

— И как это вы, черт возьми, ухитрились добиться таких? — спросил Ник, озадаченный.— Вы что, загоняете их сюда силой?

Горчаков ответил медленным кивком.

— Идея здесь старая, а методы, правда, новые. Вот уже скоро год как мы их применяем. Таким образом мы добиваемся очень высокого времени срабатывания.— Он улыбнулся.— Это Валино достижение, она над этим работала.

— Валя? — Ник рукой указал через плечо, словно еще длился тот субботний вечер и Валя находилась в соседней комнате, где накрывала стол для гостей.— Та самая Валя?

— Да, та самая Валя. Она все больше и больше занимается нашими схемами.

Ник выключил напряжение, отсоединил счетчик, перевернул маленькое квадратное шасси. Повертев его в руках, он обнаружил, что это не обычный высоковольтный генератор, схема была сложная. Отдельные ее элементы были более или менее типовые, но определить назначение миниатюрных электронных ламп Ник не мог — он еще не был знаком с советскими техническими стандартами. Характерный импульс мог исходить только от несбалансированного мультивибратора, и Горчаков указал Нику на двойной пентод, выходную характеристику которого Валя остроумно использовала.

— Удивительная женщина, просто находка,— проговорил Ник.— Вам очень повезло.

— Она со мной почти и не работала,— пояснил Горчаков.— Вот уже несколько лет как ей очень протежирует моя сестра, но сам я както не обращал на нее внимания. Во-первых, она казалась мне чересчур хорошенькой, а поскольку на свете может быть только одна Кюри, трудно было ожидать, что хорошенькая женщина окажется дельным физиком. И именно потому, что ее рекомендовала сестра, я все время упирался. Потом все-таки решил дать молодому физику возможность проявить себя, хотя первые ее идеи о такой схеме были довольно наивны. Но у нее обнаружились и самостоятельность мысли и способность быстро вникать в дело. Как видите, все получилось чудесно.

Раздался стук в приоткрытую дверь, и вошла Валя. На ней был белый лабораторный халат, надетый поверх черной блузки и зеленой шерстяной юбки. При виде Ника она удивленно раскрыла глаза и, улыбаясь, подошла к нему и протянула руку.

— Здравствуйте,— сказал Ник по-русски. Он улыбнулся ей.— Теперь и я здесь работаю.

Валя широко развела руки в стороны, как бы приветствуя Ника.

— Рады новому товарищу,— сказала она и засмеялась.

— Я только что видел ваш прибор. Схема великолепна. Примите мои поздравления.

Она вспыхнула, и ее матовая кожа стала похожа на слоновую кость, пронизанную светом заходящего солнца.

— Благодарю вас,— произнесла она, от смущения, как это часто бывает, переходя на официальный тон. Потом обернулась к Горчакову: — Вы хотели меня видеть?

— Да. Чтобы доктор Реннет мог поздравить вас. Я хотел бы, чтобы вы сами объяснили ему свою схему.

Валя опять взглянула на Ника, словно желая убедиться, не подшучивают ли над ней.

— Но ведь мой прибор действует намного медленнее ваших сцинтилляционных счетчиков.

— Зато свои функции он выполняет превосходно.

— Мне придется говорить по-русски,— предупредила Валя.

— Ничего, ничего, Валя,— успокоил ее Горчаков.— Я буду вашим переводчиком.

— Чудесно,— сказала она.

Они сели за стол. Валя придвинула к себе карандаш и блокнот уверенным жестом человека, хорошо знающего то, о чем он собирается говорить. Пальцы одной руки — тонкие, плоские и сильные — придерживали бумагу, другой рукой она быстро начертила схему. Она изображала условные значки с такой скоростью, с какой обычно люди пишут слова. Глаза у нее блестели, голос звучал энергично, и хотя Горчаков переводил только самые слова, за ними безошибочно угадывалось, сколько душевных сил она вложила в осуществление своих идей. Исчертив листок схемами, Валя вырвала его и стала тут же писать на следующем, очевидно, считая даже минутный перерыв пустой тратой времени.

Ник сидел рядом с Валей, положив руку на спинку ее стула, и с тоской и завистью следил за девушкой. Хэншел как-то спросил его, чем уж так пленительно творчество. И снова, как тогда, Ник почувствовал, что на этот вопрос ответить невозможно, как нельзя слепорожденному объяснить красоту мира, глухому от рождения рассказать, как прекрасна музыка, или же холодному по натуре человеку поведать о радостях любви. Процесс творчества — одно из величайших наслаждений жизни.

От блокнота Валя перешла к монтажу шасси на рабочем столе, чтобы показать схему в действии. Потом вновь включила экран осциллографа, с тем чтобы определить форму импульсов в различных точках собранной ею схемы, то есть показать физиологию той идеи, анатомию которой она продемонстрировала на бумаге. По-русски Валя говорила стремительно быстро, взволнованно, но мысли свои выражала необычайно точно, потому что речь ее не отставала от мысли. И вместе с тем чувствовалось, что она все-таки раньше и прежде всего женщина — скромная, довольная, и сама удивляется тому, как это у нее все так хорошо получилось: в ней была кокетливая гордость женщины, соревнующейся с мужчинами в их мужском деле, даже некое веселое злорадство, что вот представился случай показать свои достижения. Она была так мила, так по-детски радовалась, говоря о том, как она своей творческой волей подчиняет природу, что Ник с Горчаковым незаметно для нее обменялись одобрительными взглядами.

Когда она кончила свои объяснения, Ник еще раз поздравил и поблагодарил ее. Валя обернулась к своему шефу, ожидая от него дальнейших указаний. Горчаков тоже поблагодарил ее. Она ушла, унося с собой тепло, энергию и жизнь и оставив после себя только тишину, длившуюся несколько пустых минут.

— Она очаровательна,— сказал Ник.

— Да,— согласился Горчаков.— И я сообразил это только позавчера вечером, когда сестра впервые привела ее ко мне домой.

Ник, пораженный, молча посмотрел на него. Впервые? Так, значит, никакого романа тут и нет? «Но ведь она называла вас Митей!» — чуть не сорвалось у него с языка, однако он вовремя остановился.

— Вы хотели что-то сказать? — проговорил Горчаков, внимательно наблюдавший за выражением его лица.

— Только то, что если все ваши приборы так оригинальны, то мне кажется даже оскорбительным продолжать выискивать изъяны.

— Ну, какое же тут оскорбление! — сказал Горчаков, чуть улыбнувшись.— Если вы не найдете никаких изъянов...— Он замолчал, и это молчание заставило Ника бросить на него быстрый взгляд,— тогда нам придется искать причину наших разногласий в чем-то другом,— заключил Горчаков и улыбнулся пошире.— Видите, таким вот способом я думаю убедить вас, что ошибаюсь-то не я...

В этот день Ник дважды звонил Анни из института. В первый раз она согласилась встретиться с ним где-нибудь вечером, но, когда он позвонил вторично, она пригласила его к себе, сказала, что приготовит ужин. За эту неделю Ник виделся с ней всегда, когда она была свободна по вечерам. Квартира Анни была на улице Фурманова, в доме, который когда-то, десятки лет назад, принадлежал Союзу советских журналистов — тогда иностранным корреспондентам еще разрешалось жить в одном доме с работниками советских газет. И хотя Союз журналистов уже давно отказался от этого дома и советские писатели давно уже из него выехали, в некоторых квартирах все еще жили иностранцы. Квартиру на втором этаже занимал американский корреспондент, наверно потому, что прожил здесь безвыездно почти тридцать лет, а несколькими этажами выше находилась квартира, которую Анни унаследовала от какого-то французского агентства печати. Остальные жильцы этого старого дома были русские, самых различных профессий.

Невзрачный подъезд и косые ступени здесь были так же запущены, как и в старых домах на Колумбус-авеню, куда Ник еще мальчиком заходил, бывало, к приятелям.

Когда он один шагал по арбатским переулкам или встречался на лестнице с жильцами дома, где жила Анни, Ник испытывал то же чувство, что и в тот вечер у Горчакова: словно он перешагнул через невидимую черту в иной образ жизни — жизни, которую он в то же время продолжал по-прежнему наблюдать со стороны. Трудно было определить, какое место в ней занимает Анни. Когда они, идя вдвоем, сталкивались с теми, кто жили в ее доме, одни были приветливы, другие сдержанно вежливы, а некоторые просто смотрели мимо, словно не замечая их.

С теми, кто были настроены дружески, Анни была мила, любезна — снова такая, какой была тогда, когда в первый раз показывала Нику Москву; чувствовалось, что он стал для нее родным, этот город, который она понимает, на языке которого говорит, с которым делит прошлое. В такие моменты Ник обычно ждал, стоя ступенькой ниже, пока Анни, улыбаясь, вела недолгий разговор с одной из соседок. Они говорили слишком быстро, Нику трудно было их понять, он ловил какие-то отрывки — расспросы Анни о неведомых ему Алешах, Наташах или Сережах, на что соседка либо отвечала, что «все в порядке», либо, воздев руки, начинала вечную жалобу на девчонок-подростков: слишком много думают о мальчиках и слишком мало об уроках. Женщины перекидывались словами, вздыхали, улыбались, покачивали головой. А Ник скользил взглядом по тонкой талии Анни, по линии ее спины — Анни всегда держалась очень прямо,— по мягким рыжим прядям волос на висках, где кожа была такой гладкой и прозрачной. Нежность и чувство обладания туманили ему голову, ему хотелось тут же прикоснуться к Анни, провести рукой по изгибу ее тела от талии до бедра.

Наедине с ним Анни была совсем другой, не похожей на ту, какой ему приходилось видеть ее раньше. Эта другая Анни появлялась только тогда, когда запирались все двери и каждый уголок был обшарен в поисках притаившейся опасности. Только тогда Анни могла быть счастлива. Она оживлялась, становилась разговорчивой, руки ее находились в непрерывном движении — легким поворотом запястья, раскрытием сжатых пальцев, мольбой вытянутых вперед ладоней она как будто добавляла к своему смеху какие-то особые оттенки значения. Иной раз она вдруг, подойдя сзади, обвивала его шею руками или в пригворной ярости начинала тянуть его зубами за мочку уха, приговаривая:

— Это все мое, слышишь? Только мое!

Потом внезапно, от какого-нибудь случайно вырвавшегося у Ника слова, вся застывала. Руки у нее медленно опускались, она взглядывала на него настороженно, подозрительно, недоверчиво, и вдруг возникала бурная ссора, причем Ник, хоть убей, не мог понять, что же он такое сказал, что могло так ее расстроить.

Она была вспыльчива, и дурное настроение проявлялось у нее в резком повороте головы, в сердитом блеске глаз, в сжатых губах, но уже через пять минут она снова смеялась или кидалась в кухню, потому что забыла подать к столу то, что купила специально для Ника; два дня назад, когда они проходили мимо рыбного магазина, он между прочим заметил, что раки «эго прелесть». Когда Анни бывала счастлива, она бегала бегом, будто все должно было делаться безотлагательно и притом разом. Энергия так и била из нее, она просто не могла не торопиться.

А еще через час, во время антракта в театре, она прохаживалась рядом с Ником, спокойная, уравновешенная, и приветливо кивала, завидев кого-нибудь из знакомых.

Они стали любовниками, побуждаемые непреодолимой тягой друг к другу, они задыхались от переполнявших их чувств. Но Анни, прижимаясь к нему, не переставала шептать с тоской, с душевной мукой:

— Нет, нет, нет!

И отталкивая его, она вдруг вся обмякла и уже безвольно лежала в его объятиях, отвернув лицо, трагически сдвинув брови, смотрела на стену и ждала. А погом, так и не отрывая взгляда от стены, она в отчаянии не могла произнести ни слова, хотя долго еще ласково гладила Ника по голове и лицу. С протяжным беззвучным вздохом она вышла наконец из своего оцепенения, повернула к Нику голову и, глядя на него с бесконечной нежностью, еле слышно проговорила:

— Ах, Ник, Ник, бедный мой! — Остального она так и не досказала. И тут в первый раз Ник вдруг отчетливо понял, насколько реальна опасность потерять Анни. Он уже не сомневался, что она способна убежать от него, и одна мысль об этом повергала его в ужас.

2

Всю эту неделю Ник ходил в институтскую лабораторию каждый день. По утрам было свежо, ясно и ветрено. Ветер налетал, дохнув холодом сквозь тепло бледных солнечных лучей, и тотчас успокаивался, не дав времени даже поежиться. И всю неделю, работал ли Ник в лаборатории Горчакова или проводил вечера с Анни, его не покидало ощущение такого же зыбкого непостоянства во всем.

Чем подробнее знакомился он с приборами Горчакова, тем большим уважением проникался к нему и тем невероятнее казалась возможность какой-либо технической ошибки. В области изучения космических лучей счетчики Гейгера уже почти не применялись, но советские ученые, по-видимому, не хотели дожидаться новой техники и пока что с беспримерным усердием совершенствовали то, что имелось под руками. В одной лаборатории Горчакова можно было насчитать тысячи счетчиков Гейгера, разной длины и разных диаметров, от самых маленьких, размером с карандаш, и до крупных, длиною больше чем в два фута, и все они были сделаны безукоризненно.

Ник целый час наблюдал за работой лабораторного стеклодува, моложавого плотного человека с беспрестанно падающими на глаза каштановыми волосами. Он ловко запаивал один электрод за другим, движения его широких сильных рук были уверенны и скупы. Кожа на кончиках пальцев давно уже потеряла чувствительность и загрубела от постоянных ожогов, но эти пальцы держали стекло с такой легкостью, будто оно было из воздуха. Стекло и само по себе было интересной новинкой для Ника — настолько твердое, что еле поддавалось кислородному пламени, оно тем не менее непосредственно спаивалось с латунью.

Работая, стеклодув чуть заметно улыбался, как человек, поглощенный и довольный тем, что он делает, но когда Ник, наконец, собрался уходить, стеклодув вынул из корзины превосходно сделанный тоненький счетчик толщиной с папиросу и длиною в шесть дюймов. Взглянув на Горчакова и получив в ответ утвердительный кивок, он протянул счетчик Нику.

— На память,— просто сказал он, как бы приветствуя знатока.— От меня.

Чем чаще Ник виделся с Горчаковым, тем яснее понимал, что за его мягкой вежливостью скрывается человек, куда более сложный, чем кажется; но и жизнь, которой жил Горчаков, и общество, которое его

породило, были слишком далеки от жизненного опыта самого Ника, и, разумеется, он не мог понять всего сразу.

В буфете, приютившемся в углу институтского зала, Ник и Горчаков присели закусить — копченая колбаса, бутерброды с сыром и пиво,— и между ними тотчас же завязалась типичная застольная беседа физиков: они стали обсуждать возможности получения спектра гамма-лучей, который мог бы доказать, что яркость некоторых сверхновых звезд порождена аннигиляцией вещества антивеществом.

— Тут нужен всего миллиард электрон-вольт,— сказал Горчаков.— Значит, придется проникнуть в верхние слои атмосферы. Или выйти в космическое пространство,— добавил он, задумчиво жуя бутерброд.

— Космическое пространство...— повторил Ник.— В Москве меньше автомобилей, чем в любой другой столице мира, но нет на свете другого города, где бы физик так спокойно говорил об эксперименте в верхних слоях атмосферы или в космическом пространстве. Для вас энергия в милиард электрон-вольт — сущий пустяк, а в сегодняшней газете написано, что большой процент колхозов до сих пор не электрифицирован.

Горчаков засмеялся.

— Да, у нас еще существуют такие противоречия, но не они определяют нашу жизнь, и они — только временные. Конечно, вы можете встретить людей, которые будут защищать и кучи мусора во дворах, и плохие жилищные условия, и грязные скатерти, будто все это хорошо хотя бы только потому, что существует в социалистическом обществе. Есть такие люди, которые будут страстно утверждать, что наши грязные лужи все же чище, чем ваши. Да, вы правы, сегодня наша физика стоит на более высоком уровне, чем наши бытовые условия. Но ведь не всегда же так будет, и если даже сейчас это так, то что же тут плохого?

— Я не говорю, хорошо это или плохо,— сказал Ник.— Я просто упомянул об основном различии между нами.

— Да ведь и различие это тоже временное. Вы не представляете себе, с какой быстротой у нас совершаются перемены. Должно быть, если вспомнить прошлое нашей страны, может показаться удивительным, что я, именно я, сижу в этом здании и работаю над научной проблемой, однако, честное слово, я не вижу в этом ничего удивительного. То, что я здесь, мне кажется вполне естественным. И таких, как я,— множество.

— Разве в вашем происхождении есть что-то необычное?

— Вот в том-то и дело. Равно ничего. Дед мой был очень бедный, очень невежественный, фанатически религиозный крестьянин. Я родился в его избе, под Рязанью. Вся семья ютилась в одной-единственной грязной и тесной клетушке. Дед был человек жестокий. Он не любил ни меня, ни мою мать, ни отца. Недавно кончилась гражданская война, и, помню, у всех была одна забота — как бы прокормиться. Из города приезжали люди, выменивали у нас продукты — так мы и жили. Надували горожан, как могли. Дед все время ссорился с матерью, потому что она хотела, чтобы все было по-честному. Она жалела людей, приезжавших к нам за продуктами. Ссоры не прекращались. Отец не выдержал и уехал в Москву. В те годы работы на всех не хватало, но ему как-то удалось устроиться на фабрику дворником. Он еще мальчишкой ушел в армию, провоевал две войны и к двадцати шести годам остался без всякой специальности. Он поселился в маленькой комнатушке вместе со своими знакомыми и наконец выписал нас. Таким-то образом я попал в Москву и стал ходить в школу. Как видите, ничего примечательного тут нет. Примерно такую же историю можно рассказать о каждом, кого вы видели у меня в субботу. Кстати, надо будет на днях опять собрать-

ся,— более оживленным тоном сказал Горчаков.— Или поедем в воскресенье на дачу, к моим друзьям, пока они не переехали в Москву. Думаю, вам это доставит удовольствие. Там интересное общество — ученые, писатели, актеры...

— Постойте,— сказал Ник.— Минуту назад вам было шесть лет, вы были сыном дворника, жили в одной квартире с другой семьей. А сейчас вы приглашаете меня ехать за город на вашей собственной машине к известным ученым, писателям и актерам. Должно же было что-то случиться за это время?

— А что могло случиться? — удивился Горчаков.— Я пошел в школу.— Он вдруг засмеялся.— Простите,— вежливо извинился он,— но вы меня рассмешили, сказав, что мы жили в одной *квартире* с другой семьей. Вы меня не поняли. Я сказал, что мы занимали одну *комнату* — одну в четырехкомнатной квартире, и в каждой комнате жили несколько человек. Так было тогда, да и сейчас многие москвичи живут в трудных жилищных условиях. Видите ли, мой отец уже не был дворником — товарищи по заводу обучили его работать на простейших станках. Потом он стал осваивать более сложную профессию, но этого ему было мало, и он решил учиться по вечерам. Начал он в 1928 году. Через десять лет он стал инженером. Мы, бывало, сидели с ним за одним столом и занимались. Я любил эти часы. Мы были очень дружны с отцом. Он помогал мне, а я иной раз помогал ему — по крайней мере, так мне представлялось. Во всяком случае, я держал перед ним книгу, пока он заучивал формулы. Попутно я спрашивал у него, что значит то или это. Он объяснял. Я считал его самым умным человеком на свете, и не удивительно, что я заинтересовался точными науками. Так что, видите, тут в общем нечего и рассказывать.— И снова он прервал свое повествование и заговорил о другом, более для него интересном: — Может быть, когда мы поедим, вам будет любопытно поговорить с Горовицем, он раз в неделю приезжает сюда из Дубны. Его нейтрино...

— Разумеется,— сказал Ник.— Но пока вы с отцом занимались за одним столом, что же делала другая семья? Они были тут же, в этой комнате, не так ли?

— Они скандалили,— кратко ответил Горчаков.

— Скандалили?

— Да, скандалили. Он был очень славный, а она — очень добрая, но они ссорились все время. Ссорились из-за чего угодно. Однажды я спросил его, как называется столица Эквадора. Он говорит — Кито. Она говорит — Гваякил. Он говорит — Кито. Она говорит — Гваякил. Он говорит — Кито, черт тебя возьми. Она говорит — не смей ругаться.— Горчаков засмеялся.— И так всегда. День и ночь они ссорились. А мы с отцом сидели и занимались как ни в чем не бывало. Быть может,— опять вернулся он к более интересным для него делам,— вы хотите съездить в Дубну посмотреть циклотрон? Надо бы вам выкроить дня два. Я договорюсь с...

— Как же вы могли заниматься, когда они ссорились?

Горчаков пожал плечами.

— Мы не обращали внимания, вот и все. Как-то раз отец сказал мне, что придет время, когда мы будем жить иначе, и я ему поверил. Что касается соседей, то они в конце концов развелись.

— Вам стало легче, когда они уехали?

— Кто уехал? Куда они могли уехать? Им негде было жить. Боже мой, ну как вам все это объяснить? Они не уехали, они остались. Никто из них не хотел уступить другому. Он купил ей кровать, и мы переставили все свои кровати. Наши стояли посреди комнаты, ее кровать — с

одного боку, его — с другого. Каждый из них завесил свою кровать занавеской. Но ссорились они по-прежнему.

— А вы продолжали заниматься?

— Мы продолжали заниматься,— невозмутимо подтвердил Горчаков.— Моя сестренка тоже села за книги. Учиться было интересно. Понимаете, необходимо было чем-то увлекаться — своей работой или чем-нибудь еще, иначе такая жизнь стала бы невыносимой. Но если трудишься ради чего-то в будущем,— а мы так и трудились,— тогда самое главное в жизни *это,* а не тесная комната. Да, жили мы трудно, и оставалось либо смеяться, либо перерезать себе горло, либо принимать все так, как есть. Мы и принимали — и продолжали учиться. Даже когда наши соседи опять поженились.

— Друг с другом?

— Нет,— засмеялся Горчаков.— Сначала он женился на другой женщине. Потом и она вышла замуж — быть может, назло ему. Таким образом, в комнате оказались уже *три* семьи, и тут моя мать сказала: хватит! И верно, куда уж больше. Она стала надоедать городским властям, обивала пороги учреждений, требовала, бранилась. Отец хлопотал о жилье у себя на заводе, и наконец мы получили две комнаты в другом доме — большую и маленькую, вроде ниши. Кухня была общая, но соседи попались славные. И как удобно нам стало заниматься! Просто замечательно.

— И вы в самом деле считаете, что тут нет ничего необычайного? — спросил Ник.

— Ну, конечно, и мне и отцу было нелегко заниматься. Это бесспорно. Еще совсем недавно я не был бы столь откровенным с вами. Гордость, знаете, ну и другие причины, одной из которых могла быть осторожность,— признался он, чуть нахмурясь.— А собственно, почему не рассказывать? Правда есть правда, и зачем нам ее замалчивать, от кого прятать? Конечно же, не от своих — они все знают, потому что сами это пережили. От иностранцев, которые станут думать о нас хуже, узнав наши семейные секреты? Нет, пусть знают и восхищаются, черт их возьми! Как же они поймут, что мы за люди, если не будут знать, что мы пережили — одни по своей воле, другие нет — и какие мы приносили жертвы — и необходимые и, быть может, излишние — ради того, что мы сейчас имеем и будем иметь? И мы добиваемся своего несмотря на то, что нам досаждают наши собственные лгуны, подхалимы, трусы, карьеристы, хулиганы и бюрократы. А! — он с отвращением махнул рукой, как бы отбрасывая их всех прочь.— Поймите, чтобы достичь того, чего мы хотим и в чем нуждаемся, мы живем очень трудной жизнью; жилищные неудобства — это далеко не самые большие для нас лишения. Да, так мы живем, и что из этого? Я бы сказал, жилищные мытарства моей семьи можно представить по-разному — как комедию или как трагедию, но ведь потому-то в Москве сейчас такое множество строительных кранов. Мы долго ждали и много трудились ради того, чтобы эти мытарства отошли в прошлое. Вскоре они станут предметом изучения для наших историков, а несколько таких комнат, быть может, сохранят как музей, и наши школьники, глядя на них, будут считать нас героями.

— И, по-вашему, тут нет ничего необыкновенного? — опять спросил Ник.

— Разумеется, это необыкновенно! — спокойно возразил Горчаков.— Необыкновенно и ужасно. В нашей жизни все так или иначе необыкновенно.

— Включая и историю о том, почему такой человек, как вы, никогда не был женат?

Глаза Горчакова блеснули гневом, лицо побледнело и стало суровым.

— В этой истории нет ничего необыкновенного,— не сразу ответил он.— Она совсем из иной области.— Он встал. Ник понял, что зашел слишком далеко.— Давайте займемся нашим делом.

Почти все вечера Ник мог бы проводить с Анни, но она не всегда бывала свободна. Временами, когда они оставались вдвоем, она переставала быть ласковой и оживленной, внезапно погружалась в задумчивость и словно витала где-то, куда не было доступа Нику. Такие минуты повторялись все чаще и чаще. Ник знал, что у нее много работы, но чувствовал, что дело не только в этом.

Он постоянно думал о ее словах: «Я найду способ убежать от тебя!», и вдруг однажды вечером его осенила пугающая догадка.

— Что-то я давно не видел Хэншела, а ты? — внезапно спросил он.

— Я видела,— чуть поколебавшись, ответила Анни. Они сидели в кафе «Арарат», в той половине, где столики стоят на возвышении. Низкий потолок был расписан ярким орнаментом, за спиной у них горели краски освещенной боковым светом панорамы, и записанный на пластинку голос Ива Монтана, поющего "C'est si bon", казалось, несся с вершины Арарата, с бурых холмов вокруг озера Севан, из увитых виноградом развалин на скале.— Я видела его вчера,— добавила она.

— Ты его видела?

— Я работала с ним. У него было совещание в министерстве, и он просил меня подробно записать все, что будут говорить и русские, и он сам. Вместо того чтобы переводить сразу, я просто все записывала, а потом перевела для него с русского на английский. Совещание тянулось два часа. Он отвез меня домой, но мы почти не разговаривали. Впрочем, он спрашивал о тебе.

— Да?— сухо спросил Ник.— А потом?

— Что — потом?

— Он отвез тебя домой, а потом что? Он был у тебя, когда я звонил?

— Да нет же. Просто мне нужно было работать. Я должна была перевести для него мои записи, чтобы после заняться своей статьей.

— А потом он пришел за твоими записями?

— Нет,— спокойно ответила Анни.— За ними приехал шофер из посольства.

— А когда я звонил, почему ты не сказала, что виделась с ним?

— Потому что в это время я уже покончила с записями и работала над своей статьей. И Хэншел как-то вылетел у меня из головы.— Анни нахмурила брови.— Ты же не спрашиваешь о других людях, с которыми я работаю.

— У меня особое отношение к Леонарду,— сказал он.— Когда он был моим шефом, мне нравилось работать с ним — он умел воодушевить и прочее, и все же в последнее время, зная, к чему он меня склоняет, я стал почти бояться его.

— Не понимаю, почему ты так не хочешь ехать в Вену. По-моему, нет проблемы важнее, чем та, которую там предстоит решить.

— Меня беспокоит не цель поездки, а причины, по которым Леонард настаивает на ней, и его отношение ко мне. Он хочет, чтобы я бросил попытки вернуться к исследовательской работе. Он хочет, чтобы я признал, что с этой стороной моей жизни покончено навсегда, а я не могу.

— Но ведь ты же ведешь исследовательскую работу.

— Нет,— тихо произнес Ник.— Это только видимость. А в душе — нет.

Анни помолчала.

— И все-таки мне непонятно, почему ты расспрашивал о нем в таком тоне,— сказала она, подняв на него глаза.— Ты думаешь, я стану на его сторону?

— Нет,— медленно сказал Ник.— Этого я не думал.

— Тогда почему же?

— Должно быть, я стараюсь понять, что же изменилось. Временами у меня такое чувство, будто ты где-то далеко от меня, будто ты меня чуждаешься.

Анни ничего не ответила.

Ник тоже помолчал, сердясь на себя и на нее.

— Вероятно, я ревную.

— К Леонарду?

— Ты называешь его Леонардом?.. А почему же и не к Леонарду? Он — мужчина. Он распрощался с научной работой, но не распрощался с жизнью. Что из того, что он женат? Он женат на невозможной женщине.

— Однако он живет с ней тридцать с лишним лет.

— Он и это тебе рассказал? Есть люди, которые тянут осточертевшую лямку потому, что жизнь, по их мнению, не что иное, как соревнование в выносливости. Хэншел из таких. Но скоро он обнаружит, если еще не обнаружил, что обманывает самого себя, и тогда он взбунтуется. Ты женщина как раз такого типа, к которому его давно влечет, женщина, которая, как ему кажется, поймет его.

Анни накрыла его руку своей.

— Не терзайся так из-за него. Леонард Хэншел тут ни при чем,— ласково сказала она.— И вряд ли я принадлежу к какому-то определенному типу женщин.

— Знаю,— сказал он, мгновенно смягчаясь.— Ты необыкновенная, Анни. Но все же я боюсь Леонарда. Ты мне как-то сказала, что найдешь способ убежать от меня, и таким способом может оказаться Леонард.

— Я же говорю — Леонард тут ни при чем,— мягко повторила она.— Дело только во мне. Я не переродилась в мгновение ока в тот день, когда мы встретились. Я все та же, со своей собственной жизнью, со всем, что мне пришлось пережить. Я тебе это говорила, а ты хоть и был добр ко мне, хоть и старался быть чутким, но все же вел себя так, будто меня можно разубедить.

— Но я был прав.

— Что толку быть правым, когда все равно ничего не получается? Я знаю только одно: с каждым днем становится яснее, что я — это я, а ты — это ты; и то, что я сказала о тебе и обо мне в ту ночь, когда ты остался у меня, подтверждается все больше и больше.

— Но что ты обо мне сказала? Полно тебе, Анни! Ты только выискивала причины, почему нам с тобой невозможно быть вместе.

— Нет. Я просто старалась быть с тобой предельно честной,— сказала она с расстановкой.

— Ты сказала, что тебе страшно терять всех, кого ты любишь. Но я ведь здесь, Анни. Я никуда не уйду и всеми силами стараюсь понять тебя.

— Я все-таки думаю,— сказал она,— что если бы ты и вправду нашел то, что хочешь и что тебе необходимо, то понял бы меня очень ясно. И не нужно было бы никаких объяснений. А так как я сердцем чувствую, что ты хоть и здесь, но только по пути куда-то, значит, я для тебя еще

не все; и раз так, то я считаю, что расставание неизбежно... Меня нужно найти, Ник,— беспомощно сказала она.— Мне нужно, чтобы меня нашел кто-то, кто действительно искал меня, и я должна знать, что он искал именно меня. Ты мог бы разглядеть меня, Ник, если бы смотрел на *меня*, но ты ищешь чего-то совсем иного!

3

Она была просто женщиной, испытавшей много горя, но так и не примирившейся с ним. Тени реяли над кладбищем ее утраченной любви, погибших дружб, ушедших жизней, призраки, которые появлялись и исчезали, когда им вздумается, не считаясь ни с полночным боем часов, ни с петушиным криком, и вызывали смутную тоску, отраженную в ее глазах.

Как она ни была счастлива с Ником, это счастье умерялось бездонным страхом, что в один прекрасный день она позвонит ему по телефону и услышит бесконечные гудки в пустоте, а его не будет или что она станет ждать его на углу, где они условились встретиться, и пройдет через все стадии нетерпения, злости, страха и наконец тоскливого сознания, что он не придет никогда. Или будет напрасно ждать у себя дома, прислушиваясь, не зазвонит ли звонок у двери.

Ей представлялось, что в поисках того, к чему он так стремится, Ник то бежит, то плетется, спотыкаясь на каждом шагу, что он подвержен тревогам, беззащитен против разочарований, помнит о женщине, только когда он с нею, и похож на человека, который бежит ночью по лесу, натыкается на деревья, судорожно хватается за ствол, стараясь понять, что это встало на его пути, потом, широко открыв глаза в темноте и забыв о деревьях, мчится дальше, пока не натолкнется на новое препятствие.

Снова и снова она ловила себя на мысли о том, почему нельзя сместить время, почему не случилось так, что сначала бы он обрел душевное равновесие, а потом они бы встретились — ведь в нем она наконец-то нашла человека, которого могла бы полюбить без оглядки, с которым готова была прожить всю свою остальную жизнь.

Ей страстно хотелось найти в себе силы, чтобы порвать с ним, пока не поздно. Пусть продолжает свои беспощадные искания, пусть даже ищет то, что ему нужно, в другой женщине; а потом, когда он достигнет цели, отопрет потайную дверь, за которой скрыто сокровище, они, быть может, снова встретятся и начнут с того, на чем остановились. Если бы была хоть малейшая возможность помочь ему, она сделала бы все, что может, пошла бы на любые жертвы, но она уже слишком хорошо знала, как бессмысленно говорить с человеком, который слышит только внутренние голоса. Несчастье было неотвратимо, как завтрашний день.

В первый раз, когда Леонард Хэншел предложил ей средство побега, она не поняла этого, потому что Хэншел представил его как средство не расставаться с Ником — на это он, собственно, и метил. Но когда Анни узнала, что Ник отказывается ехать в Вену, а Хэншел повторил свое предложение, ей вдруг стало ясно, что́ это для нее может означать.

— Откровенно говоря, я не понимаю, как вы можете отказываться,— сказал Леонард.— За то время, что я здесь, мои настроения значительно изменились, хотя я и сам точно не знаю, в какую сторону и до какой степени.— Он засмеялся.— Знаю одно: я жду венского совещания, как никогда еще не ждал. Оно само станет исторической эпохой или по крайней мере положит ей начало. Как вы, журналистка, решаетесь пропустить такое?

Она улыбнулась.

— Если надумаю, я позвоню вам.

— Хорошо,— сказал он спокойно.— Во всяком случае, я вам позвоню еще раньше.

Хэншел позвонил Нику накануне своего отъезда из Москвы. В его тоне появилось что-то новое. Он предложил Нику позавтракать вместе. Голос его был серьезен и почти настойчив, но тем не менее Ник ответил:

— Я должен быть в институте между девятью и четвертью десятого.

— Ничего,— сказал Хэншел.— Я уже одет и могу приехать к вам сейчас же. Я с шести часов на ногах — укладываюсь. А то я уже не смогу вас повидать — самолет отправляется рано.

Он явился в гостиницу «Москва» в четверть восьмого и, пока Ник одевался, заказал завтрак. Когда Ник, одевшись, вышел к нему, он задумчиво стоял у окна.

— Ну как, удалось вам чего-нибудь добиться?— спросил Хэншел, глядя вниз, на улицу.

— Пока еще трудно сказать,— ответил Ник.— Сначала ничего не выходило, но сейчас я вспомнил кое-какие способы, и мне не терпится их испробовать.

— Как вы с ним? — обернувшись, многозначительно спросил Хэншел.

— Мы прощупываем друг друга. Внешне все прекрасно, но стоит нам копнуть чуть глубже общих мест... Впрочем, вас ведь интересует совсем не это. Вы даже не слушаете, что я говорю.

— Ей-богу, этот город просто меня ошарашил,— раздраженно заявил Хэншел.— Я был совсем не подготовлен к тому, что меня здесь ждало. Конечно, у меня было предвзятое представление, основанное отчасти на том, что у нас писали о них, и отчасти — на их собственных высказываниях. А истина, оказывается, даже не лежит где-то посредине — она иная, совершенно иная. Вообще говоря, когда начинаешь выяснять разницу между двумя обществами, то оказывается, что у нас можно найти эквивалент почти для всех типов, какие встречаешь здесь... У них, как и у нас, есть свои жулики, мошенники и плуты и есть хорошие, честные, порядочные люди, которые не бросают слов на ветер. Но, несмотря на все это разнообразие, они не такие, как мы. Плохо ли это или хорошо, но они серьезнее нас и в общем гораздо сплоченнее — опять-таки не знаю, хорошо это или плохо. Но вот что меня действительно поразило — они в гораздо большей степени обороняются от нас, чем мы от них, что бы мы себе там ни внушали. Знаете ли вы, например, работал Горчаков над атомной бомбой или нет?

— Не знаю,— сказал Ник.— Об этом как-то не было разговора, да и вряд ли он состоится. При нынешнем положении любой вопрос такого рода будет воспринят настолько неправильно, что может погубить все. Я не намерен затрагивать эту тему. А почему вы об этом спросили?

— Просто для подтверждения своих мыслей. Если он даже работал над бомбой, то я сильно сомневаюсь, чтобы у него или у любого другого русского физика возникли такие вопросы и сомнения, которыми терзались наши. Не знаю, что они там сделали, но делали они это в оборонительном состоянии духа. Мы первые создали бомбу, и это стало для них опасностью, которую надо было отразить любыми средствами. Если Горчаков и занимался этим делом, он, наверно, чувствовал то же, что и вы в сорок третьем году, когда все мы думали, что немцы нас опередили, но никогда в душе у него не будет того, что было у вас в сорок шестом, когда мы узнали, что у русских тоже есть бомба.— Хэншел помолчал, рассеянно затягиваясь сигаретой.— Никогда. Представляете себе, какое у них огромное психологическое преимущество?

— И что же из этого следует? — спросил Ник.

— Я и сам еще не знаю. Либо это приведет к миру, либо мы обретем в их лице такого беспощадного противника, какого мы еще не видели. Лучше бы уж это привело к миру.

— А вы сильно изменились, Леонард,— заметил Ник, помолчав.— Раньше вы никогда не относились так серьезно к своему делу.

— Я всегда относился к нему серьезно,— медленно сказал Хэншел.— Мне не хватало только умения ориентироваться. Дело в том, что я не знал толком, с кем веду переговоры. Для меня эти люди были только юридической стороной, чем-то весьма отвлеченным. Я не понимал, что их линия поведения непосредственно порождена жизнью и стремлениями двухсот миллионов человек, наделенных той же силой и теми же слабостями, что и мы.

— В таком случае,— сказал Ник,— я вам теперь едва ли нужен.

Хэншел взглянул на него с удивлением.

— Наоборот, вы мне будете нужны больше чем когда-либо. Как бы все это ни кончилось, но прежде чем положение улучшится, оно станет значительно хуже. Я пробыл здесь достаточно, чтобы почуять, куда дует советский ветер, но это вовсе не значит, что другие будут того же мнения, что и я. И это не означает, что советские члены комиссии захотят понять, что наша официальная позиция тоже так или иначе связана с настроениями широких американских кругов. Меня интересуют ваши отношения с Горчаковым потому, что вы оба работаете в исключительно благоприятных условиях. Вам не нужно выполнять никаких директив, и если вы отстаиваете какие-то точки зрения, то это касается лишь вас двоих. Вы просто два человека, работающие над проблемой, которая интересует вас обоих одинаково. Но когда заседаешь в комиссии и обязан защищать политику государства, то какой же тут может быть личный контакт? Человеческая искренность, столь необходимая для взаимопонимания, нам, в конечном счете, недоступна, потому что мы представляем политику государства, хотя повлиять на нее мы при всем желании не можем. Она определяется в высших сферах, где мы являемся всего лишь консультантами.

— Но вы только подтверждаете мои возражения. К чему мне заниматься тем, что, как вы сами говорите, совершенно бесполезно?

— Я не говорил, что такая работа сейчас бесполезна. Мы нащупываем возможности, хотя и бессильны использовать их для какого-либо соглашения. Мы как-никак создаем атмосферу, чтобы к тому времени, когда состоится совещание на высшем уровне, иметь наготове какие-то формулировки, а там уж они сами будут выбирать из них наиболее приемлемые и осуществимые. Теперь скажу вам честно: до сих пор я уговаривал вас ехать со мной по причинам, не имеющим ничего общего с вашей работой.

— Это я отлично понял.

— Ладно, сознаюсь. Быть может, эти причины до некоторой степени влияют на меня и сейчас. Если так, то это помимо моей воли.— Он встал.— С тех пор как я живу здесь, у меня появилось новое ощущение конечной цели. Что-то во мне действительно изменилось, Ник, моя работа приобрела смысл, какого я не видел прежде. Мне кажется, я довольно точно определю это ощущение, если скажу, что в конце каждого дня я с нетерпением ожидаю завтрашнего утра, и если это не значит жить полной жизнью, то я уж не знаю, что такое полная жизнь. Давно уже со мной этого не было.— Он повернулся к Нику и взглянул ему в лицо.— А у вас есть такое ощущение, Ник?

Ник помолчал, потом медленно покачал головой.

— Нет,— признался он.— О завтрашнем утре я думаю со слабой надеждой, что мне удастся как-то возместить сегодняшние срывы и разочарования. Это совсем не то, что ждать завтрашнего утра, как продолжения сегодняшних свершений. Нет,— добавил он,— если вы наконец обрели такое ощущение, значит, вы нашли то, что я только ищу.

— Больше нажимать на вас не буду. Захотите ехать — хорошо, не захотите — тоже хорошо. Но лучше поедем со мной завтра, и, может, в Вене вы найдете то, что нашел для себя я.

— Нет,— отказался Ник.—Ничто меня не заставит бросить свое дело и уехать отсюда в Вену.

Хэншел уже натягивал пальто.

— Да? — весело спросил он. Во взгляде его мелькали лукавые искорки, заставившие Ника усомниться в искренности его признаний.— Что ж, быть может, я вам приготовлю маленький сюрприз и вы еще передумаете.— Насмешливо улыбаясь, он пошел к двери.— Я позвоню вам, если это случится.

— Погодите, Леонард. Что вы еще задумали, черт возьми?

Хэншел засмеялся, как всегда, когда ему удавалась какая-нибудь шуточная мистификация, он был в восторге.

— Слушайте, Ник, вы меня достаточно знаете — я могу переменить убеждения, но не меняю своей тактики!

4

Им овладело внезапное смятение, и, едва за Хэншелом закрылась дверь, он позвонил Анни. Он спросил, свободна ли она сегодня вечером. Смятение перешло в тревогу, когда Анни ответила, что еще не знает. Объяснение было вполне правдоподобным: она должна быть на обсуждении сценария одной английской кинокартины, который она перевела на русский для дубляжа.

— И я не знаю, когда оно кончится — может, в половине седьмого, а может, затянется и до девяти. Позвони мне, когда освободишься. Если меня не будет дома, значит, я на киностудии и тогда сама позвоню тебе в гостиницу, как только освобожусь.— Это его успокоило, но Анни добавила: — Если у тебя возникнут другие планы, ты, пожалуйста, меня не жди. Я не хочу тебя связывать, ведь у тебя осталось так мало времени!

Быть может, с ее стороны это была просто заботливость, однако, еще больше, чем ее явная неохота связывать себя обещанием, его обеспокоило то, что она, видимо, спокойна, хотя ей следовало бы огорчаться.

— Хэншел завтра уезжает,— сказал он.

Анни ответила, что знает, но по ее ровному тону он не мог понять, как она к этому относится. Ника встревожила ее уклончивость, тем более сейчас, когда ему хотелось скорее погрузиться в работу. У него нет ни времени, ни терпения разбираться в этом. Сегодня ночью он лежал без сна — ему показалось, что он нашел наконец уязвимое место в способе вычислений, которым пользовался Горчаков, и ему не терпелось проверить свою догадку. Разговор с Анни не успокоил его, но, очевидно, нет смысла настаивать на более определенном ответе, да и некогда. Он торопился в институт.

Но и там его ждало разочарование: Горчакова не будет в лаборатории все утро, вчера днем он уехал в Дубну — центр ядерных исследований, находящийся в восьмидесяти милях от Москвы, и звонил оттуда, что задержится на совещании. Он рассчитывает вернуться часа в

два-три, не позже. Он просил передать Нику, чтобы тот обращался со всеми вопросами к Панину, одному из его ассистентов.

Все это рассказал ему сам Панин, круглолицый, розовый, с ямочкой на подбородке, как у херувима. Волосы его буйно вились надо лбом каштановыми кольцами. Ник, однако, уже знал, что у Панина ум — как нож. Тридцатилетний Панин находился как раз у черты, отделяющей людей, которые по возрасту могли участвовать в войне, от тех, кто в те годы были еще подростками. Люди, перешедшие эту черту, выглядели, на взгляд американца, лет на десять старше, чем полагалось бы по возрасту; а те, кто еще находились за чертой, даже люди лет под тридцать, сохраняли младенческую свежесть — очевидно, у них было затянувшееся, бережно опекаемое детство. Однако эта опека каким-то образом создавала людей очень серьезных, исполненных чувства ответственности.

Ник поблагодарил Панина, но сказал, что никаких срочных вопросов у него нет. Он решил за это время убедиться, что в вычислениях действительно допущена ошибка. Пройдя в маленький полупустой, ставший уже таким знакомым кабинетик, он сбросил пиджак, расслабил узел галстука и решительно приступил к проверке полученных им листов с вычислениями.

Столбики целых чисел и десятичных дробей, такие безличные и лаконичные, рассказывали Нику истории не менее живые и яркие, чем те сказки, которые он слушал в детстве. Они уносили его воображение ввысь, выше облаков, выше воздушных течений, выше стратосферной тишины, где воздух настолько разрежен, что только чувствительные приборы подтверждают его существование,— туда, где не осталось уже никаких признаков жизни, а дневное небо черно, как агат, и только горит маленький желтый шарик солнца да алмазными точками блестят крохотные звезды.

Оттуда льется поток частиц, не видимых глазу и доступных одному воображению, они мчатся из такого далекого источника, что описать его можно только цифрами, а их стремительная энергия так огромна, что не укладывается ни в какие земные представления.

Ник словно видел эти частицы, летящие со скоростью света из чистой безмолвной пустоты космического пространства в толстый слой насыщенного газами воздуха, который обволакивает планету, как защитная оболочка. Частицы летели к Земле, избывая энергию в крохотных взрывах, а каждый такой взрыв порождал другие, образуя ливень частиц, который увеличивался каждую миллиардную долю секунды, пока в глубине воздушного слоя, на уровне самых высоких мест планеты — ее горных пиков,— поток не распылялся на миллионы частиц, покрывавших сотни тысяч квадратных футов земной поверхности.

Первоначальная энергия так рассеивалась, что узнать, какою она была в момент столкновения с атмосферой, можно было, только подсчитав общее количество упавших частиц на любом уровне внутри атмосферного слоя, но даже это было невозможно — они покрывали слишком обширное пространство. Подсчет можно произвести только на отдельных сравнительно небольших участках, но с такой приблизительностью, что любая ошибка в вычислениях могла оказаться роковой, и вполне вероятно, что Горчаков, несмотря на свой опыт, где-то чуть-чуть ошибся. Все, включая Эйнштейна и Ньютона, ошибались так же часто, как и бывали правы; никто не застрахован от ошибок. Значение работы ученого определяется не количеством допущенных ошибок, а важностью того, в чем он бывает прав.

Ник проверял цифры, еле сдерживая волнение. С такой же объективностью он проверял и самого себя, сознавая, как сильно его желание найти то, что он искал. Сейчас он относился к себе придирчивее, чем Горчаков, и все же после тщательной проверки вычислений ему стало ясно, что в них пропущено одно звено, необходимое в этой цепи. Ник с нескрываемым облегчением откинулся на спинку стула: долгая погоня пришла к концу. Закурив сигарету, он еще раз проверил ход своих рассуждений, потом позвал Панина. Дожидаться Горчакова он был не в силах.

И сразу же оказалось, что объясняться им трудно. Панин говорил по-английски далеко не так свободно, как Горчаков, а Ник слишком плохо знал русский, чтобы точно выразить свои мысли. Все же ему както удалось объяснить суть дела, и Панин закивал головой. Он сразу подтвердил, что они в данном случае не применяли интегрирования, но тут же возникло новое недоразумение: он был удивлен, что Ник считает это необходимым.

Сначала они спорили вежливо, потом ожесточенно, но у обоих было досадное ощущение, что они не столько расходятся во взглядах, сколько просто не понимают друг друга. То и дело им приходилось заглядывать в словарь. Даже в буфет они отправились со словарем. Наконец после еще одной попытки все вдруг стало ясно, стенка между ними рухнула, и Панин понял, о чем говорит Ник.

— Но мы же интегрируем,— сказал он, изумляясь тому, что недоразумение оказалось таким пустячным.— Только потом.

— Потом — нельзя,— настаивал Ник.— Только здесь, и нигде больше. Иначе получится интеграл Ла-Фосса.

— Ну и что же?

— Но он неразрешим. Я знаю. Я проверил это несколько лет назад.

Панин тревожно глядел на него и молчал. Затем нахмурился, словно убедившись, что они опять не понимают друг друга.

— Посмотрим, что скажет Горчаков,— сказал он.— Дело настолько важное, что придется побеспокоить его в Дубне.

Он взял телефонную трубку и, пока его соединяли с Дубной, не смотрел на Ника. Он быстро заговорил по-русски, потом повернулся к Нику, но, прежде чем он успел объяснить ему, в чем дело, Ник понял, что Горчаков уже уехал и сейчас где-то на пути в Москву.

Панин задумчиво положил трубку и постоял, не снимая с нее руки.

— Вы хотите сказать,— медленно произнес он,— что вы нашли ошибку в вашем ла-фоссовском методе и это еще не было опубликовано, или вы хотите сказать, что еще не видели, как мы делаем это?

На сей раз озадачен был Ник.

— Право, не понимаю, о чем вы. Я хочу сказать только одно: я еще не уверен, что в этом месте ход ваших вычислений был правилен.

Панин посмотрел на Ника так, словно не верил, что он говорит всерьез.

— Вы, конечно, шутите!

— Нисколько.

— Это невероятно! Ну хорошо. Пойдемте в механическую мастерскую. Наш интегратор сейчас разбирают для ремонта, но вы, конечно, сможете его узнать.

Люди, работавшие в механической мастерской, мельком взглядывали на него, здоровались кивком или улыбкой, но прежней неловкости от присутствия Ника уже не чувствовалось. Тотчас же в мастерскую, торопливо, словно по инерции после быстрой езды, вошел Горчаков. Несмотря на улыбку, он казался озабоченным.

— Я показываю доктору Реннету вот это,— объяснил Панин, останавливаясь у стола, на котором поблескивало серебро и пластмасса. Ник увидел неглубокий четырехугольный лоток из прозрачной пластмассы, длиною в ярд и шириной в два фута. Дно его было разлиновано, как шахматная доска, на определенных пересечениях линий торчали вверх тонкие проволоки, и весь прибор напоминал огромную щетку для волос. Проволоки через герметически запечатанные отверстия проходили сквозь дно, образуя внизу беспорядочный пучок электродов.

— Вот как мы решаем интеграл Ла-Фосса,— продолжал Панин нарочито безразличным тоном, как бы не сомневаясь, что факты говорят сами за себя.— Это сделанная у нас реннетовская панель.

Ник ничего не ответил. Он смотрел на прибор, и воспоминания проступали в нем медленно, точно краска на лице. На него нахлынуло сперва смущение, потом грусть и наконец неясная радость.

— Он даже не помнит! — торжественно объявил Горчакову Панин.

— Боже мой! — выговорил наконец Ник и беспомощно пожал плечами.— Верно, я совсем забыл.

Горчаков испытующе взглянул на него и покачал головой.

— Смотрите! — сказал он, протягивая Нику спецификацию, в которой подробно указывалось, что нужно исправить. К русской инструкции была приколота страничка английского текста с чертежом. Ник сразу же узнал типографский шрифт — это была страничка из журнала «Новые научные приборы», издания Американского Физического общества. Он взглянул на верхние поля странички — там стояла дата выпуска: 7 августа 1951 года. Напечатанное жирным шрифтом заглавие гласило: «Д-р Н. Реннет — Применение электролитического интеграла для решения интегральной функции Ла-Фосса».

Это была мимолетная идея, осенившая его как-то в летний день,— и не больше того. Прибор и метод возникли в его воображении так отчетливо, что он меньше чем за десять минут набросал чертеж с предполагаемыми размерами и за двадцать — продиктовал его описание и метод использования. Помнится, он прочел то, что надиктовал, заменил два-три слова более точными и отправил в журнал — а вдруг кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь заинтересуется этой штукой и испробует ее? Сам же он, испытав минутное удовольствие, потом уже не имел ни времени, ни надобности, ни охоты развивать свою идею дальше. Он забыл о ней прежде, чем появилась публикация; заглянув в журнал, вспомнил, улыбнулся и опять забыл так основательно, что сейчас, годы спустя, увидев ее как некую реальность, как работающий прибор, он был просто потрясен. Он легонько тронул интегратор рукой, потом чуть приподнял его, смутно ожидая, что прикосновение к нему будет странным и удивительным.

— И вы в самом деле называете его панелью Реннета?

— Конечно,— сказал Горчаков.— А как его называют в Америке?

— Никак,— ответил Ник.— Насколько мне известно, никто еще не пробовал его сконструировать.— Он опустил интегратор на стол.— И эта штука действительно работает? — спросил он с оттенком грусти.

— Точно так, как вы и предсказывали. Конечно, при вашем собственном приборе такой интегратор не нужен,— добавил Горчаков,— но мы пользуемся им уже несколько лет. Должен вам сказать, это просто невероятно, что вы забыли о такой блестящей идее.

Ник покачал головой.

— А я был так уверен, что поймал вас на ошибке!

Горчаков слегка усмехнулся, ситуация сама по себе была настолько забавна, что острить по поводу нее уже не стоило. Поэтому он ограничился словами:

— Если ошибка и была, вы ее исправили за нас несколько лет назад. И это единственный возможный просчет, который вы обнаружили в нашей работе?

— Да, пока что,— упрямо ответил Ник.— Но я не намерен отступаться. Это сопряжено с чем-то гораздо более важным, чем ваш эксперимент.

Горчаков бросил на Ника острый взгляд, затем они вернулись в его кабинет. Панин куда-то ушел.

— Вы уже не впервые делаете такой намек,— спокойно сказал Горчаков, закрывая дверь.— И ни разу не высказались более определенно. Что же вы, собственно, имеете в виду?

— Это трудно определить точно,— медленно произнес Ник.

— Однако еще до того, как мы начали работать,— сказал Горчаков,— я спросил, что именно вас тут интересует, и вы ответили — только эксперимент. Вы помните этот разговор?

— Помню,— отозвался Ник.— И я сказал вам правду.

— Но есть и еще что-то,— настаивал Горчаков.— Порою это бывает очень заметно.

— Это нечто сугубо личное,— сказал Ник.— Быть может, дело просто в гордости. Но ведь гордость,— добавил он,— это костяк души.

— Я совсем ничего не понимаю,— просто сказал Горчаков.— То, что вы забыли об интеграторе, видимо, кажется вам сущим пустяком. Говорите вы иной раз так, будто многого не договариваете. Что мне сделать, чтобы вам было легче говорить со мной откровенно?

— Ничего,— ответил Ник.— Я должен справиться с собою сам. А насчет того, что я забыл об интеграторе, это для меня далеко не пустяк. Но думать об этом мне просто невыносимо. Я — как нищий, которому вдруг лишний раз напомнили, что он промотал состояние и, наверно, никогда уже его не вернет. Или как одинокий человек, встретивший на улице красивую женщину — свою жену, которую он бросил когда-то, а потом понял, что только одну ее он и любит по-настоящему. Это страшно. Но оплакивать прошлое — такая напрасная трата времени и сил! Мой путь в будущее проходит как раз через несходство между вашим методом экспериментирования и моим. Вот все, о чем я позволяю себе думать. Это для меня как калитка, я хочу распахнуть ее и пройти дальше в свою жизнь.

— И это все?

— Все.

Горчаков помолчал; очевидно, суровость, звучавшая в голосе Ника, заставила его взвесить мысли и возражения, которые он собирался высказать.

— Давайте пока оставим этот разговор,— сказал он наконец.— Мы еще успеем вернуться к нему.— Горчаков словно и не заметил недовольного взгляда, который метнул в него Ник при этом намеке на то, что вопрос еще не исчерпан.— Лучше поговорим о более приятных вещах. Что вы, например, делаете по вечерам?

Ник поглядел в окно.

— Да ничего особенного.— Его опять кольнуло воспоминание о том, как Анни разговаривала с ним сегодня утром.— Вечера приходят и уходят, вот и все.

Горчаков засмеялся.

— Этот уклончивый ответ означает, что у вас есть дама. Тогда сегодня я не стану вам навязываться. Но, может, встретимся завтра вечером? Если у вас не будет ничего другого,— добавил он.— Мы бы побеседовали. Нам обоим пора высказать все то, о чем мы столько времени избегаем говорить.

— Торопить меня не следует,— сказал Ник мягко, но мускулы возле рта у него дрогнули, а взгляд стал твердым.— Я предпочитаю говорить, когда сам захочу этого.

Горчаков вспыхнул.

— Вы не поняли меня, Реннет,— произнес он таким же мягким и вежливым тоном, как Ник, но и с таким же затаенным гневом.— Я предлагаю вам дружбу — дружескую беседу, и больше ничего.

Ник, спохватившись, опустил глаза. Ведь он разговаривает с человеком, который восхищается его работой и ценит ее больше, чем кто-либо другой. А он не совладал с теми мрачными, горькими чувствами, что вспыхнули в нем при виде интегратора, растравили его душу, как едкая кислота.

— Простите,— сказал он Горчакову.— Я не должен был так говорить.

— А я не должен был так отвечать вам. Давайте забудем об этом. Сегодня вы проведете вечер со своей таинственной дамой, и завтра вам станет легче.

5

Вскоре Ник вышел из института. День давно погас, сине-сизое небо было охвачено сумятицей; беспорядочно клубясь, оно как бы мучительно силилось спастись бегством от трагического события, происходившего за краем горизонта, над которым светились бледно-голубые и оранжевые полосы. На северо-востоке, где сгущалась темнота, холодным блеском сияли огни Москвы. В вышине одиноко горела красная звезда на шпиле университета, да проплывали бортовые огни гудящих самолетов, которые один за другим шли на посадку во Внуково, за двадцать миль и четыре летные минуты отсюда.

В институте настолько привыкли к Нику, что уже не оказывали ему маленьких почестей, вроде отправки домой на одной из институтских машин; впрочем, Ник и не хотел этого. Он взглянул на часы. Если даже Анни удалось освободиться пораньше, она все равно не могла еще быть дома. Он решил не брать такси, а поехать до гостиницы на автобусе. Когда Ник проходил в ворота, из здания института вышла молодая женщина. На мгновение ее осветил падавший из двери свет, и Ник узнал Валю. Он остановился, ожидая, пока она перейдет окутанный сумерками двор.

— Добрый вечер,— сказала она по-английски негромким смеющимся голосом.— Панин только что рассказал нам о сегодняшнем происшествии. По-моему, это очень забавно: вам пришлось совершить путешествие в Москву, чтобы увидеть вашу... вашу мысль? Нет, не мысль. Идею,— поправилась она по-русски.

— По-английски это почти так же,— сказал Ник.

— Вот всегда так — чем проще слово, тем труднее его вспомнить,— засмеялась Валя.— Вашу идею, осуществленную на практике. Вам это было приятно?

— Я был просто в восторге,— ответил Ник.

Они направились к автобусной остановке, но не успели дойти, как появился автобус, забрал ожидавших здесь немногочисленных пассажиров и, фыркая, укатил прочь, оставив Ника и Валю в ранних осенних сумерках на широком шоссе среди темных пустырей.

— Придется ждать еще добрых десять минут, пока придет следующий,— сказал Ник.

Валя огорченно согласилась, но потом сказала, что за это время она может дойти и пешком: ее друзья, к которым он приглашена в гости, живут на Ломоносовском проспекте, это совсем недалеко отсюда. Ник приуныл, подумав, что ему предстоит остаться одному в этой безлюдной тишине, и спросил, нельзя ли проводить ее — он может сесть в автобус и на другой остановке.

— Please,— сказала она по-английски тоном любезного приглашения, очевидно считая, что это слово во всех его оттенках точно соответствует русскому «пожалуйста».— Как странно,— чуть усмехнулась она, идя рядом с ним по затихшей вечерней улице.— У меня к вам тысяча вопросов, и вот сейчас, когда есть возможность спросить вас о чем угодно, я не знаю, с чего начать.

— О чем же вы хотите меня спросить?

— Обо всем! — взволнованно воскликнула Валя.— О физике, о вашей работе, о вашей жизни, о том, как живут ваши друзья в Америке. Что они делают? О чем думают? Что их интересует? Чего они хотят? Как *вы* стали физиком? И о тысячах других вещей. Иностранцы пишут, что русские необычайно любознательный и любопытный народ. Это правда? Разве другие не стараются узнать побольше, одни только мы? Для меня,— Валя прижала к груди скрещенные руки, как бы желая подчеркнуть, что речь идет только о ней,— для меня желание знать — это как голод! — пылко воскликнула она и тут же, спохватившись, рассмеялась.— Я так много болтаю, что не даю вам и слова сказать! Но знаете, я не могу понять одного. *Не могу* понять и в то же время завидую вам.

— Завидуете? Чему?

— Тому, как вы небрежно отнеслись к своей идее интегратора. Подумать только! — продолжала она по-русски — Человеку пришла в голову такая блестящая идея, а он так поглощен другими, не менее, а то и более важными замыслами, что ему некогда работать над ней! Словно сказочный принц, который разрывает ожерелье, чтобы оделить жемчужинами нищих! Скажите, когда эта идея впервые пришла вам в голову, вы представляли себе *все* ее возможности, *все* формы ее применения?..

— Я стараюсь припомнить, как это было,— медленно произнес Ник.— Должен сказать, когда это приняло определенную форму, все оказалось так просто, что мне стало смешно. Я громко хохотал. Эта выдумка доставила мне такое же удовольствие, как и другие.

— Вы хотите сказать, что у вас есть и другие статьи о темах для исследований, которыми вы не удосужились заняться?

— Они разбросаны по разным журналам,— признался Ник, не зная, как сказать ей, что ему больно и трудно продолжать этот разговор.— Я всего и не помню.

— Но ведь это расточительство! — воскликнула Валя.— Мне кажется, в более организованном обществе, чем ваше...

— Погодите-ка минутку,— засмеялся Ник, обрадовавшись, что разговор уже идет не о нем.— Неужели мы сейчас примемся сравнивать два социальных строя?

— А почему бы нет?

— Потому, что прежде чем вы деликатно посадите меня в галошу, разрешите вам напомнить: хотя эффект Черенкова был открыт здесь, практическое применение для него было найдено в одной американской лаборатории десять лет спустя. Так что мы квиты.

Валя засмеялась.

— Ладно, тогда согласимся на том, что мы многому можем поучиться друг у друга.

— Возможно, но я бы сказал иначе,— не сдавался Ник.— Все мы физики, и все — коллеги, и если американец даст идею, которая будет разработана в Дании, а результаты этой разработки разовьет англичанин, потом русский поднимет их до степени обобщения и, наконец, итальянец применит на практике, то французские, голландские, индийские, китайские, мексиканские и бразильские физики будут иметь такое же право гордиться новым открытием, как если бы работали над ним сами. Оно принадлежит всем.

— Пожалуй, так лучше,— согласилась Валя.— И все-таки хотела бы я иметь столько идей, чтобы невозможно было работать над ними самой. Раздавать их направо и налево,— восторженно сказала она.— Обладать таким изобретательным умом!

Ник ничего не ответил, он решил ни за что не возвращаться к тягостному для него разговору. Лучше помолчать. Они шли, пока пустынные пространства не сменились освещенными жилыми домами и неоновыми витринами новой Москвы, которую он мельком видел в день приезда. Перед ними ярко горели уходившие чуть вверх огни Ломоносовского проспекта и темным силуэтом выделялась фигура человека, который шел впереди с непокрытой головой, подняв воротник пальто и сунув руки в карманы. Валя, видимо узнав его, удивленно засмеялась и, взяв Ника под руку, повлекла его вперед.

— Надо догнать его,— сказала она.— Непременно. Гриша! Гриша!

Человек обернулся, на свету блеснули стекла очков. Они подошли ближе, он остановился. Это был худощавый юноша лет двадцати двух, с тонким нервным лицом и немножко пугливым от застенчивости взглядом. При виде Вали он робко и ласково улыбнулся. Она была на полголовы выше его и смотрела на него с беспокойной нежностью, которая не была ни кокетливой, ни материнской, ни сестринской,— словом, Ник не видел в ней никаких знакомых оттенков, которые определяют отношение девушки к молодому человеку.

— Это Гриша,— сказала она, окидывая его несколько придирчивым взглядом, словно проверяя, не оторвана ли у него где-нибудь пуговица и не сбился ли на сторону галстук.— Григорий Андреевич Антонов, мой, так сказать, подопечный, я за него отвечаю...

— Ничего подобного,— возразил юноша и, улыбнувшись Нику, протянул ему руку.— Рад познакомиться с вами, доктор Реннет. Я...

— Я за него отвечаю,— повторила Валя, будто и не слыша возражений.— Гриша хороший мальчик, хороший товарищ и блестящий физик, но физик, я вижу, совсем замерзший. Почему ты в летнем пальто? Тебе же холодно!

— Мне не холодно.

— Нет холодно. Я же вижу. Гриша один из тех, кто работают с вашим интегратором, доктор Реннет.— Повернувшись к Нику, она не без гордости улыбнулась.— По Гришиному предложению он был изменен.

— Пустяковые переделки,— смущенно возразил юноша.

Валя взяла его под руку, и он зашагал с ними к ярко освещенной улице.

— Нет, не пустяковые,— настойчиво сказала она.— Ты же сам знаешь. Он действительно очень способный физик. Вся наша институтская молодежь гордится им, и мы считаем, что он непременно будет академиком, поэтому мы о нем так заботимся.— Она продолжала весело болтать с Гришей и о Грише; она ласково подтрунивала над ним, хвалила его, добродушно бранила, и все это с какой-то особенной теплотой, но с какой — Ник не мог определить, пока ему вдруг не пришло в голову слово, которого он никогда в жизни не употреблял: *товарищеской.* Он даже вздрогнул от неожиданности, припомнив это знакомое слово, и удивленно подумал: «Значит, у них действительно есть такие отношения!» Что-то тесно связывало их друг с другом и с прочими — это и было то братство людей, о существовании которого Ник знал только понаслышке. Он опять стал чужим и посторонним, так как, сами того не подозревая, они наглухо отгородились от него. У ярко освещенного перекрестка юноша помахал им на прощание рукой и перешел на другую сторону улицы.

— Я провожу вас до автобуса,— сказала Валя.— А потом побегу дальше.

Но автобус опять ушел прежде, чем они успели дойти до остановки. Валя, откинув голову, рассмеялась.

— Тогда вы проводите меня,— сказала она.— Мне недалеко. Вы успеете вернуться, пока подойдет следующий автобус. Ручаюсь. Идемте,— продолжала она.— Такой чудесный вечер, посмотрите, как весело люди торопятся домой...

Она взяла его под руку и пошла, сразу приладившись к его шагу, будто они ходили вместе уже много лет. Ник то и дело поглядывал на нее сбоку, бессознательно любуясь гладкостью ее бледных щек, игрой ресниц, быстрыми движениями ее подвижных губ.

— Больше всего люблю этот час,— говорила она.— Рабочий день окончен. Он прошел удачно. Завтра предстоят новые дела, но сейчас впереди целый вечер: разговоры, шутки, ужин, смех, быть может, немножко хорошей музыки и, быть может, какой-нибудь очень забавный или очень интересный человек.— Неожиданно улыбнувшись, она повернулась к нему.— У вас тоже такое ощущение?

— Мне передается *ваше* ощущение,— улыбнулся Ник.— Но если вы мне позавидовали недавно, то сейчас я больше чем завидую вам.

— Почему? Что вы будете делать вечером?

— Право, не знаю,— искренне ответил он.

— Разве вы не ждете ничего приятного?

— Нет, жду,— честно сказал Ник.— Только не знаю, как это все обернется.

— О, смотрите! — порывисто воскликнула она по-русски. Ник обернулся и еле успел увидеть машину Горчакова, сворачивавшую за угол вдоль обочины тротуара, на котором стояли они с Валей. На мгновение глаза Ника и Горчакова встретились, но машина прошла не останавливаясь, и Горчаков уже глядел прямо перед собой; лицо его было строго и задумчиво.

— Это Дмитрий Петрович! Почему же он не остановился?

— Вероятно, он нас не видел,— осторожно сказал Ник, зная, что этого не могло быть.

— Нет, видел,— возразила Валя.— Он смотрел прямо на меня. Он же знает, что вам нужно в центр.

— Но мы с вами удаляемся от центра,— заметил Ник.— Быть может, он думал, что мы куда-то вместе идем, и не хотел...— ему пришлось снова перейти на английский...— навязываться.

Валя повторила английское слово, видимо не понимая, что оно значит.

— Он проявил такт,— сказал Ник, и Валя сдвинула брови: оба снова оказались беспомощными перед разделившей их языковой стеной.

— Словарь,— сказала Валя.— У меня с собой тот, что вы мне подарили.

Ник полез в карман за словариком, а Валя раскрыла сумочку, чтобы достать свой, но вдруг схватила его за руку.

— Ваш автобус идет! Скорее! Бегите!

— Нет,— ответил Ник.— Я поеду следующим. Я вас провожу, как мы условились.

Но Валя, очевидно, передумала.

— Это ни к чему,— сказала она.— Кто знает, когда подойдет следующий? — Оживление ее погасло, она стала задумчивой и озабоченной. Интересно, в какой мере это объясняется тем, что она увидела Горчакова, подумал Ник, и как она истолковала эту странную холодность Горчакова, которая неприятно озадачила и его самого, хотя он и старался как-то оправдать ее перед Валей. Валя протянула ему руку, и на мгновение глаза ее снова оживились и потеплели.

— До свидания,— сказала она.— Желаю вам приятно провести вечер!

Был девятый час, когда Ник вошел в свой номер. Он не представлял себе, что уже так поздно. Он медленно снял пальто и шляпу, думая о том, что сегодня — день неожиданностей; ему вдруг захотелось под любым предлогом позвонить Горчакову, дать ему понять, что он дома, один, и что Валя вовсе не та женщина, насчет которой Горчаков шутливо прохаживался сегодня в институте. Но цель его была бы слишком явной, и, если для Горчакова это хоть сколько-нибудь важно, такой звонок рассердил бы его своей нарочитостью. Если тут есть какое-то недоразумение, то пусть оно само разъяснится со временем. Ник решил не думать об этом и на всякий случай позвонил Анни — быть может, она уже дома. Анни взяла трубку почти сразу же, и ее «Алло?» прозвучало тревожным вопросом.

— Где ты был? — спросила она.— Я нарочно постаралась вернуться пораньше и все время жду твоего звонка. Я уже начала было придумывать другие планы на вечер.

Услышав ее голос, он опешил от неожиданности, и ему не сразу удалось объяснить, что он не рассчитывал застать ее дома, судя по тому, что она говорила ему утром. Анни ответила, что приготовила ужин и ждет его больше часа.

— Тогда я сейчас приеду,— сказал Ник.

6

Она показалась ему очень бледной и расстроенной. Они поцеловались, но Ник почувствовал в ней какую-то отчужденность. Он понял, что предстоит серьезный разговор, и у него заныло сердце. Войдя в комнату, служившую столовой, гостиной и кабинетом, он увидел сначала накрытый стол, а потом — откинутые крышки двух пустых чемоданов.

— Ты хочешь есть? — спросила Анни, проходя мимо него в маленькую кухню.

— Ужасно. А это почему здесь?

— Чемоданы? — донесся из кухни ее голос.— Я собираюсь укладываться.

— Зачем?

— Еду в Вену.

— Не может быть! — недоверчиво сказал он после секундного молчания.

— Я в самом деле еду.

Он подошел к двери в кухню. Анни спокойно и деловито возилась у старой газовой плиты.

— Почему? Когда?

— Утром. Самолет улетает в пять часов.

— Но почему?

— Потому что я так хочу.— Анни потушила газ под одной из кастрюлек, и, хотя голос ее был спокоен, казалось, что говорить ей трудно.

— Когда ты решила?

— Сегодня. Совсем недавно.

— Только потому, что я поздно тебе позвонил?

— Конечно нет.— Взяв тарелку с холодной осетриной, она прошла в комнату и поставила ее на стол.— Я думала об этом уже несколько дней. Но позвонила Хэншелу только сегодня.

— Совсем недавно?

— Да.

— Ты на меня сердишься?

— Нет.

— Вижу, что сердишься.

— Нет, не сержусь.

— Анни!

— Я же сказала, что не сержусь. Сейчас все будет готово. Хочешь водки?

— Анни, я говорю о Вене.

Она вскинула руки, как бы защищаясь от расспросов, но сразу же бессильно опустила их.

— Тут не о чем говорить, Ник, право же. Я просто решила, что мне полезно уехать сейчас на время из Москвы, а эта работа для меня интересна и к тому же хорошо оплачивается.

— Но ведь это нелепо! — Почему-то сейчас он мог думать только о второстепенных вещах.— Во-первых, Леонард не может так вот сразу взять тебя на работу. Это сверхсекретное дело. Каждый, кто с ним работает, должен пройти бесконечные проверки. Ты засекречена?

— Нет.

— И ты думаешь, это можно сделать за несколько часов? Даже там, у нас, ФБР обычно занимается этим не один месяц. А то, что ты несколько лет живешь в Москве, не лучшая рекомендация. Кто же кого обдувает?

— Надувает.

— Надувает. Анни, что ты с нами делаешь?

— Милый, я ничего не делаю. Просто мне надо взглянуть на все это издали. Я уеду на несколько недель, и это даст мне возможность увидеть себя со стороны. Себя и свою жизнь...

— И меня?

— И тебя. Ник, налей вина, пожалуйста.

— Если б я пришел часов в пять или шесть, ты бы не позвонила Хэншелу.

— Ошибаешься. Я бы сказала тебе, прежде чем позвонить ему, это правда. Но я знала, что вечером могу его и не застать, а мне хотелось, чтобы он успел подготовить мой отъезд.

Ник чуть было не сказал: *«Но он же пригласил тебя только в расчете на то, что я брошу все и ринусь вслед за тобой. Это я ему нужен, а не ты»*. Но, пожалуй, сейчас это уже не так. Гораздо более вероятно, что он пригласил Анни потому, что ему нужна она, а до Ника, в конце концов, ему нет дела.

— И все действительно так, как ты говоришь?

— Что ты хочешь сказать?

— Не потому ли тебя тянет в Вену, что там будет Хэншел,— вот что я хочу сказать. Должно быть, глупо об этом спрашивать. Ты совершенно не обязана отвечать мне, даже если это правда.

— Если бы это было правдой, я бы тебе сказала.

— Но ведь ты едешь в Вену либо потому, что там будет то, что тебе нужно, либо просто хочешь развязаться с тем, что тебе здесь не нужно.

— Может быть, и по той и по другой причине, Ник. Собственно, так оно и есть. Ах, Ник, больше всего я хочу для тебя того, чего ты сам хочешь. Будь я в силах дать тебе это — что бы оно ни было,— я бы дала. Чего бы мне это ни стоило.

— Но ты мне это и даешь.

— Нет,— сказала Анни.— Знаю, что нет. То, что тебе по-настоящему нужно, ты найдешь сам. Я уверена.

— Если бы я тоже был уверен!

— Непременно найдешь. Иначе и быть не может.

— Ну, хорошо, а потом что?

— Потом у тебя будет то, чего тебе хочется больше всего на свете.

— Я говорю о нас с тобой.

Анни пожала плечами.

— Пока не настанет такое время, говорить не о чем, Ник, лучше не давать друг другу обещаний сгоряча. И не надо просить никаких обещаний. Что сбудется, то и сбудется.

— Все это звучит гораздо серьезнее, чем «подожди несколько недель, пока я съезжу в Вену». Это звучит как милое, иносказательное «прощай навсегда».

Анни накрыла ладонью его руку.

— Я знаю только то, что на несколько недель еду в Вену,— мягко сказала она.— И оставим это.

Он сжал ее пальцы и притянул ее к себе. Она не уклонялась от его поцелуев, от его ласк, но и не отвечала на них, она была слишком измучена, чтобы сопротивляться.

— Я хочу тебя, Анни.

— Ты хочешь, чтобы я передумала. Я тоже хочу тебя, Ник, но потом нам будет еще труднее и больнее — ведь что бы между нами ни произошло, я все равно уеду.

— Я хочу тебя, Анни.

— Ник, прошу тебя!..

Он поцеловал ее, и на этот раз Анни приникла к нему — тело предательски напомнило ей о прошлых ласках.

— Ах, Ник, это нечестно! — прошептала она, закрыв глаза и отдаваясь его рукам, но вдруг с силой вырвалась и закрыла лицо ладонями, чтобы скорее прийти в себя.— Это нечестно,— сказала она еле слышно.— Нечестно.

Зазвонил телефон, Анни не шевельнулась.

— Пусть звонит, проклятый,— сказал Ник.

Анни покачала головой.

— Нет.— Она взяла трубку.— Да?..— и после паузы сказала: — В три тридцать... Я буду готова...— Голос ее звучал ровно и твердо.— Никто не отвечает, потому что он здесь... Да, минутку.— Она протянула трубку Нику.— Это Хэншел. Он хочет поговорить с тобой.

Ник заколебался, но выхода не было.

— Да, Леонард?

— Я вижу, вы отняли у меня возможность поразить вас моим сюрпризом,— весело заговорил Хэншел.— Если вы все-таки пожелаете присоединиться к нашей компании, место для вас есть.

— Спасибо, Леонард, ответ будет прежним.

— Что ж, может, это и к лучшему,— любезным тоном сказал Хэншел.— Тем не менее, если захотите поехать с нами в аэропорт и помахать рукой на прощание, мы будем очень рады. Разумеется, это значит, что вы ляжете спать не раньше пяти или половины шестого, а завтра — рабочий день, так что, если вы решите не провожать нас, мы не обидимся. Во всяком случае, постарайтесь на обратном пути заехать в Вену — совещание продлится очень долго. Пожелайте нам счастья!

Ник положил трубку и отвернулся от телефона, лицо его было неподвижно и сурово.

— Что он сказал? — тихо спросила Анни.

— Ничего,— ответил Ник. — Ничего особенного. — Он холодно взглянул на нее.— Ну хорошо, поступай как знаешь. Раз тебе так хочется ехать — уезжай. Откровенно говоря, я не понимаю, зачем ты это делаешь. Если все так, как ты говоришь, то, когда ты вернешься, между нами все останется по-прежнему, что бы ты за это время ни надумала. Но если ты не говоришь мне правды, если ты считаешь, что такой способ порвать со мной будет милосерднее — тогда ты действительно нашла самый лучший или, по крайней мере, самый верный способ. А теперь я пойду.

— Ник, ради бога, не уходи так! — Теперь уже она бросилась к нему.— Я этого совсем не хотела! Я собиралась объяснить тебе все, чтобы ты понял. Ведь ты хотел поехать со мной во Внуково...

Он помедлил секунду, потом отстранил ее.

— Оставь, Анни. Все и без того уже плохо. Давай отрежем сразу, без лишних мучений.

— Ник, по крайней мере хоть поужинай! Я так старалась...

Он даже схватился за голову — так по-женски абсурдна была эта просьба.

— Не понимаю женщин,— сказал он.— Когда человек голоден, женщина возмущается его бесчувственностью: «Как ты можешь думать о еде в такую минуту!» Но только женщина способна помнить о еде в самое неподходящее время! Нет, благодарю, я не хочу есть. Анни,— отрывисто добавил он,— давай поцелуемся на прощание и на этом покончим. Так будет лучше.

Ник не пошел в гостиницу. Он быстро шагал по улицам без всякой цели, без ощущения времени. Несколько раз возле театров он попадал в толпу выходивших зрителей; выбравшись из толчеи, он шел дальше. В каком-то кафе он что-то заказал и машинально съел; уходя, невольно заметил, что за ним запирают двери на ночь, и зашагал дальше. Придя наконец в гостиницу, он позвонил Анни, но телефон не отвечал. Часы показывали три сорок пять. Ник сошел вниз, но такси пришлось ждать минут двадцать.

— Внуково,— сказал он шоферу.— Я очень спешу.

Машина мчалась сквозь ночь. Кругом темнели неосвещенные дома. Ник еле различил здание института. Светились только сигнальные огни для самолетов далеко впереди да вспышки белого пламени на стройках, где шла ночная работа. Здание аэропорта было залито ярким светом, но почти безлюдно. Ник прошел прямо к ограде перед летным полем. Вдали, среди темных самолетов, стоявших на посадочной площадке, виднелся один освещенный. Калитка, ведущая на поле, была открыта, возле нее, подняв воротник пальто, взад и вперед прохаживался контролер.

— Это самолет на Вену? — спросил Ник.

— Да. Ваш билет, пожалуйста.

— Билета у меня нет. Мне нужно повидать одного человека.

— Простите, товарищ, вы же знаете правила. Туда без билета нельзя.

— Но я должен сказать ей несколько слов.

— Ничего не могу поделать. Правила везде одинаковы... Там ваша жена? — сочувственно спросил контролер.

— Да,— сказал Ник, готовый согласиться с чем угодно.— Моя жена.

Контролер взглянул на его пустые руки.

— Вы хотите передать ей этот сверточек?

— Да.

— Наверно, еда? Что ж, не голодать же ей. Ладно, скажите стюардессе, что вам нужно поговорить с женой.

Ник ринулся в темноту под пропеллеры спящих самолетов. До венского самолета оставалось полпути, когда Ник услышал рев моторов. Он побежал еще быстрее, рев усилился, косая цепочка освещенных окошек поплыла вдаль, и Ник остановился. Из темноты вышла женщина в летной форме. Взглянув на него, она тоже остановилась.

— На венский рейс опоздали,— сказала она.— Вы пассажир?

— Нет,— медленно ответил Ник, глядя на удаляющийся самолет.— Я хотел поговорить с одним человеком, но теперь уже все равно.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Утром, поспав не больше часу, Ник заставил себя поехать в институт; он был так подавлен глухой тоской и ощущением утраты, что даже не замечал физической усталости. В полдень ее самолет прилетит в Вену — значит, телеграмму надо ждать во второй половине дня. Он наметил себе срок — три часа дня,— и это облегчило ему ожидание. Казалось, кровь, пульсирующая в его венах, отстукивает минуты.

Чтобы убить время, он все утро провозился с интегратором. Он с интересом наблюдал, как работает прибор, воплотивший идею, которую он когда-то так беспечно бросил в пространство, а потом позабыл совсем. Кончив, Ник взглянул на часы. Ждать осталось всего три часа.

Он пошел в кабинет Горчакова потолковать о приборе. Заговорив о работе, Горчаков оживился, вообще же был странно озабочен и держался отчужденно. Сначала Ник не обращал внимания на его холодность, но потом она стала слишком явной, а Ник сейчас был особенно восприимчив ко всякому проявлению недружелюбия. Что он мог сде-

лать или сказать такого, что Горчаков на него обиделся, недоумевал Ник. И вдруг вспомнил.

— Между прочим, почему вы вчера вечером не остановили машину? — небрежным тоном спросил он, прерывая разговор о приборе.— Вы проехали мимо меня.

Горчаков растерянно моргнул — он не ожидал такого резкого перехода.

— Простите, вы о чем?

— Вчера на автобусной остановке, на углу Ломоносовского проспекта,— сказал Ник. Его внезапно одолела усталость; пожалуй, не стоило заговаривать об этом. Вчерашний эпизод казался сейчас таким незначительным, таким далеким...

— Я вас не видел.

— Но ведь вы смотрели прямо на меня,— возразил Ник.— Валя тоже заметила это. Вы не могли не видеть нас.

— Валя? — Горчаков пристально поглядел на него, и его явная заинтересованность словно подстегнула Ника.— *Наша* Валя?

— Ваша Валя. Мы с ней дошли туда пешком. Она собиралась куда-то в гости.

— Я и ее не видел,— резко сказал Горчаков, как бы отклоняя непрошенные объяснения Ника, почему они с Валей оказались на улице вдвоем. Он стал нетерпеливо постукивать указательным пальцем по чертежу, о котором до того шла речь.— Я торопился домой. Меня там ждали.

— Мне казалось, вы говорили, что будете весь вечер свободны.

— Да, но когда вы ушли, мне позвонили по очень важному делу.— Ему, очевидно, стоило труда сохранять вежливый тон: настойчивость Ника раздражала его.— Итак, мы говорили о структуре поля...

— Да,— сказал Ник.— Но, может быть, сначала условимся насчет сегодняшнего вечера? — После того как придет телеграмма от Анни, он немного поспит, но потом не хотелось бы оставаться в одиночестве.— Мы с вами собирались провести вечер вместе — быть может, сделаем это сегодня?

— Очень сожалею,— ответил Горчаков,— но у меня тяжело заболел близкий друг.— Он взглянул на часы и отодвинул от себя чертеж.— Извините, пожалуйста, я должен сейчас позвонить и узнать, что сказал врач.

— Разумеется,— откликнулся Ник. Намек на то, что ему лучше уйти, был так же ясен, как и нежелание Горчакова посвящать его в свои дела. Только вчера, подумал он, этот человек сетовал на то, что между ними так много невысказанного, а сегодня сам предпочитает о чем-то умалчивать. Ник встал и ушел. На ходу он взглянул на часы — вот и еще прошло сколько-то времени.

Самолет Анни сейчас уже вылетел из Будапешта. По расписанию она должна быть в Вене через сорок минут. Если она пошлет телеграмму сразу же по приезде, то, пока ее доставят, пройдет еще часа два. Ник валился с ног от усталости, продолжать работу не было никакого смысла. Он решил пойти в гостиницу и ждать там. Растянувшись на кровати возле телефона, Ник мгновенно заснул, надеясь, что его разбудит звонок или стук в дверь, но когда он, вздрогнув, проснулся, было совсем темно. К его смятению, оказалось, что уже одиннадцать часов. Он бросился к дежурной по этажу, но телеграммы для него не было Должно быть, Анни послала вечером письмо. Что за дурацкая экономность, раздраженно подумал он.

Телеграммы не было и утром. В течение дня Ник трижды звонил из института в гостиницу, но ни телеграммы, ни письма не было. Он пообедал у себя в номере и не выходил весь вечер, ожидая, что она позвонит. Она не позвонила. Ник начал приходить в неистовство.

Ночью он написал ей письмо на адрес американского посольства в Вене. Шли дни, а ответа не было. Он написал еще раз. Ответа не было.

Вне себя он позвонил в Вену, в посольство. Нет, о ней в посольстве ничего не известно. Он спросил о Хэншеле. Его бесконечно переключали с одного телефона на другой, и наконец кто-то ответил, что Хэншел живет в гостинице «Империаль».

Он не мог заставить себя позвонить Хэншелу. Он сидел у себя в номере и упрямо ждал, пока венская телефонистка по указаниям московской обзванивала гостиницы в поисках миссис Робинсон, прибывшей из Москвы. Он настойчиво руководил этими поисками, вмешиваясь в разговор двух телефонисток то по-русски, то по-немецки. Каждый звонок в очередную гостиницу вселял в него новую надежду, каждая неудача усиливала его упрямство, его тоску, его гнев, пока, наконец, он не позвонил прямо в «Империаль». Нет, миссис Робинсон здесь не проживает. Доктор Хэншел? О да, да. Одну минутку... К сожалению, доктора Хэншела сейчас нет. Ник велел передать Хэншелу, что просит Анни позвонить ему в Москву. К черту самолюбие. Только бы услышать ее голос, на остальное наплевать. Но она не позвонила, и Ник не находил себе места от тоски.

Если бы Горчаков сдержал свое обещание провести с ним вечер-другой, он хоть на время отвлекся бы от этой тоски по ней, от злости — словом, от всего, что его так мучило сейчас. Но в последние недели Горчаков непонятно почему стал держаться отчужденнее, чем когда-либо.

Ник узнал теперь, что такое быть одиноким в Москве. Никто ему не звонил, никто из тех, кто были так приветливы к нему в институте во время работы, не приглашал к себе в гости. И никто не принимал его приглашений пообедать. Он снова предложил Горчакову поужинать вместе, и снова Горчаков уклонился.

Ник был совсем одинок, а кругом кипела по-осеннему бодрая, еще более оживленная, чем прежде, Москва. Афиши на улицах возвещали о новых спектаклях, концертах, фильмах. Тысячи людей сновали по улицам, толпами вливались в метро, сходили со ступенек эскалаторов, стояли в очереди у троллейбусных остановок, потоками выливались из троллейбусов. Вокруг звучали человеческие голоса — в коридорах, в лифтах, на улице,— голоса воркующие, смеющиеся, зовущие, спорящие, объясняющие, сердящиеся, но ни один голос не окликнул его.

Он не грустил от одиночества, оно приводило его в ярость, и все же никогда в жизни он так не томился по людям. Он обедал в своем плюшевом с помпончиками номере, чтобы избавить себя от чувства одиночества на людях, но комната угнетала его, потому что там не было писем от Анни и стоял телефон, в котором не звучал ее голос.

Он выходил подышать воздухом только ночью, когда пустели людные улицы и затихало вечернее оживление, когда залитые светом просторы Красной площади наполнялись лязгом танков и топотом марширующих солдат: шла ночная репетиция ноябрьского военного парада. И каждую ночь репетиция становилась все богаче и полнее, и длинная колонна орудий, танков и транспортеров выстраивалась уже и на улице Горького, чтобы потом стремительно ринуться на Красную площадь и пройти мимо тихого мавзолея.

Иногда в эту позднюю пору на Ника наталкивался какой-нибудь пьяный, которого шатало из стороны в сторону, и, ухватившись за него,

чтобы удержать равновесие, извинялся с изысканной вежливостью и пристыженно отводил глаза или грубо ругался. Несколько раз какие-то юнцы предлагали ему продать с себя костюм; молодые бизнесмены пожимали плечами и презрительно усмехались, когда он проходил мимо, не удостаивая их ответом.

Снова и снова — уже со злостью — он перебирал в памяти всех своих знакомых, но каждый раз убеждался, что единственный человек, который, по-видимому, охотно общается с ним, это Валя. Он подумывал о том, чтобы пригласить ее куда-нибудь, но одно дело случайно встретиться с ней в гостях или у институтского подъезда и совсем другое — оказывать ей особое внимание и самому искать встреч. Он боялся, что она примет его приглашение только из жалости к его одиночеству, и гордость его возмущалась при мучительной мысли о том, что, если он ее пригласит, она, прежде чем дать ответ, хладнокровно посоветуется с десятком людей из ее группы, со своим непосредственным начальником, с начальником своего начальника, и в конце концов простой дружеский обед и, быть может, посещение кино превратятся в полуофициальное мероприятие. А самое главное, если Горчаков не хочет встречаться с ним по какой-то другой причине, кроме той, на которую он ссылается, то та же самая причина может повлиять и на Валю, а он не желает обременять каждого москвича неизвестно откуда взявшимся больным другом, который может служить отличным предлогом, чтобы отказаться от приглашения.

И все-таки, случайно услышав, что одна из молодых сотрудниц по телефону приглашает Валю пойти с ней в театр, так как ее спутник сегодня идти не может, Ник тут же, как ему казалось, забыл об этом, но после работы почему-то поехал домой на такси, а потом, все еще не отдавая себе отчета, зачем он это делает, позвонил в бюро обслуживания, справился о письмах и, когда ему ответили, что из Вены ничего нет, заказал билет на тот же спектакль. И только в театре, сидя на неудобном месте, откуда почти не было видно ни сцены, ни публики внизу, Ник понял, что опять он действует не по своей воле, а находится в плену у одиночества, которое и толкает его на всякие поступки, и, когда занавес стал медленно раздвигаться, он сказал себе устало, но убежденно и без тени жалости: «Дурак несчастный!» Но он так оцепенел от тоски и злости, что ему было все равно.

2

Во многих крупных театрах Москвы сохранился европейский обычай прогуливаться во время антрактов. Публика устремляется в просторное высокое фойе с яркими люстрами и без всякой мебели и бесконечным потоком, произвольно образуя нестройную колонну, хоть и не в ногу, но величаво прохаживается по кругу в пределах невидимой границы, так что тот, кому вздумается выйти из рядов на середину, чувствует на себе сотни взглядов. Здесь не курят, разговаривают вполголоса, и каждый на виду у всех. Это — парад благопристойности по сравнению с тем, как держатся американские зрители, которые непринужденно болтают, разбившись на маленькие группки, словно после сорока минут пережитых сообща эмоций им необходимо вновь ощутить свою индивидуальность и побыть в относительном уединении, прежде чем вернуться в зрительный зал.

В первом же антракте Ник увидел Валю в длинной веренице зрителей. Он стал у стены, ожидая, пока она и ее подруга обойдут фойе и приблизятся к нему. Заметив его, Валя поздоровалась, и лицо ее осветилось

радостно-удивленной улыбкой. Она невольно повернула голову, чтобы посмотреть, один ли он, и прошла дальше, словно слегка досадуя, что он не подошел к ней. Сделав еще круг и снова поравнявшись с Ником, Валя протянула руку; «Пойдемте с нами» — как бы говорил этот обезоруживающе искренний жест. В первый раз с тех пор, как уехала Анни, ему предложили разделить компанию, и в нем вспыхнуло благодарное чувство. Он пошел с ними рядом.

Подруга Вали, с которой ему доводилось раз или два разговаривать в институте, была немножко смущена любопытными взглядами окружающих, но, видимо, довольна. Это была некрасивая, хотя и хорошо сложенная девушка, светлая завитая челка, к сожалению, закрывала прекрасные линии ее лба. Она покраснела и первые минуты, очевидно, чувствовала себя неуверенно — то становилась чересчур сосредоточенной, то начинала беспричинно смеяться. Но застенчивость ее исчезла, как только зашел серьезный, хоть и несколько бессвязный разговор о пьесе. Девушка не желала говорить по-английски, стесняясь своего произношения, но понимала язык, по-видимому, не хуже, чем Валя, и все трое кое-как объяснялись то по-русски, то по-английски. Обе девушки уже видели пьесу в другом театре, и мнения их расходились. Валина подруга утверждала, что пьеса слишком сентиментальна, а Валя сказала, что если вникнуть в замысел автора, то все это даже трогательно; а что думает доктор Реннет?

— Я очень редко бываю в театре,— ответил он.

— Не будьте таким дипломатом,— сказала Валя.— Есть же у вас какое-то мнение.

— Я смотрел с удовольствием. Актеры играют превосходно, но пьеса глупая. В жизни люди так себя не ведут.

— Я согласна с вами,— сказала Валина подруга.

— Значит, вы оба ничего не знаете о любви,— со спокойным упрямством заявила Валя.

— А ты знаешь? — засмеялась ее подруга.

— Я знаю,— ответила Валя. Она видела, что они чуть-чуть подсмеиваются над нею, и сама была не прочь посмеяться, но все же стояла на своем.— Я понимаю эту девушку. Если она действительно его любит, то именно так и должна поступить.

— Да? — сказал Ник.— Тогда, вероятно, вы можете понять женщину, которая, любя мужчину, бежит от него, потому что твердо уверена, что в конце концов потеряет его?

— Да,— согласилась Валя.— Бывает и так. Я могу ее понять.

— Ну, расскажите мне о такой женщине.

Валя засмеялась.

— Тут дело не только в женщине, но и в мужчине тоже. Расскажите мне о нем.

В следующем антракте они опять встретились и продолжали разговаривать, прохаживаясь по фойе. Он хотел было предложить им встретиться после конца спектакля, чтобы проводить их домой, но боялся, что это предложение будет отвергнуто. Пока он боролся с нерешительностью, прозвенел звонок, и все заторопились в зал. Ну что же, это даже к лучшему — как будет, так и будет. Если он увидит их при выходе, то вызовется проводить, и это будет совершенно естественно. Если же он по каким-то особым причинам не должен этого делать, так они сами постараются избежать встречи с ним.

Когда кончились вызовы и стихли аплодисменты, Ник вышел из ложи и направился прямо к вешалке, тщательно соблюдая правила

игры, которую сам и придумал. Он стал в очередь; не прошло и нескольких минут, как подошли девушки.

— Дайте мне номерки,— сказал Ник.— Я возьму ваши пальто.— Он обернулся к стоявшему за ним молодому лейтенанту и попросил разрешения услужить девушкам. Лейтенант пожал плечами.

— Пожалуйста,— приветливо сказал он.

Бок о бок они медленно продвигались вдоль стойки и говорили только о пьесе; наконец, когда гардеробщик подал им пальто и они пошли к выходу, Ник сказал:

— Я возьму такси и отвезу вас домой.

Девушки быстро переглянулись.

— Мы-то в Москве не заблудимся,— сказала Валина подруга,— поэтому давайте сначала мы отвезем вас. Ведь вы же, в конце концов, наш гость.

Это значило, что через несколько минут он опять останется один, а ему страстно хотелось побыть с людьми, пусть даже хоть полчаса.

— Я еще ни разу не заблудился в Москве. Я достаточно знаю русский язык, чтобы сказать водителю: «Гостиница «Москва», пожалуйста!»

У Валиной подруги нашлось другое возражение: они с Валей живут в разных концах города, и обеим ехать отсюда гораздо дальше, чем ему до гостиницы.

Валя жила на Ленинградском шоссе, далеко за ипподромом, а ее подруга — на Фрунзенской набережной.

— Это ничего,— сказал Ник, не желая сдаваться.— Зато проедемся вдоль реки.

Он быстро нашел такси, и спор закончился сам собой, как только они покатили по Садовому кольцу. Наступило, однако, немного напряженное молчание, и Ник не знал, чему это приписать — тому ли, что все трое не знали, о чем говорить, или же тому, что под давлением одиночества он сделал то самое, чего все время страшился: навязался им, а они не посмели ему отказать из вежливости и уважения к нему как к почетному гостю.

У Крымского моста такси свернуло с Зубовского бульвара в тихую темноту набережной. Ник не мог себе представить, о чем сейчас думают девушки.

— Люблю Москву ночью,— задумчиво сказала Валя.— Она становится совсем другой.

— А я люблю смотреть на реку,— таким же тоном откликнулась ее подруга.— Города и деревни кажутся такими грустными, когда проезжаешь по ним ночью. Улицы пустые, дома темные, будто совсем необитаемые.

— Лучшее время — ранний вечер,— заметила Валя,— когда еще не наступила ночная тишина.

— Мне ночь никогда не кажется тихой,— сказал Ник.— Я все время ощущаю этот ливень субмикроскопических частиц, который льется сверху, проникая в нас, в наши дома, даже в землю под нашими ногами, словно наш мир и все, что в нем есть, сделано из какого-то темного стекла, освещенного изнутри лучами, которые беспрерывно струятся сквозь него.

— Космические лучи занимают вас и днем и ночью,— тихо засмеялась Валя.

— Не всегда,— просто сказал он.— Недавно поздно ночью я поехал во Внуково попрощаться с одним другом. Было около пяти утра. Я опоздал — самолет уже поднимался в воздух. Я стоял один на пустом

аэродроме. Вот тогда ночь была по-настоящему темной. Самая темная ночь, какую я когда-либо видел.

Такси свернуло с ровной мостовой и запрыгало по колеям грязной дороги, петлявшей между новыми жилыми корпусами и подъемными кранами возле строящихся зданий, которые в темноте казались развалинами. Здесь еще не было ни улиц, ни деревьев, ни газонов — только изрытая и вздыбленная земля огромной московской равнины. Прежде чем выйти из машины, девушка сбросила легкие лодочки и достала из сумки коричневые башмаки на толстой подошве, без которых нельзя было обойтись в некоторых кварталах города. Ничуть не стесняясь, она надела их, обменялась с Ником рукопожатием и улыбнулась ему.

— Я провожу вас до дверей,— сказал он.

— Нет, не нужно,— ответила она.— Спасибо. Валя, может, ты останешься у меня ночевать? Ты позвонишь своим, а утром вместе поедем в институт. От меня ведь гораздо ближе.

Валя ответила не сразу. Ник не шелохнулся. Если он и вправду навязался, если ее это тяготит, то вот прекрасный предлог отделаться от него.

— Нет, спасибо,— сказала Валя. В голосе ее чувствовалось чуть заметное колебание — намек на то, что подруга, возможно, вкладывала в свои слова и другой смысл. Валя улыбнулась и поцеловала ее в щеку.— Спокойной ночи.

Она назвала шоферу свой адрес. И снова оба замолчали, но ощущение, что ей, может быть, неловко с ним, совершенно покинуло Ника.

Они нарушили молчание какими-то незначительными фразами, потом Валя неожиданно спросила:

— Какой самолет отходит из Внукова в пять часов утра?

— Самолет на Вену.

Валя помолчала, потом опять спросила:

— А в какой книге женщина бросает мужчину потому, что боится его потерять?

— Не знаю,— сказал он и, порывшись в памяти, добавил:— Не могу припомнить ни одной такой книги.

— Может быть, в пьесе?

Ник опять покачал головой.

— Их, должно быть, много.

— Я думала, вы знаете такой случай,— сказала Валя.— Так мне показалось по вашему тону.

— Я знаю только одно: я голоден,— заявил Ник, чтобы переменить разговор.— Где можно было бы поесть?

— Сейчас поздно. Я бы пригласила вас к себе, но боюсь, это не совсем удобно.

— Может, пойти в ресторан или кафе.— Он взглянул на часы.— Еще нет одиннадцати.

Валя промолчала.

— Что делают москвичи после театра? Знаете, я здесь всегда голоден, потому что в Москве едят совсем в другое время, чем у нас, и я никак не могу к этому привыкнуть.

— После театра мы идем домой или в гости,— коротко ответила Валя.— А что делают в Америке?

— То же самое, только мы часто ходим в рестораны. Но видите ли, я не хочу ехать домой, потому что я голоден, и не могу пойти в гости, потому что у меня нет знакомых. Значит, я должен умереть с голоду?

— Нет,— негромко рассмеялась она.

— А что же мне делать?

— Да, трудная проблема,— согласилась Валя.

— Но рядом с этой проблемой стоит и ее решение. Или, может быть, это другая проблема?

— Что вы имеете в виду?

— Понимаете, это довольно трудно сказать,— медленно произнес Ник.— Должно быть, любой иностранец в любой стране считает, что все, что с ним происходит, объясняется тем, что он — иностранец.

— И что же?

— И больше ничего.

Немного помолчав, Валя сказала:

— Вам следовало бы объясниться точнее.

— Ну хорошо. Вы не пойдете со мной в ресторан только потому, что я иностранец?

— Вы именно это и хотели сказать?

— Да, именно это.

— Тогда я отвечу — вовсе не потому.

— А почему же?

— Потому что вы меня не приглашали. Вы все ходили вокруг да около, но так и не сказали: «Пожалуйста, пойдемте в ресторан».

— Хорошо, пожалуйста, пойдемте со мной в ресторан.

— С удовольствием,— просто сказала она, пожав плечами.— Я тоже очень хочу есть.— Но они уже проехали и площадь Маяковского, и только что миновали Белорусский вокзал.— Надо повернуть обратно,— заметила Валя.— Дальше ресторанов нет.

— Можно пойти в гостиницу «Советская». Вам нравится там?

— Мне — в «Советской»? — Валя взглянула на него.— Да я никогда там не была. Право, у вас очень странные представления о том, как мы живем и что мы делаем.

— Я не имею никакого представления о том, как вы живете и что делаете. Откуда мне это знать?

— Скажите,— спокойно спросила Валя,— в каком городе вы живете?

— В Кливленде.

— Это большой город?

— Да. Около миллиона жителей.

— И там есть большие отели?

— Да.

— Ну так скажите мне, пожалуйста, часто ли обыкновенные девушки ходят в рестораны этих отелей? Я не говорю о дочерях богачей или знаменитостей. Просто самые обыкновенные девушки?

— Понимаю ваш вопрос,— сказал он.

— У меня есть еще один,— настойчиво продолжала Валя, и Ник понял, что его подозрения были не лишены оснований.— Многие ли кливлендские девушки ходят в эти или другие рестораны с приезжими советскими учеными?

— Нет, не многие.

— Ведь очень немногие, верно?

— Очень, очень немногие. Победа на вашей стороне.

— Мы с вами не воюем,— спокойно сказала она.

Ресторан был почти полон, оркестранты ушли отдохнуть, поэтому Ник не сразу понял, что здесь танцуют. Валя пошла позвонить домой.

— Это необходимо,— смеясь, объяснила она.— Иначе мама будет волноваться.

В зале, кроме Ника, было еще двое иностранцев, они сидели за столиком в углу, увлекшись разговором; отодвинули в сторону маленький французский флажок, чтобы он не мешал жестикулировать, и не слушали музыки, не обращали внимания на танцующие пары.

— Советские люди и французы переменились ролями,— сказал Ник Вале, указывая на них. Валя засмеялась.

— Почему бы советским людям не потанцевать?— спросила она. У нас теперь это принято. Я сама люблю танцевать.

— Я не танцевал много лет,— сказал Ник.— И никогда не был хорошим танцором.

— Опять-таки будьте точнее, пожалуйста,— взмолилась Валя.— Вы хотите пригласить меня танцевать?

Ник заколебался, потом со смехом сказал:

— Да. Почему бы нет? Давайте потанцуем?

— С удовольствием,— ответила Валя.

Он встал из-за столика и, ожидая, пока она подойдет, совершенно неожиданно для себя ощутил такое острое волнение, что ему пришлось отвести глаза в сторону.

В его объятиях она двигалась так же свободно и с такою же естественностью, с какой шла рядом с ним по улице. Рука ее, которую он держал в своей, была легкой и сухой, талия — тонкой, Валя касалась плечом его плеча, потому что была высокого роста, и это прикосновение походило на ласку, все тело ее было гибким и послушным. Они танцевали в полном молчании, и он почти не сознавал, что движется, и не слышал музыки. Вернувшись за столик, они опять долго молчали. Ник думал о только что испытанном ощущении. Это могло быть только чувство благодарности, обостренное отъездом Анни, но он вдруг увидел в Вале женщину.

Они сидели в ресторане больше часа, потом вышли в ночь и пошли по пустынной, окаймленной деревьями дорожке — узкому зеленому островку на краю широкого шоссе. Впереди, насколько хватал глаз, уходила в темноту прямая бесконечная вереница желтых фонарей на столбах таких же высоких, как деревья. Дорожка была безлюдна, на пустых скамьях не было ни души. Ник и Валя медленно шли рядом, изредка перебрасываясь словами; ее рука легко лежала на сгибе его локтя. Время от времени по шоссе проносился раскатистый грохот — это бронетранспортеры спешили к центру на полночную репетицию. В промежутках, когда стихал лязг и стук, ярко освещенное шоссе становилось опять пустынным. Ночь была холодная, и Валя слегка вздрагивала, чуть-чуть сжимая пальцами его руку выше локтя.

— Уже очень поздно,— сказала она.— Мне пора домой. Я живу совсем недалеко отсюда. Спасибо за приятный вечер.

— Вечер был чудесный.

— И, может быть, он отвлек ваши мысли от того самолета на Вену?— мягко спросила она.

Ник помолчал, потом кивнул головой.

— Я рада,— проговорила Валя и добавила с оттенком огорчения и наивной грустной откровенности:— А я, наоборот, думала о нем все время.

Как отнесется Горчаков к этой подстроенной Ником встрече с Валей, станет ли еще более замкнутым, и вообще есть ли какая-либо связь между тем, что он видится с Валей, и холодностью Горчакова — Ник не знал, да, впрочем, это ему было теперь безразлично. Он очень злился на всех за свое одиночество, а Валя была единственным человеком, у которого нашлось для него время. Он испытывал к ней благодарность,

но на другое утро с таким же нетерпением стал справляться, нет ли ему письма, и был так же удручен, узнав, что ничего нет. Он приехал в институт, настроенный воинственно, ожидая от Горчакова чего угодно, только не виноватого смущения, с которым тот подошел к нему перед началом работы. Горчаков, по-видимому, даже затруднялся начать разговор, подыскивая слова, но затем внезапно сказал:

— Чувствую, что должен извиниться перед вами. Я совсем вас забросил в последние дни, пока моя...— он заколебался, ища подходящие слова,— моя гостья... Видите ли, моя гостья уже уехала. Исследования показали, что ей сейчас не грозит опасность. Она очень боялась, хотя не признавалась в этом никому, кроме меня. Во время войны она проявляла удивительное мужество, но ведь известно, что худшие пациенты — это врачи.— Он нахмурился, явно не довольный собой.— Это моя теща, — отрывисто сказал он и продолжал уже совсем откровенно:— Единственный близкий ей человек — это я, она потеряла всю семью: и мужа, и детей. Мы редко переписываемся, иногда говорим по телефону, но когда одному из нас плохо, он зовет другого. Когда-то только она одна знала, что у меня в душе, и только я знал, как она тогда страдала. В то время мы могли говорить откровенно только друг с другом. Поэтому мы очень близки. Она уехала к себе в Харьков на работу, и никто, кроме ее начальника, не знает, что она поехала в Москву без всякой надежды вернуться домой. Понимаете, я хочу, чтобы у нас с вами не было недоразумений.

— Я понимаю,— кратко сказал Ник, по примеру Горчакова не придавая значения тому, что Горчаков впервые сам упомянул о своей жене, хотя это косвенное упоминание порождало множество вопросов, тем более что, по глубокому убеждению Ника, ни одна женщина никогда не жила в этой столь прозаически обставленной квартире, без занавесок на окнах. Где же и когда он жил с ней, и почему ему так трудно говорить обо всем, что связано с его браком?

— Так вот,— продолжал Горчаков,— я хочу спросить вас, свободны ли вы в субботу вечером? У меня опять соберутся друзья, и я очень хотел бы, чтобы вы пришли тоже.

Ник обещал, и они принялись за работу, но оба чувствовали некоторую скованность. Горчаков заставил себя сказать больше, чем ему хотелось, а у Ника было такое ощущение, словно ему позволили заглянуть в глубину чужой души, а он так и не понял, что там, в этой глубине. Злость, которую он носил в себе, стала уменьшаться, она уже не распространялась на Горчакова, он злился только на себя и на Анни.

3

На письменном столе, за которым работал Ник, стоял телефон, и это решало проблему, как поговорить с Валей, не подкарауливая ее при посторонних. Ему стоило лишь набрать ее добавочный номер. Сознание, что в любую минуту он может услышать дружеский голос, уменьшало его тоску по Анни. Он уже не совсем одинок.

Он подождал до конца дня, но, когда позвонил ей, она сказала, что сегодня вечером занята.

— А завтра?

— И завтра тоже.— Ник чувствовал, что она чуть-чуть улыбается.— Мне очень жаль,— добавила она.

— Вы теперь всегда будете заняты? — спросил он.— Потому что я ведь здесь не навсегда.

— Я знаю,— сказала Валя.— Я думаю об этом очень часто.

— И продолжайте думать, пожалуйста, а я позвоню вам через несколько дней.

Однако, когда он, выждав два дня, снова набрал ее номер, она явно обрадовалась, услышав его голос, но сказала, что, к сожалению, сегодня тоже занята.

Он положил трубку. Быть может, она дает понять, что между ними стена? — мелькнуло у него в голове, но тут же он совершенно забыл о Вале, потому что слово «стена» вызвало у него совершенно неожиданное представление: не камень, не железная решетка, а электрическая стена против некоторых сильно проникающих частиц, которой Горчаков огородил свой прибор. То, чего нельзя остановить, можно по крайней мере сделать неощутимым — таков был принцип этого устройства. Нежелательные частицы свободно проникали сквозь эту стену, но электрический импульс, возникающий при их прохождении, служит сигналом для прибора ничего не регистрировать в момент их прохождения. В мире физики это называется схемой антисовпадений, в человеческой душе этому соответствует действие сдерживающих центров при слове *«нельзя»*.

Ник понял, что уже много дней его преследует мысль, что если в приборе Горчакова есть уязвимое место, то его надо искать в конструкции электрической стены — и только там. Если эта стена содержит слишком большое электрическое напряжение, она уничтожит те самые частицы, которые обладают наибольшей энергией,— подобно не в меру усердной службе государственной безопасности, которая в своем безудержном стремлении поддерживать видимость порядка не только карает явную государственную измену, но и борется против любого проявления интеллектуальной жизни.

— Я уверен, что избыточного напряжения тут нет,— утверждал Горчаков. Но через секунду он из чувства справедливости добавил:— Разумеется, очень легко попасть в такую ловушку и даже не заметить этого, тем более что мы проектировали это для определенного устройства, а потом вносили множество изменений, забывая каждый раз делать поправки.— Он испытующе поглядел на Ника и, озабоченно нахмурясь, спросил: — А что, вы нашли что-нибудь такое, что вызывает эти подозрения?

— Пока нет,— признался Ник.— Но поскольку мы стараемся обнаружить такие мелкие и нечастые явления, то я хотел бы видеть более подробный расчет, чем тот, что мне показывали.

— Сказать по правде, более подробного у нас нет.— Подойдя к доске, Горчаков быстро сделал приблизительный расчет допускаемых ошибок в существующем устройстве. Ответ получился в его пользу, но расчеты сошлись еле-еле, и он был вынужден признать, что у Ника все же есть основания затронуть этот вопрос. Он, видимо, был серьезно озабочен.— Человек, который проектировал эту часть прибора, сейчас в горах. Но Валя помогала ему в разработке схемы, а Антонов работал по конструированию прибора. Насколько я понимаю, вы с ним знакомы. Он один из тех, кто конструировали интегратор.

Ник потратил целый день, чтобы найти правильный, с его точки зрения, подход к проблеме. Несколько раз ему пришлось совещаться с Валей, еще недавно он искал любой возможности поговорить с ней наедине, но сейчас был так поглощен своим делом, так стремился найти какое-то решение, что ее помощь была для него важнее всего остального.

Он настолько увлекся этой задачей, что она не выходила у него из головы ни днем, ни ночью, ни за едой, ни во время прогулок. Он никогда не брался за карандаш и бумагу, прежде чем не проникался проблемой

настолько, что ее решение само складывалось у него в уме целиком, если не считать мелких деталей. Он терзал проблему, уносил с собою домой, разглядывал ее со всех сторон, ощупывал, переворачивал и так и этак, стараясь придать ей простейшую, но и самую точную математическую форму. Даже если ему удастся выяснить, что в эксперименте Горчакова имелось избыточное напряжение, он докажет только, что Горчаков не вправе исключать возможность ошибки, но и такого сомнения достаточно, чтобы подвергнуть проверке результаты опыта.

В пятницу утром Ник наконец свел всю задачу к уравнению с четырьмя неоднородными членами с убывающей амплитудой. Он вызвал Валю, велел Грише Антонову принести маленькую счетную машину и объяснил им, что остается сделать.

— Теперь нужно всего-навсего проставить в уравнении надлежащие цифры и посмотреть, что получится в результате вычислений. Если решение окажется...— он заглянул в свой блокнот,— меньше 43,74, то все благополучно. Если окажется больше, тогда дело серьезное. Валя, помогите мне табулировать эти числа. Гриша, подставьте их в формулу и зарядите машину. Мы должны получить ответ через несколько часов.

Прошло около часа, пока был вычислен первый член уравнения, результат равнялся 33,75, что было сравнительно немного, и с опытом, казалось, все обстояло благополучно. Потом лязгающая и жужжащая машина выдала значение второго члена — 8,32; это оказалось больше, чем они ожидали, так как увеличило множитель до 41,07. В запасе оставалось только 2,67, а счетной машине предстояло вычислить еще два небольших члена уравнения, и Ник заволновался.

— Два, запятая, ноль, один,— прочел Гриша показания счетной машины.— Сколько получается всего?

Пока что сумма равнялась 43,08 — на волосок меньше критического значения 43,74. Значение последнего члена должно быть очень близко к нулю, ближе, чем это было возможно. Все трое знали это, и каждый выказывал волнение по-разному. В небольшой комнате стало жарко. У Вали было напряженное лицо, но она работала спокойно, ровным деловитым тоном диктуя Грише одну цифру за другой.

Машина щелкала и жужжала, щелкала и жужжала. С грохотом поворачивалась рукоятка. Машина получила следующий ряд цифр, зажужжала, защелкала, остановилась, когда Гриша обнаружил ошибку, щелкнула, когда он ее поправил, и снова зажужжала; громыхнула рукоятка, завертелись валики, и наверху выпрыгнул отпечатанный ответ: 45,03... Слишком много, слишком много, сказали их взгляды, хотя никто не произнес ни слова. Лица у Гриши и Вали были встревоженные, но Ник видел, что до них еще не совсем дошел катастрофический смысл происшедшего. Он пошел к Горчакову, тот мгновенно понял все, хотя тоже не сказал ни слова. Он как-то сразу осунулся и казался очень усталым, однако в его неподвижном взгляде не было ни страха, ни отчаяния. На него обрушился удар, но, прежде чем определить размеры катастрофы, он хотел ясности. Этот человек умел владеть собой.

— Скажите точно, в чем дело? — немного погодя спросил он.

— Вы превысили предельное значение,— сказал Ник.— Ненамного но все же процентов на семь.

— Это немного,— согласился Горчаков, но честность ученого не позволила ему воспользоваться лазейкой, которую предлагал ему сочувственный голос Ника.— И все же любое превышение есть превышение, и ничего тут не поделаешь.— Он глубоко засунул руки в карманы и, задумавшись, быстро зашагал по комнате взад и вперед. На душе у него было тяжело.— Очень трудно поверить,— произнес он наконец.— Все-

таки, прежде чем обсуждать это, разрешите, я сам еще раз проделаю вычисления.

На следующее утро они сравнили результаты. Горчаков работал почти всю ночь.

— Сомнений быть не может,— сказал он, даже не взглянув на вычисления Ника.— Я проверял разными способами, применяя разные критерии. И все равно выходит, что я превысил предельное значение. Как это случилось — не знаю, но давайте подумаем, что это означает.

— Это означает, что вы уже не можете утверждать, будто я ошибаюсь,— тихо произнес Ник, как бы расшифровывая постигшую этого человека беду.— Вы больше не можете утверждать, что энергии, которую я обнаружил, не существует. Вы можете сказать только, что *вам,* с помощью *вашего* прибора, не удалось ее обнаружить.

— С другой стороны, может быть, я все-таки прав,— медленно сказал Горчаков.— Я не могу утверждать, что вы ошибаетесь, но и вы пока что не можете утверждать, что я абсолютно неправ.

— Возможно, но вы еще должны доказать это. Если вы уменьшите напряжение смещения и получите те же результаты...— Ник пожал плечами,— то мы очутимся там же, откуда начали... Послушайте, Дмитрий,— в порыве глубокого сочувствия он перешел на более интимное обращение.— Быть может, вам вовсе незачем тратить целые месяцы на повторение опыта с самого начала. Нет ли у вас сейчас надежного человека там, на станции?

— Там Коган. Сегодня или завтра он должен выехать в Москву.

— А нельзя ли ему позвонить?

— Прямой связи нет.

— Может быть, через кого-нибудь передать?

— Я могу позвонить в местный институт, там штаб-квартира нашей горной станции. Они держат связь по радио. А что вы, собственно, хотите предпринять?

— В данную минуту — ничего. Но, вероятно, можно каким-то образом снизить напряжение смещения хотя бы на одной-двух работающих сейчас установках. Пусть они продолжают записи еще несколько дней. Если показания будут такими же, как и сейчас, при избыточном напряжении, тогда, значит, напряжение не играет никакой роли и все измерения верны. Конечно, есть несколько способов уменьшить напряжение — давайте поработаем над этим день-два. Но надо немедленно передать вашему человеку, чтобы он не уезжал, пока вы с ним не свяжетесь. А кто там остался, если он уже уехал?

— Только постоянный обслуживающий штат и несколько студентов-практикантов. Все недостаточно опытны для такой работы. Пожалуй, нужно звонить сейчас же,— сказал Горчаков, хватаясь за трубку.

Была суббота, и после двух часов здание почти опустело. Ник и Горчаков работали вместе, стараясь разрешить проблему, всеми возможными способами найти решение. Валя и еще несколько человек тоже задержались, на случай если понадобится их помощь, но в четыре часа Валя, извинившись, попросила разрешения уйти. Ей необходимо кое-что сделать до вечера. Горчаков отпустил ее рассеянным кивком.

— До вечера? — вдруг повторил он через некоторое время, будто ее слова только что дошли до его сознания.— Мне тоже нужно кое-что сделать до вечера. Как вам известно, у меня сегодня гости. Давайте кончать,— предложил он, вставая. Вид у него был измученный, но он улыбнулся, взглянув на Ника.— Ну вот, за этим ведь вы и приехали. И теперь добились своего.

Ник тоже поднялся.

— Хотите знать правду?

— Разумеется.

— Я бы солгал, если б стал уверять вас, что мне не стало легче.

— Да, понимаю,— коротко сказал Горчаков.

— Но вы должны поверить, что при этом я не испытываю никакого удовлетворения.

Горчаков сдержанно усмехнулся.

— Вы же знаете, у вас есть полное право, выйдя отсюда, разослать в лаборатории всего мира телеграммы о том, что вы выбили у меня почву из-под ног.

— Знаю.

— И немногие на вашем месте остались бы тут, чтобы помочь беде.

Ник ничего не ответил.

— Поэтому я хочу, чтобы вы знали — я очень вам благодарен.— Он протянул руку, Ник крепко пожал ее.— Надеюсь, я смогу сделать для вас то же, если мы когда-нибудь переменимся ролями,— добавил он, улыбаясь спокойно и упрямо.— Ведь еще может случиться и так.

4

Разноголосый шум внезапно обрушился на Ника, едва только Горчаков открыл перед ним обитую толстым войлоком дверь, словно гости именно в эту секунду заговорили и засмеялись все разом. Голоса и смех из соседней комнаты продолжали звенеть и журчать в передней, пока Ник снимал пальто. На вешалке, по два-три на каждом крючке, громоздились пальто приехавших раньше гостей, занимая половину тесной передней.

Через открытую дверь Ник увидел Валю. Сейчас она была для него лишь товарищем по работе, с которым он делил напряженный труд, поиски и открытия последних дней; но когда она встретилась с ним взглядом, словно чего-то ожидая, он вспомнил ту непостижимую девушку, которая была так гибка и податлива, когда он вел ее в танце, которая долго шла с ним по пустынному, залитому электрическим светом Ленинградскому шоссе, а потом почему-то не захотела уделить ему ни одного вечера. Она смотрела на него через открытую дверь и, казалось, нарочно выбрала такое место, откуда можно было сразу увидеть его, когда он придет. Ник улыбнулся ей, но подойти не смог — Горчаков уже тащил его знакомиться с гостями, которых он не встречал тут в прошлый раз.

Гул голосов стал еще громче, когда они вошли в комнату, и если Горчаков был расстроен событиями последних дней, то не подавал и виду. Он знакомил Ника с гостями, и притом так быстро, что тот не успевал различать имена и лица, хотя все смотрели на него с живым любопытством, словно желая удостовериться, что он тот самый человек, о котором только что шел разговор. Все это вызывало бы досаду, если бы не было так непринужденно, бесхитростно и исполнено искреннего дружелюбия. Здесь знали какую-то его тайну, и Ник не мог себе представить, что бы это могло быть, но, по-видимому, ничего такого, что говорило бы не в его пользу. Горчаков был необычайно весел и добродушен, называл всех ласковыми уменьшительными именами и сыпал остротами, пока Ник, улучив удобную минуту, не спросил его:

— Удалось вам договориться со станцией?

Лицо Горчакова на мгновение помрачнело, и сразу стало видно, что на самом деле его не оставляла нервная напряженность.

— Все уже устроено.— И тут же потрепал Ника по плечу: — Не волнуйтесь,— сказал он, словно из них двоих нуждался в утешении Ник.— Беспокоиться не о чем. В понедельник мы начнем все сначала и найдем решение. А сегодня надо только отдыхать.— Взяв себя в руки, он заговорил более оживленно и весело: — А вон там мой друг, который весь вечер ждет встречи с вами.

Ник вместе с Горчаковым подошел к человеку, в котором, на первый взгляд, не было ничего примечательного. Низенький, круглый, он держался очень прямо. Лысая голова его была гладко выбрита. У него были небольшие, слегка раскосые голубые глаза, Ник подумал, что эти глаза, вероятно, способны выражать необычайно глубокие чувства, но умеют также и прятать эти чувства за внешней приветливостью. К одежде он, по-видимому, относился равнодушно: все было ему чуточку велико, воротник широк, рукава длинны, пиджак слишком свободен, на лацкане его алел эмалевый значок. Но у этого человека оказалась удивительно изысканная манера речи и легкая грация в движениях рук, хотя левая рука была искалечена — на ней не хватало двух пальцев, мизинца и безымянного, а указательный был всегда вытянут и не сгибался. Ушаков заговорил по-французски, словно не сомневаясь, что Ник не знает русского языка.

— Мне очень хотелось познакомиться с вами,— сказал он.— Я был в Америке во время войны, в очень недолгой командировке.

Ник читал и понимал по-французски неплохо, зато говорил с еще худшим акцентом, чем по-русски.

— Недавно в Нью-Йорке вышел мой роман,— продолжал Ушаков.— С тех пор, как я там был, прошло много лет, но я хорошо помню Вашингтон, помню Нью-Йорк, помню Питтсбург... Пока вы здесь, мне бы очень хотелось отплатить вам таким же гостеприимством, какое мне оказывали в Америке,— с немного чопорной любезностью добавил Ушаков.— Это мой давнишний долг.

Ник поблагодарил, но не стал продолжать разговор, его начинало тяготить неотступное внимание гостей, которое он ощущал как теплую, влажную тяжесть. В прошлый раз ничего подобного не было. Тогда он чувствовал, что его сразу приняли как своего. Что же сейчас происходит, черт возьми? Он обернулся, ища глазами Валю. Она сидела сзади него. Увидев, что она одна, Ник быстро сел на пустой стул рядом с нею.

— Я не знал, что вы будете здесь,— заговорил он.— Почему вы мне не сказали?

— Хотела сделать вам сюрприз.

— И это вам вполне удалось. А вчера утром, когда вы сказали, что вечер у вас занят, вы уже знали, что будете здесь?

— Нет, меня пригласили позже.

— А если бы я вас спросил, вы бы мне сказали?

— Не знаю.— Ник заметил, что они почему-то говорят полушепотом, будто слова их имели другой, более глубокий и тонкий смысл.— С тех пор вы десять раз могли бы пригласить меня куда-нибудь.

— Разве вы не понимаете, почему я не приглашал?

— Понимаю. Вам было не до того,— просто сказала она и засмеялась.— Видите, вам не удастся сделать из этого *трагедию*.— Валя говорила по-английски, но это слово прозвучало у нее в русском произношении.— Я была около вас почти все время и видела, как вы работаете. Вы больше ни о чем не могли думать.

— Это неверно,— возразил Ник.— Вы забыли, как сами старались меня отвадить.

Валя не поняла этого слова по-английски и сдвинула брови.

— Вы не хотели меня видеть,— по-русски сказал Ник.

— Я этого не говорила.

— Но говорили, что заняты.

— Я действительно была занята. Но ведь вы хотели сказать что-то другое.

Ник попытался построить русскую фразу:

— Всегда говорить «Я занята», когда вы не так заняты...— Нет, это не совсем русская конструкция. Он попробовал сказать иначе: — Если кто-то говорит опять и опять «Я занята» и...— Валя ждала, не сводя с него пристального взгляда. Он объяснил по-английски: — Отвадить — значит отстранить.

— Отстранить? На время?

— Навсегда,— произнес он.

— О, не надо,— умоляюще сказала Валя.— Зачем нам спорить, да еще сегодня?

— А что сегодня такое?

Валя засмеялась:

— Вы не знаете?

— Нет,— недоуменно сказал Ник.— Какой-нибудь праздник? Скажите, что происходит? У меня такое чувство, будто все говорят обо мне или ждут от меня чего-то...

Подошла сестра Горчакова и, лукаво блеснув глазами, зашептала что-то на ухо Вале. Воспользовавшись этим, Ушаков, все время не сводивший глаз с Ника, подошел к нему, будто только и ждал удобного случая.

— Если вы завтра днем свободны, мне очень хотелось бы, чтобы вы приехали ко мне. Я живу на даче недалеко от Москвы — меньше часа езды, по воскресеньям у меня всегда собираются друзья. У нас все просто, без церемоний — мне кажется, вы приятно проведете время.

— Буду очень рад,— сказал Ник и дотронулся до плеча Вали.— Могу я приехать со своей переводчицей?

— Разумеется! Я сам ее приглашу.— Повернувшись к Вале, уже закончившей краткие переговоры с сестрой Горчакова, он повторил свое приглашение по-русски. Машина будет ждать их у гостиницы в час тридцать. Слушая его, Валя от удивления чуть приоткрыла рот — она не сразу поняла, что ее принимают за переводчицу Ника. Она невольно взглянула на него, ожидая объяснения, но он учтивым тоном быстро проговорил по-английски:

— Скажите ему, что мы очень рады и обязательно приедем.

— Но он считает...

— Я знаю, что он считает. Но нельзя же из-за этого отказываться от приглашения. Завтра мы приедем, все ему объясним, и он посмеется вместе с нами. А сейчас мы только поставим его в неловкое положение.

Валя поколебалась, потом с серьезным видом поблагодарила и согласилась. Горчаков вышел на середину комнаты и с сияющим видом поднял руку, как церемониймейстер.

— Товарищи, прошу тишины! — сказал он.— Все готово, можно начинать наше сегодняшнее торжество!

Его сестра, смеясь, вошла в комнату, неся нагруженный, закрытый большой белой салфеткой поднос. Горчаков, глядя прямо на Ника, простер в его сторону обе руки.

— Дорогой друг,— сказал он по-английски,— вы сейчас далеко от дома...

— Ох, Митя, не надо длинной речи! — жалобно простонала его сестра и засмеялась.— Поднос тяжелый, я не удержу!

— Товарищ, ведь сегодня у нас важное событие! — наставительно изрек Горчаков.— Я ждал его целую неделю и...

— Так не заставляй же и нас ждать целую неделю! — взмолилась она.— Ну, Митя!..

— Вот вам русская женщина! — воскликнул он, и раскатистое «р» прозвучало у него, как барабанная дробь.— Ну что ж, хорошо! Дорогой друг,— скороговоркой начал он,— поздравляем вас с днем рождения. Живите еще сто лет, а мы хотим хоть половину ваших дней рождения праздновать вместе с вами здесь, в Москве! — Он сорвал с подноса белую салфетку. Под ней оказалось множество маленьких свертков.— Это вам от всех нас!

Все захлопали и засмеялись, глядя на ошеломленного Ника. Сам он совершенно забыл о дне своего рождения. Он медленно поднялся, обводя взглядом присутствующих, смущенный, растроганный до того, что не находил слов. Он только беспомощно протянул руки ладонями вверх. Откуда они узнали? Горчаков, поняв этот американский жест по-русски, крепко обнял его и поцеловал, шепча по-русски какие-то дружеские слова. На глазах у Ника выступили слезы. Гости аплодировали, смеялись и по очереди обнимали его. Он мельком подумал, что все это случилось потому, что его паспорт и дата рождения проверялись много раз, но вот Горчаков проявил теплое человеческое внимание, запомнив эту дату, а Анни — нет.

Он развернул несколько пакетиков — там были маленькие игрушки, большей частью заводные, и среди них — два вырезанных из дерева медвежонка.

— О, мишка! — воскликнул он.

Нику поднесли бокал; чокнувшись с остальными, он выпил. Ему налили еще. Выпили за дорогого хозяина. Потом налили снова и выпили за науку. Ушаков предложил тост за Нью-Йорк, родной город дорогого гостя, и выразил надежду, что в ближайшем будущем между Нью-Йорком и Москвой установится дружба и взаимопонимание. Все чокнулись и выпили до дна. Бокалы наполнили снова. Выпили за прошлые дни рождения Ника, которые он праздновал без них. Пили за присутствующих дам. Потом за отсутствующих дам. Потом кто-то, уже перепутав тосты, предложил выпить за родной город нашего дорогого гостя, с надеждой, что в ближайшем будущем...

— Но, Юрочка, мы уже пили за это! Где же ты был?

Юрочка удивленно оглядел присутствующих.

— Разве пили?

— Пили.

Он поднял свой бокал, поглядел на него с важным недоумением и, пожав плечами, объявил:

— Я же чувствовал, что за что-то еще не выпил.

Кто-то поставил танцевальную пластинку и включил проигрыватель. Гости развеселились еще больше. Тосты делались все более замысловатыми, более цветистыми, пока не стали совсем уж фантастическими. Женщина, танцевавшая с Ником, сказала:

— Никакой вы не Ник и не Никлас. У нас вы будете Николаем, а Николай — это значит Коля. За это надо выпить. Прощайте, Ник,— здравствуйте, Коля!

Выпили за его новое имя. Все смеялись, все что-то пели, но никто не был пьян, никого не развезло от вина — гости просто веселились; они были сосредоточенно счастливы. Человеческая теплота струилась сквозь него, как летний ветерок сквозь прозрачный воздух, он как бы слился с этими людьми в одно, не чувствуя ни обособленности, ни отчуждения,

Ему стало так легко, что можно было опьянеть от одного этого ощущения. Годами его угнетала необходимость прятать свое сокровенное «я», и сейчас вдруг с него спала эта тяжесть. Он смутно чувствовал, что нашел наконец таких друзей, которых искал всю свою жизнь.

Поздно ночью гости веселой гурьбой хлынули из квартиры Горчакова на лестницу, огибающую шахту лифта. Ник смеялся вместе со всеми и вел Валю под руку. Во дворе стояли три машины, все пытались втиснуться в них.

— Давайте пойдем пешком,— сказал он Вале.— Можем мы дойти отсюда до вашего дома?

— А вы способны идти пешком полчаса?

— Сколько угодно! — ответил Ник.— Мне удивительно хорошо! — Такое счастье, что ему не пришлось сидеть весь вечер у себя возле молчащего телефона.

— Ну, пойдемте,— мягко сказала Валя. Они прошли через двор, Валя взяла его под руку. Ночная улица была безлюдна, тиха, но ярко освещена.

— Я очень рад, что Горчаков был так весел. Замечательный человек. На его месте я бы, наверно, чувствовал себя совсем иначе.

— Видите ли,— сказала Валя после паузы,— на самом деле ему вовсе не весело. У него такое же настроение, какое было бы у вас на его месте. А сегодня он держался так ради вас.

Ник помолчал.

— И все гости знали, в каком он настроении?

— Нет.

— Тогда откуда же вам это известно?

— Понимаете, то, что произошло, наша общая беда.

— А! — негромко произнес он.— Вы хотите сказать, что это удар для всех, кто с ним работают? Но что я мог поделать? Разве можно было поступить иначе? Ошибка остается ошибкой, даже если ее было так нетрудно совершить.

Валя грустно улыбнулась.

— Вы же сами ее открыли, зачем же делать вид, будто она не так уж серьезна? Бедный Коган как услышал, что ему нужно остаться в горах еще на несколько дней, так сразу понял, что дело плохо. Объяснить ему все подробности было невозможно. Он хотел немедленно спуститься вниз и позвонить сюда по телефону, но начался снегопад.

— Разговор с ним был при вас?

— Да,— ответила Валя.— Горчаков говорил с ним сегодня вечером, перед приходом гостей. Коган сможет спуститься завтра на...— Ей было трудно объяснить по-английски на чем, затем оказалось, что она имеет в виду трактор-вездеход. На станции было три мощных трактора, но по правилам безопасности, установленным самими обитателями станции, ими разрешалось пользоваться только днем, когда даже во время снегопада можно различить дорогу. Коган мог бы спуститься и на лыжах — он отличный лыжник,— но правила запрещали ходить по горам в одиночку в ночное время. Эти правила безопасности там необходимы, без них было потеряно слишком много людей.

— Что значит «потеряно»? — спросил он.

— Люди погибали,— просто ответила она.— Попадали в снежные заносы, обвалы, проваливались в ледниковые трещины. Даже при этих строгих правилах каждый год погибает по меньшей мере один человек. Надеюсь, Коган не наделает глупостей. Он, наверно, считает, что во всем виноват только он один, такой уж у него характер. Он будет очень...— Она снова запнулась, не находя слова, но словарик при свете фонаря

помог им продолжить разговор,— потрясен,— сказала Валя.— Митя сейчас больше всего беспокоится о нем.

— И, несмотря на все это, у него хватило сил устроить мне веселый день рождения? Я чувствую себя полным идиотом!

— Нет, не думайте так, иначе выйдет, что все его труды пропали даром. Он понимает, как вам грустно одному в такой день. Он хотел, чтобы вам было не хуже, чем у себя дома.

Ник усмехнулся.

— Мне было гораздо лучше. Дома некому устраивать мне праздники...— Он осекся.— Вы знали его жену?

Валя бросила на него быстрый взгляд.

— А он вам рассказывал о ней?

— Нет, но...— Им снова пришлось остановиться под фонарем, чтобы заглянуть в словарик. Проезжавшая мимо милицейская машина замедлила ход, из окошка высунулся милиционер в синей форме и спросил, не надо ли помочь.

— Все в порядке,— сказала Валя, поблагодарив его, и машина поехала дальше.

— Косвенно,— сказал Ник.

— Косвенно? — Валя подняла брови.

— Он косвенно упомянул, что у него была жена. Ему, очевидно, было трудно говорить об этом.

— Я знала ее,— сказала Валя мягко, хотя лицо ее оставалось бесстрастным.— Вы правы, ему трудно говорить о ней. Это была необыкновенная, замечательная женщина. Очень мужественная. Очень честная. Очень душевная. Они крепко любили друг друга.

Валя больше ничего не добавила, а Ник вспоминал о прошедшем вечере с мучительным смущением.

Он молча шел в плюшевой тишине каменного города, и вся его радостная приподнятость постепенно затухала, уступая место глубокой задумчивости.

— Вот насчет завтрашней поездки,— сказал он наконец.— Вам совсем не обязательно ехать. Моя шутка с Ушаковым была неостроумна. Я сам ему все объясню.

— Но я хочу поехать. Пожалуйста, возьмите меня с собой.

— Вы хотите ехать? Почему?

— Хотя бы из-за того, что вы мне сказали.

— Я? Я вам ничего об этом не говорил.

— Вы сказали, что дома некому устраивать вам праздники.

Он с удивлением взглянул на нее и отвернулся.

— Ради бога, не надо! — гневно бросил он и ускорил шаг, будто желая убежать от нее.— Не нужно мне никакой жалости!

Валя догнала его и схватила под руку.

— Слушайте, глупый вы человек! Речь идет о дружбе! Неужели для вас невыносимо чье-то дружеское участие?

5

Утром его стала разбирать злость: почему должна происходить какая-то скрытая драма только из-за того, что он указал на источник возможной ошибки в опыте, который построен на иных принципах, чем его собственный? Ведь он и приехал сюда главным образом для того, чтобы найти какую-то ошибку. И если ошибка действительно допущена,

так надо ее исправить и продолжать работу. А все остальное — вздор, сущий вздор.

Горчаков был очень внимателен и деликатен — он скрыл серьезность своего положения, чтобы устроить ему веселый праздник; но этого и хватит. Если они пойдут по такому пути и дальше, то будут бесконечно барахтаться в сентиментальном сиропе и принимать благородные позы. Боже мой, что трагического в том, что тебе указали на твою ошибку? В жизни каждого человека бывают случаи, когда приходится сдавать свои позиции и признавать ошибки. У Ника были все основания сочувствовать Горчакову, но ровно никаких оснований чувствовать себя виноватым, и все же его не покидало это ощущение — тяжелое, неотвязное, невыносимое... Впрочем, сейчас, пока он неторопливо брился, злость сняла ощущение вины, как бритва снимала с его кожи густую мыльную пену, и оно оказалось бесформенным слоем, прикрывавшим то настоящее, что было под ним: жестокую радость, в которой он до сих пор не смел себе признаться и которая теперь вспыхнула в нем бешеноярким светом. Оно все время было в его душе, это вдохновенное сознание доказанной правоты. Самый близкий ему мир, где царствовала физика, подверг его испытанию, и он это испытание выдержал, отчего же ему не радоваться?

Радуйся, дружище, радуйся, твердил он себе с яростным наслаждением. *Это первое по-настоящему человеческое чувство, которое ты позволил себе за много лет!*

С той же беспощадной радостью он стал думать о предстоящей поездке за город вдвоем с Валей. А почему бы нет? Ей ведь тоже хочется провести с ним день. От Анни все еще нет ни слова — ну что ж, если ей уже все равно, он будет поступать так, как ему приятнее. Он свободен — никаких обязательств по отношению к ней у него нет.

Насколько он мог судить, день выдался прекрасный: неожиданно потеплело, и на улице было даже теплее, чем в его номере. Он распахнул широкое окно, и его обдало волной мягкого, пронизанного солнцем, почти летнего воздуха. Хорошо будет провести такой денек за городом вместе с Валей.

Он позвонил Горчакову, чтобы просто из вежливости спросить, удалось ли ему связаться со станцией. К его удивлению, никто не ответил; впрочем, его это ничуть не огорчило. Не все ли равно? Сегодня у него будет выходной день — чудесный день!

Едва он успел положить трубку, как телефон зазвонил.

— Дорогой друг,— быстро заговорил Горчаков,— я думал о планах на сегодня, и мне кажется, лучше всего, *лучше всего,*— подчеркнул он, как бы давая понять, что этот вопрос обдуман им во всех подробностях и спорить по этому поводу было бы неразумно,— поехать нам с вами в Луцино. Туда меньше пятидесяти километров. Это очень интересный поселок. Там дачи многих наших академиков, в частности и Горячева, вы непременно должны познакомиться с ним.— Горячев, патриарх советской физики космических лучей, ни разу не появлялся в Москве с тех пор, как приехал Ник, и он был даже удивлен, узнав, что старик еще жив.— Я и сам очень хотел бы поговорить с ним. Он будет очень рад видеть вас. И, во всяком случае, вам нужно побывать в Луцине, пока не ударили холода. Это очень красивое место.

— Но я уже условился ехать за город,— сказал Ник.

— К Ушакову, я знаю,— спокойно ответил Горчаков.— Я уже говорил с ним, он тоже согласен, что Луцино будет для вас интереснее. А к Ушакову поедете в другой раз, на будущей неделе, если хотите.— Ник впервые заметил, как подчеркнуто русские понижают голос в конце

фразы, по-английски с такой раздражающей интонацией говорят только взрослые, когда снисходительно-терпеливым и наставительным тоном стараются урезонить непослушных детей.— Если мы выедем из Москвы через полчаса, то будем там около двенадцати. Успеем и погулять, и поговорить, и, может быть, поиграть в теннис.

— Но это не так просто,— возразил Ник.— Я уговорился не только с Ушаковым.

— И с Валей тоже. Я и это знаю.— Горчаков оказался положительно всеведущим, это выводило Ника из себя.— Я уже с ней говорил. Она здесь, у меня, в институте, и согласна ехать. Я звонил в Луцино, нас там ждут. Все устроено. Будете вы готовы через полчаса или, скажем, минут через двадцать? Мы можем выехать за вами хоть сейчас.

— Послушайте,— сказал Ник.— Я вчера обещал человеку...

— И вы сдержите свое обещание,— рассудительно сказал Горчаков.— На будущей неделе.

Я не желаю ехать в Луцино. Я не желаю знакомиться с Горячевым, хотелось сказать Нику, но это было неправдой. Ему было безразлично, куда ехать, раз он будет с Валей, которая вчера схватила его под руку и крикнула: «Неужели для вас невыносимо дружеское участие?» Но он не хотел ехать с Горчаковым. Он понимал, что его яростное молчание слишком затянулось, но был так разочарован, что не мог выговорить ни слова. Он не смог даже заявить, что сам позвонит Ушакову: ему пришлось бы сознаться, что вчера он глупо разыграл его. Валя, должно быть, стоит сейчас рядом с Горчаковым. Какими доводами он ее уговорил — неизвестно, но она уже сдалась. Выбора не было, Нику оставалось лишь сделать то же самое. Наконец, еще больше, чем прежде, сердясь на Горчакова за вмешательство в его дела, он ответил, что будет готов через двадцать минут, то есть к тому времени, когда они доедут до гостиницы, и, только положив трубку, сообразил, что ни он, ни Горчаков не сказали ни слова о разговоре с горной станцией. Интересно, что же для Горчакова сегодня важнее всего? — со злостью подумал Ник.

Он быстро оделся, наспех позавтракал, но, когда спустился в вестибюль, Валя уже ждала его возле входа. Она оделась чересчур тепло для такой погоды — на ней был костюм из темно-зеленой ворсистой шерсти и белая блузка с круглым воротничком. Жакет она сняла и перекинула через руку. На ногах у нее были закрытые туфли на толстой подошве. Неожиданная жара, видимо, угнетала ее, но она смотрела на подходившего Ника чуть беспокойно, как девочка, не знающая, будут ее бранить или нет. Прежде чем он успел что-нибудь сказать, она объяснила, что Горчаков объезжает квартал, так как возле гостиницы не нашлось места, где поставить машину.

— Вы очень сердитесь, что мы не едем к Ушакову? — спросила она по-русски.

— Да, немножко,— сознался Ник.— Мне так хотелось поехать за город с вами.

— Но мы же и едем за город.

— Да, но с ним.

— Он очень настаивал.

— Ах так?

— А что я могла поделать? — удрученно спросила она.— Я не могу отказывать ему в таких вещах. Он мой друг и мой начальник, и, кроме того,— добавила она,— мне было очень неловко перед Ушаковым. Вы напрасно заставили его пригласить меня как вашу переводчицу. Конечно, это пустяки, но он слишком значительный человек, слишком...— Ник не понял русских слов, но догадался, что она считает Ушакова че-

ловеком щепетильно честным, быть может, даже обидчивым, а кроме того, дело еще и в ее самолюбии.— Словом, я позвонила ему сама,— призналась Валя.— Рано утром. И все ему объяснила. Я сказала, что вы хотели подшутить надо мной. Он позвал нас обоих в гости на будущей неделе, и на этот раз я приглашена не как ваша переводчица, а просто как я.

— И это лучше?

— И лучше, и хуже. Конечно, пойдут лишние разговоры, но что из того? Они и так уже идут.— Валя взяла его под руку.— Мне это безразлично.

— И по этой причине мы едем в Луцино?

— Отчасти,— согласилась она.— Митя не понимает, что он лишний.— Валя улыбнулась.— Он думает, что оберегает меня.

— От меня?

— Скажем, от всяких осложнений.— Выходя на улицу, она ласково дернула его за руку.— Ну же, улыбнитесь! Все будет хорошо. День чудесный, и мне хочется посмотреть Луцино. Когда-нибудь, когда я стану академиком, я заведу себе там дачу, вот и хочу выбрать место заранее. Вы приедете ко мне в гости, ваши дети будут играть с моими детьми, а мы, старики, сядем на веранде, будем пить чай и вспоминать добрые старые времена.

Ник бросил на нее гневный взгляд — черт знает, что она говорит! Дети, о боже!

Но Валя только рассмеялась.

— Я же шучу,— сказала она.

Голубая «Победа» Горчакова отделилась от потока машин и подкатила к ним. Ник открыл было для Вали переднюю дверцу, но она уже села на заднее сиденье, и Нику, в котором еще кипело раздражение, пришлось усесться рядом с Горчаковым. Однако Горчаков разговаривал с ним так сердечно, что злиться на него было невозможно. Через несколько минут Валя и Горчаков принялись обсуждать, как быть — скорее ли выбираться на шоссе, пока там не началось обычное воскресное столпотворение, или остановиться и купить что-нибудь в подарок старику,— а Ник, слушая их, чувствовал себя вне времени и пространства и удивлялся тому, что в этой поездке за город с двумя советскими друзьями нет для него ничего необычного. Проезжая мимо сада у западной стены Кремля, он видел несомненно русскую толпу гуляющих; на щитке машины стояли русские названия бензина, воды, масла, но человека, одетого, как Горчаков, в клетчатую спортивную рубашку с открытым воротом, фланелевые брюки со складками у пояса и коричневые кожаные сандалии, можно встретить во всех уголках мира. Что касается Вали, то в бледно-зеленом платочке, который она набросила на голову, чтобы волосы не растрепались на ветру, она ничем не отличалась от любой хорошенькой девушки, выезжающей на машине из Бостона по Дороге 128 или из Нью-Йорка по Уилбер Кросс Паркуэй. С другой стороны, Ник знал, что, даже расчувствовавшись, нет смысла притворяться, будто никаких различий не существует. Различия — хотя бы в том, что в Америке и здесь считалось непреложным,— очень реальны, резки, и никакими разговорами их не уничтожить. Сейчас они были даже мучительны. Однако важнее всех различий и всякого сходства было то, что еще несколько лет назад такая поездка и даже такое знакомство были невозможны и для них и для него.

— Скажите,— обратился к нему Горчаков,— что у вас в Америке дарят в таких случаях?

— Быть может, бутылку виски или хорошего бренди.

— Отлично! — сказал Горчаков.— У меня сохранилась бутылка шотландского виски, привезенная из Нью-Йорка. Я берег ее для...— грустно начал было он, но, спохватившись, дипломатически закончил:— именно для такого случая. Мы заедем ко мне, и я принесу ее в одну минуту.

Быстро промчавшись по улицам, он остановил машину у своего дома и торопливо вышел. Ник наслаждался безветренным теплым воздухом, но Вале было жарко. Несколько минут они сидели молча.

— Вы еще сердитесь? — спросила Валя.

— Нет,— сказал он.— Я просто растерян.

— Почему?

— Потому что я не сержусь,— беспомощно произнес он.— И это как-то странно.

Горчаков, вспотевший и озабоченный, выбежал из дома, на ходу заворачивая коричневую бутылку в первую страницу «Известий». Валя покачала головой.

— Ох мужчины! — сказала она, глядя на неловкие движения его рук.

Они выехали за город, по обе стороны тянулись холмистые луга, на дороге изредка попадались автобусы, грузовики, легковые машины.

В сорока милях к западу от Москвы среди зеленых равнин неожиданно показался крутой холм, на котором стояла древняя церковь тринадцатого века с византийскими куполами. У подножия холма лежал старинный городок, наверно, в феодальные времена бывший вотчиной какого-нибудь князя. Около полумили тянулась его плоская главная улица, окаймленная магазинами с плоскими фасадами и плоскими крышами, обветшалыми бревенчатыми домами с деревянной резьбой, выкрашенной голубой краской; тут же стояла и облезлая эстрада, на которой по воскресеньям играет оркестр — по-видимому, и сейчас там должен был начаться концерт. По улицам шли люди деревенского облика — мужчины в сапогах и кепках, коренастые женщины в косынках и толстых бумажных чулках.

Прелестная неглубокая речка, искрясь на солнце, бежала вдоль главной улицы городка и, плавно изгибаясь, уходила вдаль меж песчаных берегов и зарослей камыша. Над бескрайними лугами висела голубоватая дымка. Изрытая колеями дорога шла сначала по берегу реки, потом свернула в сторону, в гору, и привела к деревянной ограде футов в двенадцать вышиной, за которой среди сосен и берез скрывался дачный поселок. Главные ворота, такой же высоты, как и ограда, украшали выцветшие кумачовые полотнища. На них были написаны какие-то лозунги и призывы, но буквы терялись в складках материи, и прочесть их было трудно.

По пути Горчаков рассказал, что Луцино — самый старый из академических дачных поселков. Больше двадцати лет назад советское правительство построило тридцать с лишним дач и подарило их Академии наук, которая, в свою очередь, передала их в пожизненное пользование наиболее крупным ученым. После смерти арендатора Академия выплачивает вдове компенсацию и передает дачу другому ученому. За эти годы строительных материалов стало гораздо больше, и появились новые, более удобные академические поселки, ближе к Москве, но, по словам Горчакова, Луцино пользовалось особой славой, так сказать, по праву старшинства.

Сторож у въезда почтительно поздоровался, пропуская машину, и захлопнул за нею ворота. И как-то сразу исчезла прежняя Россия, византийские купола, мужчины в кепках, сапогах и косоворотках, корена-

стые женщины в платках. Машина катилась по безупречно ровному асфальту прямой аллеи, мимо деревьев, густых и высоких зеленых изгородей, аккуратных заборов, мимо теннисного корта, где группа хорошо одетых людей с видом заядлых теннисистов наблюдала за игрой двух смешанных пар, мимо небольшой, окруженной соснами площадки с белыми гипсовыми статуями Ленина и Сталина, мимо голубого фургона, доставляющего продукты из Москвы; наконец Горчаков свернул направо, к низким воротам, за которыми оказалась лужайка размером почти с акр, старые деревья, аккуратный огородик, крокетная площадка и большой нескладный дом, обшитый досками в елочку. Это был спокойный маленький мирок. Воздух был насыщен солнечной тишиной, но вдруг хлопнула дверь на веранде, и по ступенькам сошел невысокий толстяк с седой головой, в белой рубашке с короткими рукавами и расстегнутым воротом. На солнце блеснуло его пенсне в золотой оправе, молодой рыжий сеттер, еще по-щенячьему неуклюжий, бежал за ним по пятам. Горячев шел им навстречу, приветливо протянув руки, с чуть укоризненной, но довольной улыбкой на лице.

— Значит, когда стало худо, все-таки вспомнили старика! — воскликнул он, хватая Горчакова за руки выше локтя. Голос у него был простуженный, хрипловатый, задыхающийся, но дикция так безукоризненно отчетлива и русские слова он произносил так ясно, что, когда после него начинали говорить другие, казалось, будто у них распухли губы, еле ворочается язык, а зубы слишком длинные.— Ну, что бы вас ни привело , а я рад, доктор Реннет. И какую прелестную даму вы привезли! — Он поднес Валину руку к губам, поцеловал и задержал в своей руке.— Будь вы моей внучкой или, вернее, будь я на пятьдесят лет моложе — о-о! Как у Пушкина сказано... Гамма, на место, на место! — прикрикнул он на щенка, который восторженно прыгал вокруг Вали, потрепавшей его по голове.

— Гамма? — рассмеялась она.— Бедный пес, за что вы его назвали греческой буквой?

— Хорошо еще, что не цифрой! Видите ли, дитя мое, у меня была Альфа, она умерла от старости. Моя Бета оказалась психопаткой, с ней пришлось расстаться. Я против того, чтобы давать собакам человеческие имена, это лишает собаку ее собачьего достоинства. Собаки имеют право быть собаками. Гамма знает, что я ее люблю, но знает также, что она — собака.— Он широко улыбнулся.— Когда-то у меня была немецкая овчарка, которую ради оригинальности назвали Отто. Пес был просто невыносим — он вообразил себя по меньшей мере моим братом.— Он остановился, тяжело переводя дух, и уже без улыбки, нахмурясь, обратился к Нику по-английски.— Я очень обижен на Хорвата — он так и не приехал ко мне. И Хэншел, ведь он, насколько я знаю, тоже был в Москве. Почему они меня не навестили?

— Вы их приглашали? — спросил Ник.

— Да как я мог их пригласить, когда я только после их отъезда узнал, что они были здесь? — сердито возразил старик.— Они могли бы спросить обо мне, но не тут-то было, очевидно, забыли, что я еще существую. Все меня забыли! Впрочем, что это я на вас накинулся? — ласково усмехнулся он.— Вы единственный, кто обо мне вспомнил. Дмитрий Петрович говорил мне утром, что вы очень хотите повидаться со мной, ну что ж, я вам очень признателен. Я даже готов простить остальных. Пойдемте в дом. Посидим, поговорим, хотя боюсь, что говорить-то придется вам. Я теперь все стал забывать...

Наперекор всем слухам о баснословной роскоши, в которой якобы живут советские ученые, дом, насколько мог судить Ник, был обставлен

чрезвычайно просто и даже примитивно. Кухня и спальни примыкали к большой застекленной террасе, которая, очевидно, служила и столовой и гостиной. Посредине, по русскому обычаю, стоял огромный круглый колченогий стол, накрытый человек на двенадцать, не меньше. Стулья были просто неописуемы, среди них не было и двух парных. Семейство Горячева состояло главным образом из множества невзрачных пожилых женщин — кузин, сестер, племяниц, которые появлялись одна за другой и застенчиво знакомились с гостями. Был еще какой-то внучатный племянник, но он ушел с сыном ловить рыбу. В этой обстановке можно было бы чувствовать себя уютно, по-домашнему, как в старом бесформенном халате, но Ник просто задыхался. Он так мечтал, что проведет день совершенно иначе!

Ему хотелось побыть на солнце, погулять по этим чудесным местам вместе с Валей, но внешние приличия связывали его по рукам и ногам. Куда бы он ни взглянул, всюду царил беспорядок. В углу террасы стоял ветхий деревянный стол, на котором были кучей навалены принадлежности для подводного плавания — аквалангн, ласты, русские и итальянские, и тут же мячи и ракетки для бадминтона, теннисные ракетки в прессах. Горячев, не прерывая разговора и тяжело отдуваясь, запустил руку в эту кучу, выудил ракетку для пинг-понга и стал обмахиваться ею, пока одна из старушек не сунула ему в руки принесенный откуда-то пальмовый веер.

Разговор, совершенно не касавшийся физики, продолжался и во время обильного обеда, который начался с икры, осетрины, ветчины, копченой колбасы, овощного салата, селедки и маринованных грибов, а за всем этим, когда Ник был уже так сыт, что и сам стал отдуваться, последовала окрошка со сметаной, форель и жареные куропатки. Уже больше двух часов они сидели за столом, жевали и вяло перебрасывались фразами. Ник совсем изнемогал. Двигаться, двигаться, или он умрет! Валя заметила, что ему не по себе, но сочувственно показала ему знаком, что ничего не может поделать. Наконец сам Горячев пришел ему на выручку. Он сжал руки, без слов прося прощения, потом обезоруживающим жестом приложил их к щекам, точно сознавая, как велика его вина.

— Я забыл, забыл! — воскликнул он.— Ведь вы, американцы, сидите за столом, лишь пока прожуете еду, а потом сейчас же вскакиваете! Прошу вас, Валечка, душенька...— Он позволил Вале побыть дамой, только пока он целовал ей руку, после чего сразу низвел ее на положение ребенка.— Поведите нашего дорогого гостя на воздух. После прогулки он сможет есть с нами сладкое.

Ник и Валя прошли через лужайку на дорогу и дошли до теннисного корта, где маленький седой крепыш в белом свитере, белых теннисных шортах, носках и туфлях на резиновой подошве — Ник узнал в нем приезжего польского математика — играл с девушкой лет двадцати в белой юбке в складку и с обручем на длинных темных волосах. Ник сел на скамейку и глядел на них, его разморило от жаркого солнца, еды и мягкого воздуха. Два мальчика, привязав к поясам зеленые ласты, бок о бок медленно катили на велосипедах по дороге. Возле корта остановился новенький серый с голубым «Москвич», сидевшая за рулем молодая женщина поглядела на играющих, потом громко объявила, что едет в Звенигород — не надо ли кому чего-нибудь купить в магазинах? Молодая пара, сидевшая на соседней скамейке, лениво помахала ей, и «Москвич» уехал. Все это было так знакомо и так похоже на сотни мест, которые он знал у себя на родине. Он и без всяких объяснений понимал, что несмотря на соблюдение внешнего

этикета и взаимную любезность, в здешнем обществе должен быть свой привилегированный круг — старая гвардия; должны быть бунтующие против старой гвардии пришельцы извне, которые тоже образовали свой тесный кружок против новичков со стажем не выше пяти лет. Здесь все знали друг друга, и каждому было известно все о других. Это чувствовалось в том, как они гуляли по аллеям, как здоровались друг с другом, это чувствовалось в самой дремотности теплого воскресного дня.

Чтобы сильнее почувствовать, где он, Ник закрыл глаза, подставив лицо солнцу, и погрузился в звуки воскресного тенниса «по-русски», прислушиваясь к мягкому туканью мяча, летающего от ракетки на землю и опять к ракетке, к глухому топоту мужчины и легкому бегу девушки, к еле слышной, словно рождающейся в воздухе, музыке невидимых радиоприемников и патефонов — слева доносилось «Воспоминание» Листа, позади Этель Уотерс пела «Бурную погоду», а справа звучал венский вальс,— к возгласам «Хорош!» на теннисном корте, к счету очков по-русски: ноль, пятнадцать, тридцать, сорок,— к протяжному «Бо-ольше!», которое заменяло английское «Your add».

Даже междометия, и те звучали по-русски: вместо американского «Oh», произносимого горлом, с придыханием, слышалось «Ой!» — и когда это «Ой!» произносится должным образом, оно идет откуда-то из глубины, из самого сердца. Казалось, «Ой!» имело множество значений, так же, как и русское «Пожалуйста», которое реже всего соответствует английскому «Please».

— Я очень рада, что мы поехали,— услышал он негромкий Валин голос и открыл глаза.— Старик так доволен! Можете вы себе представить, он учился и работал у Рэзерфорда, потом работал с Кюри — это еще до 1914 года,— а потом оставил их всех и вернулся к нам...— Она говорила «у нас», «к нам», «наше» так, словно охватить одним коротким словом более двухсот миллионов человек было для нее так же легко, как и дышать.— Он приехал в самый трудный период гражданской войны и с тех пор всегда оставался с нами, и, если нужно было поднять голос, он никогда не отделывался молчанием, чего бы это ему ни стоило, а стоило это ему в трудные времена очень много. Такой деликатный, мягкий человек — и вдруг столько мужества! Нет, я очень рада, что мы приехали.

— Я тоже,— сказал наконец Ник.

— И я рада, что Митя сказал ему, будто вы очень хотели его видеть. Вы не должны сердиться за это на Митю. Он был студентом Горячева и с него брал пример, когда с его женой случилось несчастье.— Ник повернул голову и взглянул на нее.— По-моему,— продолжала Валя, прижав руку с растопыренными пальцами к шее и этим как бы подчеркивая, что имеет в виду только себя. Когда она говорила «по-моему», это означало, что речь идет о чем-то глубоко личном. С одинаковой легкостью она то отделяла себя от всех, то как бы отождествляла с двумястами миллионами людей.— По-моему,— повторила она,— самое огромное дело в своей жизни Митя совершил не в научных лабораториях, а в маленькой комнатке, за столом, где он холодной ночью писал письма женщине, сидящей в тюрьме. Он никогда не рассказывал мне об этом, но я себе так это представляю. Он знает, писал он, что она ни в чем не виновата. Он писал, что никогда не перестанет отстаивать ее невиновность. И писал, что теперь она должна считать себя его женой, а он будет ждать, пока ее освободят.

— И он ждал?

— Ждал. Он не переставал писать ей, хотя, наверно, делать это он боялся. Ведь за эти письма его тоже могли арестовать. Но все вре-

мя он не прекращал работу и все-таки верил в будущее. А когда она вернулась, Горячев дал Мите свою машину, чтобы встретить ее, потому что Митя хотел сейчас же зарегистрировать их брак. Я тогда была еще девочкой, но все знали эту историю, и я считала его героем.

Ник помолчал. Он впервые почувствовал в Горчакове не ученого, а просто человека и гордился им по-человечески, но его уколол оттенок той же гордости в голосе Вали, поэтому он не удержался, чтобы не спросить:

— Почему же тогда он не хочет, чтобы вы со мной встречались?

— А почему вдруг такой вопрос?

— Потому что я чувствую, что вы с ним говорили об этом.

Валя посмотрела на него молча, но молчала она потому, что про себя тщательно подбирала слова, чтобы выразить свою мысль.

— Я интересую его как член руководимой им группы,— сказала она наконец.— Не как женщина.

— И только? Вы в этом уверены?

Валя чуть улыбнулась.

— Вы напрасно думаете, что это пустяки. Быть может, это важнее всего другого.

— Правда? Понимаете, ведь если вы интересуете его как женщина, если ему действительно неприятно, что мы встречаемся... то зачем же причинять ему боль?— Он сказал это очень неохотно, но ведь в мире и без того много страданий, и стоит ли наносить раны намеренно?— Ответьте мне прямо,— добавил он.

— Я уже ответила,— тихо сказала Валя, слегка покраснев.

— Тогда скажите, что вы с ним говорили о наших с вами встречах?

Валя вздохнула.

— Ох, не надо!..

— Нет,— заупрямился он.— Раз это касается меня, я хочу знать.

— Да ведь это и так ясно,— беспомощно сказала она.

— Мне не ясно.

— Ну хорошо, как бы вы отнеслись к тому, что американская девушка, работающая у вас в лаборатории, и девушка серьезная, начинает встречаться с иностранцем... не обязательно с советским человеком, но вообще с иностранцем?

Ник смотрел на нее с удивлением.

— Вам было бы все равно?— спросила она.

Ник даже не знал, что ответить. Он просто покачал головой, не сводя с нее взгляда.

— Она может делать все, что ей угодно,— сказал он.— Иностранец или нет — какое это имеет значение? У нас большинство людей либо выходцы из других стран, либо иностранцы по происхождению. Кроме индейцев. Да и тех мы считаем выходцами из Азии.

— Видите ли,— сказала Валя тоже упрямо, хотя и с улыбкой,— у нас на это смотрят иначе. Вероятно, мы гораздо сплоченнее, чем вы. Если наша девушка увлечется иностранцем и отношения у них настолько серьезны, что они намерены пожениться, тогда... быть может... это ничего, но друзья девушки должны наверняка знать, что это — серьезно. Если, наоборот, они просто дружат, встречаются от случая к случаю, разговаривают — тогда тоже ничего, хотя и несколько хуже: ведь всегда найдутся люди, которые будут думать, что это больше, чем дружба.

— А если и так? — беспомощно спросил он.

Валя вздохнула.

— Вы, наверно, уже заметили, что нам свойственно сплачиваться. Иногда это проявляется даже чересчур сильно, но что поделать, мы —

такие. Русские мужчины не испытывают радости при виде русской девушки — серьезной девушки, конечно,— с иностранцем. Они просто не могут этого переварить. Им обидно. Уж не знаю, что это — чувство ответственности или собственности. Впрочем, сами они не видят особого греха в том, чтобы поухаживать за иностранками. Но я же говорю, ничего не поделаешь, мы — такие. Да и не только мы, русские. Я думаю, почти везде это так.

— Значит, вот это и беспокоит Горчакова? — медленно спросил Ник, не вполне веря ей.

— По-моему, да, отчасти,— спокойно сказала Валя.

— А, черт бы меня взял!

— Вы сердитесь?

— Да, пожалуй. Даже смешно, до чего это не похоже на то, что я себе представлял. Смешно, но и оскорбительно. Для меня невыносимо, что от меня отгораживаются стеной. Мне очень неприятно чувствовать себя каким-то неполноценным. Послушайте, вот я сижу вместе со всеми...

— Вы не поняли. Никто ничего не имеет против вас лично. Все очень хорошо к вам относятся. Митя восхищается вами, я это знаю. И вы знаете, как я хочу быть вашим другом.

— Правда? Тогда позвольте задать вам вопрос: можем мы опять встретиться вне института? Поедем мы с вами на будущей неделе к Ушакову?

— Да, мы можем встретиться,— негромко сказала Валя.— И к Ушакову мы поедем. Пусть говорят что угодно. Я сама знаю, что правильно и что неправильно.— Она положила руку на его запястье.— Нам пора возвращаться. Нас, наверно, уже ждут. И не сердитесь, пожалуйста.

— Постараюсь,— ответил Ник.— Но надеюсь, что все обстоит так, как вы говорите.

В их отсутствие у Горячева появились новые гости.

Солнце начинало опускаться. Все лениво развалились на лужайке. К щенку-сеттеру прибежали соседские собаки и, заливаясь лаем, подняли в дальнем углу сада сумасшедшую возню. Составилась партия в крокет — в ней участвовала и Валя, неожиданно проявившая упорное стремление выиграть. Звонко стучали крокетные шары, шумно дышали запыхавшиеся собаки, на лужайке шел неторопливый, бессвязный разговор.

Ник полулежал, опершись на локоть, и думал о том, что с первого взгляда все это ничем не отличается от тихого воскресного времяпрепровождения в любом другом уголке мира. Но теперь он знал, что это не так, хотя бы потому, что он и его здешние друзья встретились, имея за плечами такой разный жизненный опыт, такие разные исторические эпохи. Эти люди знали такое, чего никогда не знал ни один американец его поколения, они пережили бурные вихри истории, пережили революцию, голод, террор, эпидемию, войну, героизм, предательство, репрессии, отчаяние и новые надежды. И возможность наслаждаться таким безмятежным воскресным днем, который для него был лишь повторением того, что он знал всю свою жизнь, они получили всего несколько лет назад, после десятилетий лихорадочных метаний, ценою неисчислимых потерь.

Возвращались в Москву уже в темноте.

— Спасибо, что разрешили использовать вас,— сказал Горчаков, улыбаясь.— Вы были моим подарком Горячеву, старик очень вам обрадовался. Видите ли, я ему многим обязан.— Он протянул Нику бутылку,

завернутую в газету.— Возьмите, если желаете. Я не отдал ему, потому что ваш визит был гораздо важнее, чем это. Вот так-то! Будущее воскресенье — целиком ваше. Еще раз спасибо вам.

Ник не знал, что и думать. Валя, сидевшая позади, молчала. Искренность Горчакова не оставляла сомнений. То, что он говорил, безусловно было правдой, но вполне возможно, что Горчаков и не подозревал, какую долю правды он скрывает даже от самого себя. Ник понимал только одно: незаметно и неизвестно, когда и как в каждом из них произошла какая-то перемена, и постепенно все трое становились совсем иными, чем прежде.

И все же, вернувшись в гостиницу, он тотчас же справился, нет ли ему письма из Вены.

6

На другое утро в кабинете Горчакова тоже ощущалась перемена. вместо прежнего доверия воцарилась заметная напряженность. Ни словом не обмолвившись о вчерашней поездке, Горчаков заговорил с Ником точно в таком же тоне, каким они разговаривали в субботу днем.

Эта проблема, откровенно объяснил он, относится не только к области физики. У его исследовательской группы есть определенный план работ, который, в свою очередь, входит в общий план работы института. А институтский план входит в государственную программу, разработанную и одобренную Академией наук. Если работа над каким-либо научным исследованием не укладывается в примерно намеченный срок, то продлить его можно только за счет других исследовательских работ И еще важнее, чем предусмотренные планом сроки работы и использования лабораторий, план снабжения материалами. Все народное хозяйство строится на основе планового распределения сырья и готовых материалов как для промышленности, так и для науки.

— Мы, конечно, стараемся сделать наш годовой план возможно более гибким и трезво предусмотреть все трудности, но какие-то просчеты неизбежны. У вас в Америке, насколько я могу судить по своим наблюдениям, главная проблема — где и как достать денег для работы, так как у вас нет централизованной научной организации. Но поскольку в вашей экономике царит анархия и всегда остаются неиспользованные излишки, то, раздобыв денег, вы без труда можете купить все, что нужно, вплоть до мельчайшего винтика. У нас же наоборот: ассигнования на научные исследования никогда не являются проблемой. Если мы докажем, что такое-то исследование имеет научную ценность, то деньги мы можем получить в несколько дней. Но деньги не решают проблемы материалов. Вот если, например, нужно построить сверх плана циклотрон стоимостью в сто миллионов рублей или закончить его досрочно, то дело может затянуться, потому что вся необходимая медная проволока определенного сечения на этот период уже распределена. Медь, которая нужна для постройки циклотрона, уже использована, скажем, для генератора в Иркутске, что тоже было необходимо.

— И что же тогда?

Горчаков пожал плечами.

— Вот я и стараюсь найти такой способ проверки нашего эксперимента, чтобы не повредить нашему общему плану. Согласно этому плану Коган сейчас должен уже заниматься другим делом. Согласно плану станция должна проводить уже другой эксперимент. Наш тамошний штат уже готов приступить к новой работе. Аппаратура, которую должны закрепить за станцией, будет использована для этого испыта-

ния, потому что у нас нет запасных приборов, чтобы одновременно начать совсем другой эксперимент. Разумеется,— добавил он,— задача, вставшая сейчас перед нами, настолько важна, что я всегда смогу оправдать невыполнение плана. Этого мне не поставят в вину, скорее с меня строго спросили бы, если бы я не принял все необходимые меры для решения этой задачи.

— И что же?

Горчаков слегка улыбнулся.

— Дело во мне самом,— сказал он.— Во мне и моем отношении ко всему этому. Понимаете, мой план для меня всегда очень важен... словно я дал твердое обещание. И я горжусь тем, что всегда беру на себя большие обязательства, а не только то, что можно выполнить в срок наверняка. Это многие могут. И вот в первый раз я...— Он нахмурился, и, хотя голос его был спокоен, пальцы выбивали по столу гневную дробь. Положение, очевидно, было для него мучительно трудным, но Ник позавидовал накалу его чувств. Он еще не понимает Горчакова, это ясно. Вот человек, видевший и переживший огромную несправедливость, под его внешней спокойной мягкостью беспрестанно бродят отголоски трагедии и горя, и, однако, в нем нет и тени цинизма, отчаяния или озлобления. Он в самом высоком смысле поглощен своей работой. Все это восхищало Ника, даже немножко пугало и казалось почти невероятным,— разве только он еще многого не знал.

— Скажите, могу я вам чем-нибудь помочь? — спросил он.

Вместо того чтобы сказать хотя бы «спасибо», Горчаков долго молчал, потирая подбородок.

— Когда вы уезжаете? — спросил он наконец, внезапно глянув Нику прямо в глаза.

— Моя виза кончается через десять дней. Но если мне ее продлят, я могу пробыть здесь значительно дольше.

— Десять дней,— задумчиво повторил Горчаков, словно и не слышал остального.— За это время можно многого добиться.

— Но не довести до конца,— сказал Ник, пристально глядя на него.— Что вас беспокоит, Дмитрий?

Горчаков указал на расчеты и чертежи, лежавшие на столе.

— Мало ли тут причин для беспокойства!

— Это беспокойство обычное,— возразил Ник, оставаясь непреклонным.— Одному из нас было, очевидно, суждено пересмотреть свою точку зрения.

— Тогда давайте сначала займемся этим.

— А чем мы должны будем заняться после?

— Вы ставите вопрос ребром?

— Откровенно говоря — да. Мы с вами опять натолкнулись на какой-то подводный камень,— резко сказал Ник.— И все время говорим не о том.

Горчаков сжал губы, слегка покраснел и медленно встал.

— Должно быть, так,— не сразу ответил он.— Вы созвонились с Ушаковым насчет воскресенья?

— Нет еще,— сказал Ник.— Скажите, может быть, мне почему-либо не следует ехать к нему с Валей?

Горчаков ничего не ответил.

— Если он был вашим гостем, почему Валя не может поехать в гости к нему? — настаивал Ник.

— Она — взрослый человек и сама должна отвечать за свои поступки.

— Но за какие именно поступки? Черт возьми, дружище, говорите по-человечески!

Горчаков взглянул на него с безмолвным раздражением и отвернулся, потом опять взглянул точно так же.

— Да не будьте вы ребенком! — воскликнул он.— Тут уйма проблем и уйма риска. Не играйте в наивность, пожалуйста. Какие бы отношения ни сложились между нашими странами через несколько лет улучшатся они или ухудшатся, сейчас они такие, как есть. Мы же не актеры, не балерины и вообще не люди нейтральных профессий. Мы — физики.

— Вы говорите точно так же, как один человек в Нью-Йорке, советами которого я сейчас полностью пренебрегаю. «Не оставайтесь наедине ни с одним из тамошних физиков». Как видите, мы с вами сидим наедине, и разве мы говорим о физике? Мы говорим о девушке. Когда мы с Валей вчера сидели одни на теннисном корте, мы тоже говорили совсем не о физике. Мы говорили о вас...

— Обо мне? — с удивлением протянул Горчаков и опять чуть-чуть покраснел.

— Да, между прочим и о вас. Она, конечно, говорит о вас с восхищением. И все же я хочу знать правду. Я не верю, что это единственное ваше возражение. Но не смогу понять, в чем дело, пока вы мне не объясните толком. Неужели я этого не заслуживаю?

Горчаков глубоко втянул в себя воздух и снова сел, прижав стиснутый кулак ко рту.

— В физике я разбираюсь,— сказал он наконец.— Но в остальном мне каждый раз нужно учиться заново... Да ну его к черту! — вдруг возмутился он.— Давайте-ка работать!

День прошел в вычислениях, спорах и сравнении всех возможных методов, и, несмотря на различие темпераментов и на то, что оба сформировались как физики в таких различных традициях, совместная работа шла довольно успешно. Но прошлое все время витало над ними, и два столетия строгих европейских традиций — аналитической точности французских школ, приправленной детальной скрупулезностью позднейших академий Геттингена и Берлина,— словом, все голоса европейской физики слились в голосе Горчакова, который то и дело пригвождал к земле, загонял в тупик, выпотрашивал летучие, интуитивные догадки Ника, с помощью которых он пытался перепрыгнуть пропасть, так как Ник унаследовал совсем иные традиции, уходящие корнями в темную комнатку, где Ньютон наблюдал за солнечным лучом, проникшим сквозь крохотную дырочку в ставнях, в неопровержимое здравомыслие самой сути полубезумных теорий Кэвендиша,— традиции, подкрепленные прагматизмом Американского технологического института, где, как ни в одном научном учреждении, сливаются воедино теория и практика.

Работа шла неплохо, и намечались какие-то успехи, но все же Ник и Горчаков раздражали друг друга, и не только потому, что были разными людьми, но и потому, что обоих тяготило многое, не имевшее отношения к работе. Иногда в спор по какому-нибудь теоретическому вопросу они вносили такую горячность, такое ожесточение, которое вряд ли можно было объяснить научной принципиальностью, и тогда оба понимали, что между ними продолжается прежний разговор, проникнутый скрытой неприязнью. Но оба крепко держали себя в руках и к концу дня, несмотря на полное изнеможение, значительно продвинулись вперед.

— Совершенно ясно, что все эти соображения не решают вопроса,— сказал Горчаков, вставая из-за стола, заваленного ворохом

бумаг.— Пытаясь найти способ проверки, который не нарушил бы стального плана, мы вынуждены будем согласиться на способ наименее верный. И в конце концов будет одна только видимость большой работы, а результатов — никаких. Это нечестно. Конечно, можно легко убедить тех, кто не понимают, как важно решить этот вопрос. Вы согласны со мной? Но что толку писать в отчетах, что произведено такое-то количество опытов, когда самый важный опыт находится под сомнением? Нет,— заявил Горчаков,— паллиативы тут не годятся. Единственный выход — найти наилучшую методику постановки опыта и потом провести его как можно быстрее.

Ник ничего не ответил.

— Что, собственно, вы и имели в виду все время,— продолжал Горчаков.— Верно?

— Верно.

— Так почему же вы не сказали это прямо и откровенно? Неужели я, по-вашему, настолько слаб, что не снесу правды? Разумеется, у нас своя методика, но если мы заслуживаем критики, то надо нас критиковать.

— Это легко на словах, а на деле — стоит мне попытаться, как я натыкаюсь на невидимую стену. Сделаешь одно — оказывается, я нарушил какой-то обычай; сделаешь другое — выясняется, что я кого-то обидел или оскорбил. Я просто сбит с толку. Не знаю, что от меня здесь требуется.

— От вас требуется, чтобы вы были самим собой, и больше ничего.

— Хорошо,— спокойно сказал Ник.— Большего я и не прошу. Но как насчет последствий?

— Да ну их к черту! — сказал Горчаков по-русски.— Мы все взрослые. Вы заботьтесь о себе. А мы сами о себе позаботимся. Мы это умеем. Сколько лет этим занимались. Будьте самим собою, и все.

— Ладно, только помните — на вашу ответственность.

— Ничего, выдержу,— невозмутимо отозвался Горчаков.— Я и не такое выдерживал.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Ник чуть не опоздал, добираясь до театра, и все-таки пришел раньше Вали. Он увидел ее почти в последнюю минуту; она торопливо шла, почти бежала от троллейбусной остановки и оглядывалась по сторонам, разыскивая его глазами и словно боясь, что он потерял терпение и ушел, не дождавшись ее. Ник шагнул вперед и взял ее за локоть. Валя обрадованно засмеялась и с облегчением прижала обе руки к груди.

— Собрание тянулось бесконечно,— сказала она.— И я уже ничего не соображала. Сначала я принимала очень активное участие в обсуждении. Я говорила умные, продуманные, дельные вещи. Потом взглянула на часы...— она всплеснула руками и подняла глаза.— Господи боже! Я уж думала, что мне ни за что не поспеть к началу! Я сидела и твердила про себя: «Товарищи, да ведь мы уже обо всем этом говорили. Обсуждать больше нечего!» И правда, обсуждать было нечего,— серьезно добавила она.— Остается только... только...— она с досадой щелкнула пальцами, подыскивая хотя бы приблизительно соответствующее английское слово,— прийти к определенным выводам и продолжать работу. Вы не имеете права сердиться на меня за опоздание, потому что сами в этом виноваты, понимаете?

— Я и не думаю сердиться,— сказал Ник. Они уже вошли в зал, пройдя через обширное фойе, мимо вешалок и буфета; все помещения были просторные и комфортабельные, чего никак нельзя было ожидать, глядя на неказистый фасад здания.

— Одно только плохо,— продолжала Валя,— вернее, очень неприятно...

Но ей не удалось докончить, свет начал медленно гаснуть, зазвучала музыка, занавес осветился и раздвинулся в стороны. Ник рассеянно следил за пьесой. Действие развивалось быстро, и, если он пропускал хоть одну фразу, дальнейшее становилось непонятным, как он ни старался догадаться о смысле пропущенных реплик. Но вскоре он опять отвлекся — в ушах его еще звучали Валины слова. Он ничего не знал о собрании группы Горчакова. Мысль, что он в это время находился где-то рядом и не подозревал о происходящем, усугубляла гнетущее сознание, что его твердо отстраняют от чего-то важного, животрепещущего. Он не знал, где проходит этот ясно видимый для всех, кроме него, барьер, за который нельзя проникнуть. Судя по всему, должно быть, в двух дюймах от его носа.

Впрочем, в антракте, совершая вместе с Валей церемониальный обход фойе, он остро, как никогда, почувствовал свою слитность с этим городом и этой толпой. По иронии судьбы он только теперь, когда приближался срок его отъезда, стал привыкать к этим людям, к их голосам, одежде, к языку, на котором они говорят, к их жестам и интонациям. Если тут и были иностранцы, которые могли бы напомнить ему о другом мире, то они не бросались в глаза, и он не замечал их.

— Самое неприятное,— сказала Валя, продолжая прерванный разговор,— что за последние два дня стали поступать заявления: уже три человека просят перевести их в группы, работающие над другими исследованиями.

— Из-за того, что может быть доказана ошибка?

— Никто, конечно, в этом не сознается, но люди, которые заботятся только о своей карьере, обладают удивительной способностью держаться в стороне от неудач, хотя бы только предполагаемых. Ну и пусть, без них нам будет даже лучше.

— Если бы я мог хоть чем-нибудь помочь!

— Кому?

— Горчакову, конечно. По-человечески я целиком за него, что бы между нами ни происходило.

— Но и мы все тоже за него. Вы ничем не можете помочь, да и не должны ничего делать. Он не беспомощен. С ним его сотрудники. Посмотрели бы вы, что творилось на собрании! Это было чудесно, только слишком уж длинно. Но я не теряла времени. Под конец я стала придумывать, что мы будем делать в воскресенье, не в это, мы ведь поедем к Ушакову, а в следующее, и решила, что...

— Меня здесь уже не будет, Валя,— тихо перебил он, и Валя повернулась к нему, приоткрыв губы от горестного удивления. Она быстро отвела взгляд и шла, устремив вперед заблестевшие и сразу ставшие суровыми глаза.

— Понимаю,— сказала она упавшим голосом.— Вам пора возвращаться в свой институт.

— Нет. Кончается моя виза,— поправил он, не подчеркивая этой поправки.

— Ее можно продлить,— быстро возразила Валя.

Ник покачал головой.

— Горчаков, по-видимому, не считает это необходимым.

— Но вы хотели бы остаться?

— Конечно. Проверка в течение этих дней еще не кончится. Они только успеют начать, и я так и не буду знать, кто из нас прав. А кроме того...

— Да?..— с надеждой спросила она.

— Я приехал сюда не только ради проверки опыта. Я надеялся, что в процессе работы во мне что-то произойдет.

— И что же?..

— И пока ничего не произошло. Вероятно, глупо было надеяться.

— Понимаю,— сказала Валя, сразу как-то сникнув. Они продолжали мерно идти вперед — толпа не давала возможности ни ускорить, ни замедлить шаг. И при свете десятка массивных сверкающих люстр, перед сотней зеркал, на виду у сотен пар глаз ни он, ни она не могли ни сказать, ни сделать что-нибудь такое, что выразило бы силу и напряженность их чувств.

— Ну что же,— тихо сказала наконец Валя.— Наверно, эта поездка была для вас очень интересной. Вы будете часто вспоминать о ней.

— И о вас,— сказал Ник.

Прозвенел первый звонок, призывающий в зал, и пальцы Вали крепче сжали его руку.

— Давайте немного подождем,— взмолилась она.

— Я сказал — и о вас,— повторил Ник.

— Я слышала. Я тоже буду думать о вас,— грустно произнесла Валя.— И вы не будете даже просить о продлении?

— Все зависит от Горчакова. Он знает, что я хочу остаться.

— Он займется этим. Я уверена.

Ник промолчал.

— Значит, еще есть надежда,— повеселела она.— Все будет хорошо, и мы еще придумаем, что будем делать в то воскресенье.

— Валя, послушайте,— Ник покачал головой с состраданием к ее молодости и способности загораться страстным оптимизмом без всяких к тому оснований.— Все это мало вероятно. Через неделю или десять дней я уеду. И ничего тут не поделаешь.

— Нет! — горячо воскликнула она.— Этого не может быть! Но если и так, то надо относиться к этому иначе. Не будем говорить: «*Только* десять дней»,— давайте скажем: «Еще *целых* десять дней»,— и будем радоваться, что впереди еще столько времени. Иначе все станет невыносимо, а зачем нам портить себе эти дни? Ни уныния, ни вытянутых лиц, ни слез, ни сожалений, пока не прозвенит самый последний звонок, пока не закроется последняя дверца. Тогда — все что угодно. Но сейчас — нет. Прошу вас, Ник. Нет!

Спектакль окончился; выходя из театра, Валя с таким упрямым оживлением и беспечностью болтала об актерах, о постановке, публике, даже о том, как она проголодалась, что Ник чувствовал и раздражение и в то же время жалость. Никогда еще она не казалась такой юной и наивной, как сейчас, когда, обманывая самое себя, старалась поверить, что можно изменить жизнь, если глядеть на нее с другим выражением лица. Но если в этом ее защита от страдания, то было бы сущей жестокостью лишать ее иллюзий. Он был не в состоянии вместе с нею притворяться, будто ему весело, однако у него не хватало духу противоречить ей. Поэтому он молчал.

Они пошли в «Пекин» — ей было интересно попробовать китайские блюда; и все вокруг: и отделанный красным лаком высокий зал с колоннами, и поразительно обширное меню, состоящее из необычных блюд,—

доставляло ей такое удовольствие, что Ник вдруг понял: веселость ее с самого начала была неподдельной и, пожалуй, это он обманывал себя, а не она. Валя поразила его своей способностью применяться к обстоятельствам. Ей и в самом деле было весело. Она, смеясь, выпила вино, поставила бокал и взялась за вилку, но, подержав ее, через секунду медленно положила на стол. Лицо ее побледнело и стало неподвижным. Она старалась не глядеть на него.

— Я уже не хочу есть,— еле слышно сказала она.— Давайте уйдем.

— Но вы же ничего не ели, а говорили, что...

— Неважно, что я говорила,— тихо произнесла она, по-прежнему избегая его взгляда.— Я не хочу есть, вот и все.

— Вы хотите домой?

— Сама не знаю, чего я хочу,— ответила Валя.— Быть может, просто побродить. Да, давайте походим. Просто походим. И не будем разговаривать.

Они пошли по Садовой, ночной ветер дул им в спину. Ширина почти пустынной мостовой создавала впечатление уединенности — они шли словно по берегу реки. До самого планетария они шли молча. Ник чувствовал даже некоторое облегчение от того, что скоро уедет и вынырнет из водоворота всяких сложностей, обступавших его здесь со всех сторон. С самого начала он не должен был настаивать на встречах с нею. Она слишком молода и склонна все идеализировать, она слишком романтически наивна, чтобы понять его и разобраться в своих собственных чувствах. Она привыкла к людям помоложе, робким или настойчивым, которые либо вкладывали в свои слова серьезный смысл, либо совершенно явно не придавали им никакого значения. Такая девушка, как Валя, увидела бы подробности его жизни с тех пор, как он расстался с Руфью, только в черно-белом цвете, как бы упорно ни уверяла она себя, что способна различать и оттенки. Она, вероятно, была бы шокирована или, наоборот, усердно старалась бы все оправдать, снять с него всякую ответственность, хотя, в сущности, все, что с ним случалось, было само по себе логично, но понять это мог лишь тот, кто пережил то же самое или нечто очень похожее. Валя, конечно, не смогла бы понять человека, который ведет себя так, будто серьезно заинтересован ею, а на самом деле не чувствует ничего или по крайней мере не понимает, что он чувствует. Ей это показалось бы абсурдным — какой же смысл тогда притворяться?

Это нельзя было объяснить просто одиночеством, хотя вначале причиной всего было именно одиночество. Нельзя объяснить и привычкой — привычка предполагает наигранную влюбленность, искусственно подогреваемую нежность и все приемы опытного соблазнителя. Он не умел объяснить, что это такое, потому что и сам не совсем понимал себя. И тем не менее что-то заставляло его искать ее общества, придумывать поводы снова увидеться с нею, несмотря на ее явное нежелание,— и вот к чему это привело: они идут по безлюдной улице, она держит его под руку, и оба тщетно стараются скрыть, как им тяжело. Они свернули с Садовой в сторону зоопарка. Ветер ударил им в лицо.

— А когда вы вернетесь домой,— заговорила наконец Валя,— у вас будет?.. Понимаете,— перебила она себя,— я знаю, что вы не женаты, что вы живете один в большом, прелестно обставленном доме с большим садом, что у вас много друзей и вы ходите на концерты, что у вас очень быстрая машина и ездите вы неосторожно,— я знаю от Горчакова многое, чего вы мне никогда не рассказывали. Я стараюсь представить себе вас в вашем мире, стараюсь представить себе вашу жизнь — и не могу. Для меня вы реальны только здесь. А там вы станете опять только

автором статей в научных журналах. Автором слишком знаменитым, чтобы быть реальным.— Она снова замолчала, потом ее вдруг словно прорвало.— Ради бога, засмейтесь! — взмолилась она.— Пожалуйста!

Пальцы ее судорожно стиснули его руку, и внезапно, к его нескаванному изумлению, она бросилась к нему на грудь и поцеловала его. Она вся дрожала, словно ей было не под силу выдержать такой натиск чувств. На какую-то долю секунды к сердцу его прихлынула горячая благодарность, затопив собою сострадание, но тотчас же и сострадание, и благодарность, и изумление — все выжег в нем ее голос, шепчущий слова, которых он не понимал, и этот горячий шепот, звучавший для него — впервые в жизни! — как квинтэссенция любви, проник, точно стрела, в далекое прошлое, в глубь прожитых годов и десятилетий, за пределы памяти и сознания, сквозь стенки наросших с тех пор костей и мышц, туда, где почти с начала его жизни лежал сгусток непролитых слез.

Он со страхом почувствовал, как ослабевают, рвутся какие-то внутренние нити и волокна, и напрягал все силы, чтобы сдержать то, что стремилось вырваться наружу, словно оно грозило разнести на куски его самого. Оно могло оказаться таким огромным, сокрушающим, что он не смел дать ему волю. И все же он не мог отпустить ее и прижал к себе до боли крепко, лишь бы не исчезало мучительное, пугающее очарование этого неразборчивого шепота.

Она оторвалась от него и вопросительно заглянула ему в глаза в надежде найти объяснение того, что вдруг произошло с нею, не зная, что происходит в нем и беззвучно моля его сказать, что он всем сердцем разделяет смятение ее чувств. А он сейчас был не с нею, и даже не в Москве: он перенесся в ту старую, коричнево-зеленую квартиру, где он, маленький мальчик, в паническом страхе бежал по тихим пустым комнатам, без слов крича от страстной тоски по чему-то, чего еще не знал и потому даже не умел назвать, но без чего не мог жить дальше.

Он очнулся и снова стал самим собою, взрослым Ником; на темной улице гулял ветер, а рядом была Валя. Она не сводила с него взгляда, но не видела в нем человека, чья душа была когда-то наполовину сожжена ослепительно белой вспышкой. И она не могла знать, что это внезапное потрясение как бы наглухо отгородило его от всего окружающего и никакой поцелуй, сколько бы ни было в нем любви и нежности, не мог разрушить эту неприступную стену, хотя Валя в конце концов пробудила в нем и заставила его мучительно осознать то, что было глубоко в нем погребено, а этого не смогла сделать ни одна женщина, даже Анни, давшая ему так много, но совсем по-иному. Его охватило такое волнение, что он не мог говорить — когда он попытался принудить себя сказать то, что хотела бы услышать Валя, то почувствовал, что мускулы языка и гортани не повинуются ему. Против своей воли он молчал.

А она все глядела на него, стараясь понять, что означает это молчание. Но он не мог ничего ни сказать, ни объяснить, ни обещать. Ком в горле задушит его, если он ей солжет, а таких слов, которые были бы понятны ей, да и ему самому, он не знал. Но ведь есть же такие слова, которые были бы правдивы, выражали всю его бесконечную нежность к ней и щадили бы ее гордость. Впрочем, что бы он ей ни сказал, все будет наполовину ложью, потому что она придаст его словам другой смысл.

Ник порывисто взял ее лицо в свои ладони. Валя хотела было что-то сказать, но он остановил ее:

— Не надо говорить! Пока не надо, пожалуйста!

— Потому что вам нечего сказать?

— Потому что словами нельзя сказать всего.

— Нет, можно! — почти крикнула она, вырываясь из его рук.— Можно! Вы просто не хотите сказать того, что мне так нужно!

— Я не могу,— сказал он и с гневным отчаяньем добавил: — Валя, у нас осталось всего десять дней!

— Ну и что же? — Она уже почти злилась на этого непонятного человека.— Через десять дней мир не рухнет. Ваша жизнь будет продолжаться. И моя тоже.

— Но в том-то и дело! — воскликнул он.— Я уеду, а вам надо прожить остальную свою жизнь. Поэтому, ради бога, оставим это. Я не хочу, чтобы вам было больно. Вы мне слишком дороги.

— Мне и так уже больно.

— Но может быть еще хуже,— горячо возразил он.— Намного хуже!

Он взял ее за руки, чтобы оттолкнуть от себя, но вместо того, повинуясь какой-то настойчивой внутренней тяге, привлек ее к себе — не для того, чтобы поцеловать, как подумала Валя, а чтобы опять услышать непонятные ему слова любви, будившие в нем странный, безотчетный страх и в то же время несшие с собой успокоение. Он жаждал услышать этот шепот, сам не зная, откуда в нем это страстное, непреодолимое желание; а Валя, не понимая, чего он хочет и что с ним, была так же беспомощна, как и он.

Часы и дни мелькали один за другим все быстрее и быстрее, как деревья мимо лыжника, несущегося в сумерках по крутому склону. Небо заволокла серая грусть европейской осени, хмурой, темной и промозглой. В кабинетах и лабораториях почти все время горел свет, и после обеда день незаметно переходил в вечер.

Если у Горчакова и были какие-то важные совещания с институтским начальством и коллегами, то в присутствии Ника об этом не говорилось ни слова. Насколько мог заметить Ник, все внешние усилия были направлены исключительно на то, чтобы выбрать наилучший способ испытания чувствительности прибора на горной станции.

Они работали вдвоем по двенадцати часов в день, бесконечно обсуждали сделанные каждым из них эскизы, время от времени вызывая других сотрудников, чтобы получить какую-нибудь специальную справку. Они с Горчаковым теперь уже хорошо изучили друг друга, каждый угадывал ход мыслей другого и знал его характерные словечки и жесты, сопутствующие размышлениям.

Ник все еще думал об Анни со злостью, но начинал кое-что понимать. Теперь он немножко больше знал о том, как бывает, когда двое готовы любить друг друга, но один яснее другого сознает, что все это неизбежно кончится горем. В чем больше настоящей доброты: в том ли, чтобы порвать сразу, внезапно и жестоко, или же в безмолвном соучастии, в том, чтобы с широко открытыми глазами рука об руку идти к черным воротам, которые бесшумно распахнутся и поглотят свою жертву? Но, с другой стороны, в жизни запоминаются не те мгновения, которые были упущены или утрачены из осторожности, а лишь те, что были насыщены глубокими чувствами, радостными или скорбными, а быть может, и теми и другими вместе.

Чувство его к Анни — оно, в сущности, не исчезло, а как бы обросло твердой корой безразличия — было совсем иным, чем чувство, которое вызывала в нем Валя. В каком-то смысле Валя затрагивала его душу глубже, чем Анни, но с Анни он испытывал удивительное ощущение разделенности всех переживаний — только какие-нибудь особые чув-

ства приходилось объяснять, во всем же остальном они инстинктивно понимали друг друга.

Временами он спрашивал себя, быть может, все-таки стоит надеяться, что она вернется, все объяснит и уладит; порою же просто обзывал себя дураком — Анни уехала, и все кончено, а от любви еще никто не умирал, пока есть желание преодолеть ее и снова попытать счастья в жизни.

Сначала он, встречаясь с Валей, всерьез испытывал угрызения совести. Если раньше его тревожило лишь опасение, что он, быть может, причиняет боль Горчакову, то теперь он еще тревожнее думал о том, не причиняет ли он вреда ей самой. Но о чем бы он ни думал, все равно на него давили две противоположные силы, словно он очутился между концами невидимых клещей: одна сила вынуждала бежать от преследовавшего его невыносимого одиночества и заставляла бросаться к человеческому теплу, к проблеску любви; другая же сила так парализовала его чувства, что никому, кроме Анни, он не мог ответить в полной мере такой же любовью, какую вызывал к себе. Если б только он был лишен чувства ответственности за причиняемую им боль, если бы только он мог безмятежно проходить мимо обращенных к нему лиц, не думая ни о чем, кроме возможности развлечься, тогда для него не было бы никаких проблем. Но беда в том, что все это глубоко задевало его; клещи сжимали его с двух сторон, и у него не оставалось никакого выбора.

Он уже не уславливался о встречах с Валей: по вечерам, когда ее сотрудники по институту с покрасневшими от усталости глазами беспорядочной гурьбой устремлялись к дверям, Валя и Ник вместе выходили в темноту, не привлекая к себе особого внимания. Они шли по улице, иногда говорили о работе, но чаще о другом — обо всем, что приходило в голову; Валя рассказывала о себе, и вскоре он уже ясно представлял себе худенькую девочку — одни глаза!— с черными волосами, разделенными посередине строгим пробором и заплетенными в две короткие косички, которые были перевязаны темными ленточками, вернее тесемками из старой материнской блузки; девочку, которая с обожанием глядела большими серьезными глазами на свою мать-учительницу и тоненькими ручками обхватила за шею отца, когда тот прощался с нею в последний раз. Отец ее был архивным работником; выйдя из тишины книгохранилищ, он, близоруко щурясь, но твердо шагая, ушел навстречу грохоту наступающих с запада танков.

Ник видел ее с матерью в битком набитом эвакуированными поезде, что день за днем с томительно долгими остановками медленно полз на восток — нескончаемое путешествие, в котором случайные попутчики и соседи по вагону становятся куда реальнее и знакомее, чем друзья и родственники, оставшиеся дома. Он видел, как они с матерью поселяются в сибирской деревушке, до того переполненной эвакуированными, что им не удалось найти другого жилья, кроме ветхой избы, где вместе с ними ютились еще три семьи и две коровы и где стоял такой холод, что на ночь они почти не раздевались; жили они впроголодь, и бывали времена, когда они радовались, что можно сварить какие-то корешки и найденную в полях мерзлую картошку, тошнотворно сладкую и скользкую.

Она рассказывала обо всем этом как бы мимоходом и не могла понять взволнованного любопытства, с которым он расспрашивал ее о подробностях. Все ее поколение, сказала она, миллионы людей — все те юноши и девушки, которые проходят мимо него на улицах, сидят или стоят в троллейбусах, делают покупки в магазинах или едят в ресторанах,— все они пережили почти то же самое.

Когда война кончилась, другой поезд медленно потащил их на запад, так же часто останавливаясь в степи; на каждой остановке в него набивалось все больше народу, дышать в вагонах было нечем, но наконец она и ее овдовевшая мать вернулись в свою московскую комнату. И в эту же комнату несколько лет спустя робко вошел человек — учитель, за которого вышла замуж ее мать, а с ним две почти взрослые дочери, старше, чем Валя. Пока дочери отчима не вышли замуж и не переехали к мужьям, все пятеро жили одной сплоченной семьей. Иногда они ссорились, потому что теснота действовала им на нервы, но все были искренне привязаны друг к другу, каждый любил остальных и хотел, чтобы они его тоже любили.

Валя говорила обо всем этом спокойно, почти безразличным тоном, хотя в ткань событий, о которых шла речь, все время вплетались черные нити трагедии, нужды и лишений. Но ведь сложные узоры этой ткани дали возможность той девочке стать физиком, сделали ее нежной и чуткой молодой женщиной в ярко-синем пальто из хорошей шерсти, в желтом вязаном платочке на голове, в изящных туфлях, которая шла с ним рядом по новому широкому проспекту, появившемуся несколько месяцев назад на месте грязного пустыря, мимо новых двенадцатиэтажных домов, быть может, не слишком радующих глаз своим однообразием, но зато выросших там, где недавно были только луга да покосившиеся деревянные избы столетней деревеньки.

Обычно, выйдя из института, они некоторое время держались несколько официально. Но стоило им отойти немного дальше, как ее рука проскальзывала в его ладонь. Пройдя еще дальше, Валя быстро оглядывалась, нет ли кого поблизости, брала его под руку или даже обнимала одной рукой, чтобы прижаться к нему потеснее, а потом со смехом отстранялась. В ней не было и тени кокетства — она была слишком искренна. Ей нравилось целовать Ника и подставлять лицо его поцелуям, но уединиться им было негде: они не могли пойти ни к ней домой, ни к нему в гостиницу. Ее охватывало мучительное смущение, едва только она входила с ним в холодный, скупо обставленный вестибюль. Она краснела и искоса поглядывала по сторонам, словно боясь, что на нее обращают внимание.

Однажды вечером Нику пришлось зайти в гостиницу, чтобы надеть теплое пальто — начинало подмораживать.

— Я подожду здесь, внизу,— сказала Валя.— Только, пожалуйста, поскорее.

— Хорошо. Но почему такая спешка?

— Это же гостиница,— возразила Валя, как бы поражаясь его бестолковости.

— И что же? — Он внезапно повернулся к ней.— Разве она пользуется дурной славой?

— Нет, это превосходная гостиница. Ну, пожалуйста,— легонько подтолкнула она его,— идите скорее, а я подожду здесь.

В ожидании лифта Ник следил за нею. Она подошла к парфюмерному киоску, поглядела на витрину, взяла с прилавка маленький флакончик, понюхала и поставила на место. Продавщица что-то сказала ей. Валя в ответ покачала головой и отошла к газетному киоску, где и стояла, перелистывая «Новый мир», когда Ник сошел вниз. Она заплатила за журнал и направилась к выходу, прежде чем он успел ей сказать, что нелепо опять выходить на холод, когда тут наверху есть отличный ресторан. Он устал без конца бродить по улицам, ему надоело сидеть в высоких, безлично-холодных залах ресторанов или в тесноте неуютных, коробкообразных кинотеатров, надоело почти всегда нахо-

диться на виду у сотни незнакомых, безразличных к нему людей, которым решительно все равно, пришел он или ушел, жив он или умер.

— Ведь это нелепо,— сказал он, догнав ее.— Я привык принимать друзей у себя дома. А у меня *есть* здесь свой дом — теплая, уютная комната. Там есть кресла, стол, лампы, телевизор, даже пианино. Если мы захотим, нам принесут туда ужин. Там мы можем посидеть, наконец, и поговорить по-человечески. Неужели нельзя хоть раз зайти ко мне?

— Нет, я чувствовала бы себя очень неловко.

— Мы не будем закрывать дверь,— уступил он.

— Это невозможно,— сказала Валя.— У вас на это смотрят иначе. Поймите же, в Москве не принято, чтобы женщина заходила к мужчине в номер вечером и одна. Даже если она просто войдет в гостиницу одна, без провожатого, это уже немножко...— Валя сделала легкий жест, выражающий отвращение,— mauvais ton. Мне было бы неприятно, вот и все.

— Если я еще раз услышу это гнусное выражение «mauvais ton», я закричу,— с раздражением отозвался Ник.— Что за пуританство такое?

— Скажите,— вдруг оживилась Валя,— почему вы хотите, чтобы я пришла к вам в гостиницу? Потому, что так сильно меня любите, что сойдете с ума, если мы не побудем вдвоем? Если это так, то я приду. Или вам просто удобнее посидеть в теплой комнате? Мне ведь так же трудно, как и вам. Даже еще труднее — вы ведь не знаете, что мне приходится...

— Что вам приходится? — быстро спросил он.— Разве ваши друзья не знают, что мы с вами встречаемся? Разве ваши родители об этом не знают?

— Знают.

— И они считают, что?..

Валя с гневной прямотой взглянула ему в лицо и опустила глаза.

— Считается, что я уже взрослая и сама знаю, как поступать! — И вдруг она вспыхнула.— Я ничего не боюсь! Прежние времена прошли. Кончено! Если кое-кто из старших смотрит на такого рода вещи по-старому, пусть себе! Мне их жаль — такие уже не могут перемениться. Нет, меня смущает только одно: вы живете в другой стране и скоро должны уехать. Вы уже заказали билет на самолет?

— Нет. Закажу в последнюю минуту. Я не хочу об этом думать.

— Но ведь завтра мы поедем к Ушакову, а потом, через четыре дня, в четверг, вам надо уезжать!

— Когда придет время, тогда я и займусь этим,— упрямо сказал он и, взяв ее под руку, повел на холодную ночную улицу.— А пока — нет!

Поездка к Ушакову тоже не оправдала его ожиданий. Холодное солнце то и дело скрывалось за тучами, насылая на город резкие, нервно трепещущие тени, и казалось невероятным, что в прошлое воскресенье было так жарко и солнечно. Затем, перед самым отъездом, Ник узнал, что Ушаков вместо того, чтобы прислать за ним машину, договорился с Горчаковым, и тот привезет на своей машине Ника и еще несколько человек, и когда Горчаков подъехал к гостинице, Ник еле втиснулся на заднее сиденье. Вся компания — сестра Горчакова, ее муж и еще какая-то пара — была настроена очень весело; одна только Валя, сидевшая впереди, была необычно бледна и задумчива.

Выехав за город, машина помчалась по черному асфальту шоссе туда, где, как дым, клубилось от ветра пасмурное небо. В машине продолжалась веселая болтовня; все говорили так быстро, что Ник почти

ничего не понимал. Валя слегка улыбалась, когда другие начинали хохотать, ее настроение было на октаву ниже, чем у остальных. После вчерашнего вечера у нее, по-видимому, состоялся длинный серьезный спор либо с самой собой, либо с кем-то еще.

Через полчаса после того как они выехали из Москвы, небо внезапно распалось на крупные снежные хлопья, которые таяли, едва успев коснуться земли, и быстро скрыли от глаз плоскую равнину по обе стороны дороги. Машина свернула с шоссе влево в густой лес из сосен и берез, таких прямых и высоких, что верхушки их терялись в мглистой белизне падавшего снега. Ник со все нарастающим нетерпением ждал, когда же они, наконец, приедут и он сможет поговорить с Валей и узнать, чем она огорчена, но дорога петляла, шла то вниз, то вверх, а машина бежала вперед и вперед, робко прощупывая мглу бледными лучами фар. Внезапно показался пруд, но туманная завеса мелькающего снега скрывала его противоположный берег. По сторонам дороги появились маленькие домишки и бревенчатые хибарки и тотчас исчезли за деревьями. На развилке узкое шоссе разделилось на две, еще более узкие дороги; машина свернула на ту, что шла между деревянными заборами. За ними виднелись стоявшие довольно близко друг к другу дачи; под неожиданно надвинувшимся сводом деревьев снежная пелена прояснилась, и машина стала у высоких резных ворот.

Ушаков вышел им навстречу в сопровождении громадной шотландской овчарки, которая смущенно извивалась у его ног, мотала головой и в мучительной застенчивости закатывала глаза, словно не зная, куда смотреть, чтобы только не видеть друзей хозяина.

Но и на даче Ушакова не было возможности поговорить с Валей — все уселись за большой стол, принялись пить вино или чай, грызть печенье или снимать кожуру с фруктов, разговор стал общим, и в нем участвовали все, а количество гостей, включая и новоприбывших, все же почему-то не превышало того магического предела, за которым собравшееся общество вдруг перестает быть единым кружком и разбивается на более интимные группки по два-три человека. Всех объединял Горчаков — он был сегодня в ударе, что случалось с ним довольно редко, и сыпал анекдотами и выдумками, которые вызывали у гостей взрывы смеха и которых Ник не понимал, потому что Горчаков был в таком приподнятом настроении и так увлекся собственной изобретательностью, что уже не останавливался, чтобы переводить. Валя почти все время молчала; она сидела напротив Ника, осторожно срезала кожуру с апельсина ровной спиралью и, казалось, была всецело поглощена этим занятием; потом она тщательно счистила белые волокна с долек и с полным безразличием стала есть. Как и в машине, она только чуть улыбалась, когда хохотали другие; несколько раз, встречаясь с ней взглядом, он видел в глазах ее нежность, но вместе с тем и какую-то сдержанность, граничившую с замешательством. Не нарочно ли Горчаков удерживает всех возле себя, чтобы не дать ему поговорить с Валей?

Он был подавлен этой неудачей и придумывал разные уловки, чтобы остаться с Валей наедине, но все они казались настолько глупыми, что он отвергал их одну за другой. Надо просто подождать; но опять оказалось, что и ждать было нечего. В начале вечера они ушли все вместе и вместе уселись в машину опять на те же места, а приехав в Москву, Горчаков прежде всего подвез его к гостинице. Пригласить одну Валю было невозможно, поэтому Ник принялся уговаривать всех поужинать с ним в гостинице, но как он ни убеждал их, что еще совсем рано, выяснилось, что по тем или иным причинам именно сегодня им это неудобно.

И снова он спросил себя: «Неужели они дают мне понять, хоть и в вежливой форме, что я должен держаться на расстоянии?»

Поднявшись в свой номер, он долго ждал телефонного звонка, надеясь, что как только Валя останется одна, она позвонит ему и все объяснит или скажет, где она, чтобы они могли встретиться, но прошло десять минут, потом полчаса, потом полтора часа, а телефон не звонил.

На следующий день ему и Горчакову сразу же по приезде в институт пришлось срочно разрешать последние проблемы, связанные с проведением опыта, и Нику удалось поговорить с Валей только к концу дня. Он спросил, не подождет ли она его после работы — они поужинают и, быть может, проведут вместе вечер.

— Мне очень жаль, но я не могу,— спокойно ответила Валя.— Вечер у меня занят.

— Но ведь осталось всего три вечера.

— Знаю,— сказала она, избегая смотреть ему в глаза.— Но сегодня я не могу.

— Вы назначили встречу кому-нибудь другому?

— Не в том дело...— Она старалась, чтобы голос ее звучал бесстрастно, и наконец подняла на Ника глаза.— Да, я назначила встречу.

— С другим человеком?

Она ответила жестом досады, беспомощности, отчаяния.

— Вы совсем. как ребенок,— вздохнула она.— Ничего вы не понимаете!

— Я понял, что у вас встреча с другим человеком.

— И этого достаточно, чтобы вам все стало ясно? — спросила она так, словно бесконечно устала от разговоров — с кем угодно и о чем угодно.— Что ж, пусть будет так — «с другим человеком».

Не полагаясь на себя, он удержался от ответа, но, только расставшись с нею, понял значение ее тона: никому она не назначала встречи. Он просто был абсолютно слеп и не видел тысячи вещей, которые происходили в ней и вокруг нее.

2

Ему осталось пробыть в Москве два дня. Он приехал в институт с намерением закончить свою работу и обнаружил, что все чертежи переустройства прибора для предстоящего испытания были уже сделаны за ночь. Горчакова в институте не оказалось. Он оставил папку с чертежами, чтобы Ник просмотрел их, так как сам он все утро будет на совещании в Академии наук, и записку, в которой говорилось, что он просидел до двух часов ночи, разрабатывая конкретные детали тех выводов, которые они с Ником сделали накануне.

Ник позвонил Вале, чтобы уговориться насчет вечера, но девушка, работавшая в одной комнате с нею, сказала, что Валя, кажется, сейчас на коллоквиуме в Институте кибернетики, на другом конце города, а кто-то поправил ее, сказав, что Валя и еще кто-то из сотрудников уехали с Горчаковым в Академию наук.

Ник с тяжелым предчувствием взялся за чертежи, но работа Горчакова оказалась точной и законченной. Последние изменения в чертежах новой схемы были выполнены на синьке, примечания отпечатаны на машинке. Ник захлопнул папку. Если это все, над чем ему позволено работать, тогда его работа действительно окончена — пора уезжать. Люди, с которыми он здесь сблизился, уже заняты другими делами и планами и осуществят их еще нескоро после того, как он уедет. У них уже не было ни оснований, ни нужды, ни времени общаться с ним. Весь

город и все, кого он тут знал, готовились забыть его. Даже Анни сделала все, чтобы происшедший между ними эпизод канул в черную пропасть, как камень; то, что было, останется в памяти каждого из них как две совершенно разные истории — у него своя версия, у нее своя,— и будет вспоминаться все реже, все безболезненнее, пока не станет совсем незаметной ниточкой в ткани его и ее жизни. Душевное обновление, которое он надеялся здесь найти, так и не пришло к нему, да и вряд ли придет здесь или где-либо в другом месте. Даже вопрос о расхождении с Горчаковым так и повис в воздухе — они ведь только нащупывали возможность решить его. Ника снова начинало охватывать ощущение своей заброшенности и ненужности; в страхе ища какого-то спасения, он набрал номер бюро обслуживания и попросил достать ему билет на самолет на послезавтра, не позднее.

И тут пришел Горчаков, очень усталый, но довольный, словно ценою длительного нервного напряжения он добился, наконец, желаемых результатов.

Он упал в кресло, вытянул ноги и бессильно положил руки на колени.

— Ну вот,— произнес он.— Что вы об этом скажете?

— Все безупречно.

— Хорошо. Все готово к отправке. Чертежи посылаются самолетом, который вылетит через час. Новые схемы уже смонтированы, проверены и упакованы, их погрузят на тот же самолет. Дополнительные схемы будут собраны в мастерских станции. Послезавтра работа уже пойдет полным ходом, и, если все будет благополучно, испытание начнется на будущей неделе.

— Но справится ли со всем этим ваш Коган? Это ведь работа не для одного человека.

— Конечно нет.— Горчаков был возбужден и словоохотлив.— С ним два студента пятого курса, которые сейчас проходят там практику. С ним два старших научных сотрудника из постоянного штата, да и отсюда мы посылаем ему помощников. Они вылетят сегодня. Мы посылаем всех, кого можем, чтобы довести дело до конца. Так было решено сегодня утром.— Горчаков взглянул на часы.— Сейчас они уже на пути к аэродрому.— И чуть изменившимся тоном добавил:— Я просил также и о том, чтобы вам продлили визу.

Ник взглянул на Горчакова, стараясь по лицу его угадать, чем кончилось дело.

— И что же? — спросил он.

— Вопрос рассматривается,— кратко ответил Горчаков.

— Понятно,— сказал Ник.— Очень тонкая формулировка, не говорящая ни «да» ни «нет». Я опередил события и заказал место в самолете на послезавтра.

Горчаков бросил на него быстрый внимательный взгляд.

— Вот как? Но, в таком случае, вы, наверно, захотите аннулировать просьбу о продлении? Разумеется, это уже от меня не зависит, но Академия обещала уведомить меня, как только будет получен ответ из министерства.

— Я останусь,— вяло произнес Ник. В лице Горчакова ничто не изменилось.— Хотя бы только до тех пор, пока мы не узнаем первые результаты.

Зазвонил телефон.

— Это, наверно, из бюро обслуживания. Брать мне билет или нет?— прямо спросил Ник, предоставляя решать Горчакову.

— Лучше берите. Отказаться всегда успеете.

Но это оказалась институтская секретарша, спрашивавшая Дмитрия Петровича. Горчаков взял трубку. Разговор был коротким. Горчаков сказал «Спасибо», положил трубку и слегка усмехнулся.— Ну вот! Теперь решайте сами. Виза продлена. Вы говорите, что можете остаться?

— Да.

— Тогда отдайте свой паспорт в гостиницу, когда вернетесь туда, они сами проследят, чтобы вам поставили штамп.— Он встал и протянул руку.— Я очень рад. Приходите ко мне вечером, мы тихонько отпразднуем это вдвоем. Придется тихонько, потому что я еле жив. Но моя домоправительница позаботится о нас.

— Сегодня я не смогу,— сказал Ник.— Очевидно, я буду занят.

— Ну, тогда завтра. А если сегодня вы вдруг окажетесь свободны, позвоните мне.

— Сомневаюсь, чтобы я был свободен. Между прочим, Валя тоже вернулась из Академии?

Горчаков взглянул ему в глаза и снова сел, как человек, которому предстоит выполнить дело, требующее особой методичности.

— Нет,— сказал он. Голос его был негромок и спокоен, но тверд.— Она уезжает туда вместе с другими.

Ник не мог выговорить ни слова. Он был так потрясен, что у него перехватило дыхание. Изумленный силой нахлынувших на него чувств, он мог только молча глядеть в эти спокойные карие глаза, не отрывавшиеся от его лица и не дававшие отвести взгляд. Говорить было трудно, и он сам заметил, что его срывающийся голос почему-то звучит резко и требовательно.

— Но почему? Почему именно Валя?

— Потому, что отправляемые схемы — это, по существу, ее работа. Потому, что новые схемы будут, по существу, ее работой. Потому, что если придется писать доклад о пересмотре предыдущих результатов, то по справедливости надо дать ей возможность быть среди тех, кто исправят наши ошибки. А также потому,— добавил он чуть-чуть резче,— что она сама очень хотела поехать.

Снова зазвонил телефон.

— Если это из бюро обслуживания,— сказал Горчаков,— вы можете теперь окончательно отказаться.

В трубке послышался женский голос, говорящий по-русски, но так быстро, так взволнованно и ласково, что Ник не сразу узнал Валю. К сердцу его бурно прихлынуло облегчение.

— Ник! — радостно кричала Валя.— О, Ник! Как я рада, что застала тебя! Слушай, Ник! У меня ужасные новости. Я уезжаю. Ты знаешь?

В первый раз она обращалась к нему так интимно, и от этого неожиданная радость стала еще острее. Звоня через коммутатор, она без стеснения говорила ему «ты», «тебя», «знаешь». Никто, никогда, ни на одном языке не называл его на «ты», и Нику, за всю свою жизнь привыкшему к сдержанному английскому «you», казалось, что она целует и ласкает его; но, изо всех сил стараясь справиться с волнением, он смог выдавить из себя только безжизненное «Да, я знаю» по-английски, потому что за ним неотступно следили карие глаза Горчакова.

— Я не могла не поговорить с тобой до твоего отъезда,— скороговоркой продолжала Валя.— Через несколько минут будет посадка на самолет.

Эти слова, сильнее, чем все, что говорил Горчаков, заставили его почувствовать, что угроза ее отъезда реальна, неотвратима; ему хотелось крикнуть: *«Где ты, Валя? Где ты? Я хочу быть с тобой!»*,— но в гор-

ле у него застрял комок, и слова «Я рад, что вы мне позвонили» прозвучали довольно спокойно.

Валя помолчала — она наконец догадалась, в чем дело.

— Вы не один?

— Да.

— О!..— послышался в трубке замирающий вздох, проникнутый горьким разочарованием, но затем она горячо заговорила: — Ну и пусть! Тогда я сама скажу все, что хочу. Вы понимаете, почему я должна ехать, правда? Все это так для меня трудно! О, Ник, Ник! Я просто не могла больше выдержать, хоть и прикидывалась мужественной. Я люблю вас, Ник. Я хочу сказать вам это, прежде чем уеду. Я люблю вас. Пожалуйста, не говорите ничего. А я говорю это, потому что не могу иначе. У меня переполнено сердце. Но я не хотела оставаться в Москве и видеть, как вы уезжаете.

Слушая ее, Ник прикрыл глаза и заслонил их ладонью.

— Но видите ли, я *не* уезжаю,— тихо сказал он. Горчаков по-прежнему не сводил с него взгляда.

— Что? — воскликнула она в смятении.— Что вы говорите, Ник, милый? Вы *не* уезжаете в четверг? — У нее не хватало дыхания.— Сколько вы еще здесь пробудете?

— На сколько дней я остаюсь? — спросил он Горчакова, не выказывая кипевшего в нем гнева.

Горчаков пожал плечами.

— Посмотрим, что вам поставят в паспорте. Да не все ли равно? — небрежно произнес он.— Скажите ей, что закажете билет еще раз, когда придет время, вот и все.

— Я еще не знаю,— сказал Ник в трубку.— Вероятно, несколько недель.

— Только?.. Я не успею вернуться. Но я...— она всхлипнула.— Я *должна* ехать. Это *очень* важно для меня. Все так считают, и они правы, но...— Она зашептала какие-то ласковые слова, которым его не учили на уроках русского языка; он слегка опустил голову и напряг все мускулы лица, чтобы спрятать жегшие ему глаза неудержимые слезы.

— Прощай, мой дорогой,— упавшим голосом торопливо сказала она.— Я... я не могу говорить. Не могу! Все стоят возле будки, смотрят на меня и удивляются. Надо бежать. Можно мне написать тебе?

— Да, пожалуйста,— произнес он.— Очень прошу.

— Люблю тебя,— еще раз сказала она.— Люблю! — и сразу повесила трубку.

А Ник все еще прижимал к уху замолкшую телефонную трубку, стараясь овладеть собою. Жженье в глазах постепенно проходило, дышать стало легче.

— До свиданья,— сказал он в молчавшую трубку и глубоко перевел дыхание.

Горчаков, усмехнувшись, покачал головой.

— И все это из-за какого-то билета на самолет! Ну ладно, позвоните мне вечером.

— Я приду,— медленно сказал Ник, не подымая глаз.— Я только что сообразил, что буду свободен.

Горчаков остановился у двери; Ник почувствовал, что он удивленно обернулся и смотрит на него, начиная о чем-то догадываться, но не двигается с места.

— Вот как,— негромко сказал Горчаков; тон его не оставлял сомнений, что он все понял.— Очень хорошо. Приходите в восемь.

3

Горчаков сам открыл ему дверь; он был без пиджака, в рубашке с открытым воротом; ботинки он сменил на сандалии. На лице его была едва заметная, почти рассеянная улыбка; слегка взмахнув рукой, он сделал насмешливо-церемонный жест, приглашая Ника войти.

— Мне думается, на правах давнего знакомства, я могу принять вас по-домашнему,— сказал он.— В домашнем костюме, за домашним ужином, и поговорим мы с вами запросто.— Он провел Ника в большую комнату и остановился, заложив руки в карманы.— Что вам можно предложить вместо полагающегося у вас коктейля?

Ник выразил желание выпить рюмку водки. Горчаков холодно, но с веселым недоумением следил, как он пьет.

— Никогда мне не понять, как у вас могут так пить,— сказал он.— Вы прихлебываете водку, словно англичанин — чай. Вас интересует самый процесс питья, а нас — результат. Ну, все равно,— снисходительно махнул он рукой.— Угощайтесь.

Ему, очевидно, не очень хотелось разговаривать — он был слишком занят своими мыслями. Он достал несколько пластинок, на которые пал его случайный выбор, и включил радиолу. В комнате запрыгали звуки штраусовского «Перпетуум-мобиле», и Горчаков поморщился от несоответствия этой музыки его настроению. Он поставил следующую пластинку — это оказался Оффенбах, который тоже был прерван на полутакте; потом зазвучал Дебюсси — выяснилось, что и он не подходит. Наконец Горчаков остановился на чем-то, совсем незнакомом Нику,— это была медленная, расплывчатая мелодия, исполняемая струнными инструментами, простая, как шелест дождя. Горчаков слушал, словно позабыв о госте. Потом долил полупустую рюмку Ника и поднял свою.

— За взаимное просвещение,— кратко сказал он. Дотронувшись краем своей рюмки до рюмки Ника, он осушил ее.

Ужин был простой: селедка, вареный картофель, жареное мясо, черный хлеб и масло. На столе стояли стаканы, большой чайник, незамысловатый пирог и никелированный электрический самовар.

— Над чем вы намерены работать после этого? — спросил наконец Горчаков. Вопрос был случайный — на самом деле мысли его были заняты чем-то совсем иным.

— После чего? — спросил Ник.

Горчаков сделал неопределенный жест.

— Ну, когда мы уладим это. У вас уже намечены дальнейшие опыты?

— Пока нет,— сказал Ник.— Я надеялся, что результаты вашего опыта, каковы бы они ни были, подскажут дальнейшие шаги.

— Это как-то на вас не похоже,— заметил Горчаков и потянулся через стол за куском хлеба.— Мне казалось, у вас должна всегда быть обширная программа на несколько лет вперед.

— Правильно, должна,— согласился Ник,— но у меня ее нет. Впервые у меня нет никакой программы. Времена важных наземных опытов с космическими лучами уже прошли. Такие опыты, какие ставим мы с вами, гораздо лучше проводить в пространстве с помощью спутников, ракет и зондов. Вы готовы к этому?

— Почему бы нет? — сказал Горчаков, как бы удивившись такому вопросу.— А вы?

— Технически — да,— ответил Ник.— Морально — нет, и я даже не представляю себе почему. Мы ставим опыты в воздушных шарах, на высоте в девяносто тысяч футов. Лично для меня это стало уже шаблон-

ным. Но шагнуть с нашей планеты в космическое пространство — это совсем другое дело: словно сначала надо преодолеть какое-то промежуточное звено.

— В физике? — удивленно спросил Горчаков.

— Нет. Во мне, во всем мире, в людях. Смотрите, какая нелепость— мы с вами беспокоимся о согласовании событий, случившихся на расстоянии в сто световых лет от нас. Наши правительства не могут договориться по поводу обстоятельств, от которых нас отделяет одна тридцатая световой секунды!

— Но ведь мы как ученые и как личности должны быть головным отрядом в области исследований, представляющих общий интерес. Правительства к нам прислушаются. Иного выхода не будет.

— Вы в этом уверены?

— Уверен так же, как в том, что сижу вот здесь.— Он исподлобья взглянул на Ника.— А вы — нет?

— Я хотел бы обладать такой же уверенностью. Быть может, я не вижу того, что ясно всем остальным, потому что в свое время был ослеплен вспышкой света неимоверной силы. С другой стороны, быть может, благодаря этому свету я вижу некоторые вещи гораздо отчетливее, чем большинство людей. Скажите мне, если можете,— спросил он в упор,— приходилось вам видеть атомный взрыв? Мне пришлось, и я говорю вам об этом прямо. Мы с вами сидим здесь с глазу на глаз, быть может, нарушая какие-то указания службы безопасности, но мне наплевать. Ведь то, где я был и что я тогда делал,— никакая не тайна.

— Да, это не тайна,— медленно произнес Горчаков.— Я читал официальный отчет Смита о работе по применению атомной энергии; среди участников несколько раз упоминалось и ваше имя. Вы должны понять, что у нас пока нет официального отчета о нашей работе, в котором назывались бы имена участников.— Нахмурившись, он налил себе вина.— Скажите, вам непременно хочется говорить об этом? — осторожно осведомился он.— Дело в том, что мне — не хочется.

— Я, собственно, говорю о себе, а не о вас,— сказал Ник.— Впрочем, меня давно занимает вопрос, пришлось ли нам — просто как людям — испытать в этом смысле одно и то же. Вот и все. Мне хотелось бы знать: много ли общего в том, что нам с вами довелось пережить?

Горчаков глубоко вздохнул и, сложив руки, переплел пальцы.

— По-моему, мы с вами очень разные люди и вне своих лабораторий живем разной жизнью. И история обернулась к нам разными своими сторонами. В нашем уравнении движения общим является, пожалуй, только один параметр. Однако мы с вами сидим здесь, и оба одинаково хотим пить после съеденной нами селедки, оба ждем одного и того же телефонного звонка...

— Ждем звонка?

— Да, ждем звонка,— спокойно сказал Горчаков.— Я распорядился, чтобы они позвонили, как только «ТУ» приземлится в Тбилиси, и сообщили, кто их встретил. Коган обещал вылететь за ними, но, насколько я знаю, сейчас он не совсем здоров.— Он взглянул на часы.— Они должны позвонить с минуты на минуту, если только «ТУ» не запоздал. Или их еще никто не встретил.

— А если Коган так болен, что не мог приехать за ними?

— Вполне вероятно, что он настолько болен, что вообще не может ничего делать. А это повлечет за собою коренные изменения в наших планах. Нам остается только ждать,— сказал он.— Ждать и разговаривать. О том, что общего мы пережили или не пережили в жизни. Но что

переживает в своей жизни человек? Он рождается, растет, работает, потом умирает...

— Вы забыли о браке.

— И это тоже у нас с вами происходило совсем по-разному. Видите ли, моя жена...— Он запнулся.— Мне сейчас еще слишком трудно говорить об этом,— отрывисто сказал он.— Я никогда о ней не рассказываю.

— Тогда не надо.

— Слишком трудно,— повторил он.— И это даже странно... Ничего в ней не было выдающегося — ни внешности, ни особых достоинств; я бы даже не сказал, что это была самая умная женщина, какую я знал. И все же то, что я в ней нашел... то, что нас связало, было настолько глубоким, настолько личным, что это почти нельзя определить. Это можно только чувствовать, и для меня этого было больше чем достаточно. Мне кажется, такого у меня уже не может быть ни с какой другой женщиной.— Он поднял на Ника искренний, страдальческий взгляд.— Я даже и не надеюсь на это.

— Я бы, например, не мог сказать, чего именно я ищу в женщине,— заметил Ник.— Сколько вы прожили вместе, после того как ее освободили?

Горчаков быстро взглянул на него.

— Вы об этом знаете?

— Да, мне говорили. И, как всегда в таких случаях, мне кое-что в вас стало понятнее, но зато напрашиваются другие вопросы.

Горчаков не обратил внимания на этот намек.

— Это было весьма необычное время в нашей истории, которое никогда не должно повториться,— сказал он решительно.— Множеству людей оно обошлось чересчур дорого.

— Я был бы переполнен ненавистью, если бы что-либо подобное случилось с человеком, которого я люблю.

— Я и был переполнен ненавистью,— твердо сказал Горчаков.— Откуда вы взяли, что у меня нет ненависти? Я всю свою жизнь буду ненавидеть то зло, которое вошло тогда в нашу жизнь.

— Но все же вы работаете...

— Вам, наверно, не понять, как все это с нами было. Почему я не должен работать? *Вы* же работаете, а ведь сознаете вы это или нет, но вы тоже полны ненависти, хотя и другого рода. И эта ненависть так сильна, что почти парализует вас. Я свою ненависть направил на нечто определенное. Я ненавидел зло, те конкретные дела, которые творились у нас в стране, и людей, которые их совершали. Я ненавидел зло, которое так меня страшило. Для человека с чистой совестью так унизительно все время чего-то бояться! Но вы должны понять, что наряду со злом было много хорошего. И хорошее не делалось хуже оттого, что рядом существовало плохое, так же как и плохое не становилось лучше от соседства с хорошим. Жить в согласии с самим собой — вот в чем нельзя было идти на уступки. Часто и в мое нутро заползал червь страха. Изо дня в день я ждал, что меня могут арестовать. Я не был уверен, что дело, которое начато утром, не придется прервать к вечеру. Засыпая, я всегда мог ожидать, что ночью меня поднимут с постели.

— Как же вы могли так жить?

— А как живете вы там, у себя? Я жил потому, что в душе был уверен: настанет время, когда все это кончится. Что бы я себе ни говорил, какая бы ярость во мне ни бушевала, эта уверенность пропитывала все мое существо, как кислород пропитывает землю, по которой мы ходим. И я оказался прав. Она вернулась, и пусть мы прожили с ней только год, все же у нас был хоть этот год. И если того большого, что

было у нас с нею, уже не может быть у меня ни с какой другой женщиной, что ж, пусть будет меньшее. Ненамного меньше,— упрямо добавил он.— Но точно такого же быть не может и не должно.

Раздался телефонный звонок, и Горчаков вскочил из-за стола.

— Слава богу! — по-русски воскликнул он.— Наконец-то!

Телефон находился в передней, поэтому до Ника доносилась лишь неясная скороговорка. Через несколько минут Горчаков стукнул трубкой о рычажок и вошел в комнату, нахмуренный и мрачный.

— Коган не приехал, прислал кого-то вместо себя. Они не узнают, что с ним, пока не доберутся до станции, то есть до завтрашнего утра. Но, может, дорога займет и больше. В горах сильный буран.

— А если он не в состоянии работать?

Горчаков бросил на него острый взгляд.

— Тогда придется ехать кому-нибудь другому.

— Кому же?

— Кому? — сухо повторил Горчаков.— Мне, разумеется. Само собой,— продолжал он, тщательно выбирая слова,— это значит, что мы будем вынуждены отказаться от наших планов. Или же я тут договорюсь о том, чтобы вы продолжали работу в мое отсутствие, если вы все еще намерены остаться.

Ник умышленно промолчал, затягивая паузу: мысль о том, что его опять хотят отстранить, привела его в холодное бешенство. Он выждал, пока Горчаков не взглянул на него.

— Я остаюсь,— сказал Ник.

— Как вам угодно.

— И я хотел бы поехать с вами.

— В горы? Это невозможно.

— Вы обещали показать мне станцию. За этим я и приехал.

Горчаков развел руками, как бы желая сказать, что настаивать бесполезно.

— Ведь вы обещали,— бесстрастно сказал Ник, решив не сдаваться.— Это для меня очень важно. В вас чувствуется та уверенность, которую я уже утратил. А мне она необходима.

— Уверенность? — Горчаков окинул его злым, но недоверчивым взглядом.— Вы в своем уме? У меня вот-вот полетит к чертям вся моя трехлетняя работа, а вы толкуете о какой-то уверенности.

— Да. Потому что, как бы ни сложились обстоятельства, вы не отступитесь и вас не остановишь.

Горчаков раздраженно махнул рукой.

— Вы не сможете работать в тамошних условиях,— сказал он.— Предупреждаю — обстановка там далеко не комфортабельная.

— Да кто гонится за комфортом, черт возьми? То, чего я ищу, в миллион раз важнее, и вы это знаете!

Лицо Горчакова чуть смягчилось, но через секунду опять стало суровым.

— Я поговорю о вас,— сказал он, но тон его не обещал ничего, кроме отсрочки отказа.— Завтра поезжайте в Дубну, посмотрите циклотрон и лаборатории. Это я могу устроить без особого труда — два-три телефонных звонка, и все. До Дубны всего восемьдесят миль на машине; там будут рады повидаться с вами и поговорить. Давайте денек отдохнем друг от друга. А когда вернетесь, я уже получу ответ насчет вас.

— Тот ответ, который вы мне в свое время обещали?

— Я вам ничего не обещал. Но вы должны помнить,— сказал он с внезапным гневом, который, видимо, подавлял в себе много дней,— вы

должны помнить — если вы поедете, то поедете работать. И ни за чем больше. Только работать.

— Что же там может быть, кроме работы?

— Валя,— резко сказал Горчаков.

— По-моему, нам сейчас не стоит говорить о Вале.

— Нет, стоит,— настойчиво сказал Горчаков.— Я *должен* говорить о ней. Она — молодая девушка, вот в чем дело. У нее нет опыта, который мог бы подсказать ей, как вести себя с таким человеком, как вы. Это не мое дело, но вместе с тем все-таки мое. Я за нее в ответе. Послушайте! — вдруг вспыхнул он, и в голосе его слышалось: *я люблю ее, люблю,* но произнес он совсем другие слова: — Эта девушка еще нигде не бывала, ничего не видела. Вы объездили полмира. Для вас сейчас, кроме вашей работы, ничто не имеет особого значения. Разумеется, очень приятно проводить время в обществе красивой девушки, но ведь вам все равно, видитесь вы с ней или нет. А для нее это значит очень много. Она впечатлительна, ее надо оберегать. Она...— он оборвал себя и устало потер рукою лицо.— Ах, да к черту! — сказал он по-русски.— Простите, я погорячился. Но, видите ли, я обязан все замечать...— Он положил руку ему на плечо.— Слушайте, друг мой, вы должны меня извинить. Я немножко расстроен; мне еще надо звонить в несколько мест. Завтра утром за вами заедет институтская машина и отвезет вас в Дубну. Постарайтесь выехать в семь тридцать, самое позднее — в восемь. К вашему возвращению, как я уже сказал, будет получен ответ.— Тон его совершенно изменился и стал приветливым.— И еще вот что: могу сказать вам, что у нас *есть* физики, своими глазами видевшие атомный взрыв, и это *не* вселило в них отчаяния. Нисколько!

Ник покачал головой.

— У меня на родине тоже есть такие физики,— сказал он.— Но я знаю только, какое впечатление это произвело на меня и каково сознавать, что ты помогал этому делу. Что касается Вали, то я решительно отказываюсь говорить о ней и моем отношении ко всему этому и могу сказать только одно, Митя: я хочу поехать в горы, чтобы работать вместе с вами. Работать, вот и все!

— Ладно, Ник,— спокойно ответил Горчаков.— А я могу сказать, что постараюсь... И я *действительно* постараюсь!

(Окончание следует)

Очерки

Элфред Хатчинсон

ПУТЬ В ГАНУ

Перевод с английского С. Майзельс, Ю. Полякова

В этом номере мы печатаем главы из книги южноафриканского писателя и журналиста Элфреда Хатчинсона «Путь в Гану». Хатчинсон — активный участник национально-освободительного движения, один из 156 прогрессивных деятелей Южно-Африканского Союза, обвиненных в государственной измене за выступления против правительственной политики «апартеида» (расовой дискриминации). С описания одного из заседаний этого нашумевшего судебного процесса «изменников» и начинается книга. На этом заседании обвинитель под давлением фактов и неопровержимых доказательств был вынужден снять сфабрикованное обвинение, с тем чтобы, изменив формулировки, подготовить новое. Но Хатчинсону, освобожденному на поруки, удалось бежать из ЮАС в Гану.

Посвящается борцам за свободу Южной Африки

I

Я насторожился. Сейчас произойдет что-то важное. Я невольно подался вперед, чтобы не пропустить ни слова. Адвокат Мэйзелс поправил мантию, и баритон его загудел на весь зал. Прокурор Пайроу, сдвинув косматые брови, пилил воздух скрипучим пронзительным голосом.

— Если наше требование не будет удовлетворено,— говорил Пайроу,— что ж, мы снимем выдвинутое обвинение, но предъявим новое.

Джек Ходсон, мой сосед по скамье подсудимых, толкнул меня в бок. Я обернулся.

— Есть при тебе что-нибудь такое, что надо спрятать от полиции?

В бумажнике у меня лежала маленькая фотография. Хейзл — белая, но я не думал, что это может иметь значение.

— Нет, ничего.

Напряжение нарастало. Другие подсудимые тоже подались вперед, кто-то всей тяжестью навалился на меня сзади.

— Если наше требование не будет удовлетворено, мы вынуждены будем опровергать один за другим все доводы защиты, а, откровенно говоря, мы сейчас не готовы к этому.

Судья Рампф:

— Генеральный прокурор, по-видимому, не вполне учитывает, что изменнические действия, инкриминируемые обвиняемым, имели место в мирное время и не сопровождались бунтом или применением насилия.

Тренгров начал отвечать защите. Пайроу встал. Тренгров сел.

— Внося поправки к обвинительному заключению, мы хотели сократить судебную процедуру, но, к сожалению, обстановка сложилась иначе. В таком случае, от имени генерального прокурора снимаю обвинение.

— Слушание дела откладывается.

Минута напряженной тишины. И все вдруг заговорили. Мы толпой двинулись к выходу, и я с тревогой подумал о фотографии в бумажнике: ведь полиции не миновать.

Мы остановились перед зданием суда, ожидая, когда нас снова возьмут под стражу. Полицейские, как всегда, были на своих местах, но нас никто не тронул. Мои товарищи собирались группками. Я подходил то к одним, то к другим, а группки то распадались, то возникали вновь. Со всех сторон слышался один и тот же вопрос и один и тот же ответ: никто ничего не знал. Может быть, мы свободны, а может быть, и нет.

Я повернулся и стал смотреть на здание суда — на Старую синагогу, с ее куполами, башнями и звездами царя Давида. Потом поглядел на кучку европейцев у остановки автобуса. Они тоже разглядывали нас, толпу «изменников» — белых и черных.

— Как, по-твоему, Хатч, что происходит? — спросил Пэт Молаоа.— Что все это значит?

— Я и сам не знаю.

Полиция так нас и не задержала. Я не заметил, как очутился рядом с Рут Ферст, для которой не успел написать обещанную статью. Но сейчас ей было не до того. Время шло, и люди понемногу начали расходиться. Некоторые, недоуменно разводя руками, двинулись на Проус-стрит в англиканскую миссию, я пошел вместе с ними и сам тоже только руками разводил.

Я оглянулся. На мостовой перед Старой синагогой не осталось ни души. Даже полицейских.

Мы снова сошлись за завтраком в саду англиканской миссии, под небом цвета голубой джакаранды *. Отец Марк Най, женщины, добровольно стряпавшие для нас, многочисленные друзья — все задавали один и тот же вопрос: конец это или не конец?

Двухлетний Дэйвид, как всегда, крутился возле нас, предлагая сигареты: «Тебе. И тебе. И тебе». Его щенок Брюс ковылял за ним по пятам.

Отец Най произнес краткую речь. Он сказал, что рад был познакомиться с нами и узнать нас ближе. Даже подумать странно, что мы больше не придем завтракать в миссию. Но как все-таки хорошо, что обвинение снято!

И в ответ профессор З. К. Мэтьюс от всех нас поблагодарил отца Ная за гостеприимство, а его добровольных помощниц за неутомимые хлопоты Он выразил признательность всем и каждому, кто хоть чем-нибудь старался облегчить нам эти тяжелые месяцы, и особенно горячо благодарил членов Фонда защиты обвиняемых.

Адвокат Джо Слоуво, один из белых подсудимых, встал на скамейку и объявил, что приглашает всех вечером к себе, чтобы отпраздновать знаменательное событие. Раздались аплодисменты.

А потом все собрались под деревом и запели «Nkosi Sikelela i-Afrika» — «Боже, спаси Африку» **. Мы пели, и я видел, как плачет Лилиан Нгойи: поет и плачет, и слезы капают на землю. И я отвернулся и стал смотреть вверх на джакарандовое небо.

«Mayibuye i-Afrika!» — «Вернись к нам, Африка!»

* * *

Тряская полицейская машина с «изменниками» медленно ползла по знакомым местам сорок с лишком миль от Претории до Иоганнесбурга. Вторая тряская полицейская машина медленно тащилась следом. Я пытался представить

---

* Пахучее дерево, цветущее голубыми цветами.

** Автор часто употребляет выражения на африкаанс — языке потомков голландских поселенцев — и переводит их тут же в тексте.

себе, что я уже не подсудимый № 7, что этот номер остался позади, на скамье в зале суда.

Автобус гудел от разговоров: всех ошеломил неожиданный исход процесса. Неужели мы свободны, совсем свободны после этих двух лет? Многие с сомнением качали головами. Я повернулся к своему другу Дьюме Нокве — он сидел рядом, склонив набок свою большую голову, и его безмятежное лицо напоминало лицо ребенка. Он-то уж должен знать, он адвокат.

— Что все это значит, дружище? — спросил я.

— Трудно понять,— сказал он устало.— Юридически мы свободны — пока не состряпают новое обвинение.

— Пусть я грубый неотесанный парень,— втолковывал кому-то Джо Матлу.— Но когда ты со мной говоришь, не забывай, что я тебе не простой дикарь.

— Джо опять за свое,— улыбаясь, сказал Дьюма.

— Споем, ребята! «Izokunyathela i-Afrika».— Уолтер Сисулу пытался перекричать шум.

Взлетела песня, полная предостережений, песня, предвещавшая страшные кары. Африка растопчет тебя, Фервурд. Африка тебя покарает. Так карает врага африканский слон. Мы пели эту песню для Малана. Он ушел в отставку. Мы пели ее для Стриджцома. Он умер. Теперь премьер — Фервурд, и мы поем для него. Берегись, Фервурд! Мы пели эту песню в «Кампанию неповиновения», когда демонстративно нарушали закон и шли за это в тюрьму. Мы пели ее во время процесса и поем теперь, когда процесс позади.

— Надо отпраздновать, ребята! Дайте только в город попасть! Кто со мной?

Роберт Реша, толстый и добродушный, «звезда» нашего процесса, суетился: ему не терпелось устроить репетицию вечеринки у Джо Слоуво.

— Это невероятно, дружище! — продолжал Дьюма.

— Уму непостижимо,— отвечал я, не находя слов,— целых два года... и вдруг сразу... словно ребенок сломал игрушку.

Дьюма смотрел в окно на знакомые места, на волнистые степи и randjies (горы). А я, глядя на него, думал о том, какой длинный путь мы прошли плечом к плечу. Он, я и Генри Гордон Макготхи — Сквайр. От школ, где мы вместе учительствовали, через тюрьму во время «Кампании неповиновения», до скамьи подсудимых на процессе, который только что закончился.

— Надо пойти проведать Сквайра, дружище,— сказал Дьюма, отрывая взгляд от степей и гор.

— Я тоже о нем думал.

Во время процесса Сквайр заболел туберкулезом, и его отправили в больницу. Прокурор снял с него обвинение, словно туберкулезным больным разрешалась государственная измена.

Через час я увижу Хейзл. Может быть, она уже знает, что я свободен, что бесконечный процесс пришел к концу. И я уеду в Гану. Но здесь, в тряском, медленно ползущем автобусе, Гана казалась далекой, такой далекой, что туда и спешить-то нечего.

В машине бушевал юридический спор. После двух лет процесса все мы сделались «законниками». Джо Матлу по-прежнему уверял кого-то в том, что он прост и неотесан. И я вспомнил его постоянные стычки с разъяренной полицией, которые и восхищали и пугали меня в начале процесса.

— Afrika! Afrika, Mayibuye! При жизни наших женщин! — Голос Лилиан перекрыл шум, и все смолкли.— Diy atshisua. Они жгут пропуска! — И Лилиан Нгойи завела песню.

Горят пропуска... Жгут свои пропуска женщины Свободной Оранжевой республики... Вместе с ними Лунхеле и Мандела, Томбо и Нокве, адвокаты, члены Конгресса * и многие другие черные и белые... Это была песня в духе Лилиан,

---

* Африканский национальный конгресс — прогрессивная национальная организация, борющаяся за демократические права.

яростной феминистки. Сама борец, она приветствовала женщин, борющихся за свои права. Лозунг Конгресса — «Свободу Африке при жизни нашего поколения» — она по-своему переделала на «Свободу при жизни наших женщин!»

И я вспомнил, что совсем недавно Лилиан плакала, плакала и пела под небом цвета джакаранды.

Мозес Котане говорил о развалинах Зимбабве, подробно излагая различные теории их происхождения. И странно звучал в этой тряской, еле ползущей машине, среди пения, юридических споров и тревожных догадок рассказ о судьбе древних руин.

— Конечно, это наши постройки,— закончил он.— Не удивительно, что те, кто у власти, хотят отнять у нас право называться их создателями.

Так на обратном пути в Иоганнесбург спорил, смеялся и пел автобус.

А там я пересел на десятый номер и поехал в Парктаун к Хейзл.

* * *

— Ты свободен! Понимаешь — свободен! — сказала Хейзл. Я боялся, что она заплачет, но она умела быть сильной.— Это просто замечательно! Теперь мы можем уехать в Гану, и никто не скажет, что ты побоялся предстать перед судом.

Как долго пришлось ей ждать этого дня. За прошедшие месяцы она похудела и осунулась. Последние два года достались ей, пожалуй, труднее, чем мне самому. Я сидел и слушал все, что говорилось в суде. В шесть утра садился в поезд, затем восемьдесят с лишним миль трясся в автобусе. Целые дни я был занят «делом». А она все ждала и ждала. Два года сидела без работы, стараясь отогнать призрак нищеты.

— Свободен. Но мне все еще не верится... Мне все мерещится номер за спиной на скамье.

— Но это правда! Смотри...— и она указала на газету «Стар», которую я держал в руке.— Ты свободен! Свободен!

— Не чувствую. Наверно, забыл, что это такое. Все так неопределенно. И никто не знает, что нас ждет. Может быть, они выдвинут новое обвинение.

— Как это долго тянулось!

— Да, очень.

Груз этих лет словно придавил меня, и я опять не видел ничего, кроме тревог и сомнений.

— А конец был довольно жалкий. Речь Пайроу произвела впечатление разорвавшейся бомбы: все бросились врассыпную. А Лилиан заплакала,— сказал я.

— Как это долго тянулось!

Последние месяцы перед началом процесса были ужасны. Вообще с тех пор как мы познакомились, нас терзали постоянные страхи. А последний месяц был настоящей пыткой. Полиция нас выследила. Хейзл арестовали у меня в доме, и мне пришлось одному возвращаться в Иоганнесбург. Некоторое время мы совсем перестали видеться. Это было слишком опасно. Один из наших друзей, адвокат, не советовал встречаться даже днем, при открытых дверях. Нас могли обвинить в нарушении «Закона о нравственности». Я замечал, что вокруг все время крутится полиция. А однажды меня до самого дома Хейзл провожал какой-то африканец, явный шпик.

Агенты Особого отдела рыскали по всей округе, расспрашивали соседей Хейзл и показывали ее фотографию. Они пришли к ней домой и учинили настоящий допрос. Агенты заявили, что пришли по поручению Министерства внутренних дел, которое интересуется ею. В Южной Африке, сказали они, белые, особенно белые женщины, не общаются с чернокожими. Может быть, ей это не-

известно — ведь она из Англии. Удивительно, как это она рискует открыто встречаться с «коммунистами» и «изменниками» и посещать собрания и митинги протеста. Каковы ее политические убеждения? Ах, она не состоит ни в какой партии, тем более странно, что ее знакомые, например Майкл Хармел, — коммунисты, что она преподает в коммунистической Центральной индийской средней школе. Уходя, агенты Особого отдела оставили свои фамилии и телефоны на случай, если она пожелает «сделать официальное заявление». Они сообщат в министерство сведения о ней и свои выводы. Они не сказали, какие именно сведения и выводы имеются в виду.

* * *

Улица Менделссон-Роуд перед домом Джо Слоуво и его жены Рут Ферст была запружена машинами. Веселый гул празднества становился все громче и выплескивался на улицу. В доме находилось оолее двухсот человек разных национальностей и цвета кожи. Кроме девяноста бывших подсудимых, здесь собралось большинство из тех шестидесяти, которых освободили раньше. И это не считая членов Конгресса, представителей либеральной партии и Института расовых отношений.

Пришли и некоторые из наших защитников. Из угла доносился баритон Мэйзелса — «Майселы», как называли его африканцы. Фишер, как всегда, стоял рядом с женой, розовый и ангелоподобный. Коукер, Кентридж, Николас, Уэлш... Николас в обычном костюме, без мантии, выглядел чуть-чуть застенчивым и похожим на школьника.

Один белый полицейский как-то признался, что он готов подать в отставку, только бы не связываться с адвокатом Берренджем. Я искал Берренджа, но не мог найти его.

— Может быть, нас и повесят, — шутил Роберт Реша, — но защищали они нас на славу.

Долгие месяцы, пока тянулся процесс, друзья неустанно боролись за нас: их ум, воля, терпение, труд — вот что принесло нам победу.

Ко мне подошла Рут Ферст — мой друг, учитель и хозяйка дома. Она сразу перешла в наступление:

— Как часчет статьи, Хатч? Это срочно. Кончай скорей.

Итак, снова жизнь: Рут, и «Файтинг ток» *, и статьи, и извинения за то, что подвел. Вместе с Хейзл я отошел от Рут, и бродил, и терся среди людей, как кошка трется спиной о милые, знакомые предметы.

Я отыскал Майкла Хармела, одного из своих белых друзей; как водится, мы долго хлопали друг друга по спине, а потом забрались в уголок, чтобы наговориться всласть. Когда-то мы с ним написали пьесу «2005» о «Хартии Свободы», которая стала краеугольным камнем обвинения на процессе о государственной измене. Увы, единственный экземпляр пьесы остался в Особом отделе, и мы не знали, как его оттуда выцарапать.

А потом, стараясь не толкаться, я пробирался среди болтающих и танцующих людей и наскочил на Исси Хеймана, бывшего владельца мастерской по ремонгу часов и велосипедов. Он дважды дарил мне невостребованные часы, и оба раза их у меня крали. И опять он сказал — он всегда это говорил, — что я напоминаю ему одного из героев Горького.

Все лучшее, что было во мне, я отдал Хейзл. И я знал, что это хорошо. Я отдал ей свою страсть, ненасытное желание считать ее своей, только своей, сберечь и защитить. И я знал, что это тоже хорошо.

Меня называли Отелло. Ну и пусть! Так и должно быть, это и есть жизнь!

— Нам будет очень недоставать этих хороших людей, — сказала Хейзл.

---

* Прогрессивный журнал, издающийся в ЮАС.

Все говорили, что демократия одержала победу. Даже если власти выдвинут новое обвинение, снятие старого — большая победа демократических сил в стране. Победа тех, кто хотят, чтобы в Южной Африке все народы были свободны и равны. «Izokunyathela i-Afrika»: Африка растопчет тебя, раздавит, уничтожит... Как африканский слон, несущий смерть своему врагу...

В комнату через окно вскочил какой-то белый. За ним второй, третий. Один из них прыгнул на стол; размахивая руками, визжа и кривляясь, он наводил на нас объектив фотоаппарата. Я оттолкнул от себя Хейзл. Вспышки блицламп следовали одна за другой. Он вопил и гримасничал, поминутно откидывая со лба волосы. Потом в комнату ворвался вооруженный отряд белых полицейских. Расталкивая толпу, они пробивались к нам. Высокие, мускулистые, с холодными глазами и плотно сжатыми губами. И я физически, всей кожей, вдруг почувствовал холод пистолетов, болтавшихся у бедер этих полицейских.

— Не толкайтесь! — повторял Фред Карнсон.— Не толкайтесь!

— Друзья,— сказал Джо Слоуво, вставая на стул,— прошу сохранять спокойствие. Полицейские пришли по долгу службы.

Полиция заявила, что это обычный обход: проверка, не нарушен ли закон, запрещающий продажу чернокожим спиртных напитков «только для белых».

Вот она, Южная Африка.

II

У меня оборвалось сердце. От безнадежности бросило в жар. И сразу пришла невероятная усталость. Я снова перечитал газетные строки. Ошибки быть не могло: нас просто выпустили на поруки. Мне сразу же захотелось возражать, спорить с газетой. Какие могут быть поруки, когда обвинение снято?

И бремя процесса, упавшее было с плеч, легло на них новой тяжестью. Долгие месяцы предварительного следствия в Дрилл Холле. Бесконечная вереница свидетелей. Бесконечные документы. Бесконечные вещественные доказательства. Бесконечный поток слов. Лавочники, мясники, учителя, монахини выступали свидетелями, давали показания и уходили своей дорогой. Показания давал и знаменитый главарь гангстеров — африканец, не скрывавший, что убил своего предшественника; и осужденный за подлог Мгубази, которого привезли в суд прямо из тюремной камеры и который под перекрестным допросом признался, что жил обманом и мошенничеством. Офицер службы безопасности из Кении говорил на суде о мау-мау, летчик, побывавший в плену во время войны в Корее, говорил о коммунистической пропаганде. Мы не понимали, какое все это имеет к нам отношение. Профессор Меррей, привлеченный прокуратурой в качестве эксперта, объявил коммунистическими все речи и все документы; он дошел до того, что назвал коммунистической даже свою собственную статью, написанную за несколько лет до того... Все эти люди ушли своей дорогой и вернулись каждый к своему делу...

И вдруг судебные заседания перенесли из Дрилл Холла в Иоганнесбурге в Преторию, в здание Старой синагоги. Подъем затемно, ранний поезд, чтобы поспеть к «полицейской машине», и долгие часы в суде. Затем обратный путь и к ночи — возвращение. И так изо дня в день.

Тиски процесса сжимались. Нищета, тревоги и мучительное ожидание развязки выматывали все силы. Порой мне казалось, что всех нас высадили на необитаемом острове, перенумеровали и забыли о нашем существовании; что, пока процесс кончится, мы состаримся и никому не будем нужны. А прокурор снова вызывает свидетеля, на этот раз какого-то польского ксендза, «специалиста по коммунизму», и мы должны сидеть и слушать, как зачитывают тома его бесконечных показаний.

Я отрицательно покачал головой. Этого не может быть. Газета ошиблась. Скоро мы услышим что-нибудь более определенное, узнаем правду о своем положении, узнаем, что мы действительно свободны.

— Уезжай теперь же! Немедленно! — говорила Хейзл.

— Я уеду...

— Чего ты ждешь?

— Я уеду, но...

— Мы слишком долго медлим... Почему ты не едешь? В делах людских есть свои приливы и отливы... Ехать нужно немедленно!

— Я еду. Ты же знаешь, что еду... Подождем еще несколько дней и посмотрим, что будет. А вдруг...

— Что вдруг? Обвинение снято — это самое важное. Чего же еще ждать?

— Ты знаешь, что я еду, что я не могу не ехать. Но, может быть, они официально объявят...

— Обвинение снято. Уезжай, пока не сфабриковали новое. Пока они не пришли в себя. Сейчас самое время. Я это сердцем чувствую.

Хейзл вся дрожала. Она ломала руки и металась по комнате. Она, казалось, обезумела. Я понимал, что ее мучит. Неужели я откажусь от всех наших планов и решусь остаться?

— Ты же знаешь, что я еду. Ты же знаешь, что иначе быть не может.

— Деньги я достану. Может быть, удастся достать побольше. Ты должен ехать сегодня, сейчас.— Словно платье с плеч, спало напряжение.— И тогда мы будем вместе.

— У меня нет документов. Этот тип больше не появляется.

— Сходи к нему. И уезжай. Если не сегодня, то завтра!

Мы долго искали путей, чтобы выбраться из Южно-Африканского Союза. Порты закрыты, и Особый отдел строжайшим образом проверяет каждого, кто покидает пределы страны. Лицо, «подозреваемое в измене», не может рассчитывать, что сумеет выехать обычным путем. В 1953 году целой группе наших удалось скрыться через «черный ход». После этого ввели закон, запрещающий коренным жителям выезд из страны без особого разрешения.

Я пришел к выводу, что единственный путь, ведущий в Гану, лежит на север, в глубь страны. Этой дорогой из Родезии в Ньясаленд всегда двигались в поисках работы тысячи шахтеров. Когда Вузумузи Маке, одного из шестидесяти двух оправданных, выселили из дома, он ускользнул из Южной Африки, переодевшись шахтером.

Возможно, что они и здесь поставили охрану, но если повезет, то, имея документы, можно снова использовать эту лазейку.

Собрать документы было чертовски трудно. У меня уже скопилась целая коллекция налоговых квитанций от властей Северной Родезии, Танганьики и Кении. Одни говорили, что для выезда из Южно-Африканского Союза не нужно никаких документов, другие считали, что документы необходимы. И только совсем недавно я случайно наткнулся на человека, который за два фунта обещал снабдить меня нужными бумагами.

Я сказал, что уезжаю в Гану, и тогда Африканский национальный конгресс избрал меня делегатом на Всеафриканскую конференцию в Аккре. У меня было достаточно времени, чтобы прибыть в Гану до начала конференции, назначенной на 5 декабря. Там будет Нтсу Мокхехле из Базутоленда, и мы с ним сможем обсудить все вопросы. Долгие месяцы я старался приучить себя к мысли о том, что буду жить вдали от друзей и от освободительного движения. Но тоска расставания овладела мной.

Я уезжал. Утром и вечером я бродил в толпе, как бы пожимая людям руки в час расставания. Я не мог наглядеться на грязные личики ребятишек, копавшихся в песке на улицах африканских кварталов. Даже голые, изъеденные рытвинами отвалы пустой породы возле шахт были мне милы.

А шахта «Нью Кэнэда» и огни на озере, уныло мигавшие под зловещей паутиной переплетов буровой, вновь пробуждали в душе мимолетное ощущение

чего-то близкого, давно забытого. Все это я увозил с собой вместе с пышным великолепием заката на равнинах.

Я уезжал, и мне захотелось проститься со школой, где я работал и где впервые встретил Хейзл. Люди сидели в коридоре, во дворе, в классах, учились, жались по трое на партах. Три года Центральная индийская средняя школа вела жестокую борьбу за свое существование. Это уже стало традицией.

Школу открыли в 1955 году в знак протеста против «Закона о расселении расовых групп». Внезапно, без всякого предупреждения, все индийские средние школы в городе были закрыты. Детей заставляли посещать школу, выстроенную в двадцати милях от Иоганнесбурга, в Линезии. Власти рассчитывали, что если удастся переправить в Линезию детей, то за ними последуют и родители. Однако индийская община, боясь разорения, дружно бойкотировала Линезию и новую школу.

Наша школа начала свое существование очень бурно. Мы жили точно в кошмаре. Но постепенно буйные ученики из закрытых школ утихомирились, и начались нормальные занятия. Пусть неохотно, но дети примирились с мыслью о том, что Центральная индийская средняя школа — такая же, как и все.

Первый директор школы Майкл Хармел впервые в истории страны подобрал штат, в котором индийцы, цветные, африканцы и европейцы работали все вместе.

В школе преподавали преследуемые властями руководители борьбы за освобождение, в том числе сам директор, Молли Фишер, Мэрви Тендрей и Дьюма Нокве, в то время изучавший право. Однако со временем всем им пришлось уйти. Особый отдел устраивал налеты на школу, но это оказалось пустяком по сравнению с другими трудностями: не было ни денег, ни помещения, ни оборудования.

Учителя с тревогой ждали конца каждого месяца. Будет ли зарплата? И на лице Мусаджи, преемника Майкла Хармела, всякий раз появлялось кислое выражение. Иногда деньги платили, но чаще их не бывало.

Учителя и учащиеся жили дружно, между ними существовал безмолвный уговор о взаимной выручке. Учителя покрывали драки между нашими мальчиками и учениками соседней Иоганнесбургской индийской средней школы. Как-то раз Дайзу Путини арестовали за переход через железнодорожные пути. Тогда школьники собрали деньги, уплатили штраф, который полагался после «признания вины», и наш невозмутимый Дайза вернулся в школу. Подражая своему невозмутимому учителю, они сохраняли спокойствие в тот день, когда полиция арестовала Дайзу в классе, обвинив его в подстрекательстве рабочих к забастовке во время кампании бойкота выборов.

Когда меня тоже арестовали в школе и вели через двор, учащиеся провожали нас криками: «Африка!» Потом некоторые из них навестили меня в крепости, где нас держали две недели,— это был счастливый день! В школе у меня осталось много друзей. Некоторые из них поступили в университет в Уитуотерсрэнде, другие уехали учиться за границу. На процессе в поисках улик не раз ссылались на нашу школьную газету.

Меня арестовали, а Хейзл в это время пришла работать в школу. И как-то раз во время перерыва в заседаниях суда я зашел в школу и встретил ее там.

И вот теперь я уезжал. Годы, проведенные в Центральной индийской школе, были лучшими годами моей жизни. Они меня многому научили: ведь у нас, в Южной Африке, люди разных рас остаются друг для друга чужестранцами.

* * *

Хейзл дала мне двадцать фунтов, которые заняла у друзей. Я медленно пересчитал деньги и спрятал в бумажник вместе с документами. По паспорту я был теперь Элфред Пири, уроженец Ньясаленда, возвращавшийся на родину. Мне сказали, что для переезда через португальскую территорию нужно иметь

разрешение. Его можно получить либо в Иоганнесбурге, либо в Солсбери. Я предпочел, чтобы документы были в порядке с самого начала.

— До Блэнтайра тебе хватит,— сказала Хейзл.— А к концу месяца, когда встретимся, я постараюсь добыть еще.

— Поезд отходит в 6.45?

— В 6.45. Когда я справлялась, этот африканец все время называл меня «мадам»...

Теперь, когда я уезжал, меня вдруг охватила тревога. Хейзл снова развернула карту. Вот далеко на севере — Блэнтайр, условленное место встречи, а на другом конце континента — Гана, наша конечная цель. Хейзл запросила у Ганы разрешение на въезд, но ей отказали. Она собиралась послать новый запрос.

— Главное — не потерять друг друга. Это было бы самое страшное. И не забудь: «Рождество» — это значит «Гана». «Ребенок здоров» — все идет хорошо. «Ребенок болен» — дело застопорилось.

Я послушно повторял условный код, хотя давно знал его назубок. А впереди еще целое утро и такой длинный день. Вещи уже упакованы. Осталось лишь получить пропуск через португальскую территорию и дожидаться вечера.

— До свидания, родная.

— До свидания.

III

Рядом с «бьюиком» резко затормозила маленькая быстроходная машина. Из нее выскочили Шарп, Табете, Моллсон, Дунга и Холберг и окружили машину, в которой сидели мой брат Джордж и я. Я глубоко вздохнул и невольно закусил губу.

— Особый отдел,— проговорил Джордж, и лицо его на мгновение стало пепельно-серым.

— Я говорил, что это машина Хатчинсона,— сказал Холберг,— а вы спорили.

Ужас стучался в мое сердце, но я взял себя в руки.

— Мне надо поговорить с вами, Хатчинсон.

— С удовольствием, сержант Холберг,— усмехнулся я.

Его долговязая фигура втиснулась рядом со мной на переднее сиденье и, сложившись словно перочинный нож, прижала меня к Джорджу, сидевшему за рулем.

— Wie se kar is die? Чья эта машина, Хатчинсон?

— Мупе. Моя.

— Покажите бумаги.

Я вынул паспорт на машину и протянул его.

— Где вы ее взяли?

— Она перешла ко мне от отца, он мне ее подарил.

Холберг полистал бумаги и сделал какую-то отметку у себя в блокноте.

— А ваши документы?

Это было что-то новое. Особый отдел никогда не интересовался пропусками: этим они не занимались. Для этого существовали «отряды невидимых» — тайная полиция и обыкновенные полицейские, одетые в форму. Я взглянул на Шарпа, Табете, Дунгу и Моллсона, они смотрели на меня, как бы не узнавая, и отводили глаза. Я пошарил в кармане и достал «пропуск подсудимого», в котором удостоверялось, что я обвиняюсь по делу о государственной измене.

— Да нет, не то... Настоящий пропуск! — сказал Холберг, отталкивая протянутый документ.— Daardie nerdorate saak is klaar. Ведь проклятый процесс уже кончился.

— Неужели? Вот это новость!..

— Мне нужны ваши документы: пропуск, свидетельство... Любая бумажка, удостоверяющая, кто вы такой.

Я растерялся. Пока шел процесс, «пропуск подсудимого» творил чудеса. Стоило развернуть его, и полиция отскакивала от нас, как от зачумленных. У меня все внутри перевернулось. Неужели они пронюхали, что сегодня ночью я бегу из Южной Африки? Или опять начались массовые аресты? А может быть, это связано с Хейзл? Я с трудом перевел дыхание и взял себя в руки. Меня даже пот прошиб.

Холберг повернулся к Джорджу. Джордж протянул ему выданную местной полицией Хекторсприта справку о том, что он, Джордж,— цветной и в соответствии с «Законом о регистрации населения» должен получить удостоверение личности. Он был «цветной», поэтому обычный закон о пропусках на него не распространялся. Как-то раз его арестовали во время дневной облавы и, продержав ночь в полицейском участке на Маршал-сквер, отпустили.

Холберг повертел справку в руках и вернул ее Джорджу.

— Где живете?

— В Орландо, вместе с Нокве.

— На что живете, чем кормитесь?

— Присматриваю подходящую работу, а Нокве присматривает за мной.

— То есть изворачиваетесь, как можете: занимаетесь контрабандой, мошенничеством, так, что ли?

Он оставил Джорджа в покое и снова повернулся ко мне.

— Пошли, Хатчинсон.

Я выбрался из машины и поплелся с ним рядом к полицейскому автомобилю. Остальные полицейские остались возле нашего «бьюика». Холберг молча повел машину к старому Отделу пропусков, который находился в ста шагах от места, где нас остановили. Мы вышли, и я покорно последовал за ним в мрачное здание.

— Spender Sersant Halberg van die Spesiale tak. Сержант Холберг из Особого отдела,— отрекомендовался он приземистому белому с одутловатым, похожим на луковицу лицом.— Вот задержанный: нет пропуска.

Мне показалось, что они обменялись многозначительными взглядами, и сердце у меня екнуло. Неужели нарочно подстроено? Господи, только бы не Хейзл! Только бы они Хейзл не впутали!

— Я начальник Отдела пропусков. Предъявите пропуск.

Несколько лет назад мне уже довелось встретить этого Эразмуса из Отдела пропусков; он проверял документы в помещении Конгресса, и ему пришлось об этом пожалеть.

— Такового не имею. При себе не ношу.

Я был цветным в полном смысле этого слова. В моих жилах текла белая кровь: дед был англичанин. Но разглядеть эту капельку белой крови было нелегко. Это имело свои преимущества: я мог сойти и за цветного, и за африканца, смотря по тому, за кого меня хотели принять. Правда, цветные относились ко мне довольно сдержанно, а африканцы удивленно поднимали брови, услышав мое «белое» имя.

— А кем вы себя сами считаете, ионг*? Не белым же! Что вы предъявляете, когда полиция требует ваш пропуск?

— Выкручиваюсь кое-как,— ответил я.

— Мне дорого время, ионг,— закричал на меня Эразмус.— Кто вы такой, черт возьми?

— Цветной. Дед был белый.

— Ваш дед нас не интересует... Вы кто такой? — Я смотрел на него. Смотрел прямо в глаза, давая понять, что на испуг меня не возьмешь. Но он не переменил тактики.— Кто ваша мать?

— Африканка.

— Черномазая!

---

* Парень *(афр.)*.

— Африканка.

— Отец матери?

— Африканец.

— My Goeie Here! Великий боже! И ты еще называешь себя цветным! У тебя в жилах слишком много черной крови... Ты кафр! — Он подозвал проходившего мимо африканца.— Мне стоит взглянуть на вас обоих, и я сразу скажу, кто из вас кафр, черномазый...

Я только плечами пожал; африканец пошел своей дорогой. Холберг вмешался в разговор.

— Где вы живете, Хатчинсон?

— В Мофоло.

— А раньше?

— В Александра тауншип.

— И жили с Нокве в Орландо?

— Да.

— Но ведь это все туземные районы?

— Это вы их так называете.

— Цветные не живут в кварталах кафров! — заорал Эразмус.— Ты не цветной, ионг! Пошли! — Он сделал несколько шагов, но ни я, ни Холберг не двинулись с места. Эразмус остановился, задыхаясь от злости.

— У кого вы жили в Мофоло, Хатчинсон?

— У друзей.

— Вряд ли это понравится начальнику в Мофоло.

От злости Эразмус крутился по комнате волчком, но Холберг как будто не замечал этого.

— А где живет ваша черная подружка, Хатчинсон?

— Которая? У меня их хватает.

— И главная из них — кафрская девчонка! — крикнул Эразмус.— Ведь ты сам кафр! Черномазый!

— Вы — член Африканского национального конгресса, притом один из активных,— сказал Холберг.

— Да.

— Кафрская девчонка, кафрская организация... Боже мой! — Эразмус всплеснул руками.— Значит, вы черный.

— Почему?

— По образу жизни и дружеским связям,— сказал Холберг мрачно.— Мне-то известно, что вы цветной, но ваши дружки превратили вас в черного.

— Какое значение могут иметь мои дружеские связи?

— Ты даже не умеешь объясниться на африкаанс,— заявил Эразмус.

— При чем тут африкаанс?

— Ионг, ты прекрасно знаешь, что африкаанс — это язык цветных,— сказал Эразмус.

В ответ я только плечами пожал. Мне надо было выиграть время. Конечно, дело здесь вовсе не в пропуске, подумал я. Тут что-то другое. Холберг обратился к Эразмусу.

— Выдайте ему пропуск... Туземный!

— Kom, jong! — сказал Эразмус, приглашая следовать за ним.

Несколько белых девушек, болтая между собой, разбирали бумаги. Холберг остановился посреди комнаты.

— Хатчинсон, а где ваша белая приятельница? — ухмыльнулся он. У меня все поплыло перед глазами.— Та, за которой вы волочились в Восточном Трансваале! — Он продолжал ухмыляться, и его издевка парализовала меня. Так же глумился голос в телефонной трубке, когда я звонил в Особый отдел, чтобы

узнать о судьбе Хейзл, арестованной в моем доме. Холберг повернулся к хихикающим девушкам.

— А милашку-то он себе белую подцепил!

— Не смейте так говорить! Не смейте! — крикнул я в бешенстве.— Если вы считаете это преступлением, так арестуйте нас.

Холберг снова осклабился. Ему, видно, смешинка в рот попала.

— Именно это я и собираюсь сделать в ближайшие дни — арестовать вас. Вот будет день! Это будет великий день!

Я пошатнулся и ухватился за стул. Неужели они арестовали Хейзл? Не потому ли задержали и меня? Неужели осталось только передать дело в суд? Холберг козырнул и сказал Эразмусу:

— Он нам нужен на Маршалл-сквер.

Это меня добило. Я вцепился в спинку стула. Ноги меня не держали.

Но Эразмус не дал мне сесть.

— Стой прямо, ионг! — крикнул он, и я с ужасом подумал о том, что будет дальше.— Стой прямо... Разве ты не видишь, что здесь есть дамы?

Я заставил себя стоять прямо. На лбу выступал холодный пот, в ушах звенело, по коже бегали мурашки. Меня выручил Эразмус. Он метнулся к столу, торопливо вытащил из ящика бланк и схватил перо.

— Иди сюда, ионг! Я тебя вмиг переклассифицирую *.

Я с облегчением вздохнул.

— Хорошо,— сказал я.

Лучше пропустить поезд в Гану. Попасть под суд за связь с белой женщиной куда ужасней.

— Вы разрешите мне повидаться с родными?

Может быть, я еще успею на поезд и вырвусь на свободу. Кругом стена, но если найдется хоть крошечная щелочка, я сумею ускользнуть.

— Ты кафр! Черномазый! — вопил Эразмус.— Тебе нужно выдать такой же пропуск, как у всех кафров.

— Пожалуйста,— ответил я,— но вы должны понять, что это вызовет осложнения у нас в семье: отец уже получил удостоверение личности цветного, и братья тоже скоро получат.

...Крошечную щелочку, один день передышки, и я вырвусь, и им некого будет переклассифицировать... Мне снова показалось, что Холберг и Эразмус многозначительно переглянулись. Пусть попробуют заставить меня пройти регистрационные тесты — им это не удастся. Никогда я не дам втыкать себе в волосы карандаш и не стану наклонять голову, чтобы видно было, упал он или остался торчать в волосах. Я не позволю тереть себе кожу, чтобы проверить, не выступят ли племенные знаки. Я не позволю им мять и тискать мой нос, чтобы установить, «цветной» он или африканский. Я не позволю щипать себя за уши и не стану отвечать на их вопросы. Я не желаю знать никаких «антропологических тестов» Отдела пропусков, сколько бы их ни было. Я сказал им, кто мои предки,— и будет с них!

Внезапно Эразмус отшвырнул бланк и бросил ручку на стол. Он встал и подошел ко мне. Холберг козырнул.

— Помните, что он должен попасть на Маршалл-сквер,— сказал он.

— Послушай, ионг. Мы даем тебе пропуск! А не хочешь — притянем за отсутствие пропуска и за то, что не платишь налога на туземцев!

Судебная камера Отдела пропусков была набита арестованными. За перилами, разделявшими комнату, полиция департамента по делам туземцев деловито вершила суд и расправу. Она действовала без задержки, быстро и с полным равнодушием. Некоторые из арестованных «признавали себя виновными» — платили штраф и уходили, тех, кто отказывались, в наручниках отправляли в поли-

---

* По «Закону о регистрации» темнокожее население Южно-Африканского Союза обязано было подвергаться унизительной процедуре «классификации».

цейский участок, а оттуда в суд. После суда власти чаще всего продавали их фермерам в кабалу за девять пенсов в день. Во двор все время влетали санитарные машины и «пикапы», выгружали арестованных и снова уносились прочь. Для маскировки полиция ухитрялась использовать санитарные машины, и доверчивые африканцы легко попадались в сети. Так было повсюду: в Иоганнесбурге, в полицейских участках по всей Южной Африке.

Холберг и Эразмус протолкались к барьеру.

— Предъявите ему обвинение в отсутствии пропуска и в неуплате налога с 1944 года.

Сержант африканец взглянул на меня и приказал стать к стене. Холберг и Эразмус исчезли. Меня охватил ужас одиночества. Если бы я мог подать весточку друзьям — Уолтеру Сисулу и Дьюме Нокве. Если бы дать знать о своем аресте Шулламат Мьюллер или Менделе, Тамбо или Берренджу.

Ко мне подошел Соломон Дунга, единственный толковый агент африканец из всех, участвовавших в процессе, и уж наверняка самый толковый из сыщиков, дававших показания.

— Там пришел ваш брат,— сказал он.

— Позовите его сюда. И скажите мне, что вы задумали?

Соломон Дунга еле заметно улыбнулся и вышел из помещения. Мне на глаза попался Моллсон: он вел себя настолько глупо во время процесса, что был просто жалок. Беррендж доставил ему несколько неприятных минут, доказав суду, что Моллсон вовсе не Моллсон: что он не цветной, как утверждает, а африканец, бросивший родителей и тетку. В этой отвратительной шайке он был самой грязной личностью.

Вошел Джордж, напряженно улыбаясь. У него все было в порядке, и он успел связаться с друзьями. Все шло хорошо. Джордж выжидал.

— Я сейчас приведу Берренджа,— громко сказал он.

— Приведи! Прошу тебя! Я не могу терять из-за них столько времени.

Я мельком взглянул на полицейских африканцев, сидевших за барьером. Они все слышали, переглянулись и перебросились несколькими словами. Джордж быстро вышел, делая вид, что взбешен.

— Эй, парень,— сказал сержант африканец.— В чем дело?

— Не знаю. Спросите Особый отдел! — ответил я громко.— Сначала они обвиняют нас в измене, а когда дело у них срывается, арестовывают, придравшись к пропуску! А откуда у нас пропуска, если мы уже два года не работаем. А когда мы предъявляем выданные ими же справки, они не желают их признавать!

Я знал, что моя речь произведет впечатление. Я знал, что они струсят. Ведь если я из компании Берренджа, то со мной шутки плохи. Эта история не понравится Берренджу и остальным «китам» — Мэйзелсу, Фишеру и другим. Я один из тех, кого они защищали на процессе.

— Пусть с ним возится Особый отдел,— сказал сержант, обращаясь к полицейским.— Это они притащили его сюда. А я не желаю связываться с Берренджем.— Сержант поспешил отделаться от меня и умыл руки еще быстрее, чем Понтий Пилат.

Тогда я перешел к угрозам. Я начал произносить громкие слова: Особый отдел поплатится за это; они узнают, что значит хватать невиновных.

Африканский сержант подошел к одному из белых чиновников и начал что-то ему нашептывать, указывая на меня. Я прислушался.

— Ek doen me daardie kan nie! Не я это г... развез! — повторял он, отрицательно качая головой и отмахиваясь.— Пусть Особый отдел сам предъявляет ему обвинение.

В комнату вошел белый полицейский, таща за ворот высокого оборванного человека; он толкнул его прямо к сержанту африканцу, сидевшему за барьером.

— Kyk, die ... skelm! Полюбуйтесь на эту сволочь! — сказал он.— Где ты взял это? Где ты взял, мошенник? — кричал он, набрасываясь на свою жертву, как кошка на мышь.

— Я купил ее,— отвечал тот.— Купил у человека, который продает пропуска. В рассрочку: сначала сделал первый взнос, а потом уплатил остальные — семь фунтов десять шиллингов.

Белый полицейский показывал фальшивую справку об освобождении от налогов всем сидящим в комнате. Это была очень неудачная подделка: фотографию прежнего владельца содрали и кое-как прилепили новую. Края снимка загибались, как старая подметка. Не говоря уже о том, что этому парню никто бы и не поверил, что это его справка: такие выдавались учителям, адвокатам, врачам, клеркам, то есть зажиточным африканцам.

— Неужели ты думал, что полиция поверит этой бумажке? — веселился сержант африканец.

— Да,— ответил тот, очевидно, не понимая, что происходит.

— Из какого ты племени?

— Зулу.

— Ты в этом уверен?

Я тоже подумал, что у оборванца что-то неладно с языком зулу; как говорится, он был с ним не в ладу.

— Может быть, ты из Ньясы или из Родезии?

— Нет. Я зулу,— повторял оборванец.

— Afrika! — раздалось сзади.

— Mayibuye! — невольно отозвался я на условное приветствие Конгресса и обернулся посмотреть, кто со мной говорит.

— Что случилось?— спросил делегат Африканского национального конгресса от Александра тауншип.

— Попал в лапы Особого. А вы?

— Шел платить налог, вдруг меня окликает какой-то белый. Я думал, что это шофер санитарной машины...

— Да, полиция использует теперь санитарные машины. Вас впихивают туда замертво,— вмешался один из арестованных.— А окончательно расправляются в участке Фарадей-стейшн....

— Повсюду одно и то же,— добавил другой.

— Ведь процесс закончен, не так ли? В чем же дело?

— Они требуют у нас пропуска. И не желают признавать свои собственные справки.

— Таковы amabunu (белые)! Они ведь всегда правы.

Арестованные все прибывали. «Пикапы» и санитарные машины то и дело влетали во двор, разгружались и уносились прочь. На перекрестках, где «отряды невидимых» проверяли пропуска, выстраивались целые очереди из задержанных.

Вы забыли пропуск дома — тюрьма. Выбежали на угол, в лавочку, оставив пропуск в кармане пиджака,— тюрьма. Напрасно вы обещаете сходить за ним, вы уже не предъявили его. Зашли без пропуска в общественную уборную — тюрьма. Не уплатили налог, хозяин забыл подписать ваш пропуск в конце месяца — тюрьма. Вы потеряли работу и не сумели найти новую в положенный срок — тюрьма и высылка за пределы города. Пропуск могли спросить везде и всюду: в доме, в поезде, в автобусе, при выходе на вокзал, на перекрестке. Пропуск могли потребовать в любое время — утром, днем и в полночь.

Утро прошло, а я все еще ждал, пока мне предъявят обвинение. Сержант африканец еще раз подошел к белому чиновнику, но тот решительно отказался вмешиваться. Я ждал. Я просил, чтобы мне сказали, в чем меня обвиняют. Я скандалил. Никакого впечатления. Наконец европеец решился: приказ был отдан Особым отделом, и ему нельзя было не подчиниться. Ничего не поделаешь, меня ждали на Маршалл-сквер. С решимостью отчаяния на свой страх он вы-

писал ордер на арест и, облегченно вздохнув, поставил под ним свою подпись.. Мне надели наручники, как и другим. И я очутился среди скованных попарно людей. Моим соседом оказался высокий оборванец. Он стоял, не произнося ни слова. Нас посадили в «пикап» и повезли на Маршалл-сквер. По дороге я вынул нож и осмотрел лезвие. Оно было, по выражению члена Конгресса, «слишком подозрительной длины». Я бросил нож под скамейку. Бумажки с адресами в Ньясаленде я разорвал на мелкие кусочки. Но не знал, что делать с «иностранными» квитанциями об уплате налогов, и оставил их в бумажнике.

Индианка с маленьким ребенком на руках громко вопила и умоляла стражника отпустить ее, по ее щекам катились слезы. Молодой белый полицейский кричал и осыпал ее ругательствами.

— Заткнись! Заткни свою поганую плевательницу!

— Пожалуйста, meneer, asseblief, meneer...

— Kolie-meid, заткни плевательницу! Это тебе не Индия!— он направился к ней, и я был уверен, что он ударит съежившуюся от страха женщину. Но он только замахнулся кулаком:— Хватит этого дерьма! Хватит! Слышишь!— Ребенок залился плачем. На лице полисмена появилась гримаса отвращения.— Этот проклятый щенок, такой же мошенник, как и ты.

Ожидавший суда пьяный белый бродяга случайно направился в нашу сторону.

— Сюда, пожалуйста, asseblief, meneer,— сказал молодой полицейский, бережно поддерживая это пьяное отребье.

— Сжальтесь, meneer, asseblief, meneer, boas,— стонала женщина.— Ребенок маленький... Он не выживет в камере...

— Знаешь что? Я не посылал тебя торговать спиртным. Если у тебя такой чувствительный ребенок, то незачем было торговать. А остальное — не моя забота!

Вдруг я точно ото сна очнулся: полицейский, малыш и пьяный бродяга — все отступило куда-то.

— Эй ты, черномазый! — кричал полицейский из-за барьера.— Ты что, оглох? Или ослеп? Тебе говорю. черная морда! Твое имя? — он глядел на копию ордера, присланную из Отдела пропусков.— Какой ты собачьей национальности?

— Kleurljng. Цветной.

— Почему у тебя нет пропуска, чернопузый кафр?

В полном отчаянии я вдруг понял, что сегодня мне уже не попасть на поезд. Пóка мои вещи запихивали в мешок, я дрожал за судьбу «иностранных» квитанций в бумажнике. При обыске они непременно попадут в руки Особого отдела.

Агенты все время входили и выходили из комнаты. Все они — Шарп, Табете, Холберг, Моллсон, Дунга — имели чрезвычайно деловой вид. Если это массовый арест, то скоро я встречусь со своими. Неужели и Хейзл здесь, в одной из этих камер? Сумел ли Джордж сообщить друзьям о моем аресте? Я чувствовал себя страшно одиноким.

Неверными шагами я вошел в большую камеру, и мне показалось, что все началось сызнова. Это было похоже на тот день два года назад, когда, спотыкаясь, держа в руках одеяла, я вошел в камеру, арестованный по обвинению в государственной измене — Hoogverraad. Может быть, это была та же камера. Как и два года назад, здесь горело электричество, хотя на дворе стоял белый день.

Люди, лежавшие и сидевшие на своих одеялах, повернулись и посмотрели на нас.

Я бросил одеяла на пол, на облюбованное место, и отправился в уборную. Так полагалось. Это означало, что я — бывалый арестант. Люди сидели с убитым видом, тихо разговаривая между собой, или молча глядели в потолок.

Высокий оборванец подошел и сел со мной рядом. Я понимал, что он нуждается в моей поддержке, в той силе, которую он во мне предполагал. И он при-

двигался все ближе, как человек, который жмется к огню в холодную зимнюю ночь.

— Если они пошлют меня в Бетал, я буду работать,— сказал он.— Но если это на целых полгода, то детям придется плохо.

Я хотел сказать ему, что все это ни к чему, что так было всегда. Он вернется с фермы из Бетала и попадет на другую ферму. От этого не уйти. Но я лежал и молча слушал его и думал о поезде, который ушел без меня.

— Amabunu (белые) ведут войну — войну против людей, которые вовсе не воюют,— произнес кто-то из сидящих в камере.

И арестованные, покорно принимая неизбежность этой непрерывной войны, стали говорить о ней. Они считали, что война ведется против одних африканцев. но я-то знал, что это не так. Я знал, как далеко тянется линия фронта. Враги не щадили нас, о пощаде не могло быть и речи. А арестованные говорили о кровопролитиях, как о чем-то неизбежном, и покорно принимали эту неизбежность.

Член Конгресса рассказывал о Конгрессе, и остальные медленно кивали головами, как на совете племени: indaba, верно, все так, как он говорит. В стороне сидел человек, обвиненный в изнасиловании; воры и не имеющие пропусков держались вместе.

Итак, круг снова замкнулся. Снова начинают действовать силы, объединяющие заключенных. И ты ходишь по этому кругу, как лошадь, которой не вырваться из упряжки.

— Элфред Хатчинсон! — рявкнул полисмен в открытую дверь.— Ну-ка, ты! Оторви зад от пола.

Я пошатываясь вышел из камеры и подошел к барьеру. Шулламат Мьюллер внесла залог, и меня отпускали на поруки. Я вышел на вечернюю улицу вместе с Дьюмой, Шулламат и Джорджем.

— Двадцать пять фунтов за пропуск,— сказал Дьюма, — это чудовищно.

Поезд свой я давно упустил. На пятьдесят фунтов залога меня бы еще хватило. А если сумма возрастет до семидесяти пяти!

— Послушай, Хатч, кем ты считаешься с точки зрения закона,— сказала Шулламат,— чернокожим или цветным?

Я понял, что она уже готовит материал для моей защиты.

— Сам не знаю,— ответил я, смеясь.— Должно быть, цветным.

— Учитель, my kind, die Boere pla jou. Учитель, дитя мое, белые не дают тебе житья,— сказала мать Дьюмы.

Вошел сапожник, отец Дьюмы, в своем рабочем фартуке.

— Тебе не везет, учитель. Теперь тебе не попасть домой.

Я сказал им, что еду домой, в Хекторсприт. О поездке в Гану я не проронил ни слова.

— Пустяки, ма,— ответил я.— Они просто бесятся.

Но на душе у меня кошки скребли.

IV

Сильный стук в дверь перебил мне сон. Я лежал, вслушиваясь. В дверь яростно заколотили каблуками. Я совсем проснулся.

— Vula! Открывай дверь, сволочь!

— Кто там?— спросил я, зажигая свечу, хотя отлично знал, кто это может быть.

— Vula! Poyisa! Открывай! Полиция!

Майкл Нгубени, мой бывший ученик, который жил у меня, стоял в дверях комнаты. Я натянул штаны и, спотыкаясь, пошел к двери. Дверь сотрясалась и гудела под ударами.

— Ты что ж, сволочь, открывать не желаешь?

Я открыл. Высоченный черный полицай — африканец из муниципальной полиции — едва не сбил меня с ног. Ввалившись в дом, он покачнулся и с трудом удержался на ногах. От него разило винным перегаром.

— Так ты не хочешь открывать, а? — спросил он, свирепо кося глазом.

— Au, мы же открывали, poyisa,— невинным голосом произнес Майкл.

— Ты мне голову не морочь! Слышишь, ты!— Он повернулся к другому полицаю, стоявшему рядом:— Слыхал, как он меня обложил?

— Я и не думал ругаться...

— Заткнись! Не то притяну тебя за сопротивление полицейским чинам, находящимся при исполнении служебных обязанностей...— закончил он по-английски.

Майкл изумленно посмотрел на меня. Полицай злобно рычал на него, и его косой глаз все больше и больше наливался кровью. Он кивнул головой в сторону Майкла, как бы желая сказать: «Погоди, я еще с тобой посчитаюсь».

— В чем дело?— спросил я, стараясь отвести удар от Майкла.

— И ты еще спрашиваешь? Хочешь, чтобы на тебя наручники надели,— он потянулся к наручникам, которые висели у него на толстом ремне.— Wozani! Пошел! В девять утра будешь давать объяснения белым.

Полицай был пьян и гнусен. Спорить бесполезно — подлец разъярится еще больше. Надо было действовать с осторожностью.

— Извините, что вам не сразу открыли... Мы очень напугались, думали, что это tsotsis *. Вы разрешите нам одеться?

— Ладно, только пошевеливайтесь!— Он повернулся к Майклу.— А с тобой еще поговорим в участке. Ты меня выругал...

— Но, poyisa, я же не...

— Молчать!

Я взглянул на часы. Три часа ночи. Я сгреб в охапку первую попавшуюся одежду, натянул на себя куртку. Вышел Майкл, на нем были синие спортивные штаны до колен. Я знал, что все это дело рук Особого отдела. Они недаром угрожали. Начальнику полиции, конечно. не понравилось мое поведение.

— А что, собственно, произошло?— спросил Майкл.

— Особый отдел... Их работа.

— Но ведь сейчас ночь...

— Tula! Заткнись! — произнес полицай с отвратительной гримасой, косясь на Майкла.— И не забывай, что ты меня обругал... В полиции мы еще с тобой поговорим.

— Но, poyisa, что я вам сделал? — спросил Майкл: он не понимал всей серьезности положения.

Сгрудившись, стояли люди — с десяток мужчин, женщин и детей. Другой полицай, с угрюмой физиономией, беспрестанно смотревший на небо, сторожил сбившихся в кучу людей. Женщины, молчаливые, сонные, в лохмотьях, походили на взъерошенных кур.

— Вперед, в участок!

Особый отдел выполнил свою угрозу. У Джерри Нкабинде наверняка отберут дом. Но то, что случилось со мной, случалось уже бессчетное число раз. Особый отдел умел преследовать людей. Члены Африканского конгресса оставались без работы, их выгоняли из собственных домов, а случалось, и вовсе высылали за пределы города. Майкл, стоявший рядом со мной, что-то бормотал, возбужденно и неразборчиво. Его все это явно занимало.

— Однако на работу мне сегодня, пожалуй, не попасть...

— Погоди, может быть, тебя выпустят.

В здании муниципалитета мы повстречались с другими арестованными — мужчинами, женщинами и целым выводком детей. взятых вместе с родителями. Дети плакали, матери кормили младенцев грудью. Мы сидели на скамьях в слу-

---

* Шпана, хулиганы *(жарг.)*.

жебном помещении с побеленным потолком и окрашенными в желтоватый цвет стенами и ждали начальника, который приходит на работу в девять.

Пьяные полицаи в засаленных мундирах разыгрывали из себя больших начальников и старались поразить женщин безграничностью своей власти над ними. Топая по полу грязными рваными черными ботинками, они отдавали друг другу честь и то и дело заходили в помещение, чтобы взглянуть на задержанных и перекинуться словом-другим с арестантками. На доске объявлений висели грязные, загаженные мухами листки с загнутыми углами.

Косоглазый полицай успел уже позабыть о Майкле. А когда вспомнил, то вяло спросил, косясь исподлобья:

— Ты меня обложил... Помнишь?

Но приводить в исполнение свои угрозы не захотел или не смог.

Вокруг электрической печки лежали спящие дети, на скамьях дремали арестованные. Держа сынишку на коленях, сидел молодой отец, его жена кормила младшего грудью. У них было трое детей. И вся семья покорно ждала прихода начальника, который в это время сладко спал у себя дома. А от цементного пола тянуло холодом, и холод не давал людям вздремнуть. Они топали по полу ногами, чтобы согреться, и снова впадали в дремоту.

На нас свысока посматривал молодой, приземистый, нагловатого вида человек со сломанными зубами, одетый в широченные брюки, шинель военного образца, зеленый берет и огромные черные ботинки. У него были губы льстеца. Ему хотелось — он это всячески подчеркивал,— чтобы все видели, что он «персона». Может быть, это был посыльный, а может быть, просто полицай, сменившийся с дежурства. Он косился на женщин — некоторые из них были молоды и хороши собой,— но женщины не обращали на него внимания. Майкл подтолкнул меня локтем — расфуфыренный субъект чрезвычайно его занимал.

Тот порылся в карманах шинели, извлек потрепанный томик — «Опасные контуры» Чейни, раскрыл наугад и демонстративно погрузился в чтение. Потом перевел взгляд на потолок, как бы обдумывая какую-то сложнейшую проблему. Глубокомысленно качнув головой, он снова принялся читать. Затем захлопнул книгу, взглянул в нашу сторону и с удовлетворением заметил, что мы с Майклом за ним наблюдаем. Несколько женщин поднялись и направились во двор, в уборную. Полицай сразу же увязался за ними, уверяя всех встречных, что арестантки намереваются бежать. Самодовольство буквально распирало его, когда он шествовал во двор. Он словно сошел со страниц одного из романов Диккенса.

Тут я решил подразнить этого молодца. Я вытащил из кармана пачку дорогого табаку, приготовленную для путешествия, и принялся набивать трубку. Полицай стал разглядывать меня, пытаясь определить, кто я такой. Майкл толкнул меня в бок. В это время полицай подошел ко мне и остановился.

— Дорогой табачок куришь, а? — спросил он на блатном жаргоне tsotsis. Тон, которым это было сказано, предполагал, что купить этот табак я не мог. Не про мою честь.— Почем брал?

— А я не знаю,— сказал я, толкнув Майкла коленом.

— То-то я удивился,— сказал молодой человек самодовольно.— Я сразу подумал, что ты его где-то подцепил... Это же...

Он назвал наугад цену, но наврал. Потом сказал, что сам пробовал такой, но бросил: у него грудь слабая. Он тут же закурил дешевенькую сигарету и отошел прочь. Несколько минут он с поразительной, прямо-таки болезненной сосредоточенностью изучал свои «Опасные контуры». Затем обратился к другому черному полицаю.

— Мабуза любит поболтать об образовании... А что он сам-то знает?..

— Он книжки читал,— отвечал тот.

— Сомневаюсь,— произнес молодой хлыщ излишне громко.— Почему же он так плохо говорит по-английски — все слова коверкает. Сомнительно. Сомнительно, чтобы он шесть классов кончил.— Он обвел глазами присутствующих

и снова обратился к своему коллеге.— Я-то окончил шесть классов, а больше у нас тут во всем управлении никого с шестью классами нет.— Он снова обвел глазами всех, включая полицейских африканцев и арестантов. Молодой человек с ребенком на коленях прищелкнул языком в знак отвращения:

— Этот болван слишком много болтает.

Спесивый молодчик опять погрузился в «Опасные контуры», время от времени возводя глаза к потолку и глубокомысленно о чем-то размышляя.

— Ja. Однако,— сказал Майкл,— так уж устроен мир... Дурак с шестью классами... Если бы он мог знать, что здесь находится бакалавр искусств...

Косоглазый полицейский читал нотацию двум ребятишкам. Спесивый молодчик живо захлопнул книжку и тоже набросился на детей.

— Вы tsotsis, шпана, вот вы кто! В школу ходите? Сколько будет дважды два? Какой номер твоего дома?

Один из ребят знал, другой нет.

— Ты tsotsi. По тебе тюрьма плачет! Не знаешь номер своего дома.

Тут вмешался косоглазый и другие полицаи. Все они кричали и запугивали малышей. Дети, видимо, не знали присмотра: на грязных сбитых ногах — глубокие ссадины, сопливые носы. Им бы хорошенько помыться и вдоволь поесть, а этот молодчик и полицейские хотели выбить из них какое-то признание. Ребята играли, и один из них повалил чужой забор. Оба испугались и решили убежать из дому.

И вдруг женщины-арестантки объединились с черными полицаями в единый фронт против детей — детей вообще, «этих нынешних детей». Их не исправишь, твердили женщины. Конечно, не исправишь, соглашались полицаи. Все они кончают тем, что становятся tsotsis — бандитами, изрек спесивый молодчик. Кончают в камере № 4, соглашались женщины. И все глядели на запуганных детей. Tsotsis — шпана, сказал молодой хлыщ. Женщины согласились с ним. Полицаи — тоже. Потом детей оставили в покое. Назойливый болван взялся было за свои «Опасные контуры», но быстро отвлекся и пустился в воспоминания о школьных днях. Я повернулся к человеку с ребенком на коленях и предложил ему табаку. Он начал свертывать zol (самокрутку) из клочка старой газеты. К нам сразу же подошел «прилежный читатель».

— Эй, mfo, это ты, старина! — с неподдельным удивлением спросил он на жаргоне.

— Ja, да, это я,— коротко ответил арестант.— А ты что, меня только увидел?

— Да, я тебя и не заметил... Почему ты не подошел?

— Ты сам много раз проходил мимо.

— Честное слово, я тебя не узнал... Хочешь папироску?

К моему удивлению, молодой человек взял папиросу.

— Сам знаешь, как бывает: знакомый, а порой и не узнает — такова жизнь.

Надоедливый полицай, постояв около нас, отправился прочь, извергая поток извинений, сплошь лживых.

— Hy's'n chacharaga moegoe. Дурак набитый,— сказал Майкл.

— Ничего, я до него доберусь. Он тут рядом живет,— заметил молодой человек, затягиваясь папироской.

Я спросил, за что его забрали. Он сказал, что сам не знает. Как-то раз его посадили. Потом опять... А теперь — в третий раз за последние несколько недель. Он задолжал квартирную плату, но договорился с начальником, что будет платить фунт стерлингов в неделю. Так он и делал. Но его снова посадили, и фунт стерлингов пришлось заплатить в полиции. Теперь он окончательно растерялся и не знает, что делать.

Медленно тянулась ночь; спесивый молодчик все реже и реже разглагольствовал о пользе просвещения и в конце концов спрятал свои «Опасные контуры» в карман шинели. А в казенное помещение вползал рассвет, лампочки по-

тускнели. Уже четко выступали на блеклом фоне зари очертания деревьев, и дети, спавшие около печки, проснулись, сбегали во двор и снова вернулись к родителям. Рассвет был холодный и ветреный.

Кто-то принялся подметать пол, а мы выбрались на выметенный ветром двор и сгрудились вокруг пылающей печурки, стрелявшей искрами. На востоке разорванные облака сочились кровью там, где должно было взойти солнце. Пришли матери двух сбежавших из дому ребятишек: ясно, дома ребят ждет хорошая порка. Один за другим приходили одетые в черную форменную одежду служащие муниципалитета. Я понял, почему с рассветом утихли речи о пользе просвещения и «Опасные контуры» были преданы забвению в кармане шинели. Клерки более образованны — некоторые получили полное начальное образование, а иные прошли даже курс средней школы.

— Au, Хатч. Что случилось? — спросил Ндода Мсоми на зулу.

— Сам видишь, дружище,— ответил я.

Ндода Мсоми был моим однокашником еще в те дни, когда Орландо был молод и неизвестен. Он отлично учился, но, когда дело дошло до выпускных экзаменов, с ним стряслось что-то неладное. Школу он, конечно, окончил, но учение бросил и поступил на службу в муниципалитет. Я рассказал ему, что произошло.

Я посмотрел в окно как раз вовремя и увидел Дьюму — он проезжал на своем «бьюике», направляясь к условленному месту, чтобы встретить меня. Я окликнул его, мой крик подхватили другие, и Дьюма остановился и вернулся к зданию муниципалитета. Я сказал ему, что меня арестовали.

— Это штуки Особого отдела,— произнес он с негодованием.

— То же самое говорит и Холберг,— сказал я.

Поддержка Дьюмы успокаивала меня. Он был известным человеком, и служащие приветствовали его с должным почтением. Спесивый молодчик резко переменил тон и со мной и с Майклом.

— Разве ты не идешь в школу, Майкл? — спросил Дьюма.

— Нет, Boet Дьюма. Тут такая nyaka-nyaka, неразбериха,— со смехом ответил Майкл.

Время подходит к девяти. Мы ждали прихода начальника. Ждали долго — иные всю ночь: ведь он должен был прийти только в девять.

Начальник прибыл, и черные полицаи выстроили нас в шеренгу. По одному стали вызывать в кабинет. Некоторые, выйдя от начальника, уходили прочь. но большинство снова становилось в строй под охраной черного полицая. Этих ждала отправка в полицейский участок и, если они не платили штраф за «признание вины», то и дальше, в тюрьму. Из кабинета вышел молодой человек в зеленой шляпе.

Начальник указал мне на стул, я сел. Рядом стоял Майкл. Начальник шарил глазами по стенам кабинета, как бы не замечая нас.

— Пропуск! — скомандовал он. Я протянул ему «пропуск подсудимого», выданный мне во время процесса, но он нетерпеливо отмахнулся.— Да нет, другой,— сказал он.— Настоящий пропуск!

Он повернулся к Майклу.

Майкл сказал, что пропуск у него есть, но дома. Я сидел и глядел на начальника, и мне казалось, что он — лишь еще один Холберг. Стоило нам взглянуть ему в лицо, как он сразу отводил глаза. Полицейский есть полицейский, каков бы ни был его чин.

— В чьем доме?

На столе перед ним лежала папка с материалами по этому дому, по сути дела вся его история; там же находились повестки о сроках платежей, адресованные бывшим владельцам.

— Джерри Нкабинде,— ответил я.

— Передай Нкабинде, что дома у него больше нет. Что я отбираю у него дом. А тебя привлекаю к ответственности за отсутствие пропуска.

— Мне уже предъявлено такое обвинение. Я выпущен на поруки.

— А мне какое дело... Я отдаю тебя под суд за отсутствие пропуска и за то, что ты находишься в Мофоло без моего разрешения.— Он выписал ордер на арест.— Сержант сыскного отделения Холберг говорил мне о тебе...

— Знаю,— сказал я. На столе лежала коротенькая записка: «Прошу произвести проверку дома № 50-б...» Майкла обвинили лишь в том, что он находился в Мофоло без разрешения.

— И чтобы сегодня же духу твоего не было в этом доме. Я прикажу проверить.

* * *

Мимо здания тащился автомобильчик Дьюмы «DKW», за рулем сидел Джордж. Сцепление отчаянно буксовало. Знаком мы остановили машину Джорджа. С ним вместе сидела Тайни, жена Дьюмы. Они сопровождали хозяина машины. Пока на нас надевали наручники, они сидели в машине и ждали. С ледяным скрежетом наручники защелкнулись на моей правой руке. Это тот лед, который никогда не тает. Они защелкнулись на левой руке Майкла, он взглянул на меня, улыбнулся и покачал головой.

— В школу тебе уже сегодня не попасть, Майкл,— сказал я.

— Да. Сегодня мы смотрим, как устроена жизнь.

— Вперед!..

Я зашагал, и Майкл двинулся в ногу со мной. Я взглянул на Тайни, все еще сидевшую в машине, и улыбнулся, хотя сердце у меня обливалось кровью. Она покачала головой — раз, другой, третий.

— Работа такая, сам понимаешь,— сказал черный полицай, препровождавший нас в полицейский участок.

Я кивнул. Такая уж работа. Жена молодого негра шла с ним рядом, окруженная детишками, цеплявшимися за подол. Мы пересекли поле и шли оврагом. До полицейского участка в Мороке нужно было пройти милю с лишним. Я оглянулся. Джордж и Дьюма тоже направлялись в Мороку с явным намерением подождать нас на дороге. А молодой человек и его семейство дошли до того места, где дорога разветвлялась. Он сказал что-то жене, и она пошла напрямик через поле. Когда семейство уже отошло на порядочное расстояние, он окликнул жену. Она оглянулась, и молодой человек положил на траву зеленую шляпу. Мы продолжали свой путь, и, оглянувшись, я увидал, как все семейство возвращалось за лежащей на траве шляпой.

Мы подошли к шоссе: нас уже ждали автомобили. Вместе с Майклом мы забрались в машину Джорджа. Полицай расстегнул наручники. Джордж тронул «бьюик» с места. «DKW» Дьюмы потащилась за нами. Черный полицай продолжал оправдываться. Это все amabuni (белые), говорил он.

Вдруг машина остановилась, словно подбитая. Джордж вышел на шоссе и покачал головой.

— Все из рук вон плохо — и машины, и вообще все на свете,— сказал он с горькой усмешкой.

Я молча с ним согласился. Если бы все на свете не шло из рук вон плохо, я бы давно был на пути в Гану. Мы вылезли из «бьюика», и опять холодно лязгнули наручники. До полицейского участка было уже недалеко. Мы двинулись вперед пешком. Взрычал мотор ожившей машины. Джордж нагнал нас. «Бьюик» повизгивал и пофыркивал. Оказалось, что вышло из строя управление, которое совсем недавно уже ломалось. И мы снова уселись в машину и под визг и фырканье прибыли в участок. Полицейский участок Мороки был мне знаком — я уже заходил туда однажды, чтобы заявить о краже «бьюика».

Ндаба и Табете, агенты африканского Особого отдела, вышли из служебного помещения.

— Что случилось, мистер Хатчинсон? В чем дело, адвокат Нокве?

— Вам лучше знать — ваша работа! — Дьюма был вне себя от ярости.— Со стороны Особого отдела это подло, мерзко!

— Нам ничего не известно, адвокат Нокве. Мы не занимаемся полицейскими делами. Наше дело — политика, а не это...

— Сперва обвиняете нас в государственной измене, а когда дело у вас срывается, устраиваете ловушки вроде этой.

— Это не мы, адвокат. Мы никогда не позволили бы себе ничего подобного. Наше дело — политика... И каковы бы ни были наши убеждения — вы наши руководители... Вы боретесь за наше общее дело.

— Особый отдел еще ответит за это! — Дьюма был в ярости, а когда он взбешен, его ничто не может остановить.

Ндаба и Табете и вправду казались уязвленными и оскорбленными в лучших чувствах. В каком-то смысле они считали нас собственностью Особого отдела. Они боролись против нас, а мы — против них. Обычной полиции мы были не по зубам. Сотрудники Особого отдела никогда не занимались мелкими нарушениями закона. Политика — вот что их интересовало. Это каким-то образом возвышало их в собственных глазах и отличало от рядовых полицейских в форме. На митингах мы их обличали. Мы поносили их, а подчас и осыпали угрозами. Мы называли их собаками, ищейками, продажными тварями, шкурами — выбор слов зависел лишь от эрудиции оратора и настроения аудитории. У нас были крупные счеты, и Особый отдел не желал, чтобы к нам придирались по мелочам.

Сейчас работники Особого отдела оттеснили полицию и подняли возню вокруг меня. Они сдвинули дело с мертвой точки. Предъявленное мне обвинение было немедленно рассмотрено, и точно так же, как и Дьюма, Особый отдел пришел к выводу, что меня не имели права вторично обвинять в отсутствии пропуска. Я быстренько уплатил фунт штрафа за «признание вины» — обычная процедура отняла бы вдвое больше времени. Майкл тоже уплатил фунт. Но Дьюма оставался непреклонным.

— Особый отдел поплатится за это! — сказал он, оставаясь глухим к уверениям агентов.

— Поверьте, мистер Хатчинсон, это не наша работа... Мы бы никогда...

— Что же ты мне, gogo (дедушка), житья не даешь,— сказал я Табете. В большой семье нашего племени он доводился мне родственником со стороны бабушки — по меньшей мере, двоюродным дедом...

V

22 октября 1958 года. Мое дело назначено к слушанию в два часа дня в суде Комиссариата по туземным делам в Фордсберге. Я побрел к зданию Центральной индийской средней школы и, когда проходил мимо одного из классов, увидел в окне Мусаджи.

— Случилось ужасное несчастье! Хейзл высылают за пределы страны.

Казалось, вдруг померкло солнце.

— Такими вещами не шутят, парень!

— Nkos' phazulu! Клянусь богом!

На африканский манер Мусаджи приложил к губам палец и потом указал на небо.

По коридорам взад и вперед слонялись расстроенные дети; они даже не здоровались, когда я проходил мимо. Учителя собрались в дальнем конце коридора, служившем учительской. Даже невозмутимый Диза Путини был подавлен. Хейзл протянула мне казенный конверт, и я понял, что Мусаджи сказал правду. Его превосходительство министр внутренних дел, говорилось в письме, занимается рассмотрением вопроса о ее высылке из Южно-Африканского Союза. Далее следовали многочисленные ссылки на Иммиграционный акт 1913 года. Если она

имеет что-либо заявить, то заявление должно быть представлено в министерство не позже чем в двухнедельный срок.

— Все в порядке,— неожиданно сказал я и сам удивился своим словам.— Пошли они ко всем чертям!

Близилась бурная развязка, кризис. Он был уже не за горами. От внезапного прилива мужества у меня стало легко на душе. Пусть их делают, что хотят. Им никогда не отнять у меня Хейзл!

— Придется ехать, не задерживаясь. Я не хочу, чтобы меня посадили под замок, как миссис Хупер,— криво улыбаясь, проговорила Хейзл.

Особый отдел сообщил в министерство свои выводы, и письмо было прямым результатом этого. Однако на сей раз министр внутренних дел не стал действовать неосмотрительно. Марию Луизу Хупер, американку, активно выступавшую в поддержку Африканского национального конгресса, арестовали и бросили за решетку в иоганнесбургскую военную тюрьму. Она в ответ начала судебное дело против Министерства внутренних дел и добилась возмещения ущерба.

Мы с Хейзл вышли из учительской в коридор.

— Встретимся в Блэнтайре в Ньясаленде, как и договорились. Я уеду в конце месяца, и у тебя еще будет время, чтобы выбраться отсюда.

— Я уеду сегодня же, если удастся.

В учительскую вошел Теннисон Макиване, молодой журналист из «Нью эйдж»*, тоже подозревавшийся в «государственной измене». Он явился, чтобы писать о деле Хейзл. Всего несколько дней назад он писал обо мне.

— Послушай, старина, а ведь Особый отдел не сдает позиций,— сказал он.— Меня вчера тоже сцапали — пропуск не смог предъявить. Пришлось раскошелиться на целый фунт. А Питер Нтайт сидит в кутузке. Стукнул белого полицейского.

Теннисон был молод, любил жаргонные словечки и мелодраматические ситуации. Другой «изменник» — Питер Нтайт — был очень вспыльчив.

— Пусть убираются ко всем чертям!— сказал я.

— Воюют женщины, парень. Честное слово, они сожгут эти паскудные пропуска, как в Уинбере и Зеерусте.

Борьба против введения пропусков для женщин вспыхнула внезапно. Тысячи африканок потянулись в город из окрестных поселений, они устраивали демонстрации, полиция сажала их за решетку. Еще несколько дней назад все было спокойно. А сейчас тюрьмы быстро наполнялись.

— Когда слушается твое дело?— поинтересовался Теннисон.

— В два, в суде Комиссариата по туземным делам.

По дороге — от школы до Конгресса было полмили — я чуть было не поделился с Теннисоном своей тайной. Но сдержался.

Безуиденхаут-стрит, где помещался старый Отдел пропусков (куда водил меня Холберг), пылала жаром, как накаленная солнцем трава. Сотни темнокожих женщин с самозабвением, свойственным африканцам, устроили здесь демонстрацию. В толпе кружили белые и черные полицейские в форме. Белые были вооружены пистолетами, черные — дубинками и дротиками. Там и сям раздавались гневные возгласы и песни. Быстро наполнялись кузова огромных kwela-kwelas (полицейских грузовиков). Женщины просовывали руки в решетчатые окна, складывая пальцы в знак принятого среди членов Конгресса приветствия.

«Mayibuye i-Afrika!» — «Вернись к нам, Африка!»

Я увидел работников Особого отдела — Шарпа, Холберга, Табете, Соломона Дунга. Они нас тоже заметили, и Шарп уже писал что-то в своем блокноте. Я подумал о том, придет ли Холберг самолично в суд, чтобы дать свидетельские показания, или же пришлет начальника Отдела пропусков.

— Здесь кишат ищейки, парень,— бросил на ходу Теннисон.

---

* Прогрессивная газета.

Конгресс размещался в здании, находящемся в дальнем конце Безуиденхаутстрит. Было бы безрассудством пытаться пробиться сквозь толпу женщин-демонстранток и возбужденных полицейских, из которых многие были вызваны в Иоганнесбург из провинции. Что касается меня, то я хотел лишь одного — чтобы дело поскорее закончилось и можно было уехать.

В подвальном этаже дома Макоса, где помещался Конгресс, кипела бурная деятельность. Женщины в черно-желто-зеленых одеждах цветов Конгресса входили и выходили, громко выкрикивая лозунги. Перед зданием повсюду стояли шпики, и идти сквозь ряды демонстранток для нас с Теннисоном было небезопасно: в период пребывания на поруках нам строжайше запрещалось участие в каких-либо митингах и собраниях, кроме чисто религиозных, да еще вечеринок. Мы поднялись по ступенькам в служебное помещение Уолтера Сисулу.

— Вид у тебя, Хатч, отменный,— приветствовал нас Сисулу, отрываясь от каких-то бумаг.— Тюрьма идет тебе на пользу.

— Это демонстрантки так меня ободрили,— сказал я, здороваясь с Дьюмой, который был погружен в чтение какого-то справочника по юридическим вопросам.

В крохотную комнатку на третьем этаже врывались возгласы и песни демонстранток.

— Очень хорошо,— произнес Уолтер, прислушиваясь к этим звукам.— Отлично.

Уолтера можно было сажать и обвинять в государственной измене хоть сто раз подряд. Он от этого не менялся. Он шел во главе первой группы демонстрантов в 1952 году во время «Кампании неповиновения». Его арестовали вместе с девятнадцатью другими и осудили за формальную принадлежность к компартии, поскольку тогда он занимал пост генерального секретаря Африканского национального конгресса. Чудовищное бремя процесса «изменников» вовсе не сломило его. Он верил. Борьба стала для него своего рода религией. Последние несколько недель он просто места себе не находил: женщины уже стали получать пропуска, а никаких демонстраций протеста все еще не было. Поэтому сейчас крики демонстранток звучали для него как сладчайшая музыка.

— Особому отделу будет теперь чем заняться,— сказал он, возвращаясь к своим бумагам.

В комнату ворвалась Лилиан Нгойи в традиционном кхозском одеянии цветов флага Конгресса.

— Mayibuye! При жизни наших женщин! Сыны мои, женщины дадут Фервурду хороший урок — он уже сел на мель. А где же мужчины?

Хотя Лилиан была выпущена на поруки и не имела свободы действий, она, не взирая на опасность, ни на шаг не отходила от демонстранток, которых в ином случае возглавила бы сама. Лилиан была президентом Женской лиги Африканского национального конгресса.

Еще мгновение, и она выбежала из комнаты.

— Хотелось бы, чтобы Холберг сам выступил в суде,— сказал Дьюма, который все еще готовился к защитительной речи по моему делу.— Но я уверен, что он пришлет кого-нибудь вместо себя.

Дьюма Нокве был первым адвокатом африканцем в Трансваале. Согласно «Закону о расселении расовых групп» ему и индийцу Исмаилу Мохоммеду запрещалось иметь конторы в Зданиях Ее Королевского Величества, где помещались судебные учреждения, хотя Коллегия адвокатов опротестовала это решение. В шутку Дьюма называл себя «бродячим адвокатом».

* * *

Пожилой прокурор смотрит на часы, затем на судью. Судья бросает взгляд на часы, расправляет лежащие перед ним бумаги и смотрит на прокурора. Прокурор вонзает карандаш в начало списка, как бы пригвождая к столу чье-то имя.

Старческим голосом он называет первую фамилию. Молодой переводчик африканец выкрикивает ее, повернувшись к дверям. Подсудимый африканец робкими шагами выходит вперед, обегает взглядом всех членов суда и, по указанию переводчика, занимает место, обнесенное перилами. Переводчик единым духом выпаливает по-зулусски текст присяги и поднимает кверху руку подсудимого.

Переводчик: Othi: Nkos' ngisize. Говори за мной: да поможет мне бог.
Подсудимый: Да поможет мне бог.
Прокурор: Пять лет не платил подушный налог.
Судья: Skuldig of onskuldig? Признаешь ли себя виновным?
Переводчик: Nkosi (его милость) спрашивают, признаешь ли ты себя виновным.
Подсудимый: Да, признаю. Но...
Переводчик: Skuldig, Edelagbaar. Признает, ваша милость.

Подсудимый бормочет какие-то объяснения. Переводчик от него отмахивается. В суде по туземным делам обвиняемый прежде всего должен «признать вину» и только потом получает право защищаться.

Судья: Что можешь сказать в свое оправдание?
Подсудимый: Nkosi, я работал на aubaas (на старого хозяина) Клаас. Aubaas очень заболел и aubaas умер. Ферму забрал kleinbaas (молодой хозяин) Риет. Я много лет работал на kleinbaas. Kleinbaas продал ферму baas (хозяину) Яну из Клипгата и...

Прокурор смотрит на часы, на подсудимого, на судью. Нетерпеливо стучит кончиком карандаша по фамилии подсудимого.

Переводчик: Все это ни к чему. Nkosi не желают этого слушать.
Судья: Два месяца тюрьмы или шесть фунтов штрафа и судебные издержки!

Карандаш прокурора уже вонзился в следующую фамилию. Переводчик кричит в дверь. Входит подсудимый. Переводчик единым духом выпаливает слова присяги. Подсудимый поднимает руку: «Да поможет мне бог!»

Прокурор: Не предъявил пропуск.
Судья. Признаешь ли себя виновным?
Переводчик: Признаешь себя виновным?
Подсудимый: Нет, не признаю.
Прокурор: Ты не предъявил пропуск.
Подсудимый: Nkosi, я не успел отойти от дома. Пропуск лежит у меня дома, nkosi. Я только через улицу переходил. Я могу принести его, nkosi.
Судья: Пропуск должен быть всегда при тебе. Две недели тюрьмы или один фунт штрафа.

Судья снова царапает что-то на бумаге, лежащей перед ним. Прокурор вонзает карандаш в следующее имя. Переводчик кричит. Появляется подсудимый. Начинается бормотанье присяги. Да поможет мне бог. Судья ждет. Прокурор смотрит на часы. Переводчику все надоело.

Нет пропуска. Skuldig, Edelgbaar. Виновен, ваша милость. Три месяца, десять фунтов.

Карандаш вонзается в список. Да поможет мне бог! Неуплата подушного налога.

Skuldig — виновен. Два месяца, шесть фунтов. Пропуск.

Skuldig. Да поможет мне бог! Пять подсудимых. Десять подсудимых. Пятнадцать подсудимых. Прокурор поглядывает на часы. Судья отирает пот. Переводчик бормочет все быстрей и быстрей. Я смотрю на часы и уже сомневаюсь, что мое дело будет слушаться. Входит подсудимый. Переводчик начинает бормотать, но вдруг замолкает и вопросительно смотрит на вошедшего.

Переводчик: Подсудимый говорит на африкаанс, ваша милость.

Переводчик, сгорбившись, опускается на табурет рядом с подсудимым, смотрит по сторонам, замечает время и медленно заводит свои ручные золотые часы.

Прокурор: Непредъявление пропуска и неуплата налогов за три года.

Судья: Skuldig of onskuldig? Признаешь ли себя виновным?

Подсудимый: Onskuldig, Edelagbaar. Не признаю, ваша милость.

Судья: Имя?

Подсудимый: Питер Суорц, Edelagbaar.

Прокурор: Waar's jou pas? Где пропуск?

Подсудимый: Не имею, Edelagbaar.

Прокурор: Как это не имеешь? Ты кто такой?

Подсудимый: Kleurling. Цветной.

Прокурор: Где твое удостоверение личности?

Подсудимый: Нет у меня.

Судья: Классификацию проходил?

Подсудимый: Нет.

Прокурор: Потому что сам знаешь, что ты черный. Как твое настоящее имя? Ты не Питер Суорц. Ты даже на африкаанс не говоришь толком.

Судья: Получи пропуск. И больше не дури. Ведь знаешь, что должен иметь пропуск. Три месяца — десять фунтов.

Я сижу весь в поту. Чем я лучше этого подсудимого? И на африкаанс я говорю так же скверно. Классификацию я даже не пытался пройти.

Карандаш прокурора вонзается в нижнюю часть списка. Все меньше надежды, что мое дело пройдет сегодня. Уже четвертый час. Молодой белый полицейский во все глаза уставился на адвоката африканца, сидящего рядом с прокурором. За перилами стоит уже новый подсудимый, он тоже говорит на африкаанс, на том африкаанс, который употребляют цветные. Он цветной, но более темный, чем тот, что получил три месяца.

Судья: Где твое удостоверение личности?

Подсудимый: Я проходил классификацию, ваша милость. Они сказали, что я черный.

Прокурор: Значит, черный ты и есть.

Подсудимый: Нет, ваша милость. Я — Байз.

Я так и подскочил. Ходили слухи, что Байз, европеец, живший среди туземцев, оставил после себя целое племя детей-полукровок. Я снова взглянул на подсудимого. Ничего от белого. Как и во мне.

Судья: Ты пытался опротестовать свою классификацию?

Подсудимый: Да, ваша милость. Но в Претории сказали, что я черный...

Прокурор: Значит, так оно и есть.

Подсудимый: Я не черный, ваша милость. Я внук Байза.

Судья: Ничем не могу помочь. Отдел классификации считает, что ты черный. Даю тебе четырнадцать дней для приведения своих дел в порядок.

Подсудимый: Полиция снова арестует меня, Edelagbaar. Дайте мне справку.

Судья: Этого я не могу сделать.

Подсудимый: Dankie, Edelagbaar. Благодарю вас, ваша милость.

Судья смотрит на прокурора, затем на часы. Он утирает лицо. Он полагает, что можно сделать небольшой перерыв. Молодой белый полицейский поспешно вскакивает, схватившись рукой за пистолет, висящий у бедра. Staan in die Hof! Встать!

Я продолжаю сидеть на задней скамейке. Я боюсь поднять глаза на своего брата Джорджа, сидящего рядом. В носу щекочет от слез, меня мутит от волне-

ния и от чувства безнадежности. У прокурорского стола Дьюма отмахивается от молодого белого полицейского.

— Меня тошнит от муниципального суда, но этот еще хуже,— говорит Дьюма, кивая в сторону судейского стола.— Джордж,— обращается он к брату,— тебе как свидетелю придется выйти из зала.

Табете из Особого отдела на цыпочках входит в зал и садится на заднюю скамью. Белый полицейский трясет головой и таращит глаза. Судья раскладывает лежащие перед ним бумаги и смотрит на часы, висящие за моей спиной.

— По доверенности от Шулламат Мьюллер обвиняемого представляет доктор Нокве,— говорит Дьюма.

Прокурор встает с утомленным видом, смотрит на часы, затем на судью.

Прокурор: Подсудимый обвиняется в отсутствии документов и в неуплате налога начиная с 1944 года, то есть в течение четырнадцати лет. Свидетелем по делу выступает начальник Отдела пропусков Иоганнесбурга.

Эразмус, начальник Отдела пропусков, кланяется судье и сообщает свое имя. Затем его одутловатое лицо, похожее на луковицу, поворачивается в мою сторону. Я пристально смотрю на него.

Судья: На каком языке будете говорить?

Я: На английском, ваша милость.

Прокурор: U is die Hoof Pasbeamte Johannesburg? Вы начальник Отдела пропусков города Иоганнесбурга?

Эразмус: Korrek, Edelagbaar. Совершенно верно, ваша милость.

Прокурор: Не сообщите ли суду, сколько лет вы занимаете эту должность?

Эразмус: Двадцать два года, ваша милость.

Прокурор: По роду деятельности вам за время службы приходилось встречать много туземцев?

Эразмус: Тысячи туземцев.

Прокурор: Какой расы, по-вашему, обвиняемый?

Эразмус: Он черный.

Прокурор: Расскажите суду, что произошло в пятницу 27 октября 1958 года.

Эразмус: Обвиняемый был доставлен ко мне сержантом сыскной службы сотрудником Особого отдела Холбергом, и я арестовал его за отказ предъявить пропуск и за неуплату налога с 1944 года.

Прокурор: Благодарю вас.

Нокве: Мистер Эразмус, я буду задавать вопросы по-английски, а вы можете отвечать на африкаанс. Мои познания в африкаанс, ваша честь, оставляют желать лучшего.

Эразмус: Это не имеет значения. Английский или африкаанс — мне все равно.

Нокве: Благодарю вас, мистер Эразмус. Мистер Эразмус, считаетесь ли вы экспертом по определению расовой принадлежности? Это ведь очень сложный вопрос.

Эразмус: У меня большой опыт в работе с туземцами.

Нокве: Прошу вас ответить на мой вопрос.

Эразмус: Нет.

Нокве: Что — нет?

Эразмус: Я не претендую на звание эксперта.

Нокве: Значит, вы можете и ошибиться в определении расовой принадлежности.

Эразмус: Всегда отличу черного, если вижу его перед собой.

Нокве: Но иногда можно походить на людей одной расы, а принадлежать к другой.

Эразмус: Да, это бывает.

Нокве: Следовательно, когда вы говорите, что человек принадлежит к данной расе, вы просто высказываете свое личное мнение.

Эразмус: Да.

Нокве: Это мнение может быть ошибочным, не так ли?

Эразмус: Да.

Нокве: Благодарю вас, мистер Эразмус.

Прокурор: Ваше имя?

Я: Элфред Хатчинсон.

Прокурор: Вы уверены, что у вас нет туземного имени? Расовая принадлежность?

Я: Цветной.

Прокурор: Вы в этом уверены? Ваше туземное имя? Отвечайте на вопрос!

Я: Меня зовут Элфред Хатчинсон.

Прокурор: Расовая принадлежность матери? Кто ваша мать?

Я: Африканка.

Прокурор: Кто были отец и дед матери?

Я: Африканцы.

Прокурор: Черные. На каком языке разговаривают дома?

Я: На свази и на английском.

Прокурор: На африкаанс?

Я: Нет.

Прокурор садится с надменным видом. Как бы и мне хотелось сесть. Встает Дьюма.

Нокве: При всем уважении к суду, ваша милость, я не вижу оснований для судебного разбирательства.

Прокурор: Мне непонятно, ваша милость, что имеет в виду мой ученый друг, утверждая, что здесь нет оснований для судебного разбирательства. Обвиняемый — африканец, а закон гласит, что все черные старше шестнадцати лет должны иметь специальные пропуска. Ему надлежит доказать суду, что он *не* является туземцем.

Судья: Объявляю перерыв на несколько минут.

Судебное заседание прерывается.

* * *

Дьюма стоит, беседуя с прокурором, и я выхожу из-за своей загородки. Стрелки приближаются к четырем, и я уже теряю надежду, что разбирательство закончится сегодня. Судья возвращается.

Судья: Суд считает достаточными основания для слушания дела.

Нокве: Как угодно вашей милости. Имя?

Я: Элфред Хатчинсон, ваша честь.

Нокве: Возраст?

Я: Тридцать четыре года.

Нокве: Расовая принадлежность?

Я: Цветной, ваша честь.

Нокве: Когда-либо причисляли себя к другой расе?

Я: Нет, ваша честь.

Нокве: Расскажите суду о своих родителях.

Я: Отец — цветной, мать — африканка.

Нокве: Кто родители отца?

Я: Дед был европеец, бабка — африканка.

Чувство отчаяния растет. Я смотрю на Дьюму и думаю, как это и он может так меня допрашивать.

Н о к в е: Образование?
Я: Бакалавр искусств, имею диплом об окончании университета.
Н о к в е: Ваша профессия?
Я: Учитель.
Н о к в е: Расскажите суду, чем занимались в 1944 году.
Я: Учился в средней школе Святого Петра в Розеттенвилле.
Н о к в е: Когда окончили школу Святого Петра?
Я: В 1945 году.
Н о к в е: Чем занимались потом?
Я: В 1946 году поступил учиться в университет в Форт Хэр.
Н о к в е: Сколько времени там обучались?
Я: До 1948 года. Затем в 1950 году вернулся для получения диплома.
Н о к в е: Что вы делали в 1953 году?
Я: Изучал право в университете в Уитуоттерсрэнде, но экзамены не сдавал.
Н о к в е: А в 1955 году?
Я: Снова пытался изучать право и вновь прервал учебу.
Н о к в е: Чем занимаетесь в настоящее время?
Я: Я — один из подсудимых по делу о государственной измене.
Н о к в е: Благодарю вас.

Прокурор встает с утомленным видом, теперь судебное заседание может прерваться в любую минуту.

П р о к у р о р: Вы говорите, что ваш дед был европеец. Как его звали?
Я: Джордж Хатчинсон.
П р о к у р о р: Его национальность?
Я: Англичанин.
П р о к у р о р: Откуда вы знаете?
Я: Я его помню.

Я помню, но разве могу рассказать им, как сидел на коленях у деда, в его лавке близ «Набот Уайн-ярд», жевал печенье и с беспокойством и восхищением смотрел в его орехово-желтые глаза. Разве я могу рассказать им о Джоджо, старом шотландце, как называли его африканцы; Джоджо, который сражался против зулусов в битве при Изэндхлване; Джоджо, открывателе Кимберли и Барбертона, который знал Родза и сэра Джеймса Фитцпатрика и был знаком с великим охотником Селоусом; Джоджо, который вел родословную от Джона Хатчинсона, подписавшего в свое время смертный приговор королю Карлу I, а позже заключенного в Тауэр по обвинению в государственной измене?..

П р о к у р о р: Когда он умер?
Я: В 1930 году.
П р о к у р о р: Вы учились в школе Святого Петра — это туземная школа.
Я: Не только. Там учились индийцы и цветные.
П р о к у р о р: Но в основном это туземная школа.
Я: Да.
П р о к у р о р: Вам известно, что в соответствии с «Законом о регистрации населения» вы должны были пройти классификацию?
Я: Да.
П р о к у р о р: Вы проходили классификацию?
Я: Нет.
П р о к у р о р: Почему?
Я: Я не думал, что это так срочно. Кроме того, у меня не было времени.

Прокурор: Почему?

Я: С 1956 года я был обвиняемым на процессе о государственной измене, и судебные заседания происходили почти ежедневно.

Прокурор: Но заседания суда часто прерывались. Почему вы не воспользовались этим и не прошли классификацию?

Я: Я преподавал в Центральной индийской школе.

Прокурор: В школе бывали каникулы. Вы не проходили классификацию, потому что знали, что вы черный.

В суд вызывают Джорджа. Африканец переводчик приподнимается и кричит в дверь. Эразмус отирает свое лицо-луковицу. Прокурор мельком смотрит на часы. Дьюма встает. Сгорбившись, Джордж входит в зал суда.

Нокве: Мистер Эразмус, не будете ли вы так любезны взглянуть на обвиняемого и на свидетеля — обратите внимание на форму носа и рта. Что вы можете сказать на этот счет?

Эразмус: Я бы сказал, что они родственники.

Нокве: Близкие родственники?

Эразмус: Я сказал бы, что они братья.

Нокве: Благодарю вас, мистер Эразмус. Больше у меня нет вопросов к свидетелю обвинения, ваша милость.

Судья: Благодарю вас, мистер Эразмус.

Эразмус кланяется судье и с вымученной улыбкой робкими шагами покидает зал. Дьюма поворачивается к Джорджу, который стоит и нервно потирает руки.

Нокве: Ваше имя?

Джордж: Джордж Хатчинсон.

Нокве: Сколько вам лет?

Джордж: Тридцать два года.

Нокве: Расовая принадлежность?

Джордж: Цветной.

Нокве: Когда-либо причисляли себя к другой расе?

Джордж: Нет.

Нокве: Вы знаете обвиняемого?

Джордж: Он мой брат.

Нокве: От одних родителей?

Джордж: Да.

Нокве: Кто ваш отец?

Джордж: Цветной.

Я думаю об отце и о дяде: оба в первую мировую войну получили медаль «За выдающиеся заслуги», отец был вспыльчив, и ему дали прозвище «Пылающая жаровня». Спрашивается, ради чего они сражались?

Нокве: Отец вашего отца?

Джордж: Европеец.

Нокве: Где вы были во время ареста подсудимого?

Джордж: Я вместе с ним находился в его машине.

Нокве: Что произошло?

Джордж: Агенты Особого отдела во главе с сержантом Холбергом окружили машину. Сержант потребовал наши пропуска.

Нокве: Что произошло дальше?

Джордж: Я предъявил выданную полицией справку, удостоверяющую, что я цветной.

Нокве: А затем?

Джордж: Они отпустили меня, а брата арестовали.

Нокве: Ваш брат говорил что-нибудь?
Джордж: Сказал им, что он цветной.
Нокве: Справка у вас с собой?
Джордж: Да.
Нокве: Предъявите ее суду.

Джордж ищет справку, прокурор судорожно вскакивает с места.

Прокурор: Ваша милость, я категорически протестую против того, что мой ученый коллега пытается приобщить к делу документ, ни в коем случае не могущий служить доказательством. Вышеупомянутый полицейский чин не имел права выдавать подобные справки. Он просто высказал личное мнение, что данный человек — цветной.

Нокве: Ваша милость, при всем уважении к моему ученому другу, я не могу понять рвения, с которым он стремится изъять документ, выданный полицией. Документ составлен компетентным чиновником южно-африканской полиции, который к тому же знает семью обвиняемого, знает, что свидетель — цветной, ожидающий получения удостоверения личности согласно «Закону о регистрации населения».

Судья: Передайте мне документ.

Молодой полицейский с документом в руках подходит к судье, который смотрит сперва на документ, потом на часы.

Судья: Документ в полном порядке.

Прокурор: Как вам угодно, ваша милость. Вы говорите, что ваш дед был европеец. Откуда вам это известно?
Джордж: По детским воспоминаниям.
Прокурор: Когда он умер?
Джордж: В 1930 году.
Прокурор: Кто ваша мать?
Джордж: Африканка.
Прокурор: А бабки?
Джордж: Африканки.
Прокурор: В какой школе вы учились?
Джордж: В нелспритской школе для индийцев и цветных, а затем в средней школе в Хайсо.
Прокурор: Школа в Хайсо — туземная, не так ли?
Джордж: Там учатся африканцы, индийцы и цветные.
Прокурор: Но это туземная школа?
Джордж: Да.
Прокурор: У меня больше нет вопросов, ваша милость.

Собирая свои бумаги, прокурор смотрит на часы. Я очень устал и завидую переводчику, который развалился на стуле.

Прокурор: Ваша милость, обвиняемый признал, что его мать, мать его отца и все родичи до седьмого колена — туземцы. Возможно, что дед и был европейцем, но его кровь давным-давно смыта потоком черной крови. Таким образом, в жилах обвиняемого преобладает туземная кровь, и это мешает ему числиться представителем цветной расы. Обвиняемый учился в школе Святого Петра — это туземная школа. Обвиняемый не сумел доказать суду, что он *не* туземец, а цветной, хотя и обязан был это сделать Вот почему я прошу вашу милость признать его виновным в непредъявлении пропуска, который в силу существующего закона обязаны иметь при себе все туземцы от шестнадцати лет и выше.

Мой дед, вождь Матсамо, охранял восточные подступы к Свазиленду, места, куда изгоняли колдуний и колдунов. На заре своего правления он насылал на соседние племена злых духов. Он имел более пятидесяти жен. Когда я был малышом, мать возила меня в королевский крааль, и Матсамо, впавший на старости лет в детство, поил меня молоком из королевского калабаша * и благодарил дочь за то, что она родила ему внука, который будет «писать за него буквы».

Нокве: Бремя доказательства не лежит на обвиняемом. Это обязанность обвинителя. Мой подзащитный не обязан доказывать, что он цветной; напротив, обвинение обязано доказать, что он не является цветным. Обвинение не сумело этого сделать. В судах первой инстанции уже не раз наблюдались случаи подобного ошибочного возложения бремени доказательства на обвиняемых; именно поэтому высокоученый судья мистер Рампф напомнил судам об этой обязанности обвинителей.

Дьюма ссылается на судебный прецедент и зачитывает решение, написанное на африкаанс. И я вижу перед собой судью Рампфа, председательствовавшего на нашем процессе, вижу его умные глаза. Молодой полисмен качает головой и таращит глаза. Даже переводчик выпрямляется на стуле, а судья еле заметно кивает головой в знак согласия.

Нокве: Ваша милость, обвинение, увы, не сумело выполнить свой долг так, как того требует закон. И обвиняемый и свидетель чистосердечно рассказали суду о своих родителях. Они не пытались, как это нередко бывает в подобных случаях, скрыть свое африканское происхождение. Мой ученый друг говорил о преобладании в их жилах туземной крови. Я, однако, смею утверждать, что на самом деле обвиняемый — прямой потомок европейцев. Он причисляет себя к цветным и останется таковым до тех пор, пока прокурор не докажет обратного. Вследствие этого, ваша милость, я прошу снять обвинение с моего подзащитного.

Дьюма садится и барабанит пальцами по столу. Прокурор смотрит на стенные часы, переводчик — на ручные. Судья некоторое время молча пишет.

Судья: Я выслушал прения сторон и показания обвиняемого и свидетеля защиты. Прокурору не удалось доказать, что обвиняемый является туземцем, поэтому я снимаю обвинение. (Судья поворачивается в мою сторону.) Позаботьтесь о том, чтобы получить удостоверение личности.

Я кланяюсь. Я свободен. Половина пятого. Поезд отходит в 6.45. У меня нет времени съездить за багажом. Я уезжаю в Гану. Разрешение на проезд через территорию Португалии придется получать в Солсбери. Я не могу ждать до завтра.

---

* Бутылка из выдолбленной тыквы.

Джек Линдсей

СИЛЫ, ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ МИР

(Письмо советскому коллеге)

Дорогой друг, вас, наверно, интересует, что я думаю по поводу Совещания представителей коммунистических и рабочих партий, которое недавно состоялось в Москве. Я рад, что мне представляется возможность высказать свои соображения по этому вопросу. Вы понимаете, что я совершенно не могу абстрагировать свое отношение к Совещанию от того, что думаю по поводу международного положения вообще и положения в Англии в особенности.

Прежде всего мне хочется сказать, что я с огромным интересом ждал решений Совещания, так как уверен, что многое зависит от них. Нелегко решать вопросы мирной политики в современном мире, где, с одной стороны, стал решающим фактором лагерь социализма, но с другой — капиталистическая страна Соединенные Штаты Америки все еще остается подавляющей, преобладающей силой в лагере империализма. Существует много теоретических и практических вопросов, которые следует тщательно обсудить, так как нынешняя ситуация не имеет прецедента, хотя, конечно, у нее определенная связь с предыдущими периодами. Можно извлекать уроки из прошлого, но гораздо более важные выводы следует сделать из современного положения.

Мне кажется неслучайным разделение, происшедшее в мире за последнее время,— то есть существование общества, которое ликвидирует классовые противоречия, с одной стороны, и мощной державы, которая несет в себе эти противоречия, доведенные до крайности, с другой. Люди стоят перед выбором — либо с помощью накопленной энергии овладеть природой, использовать ее во имя жизни, либо сделать ее орудием смерти и разрушения.

Таким образом, характер выбора, с которым сталкиваются люди, не имеет прецедента, но одна из больших опасностей этой ситуации заключается в том, что не все в Англии, например, понимают смысл этого выбора. Поэтому надо всегда учитывать новые факты общественных противоречий, иначе окажется, что выдвигаются устаревшие лозунги и формулировки. А как только об этих фактах забывают политические деятели или народы несоциалистических стран, бдительность, необходимая для дела мира, ослабевает. В результате проводится — или во всяком случае не встречает возражений — такая приспособленческая и легкомысленная политика, будто война, угрожающая нам, не отличается от всех прежних войн. Правительственная пропаганда в Англии делает все, чтобы внушить людям, будто атомная война не очень отличается от войны 1939—1945 гг. Гражданская оборона представляется такой же, какой она была в прошлом, только с некоторыми изменениями в технике. Все это приводит к страшной путанице во взглядах.

Не так легко определить и разработать правильную политику в мире, разделенном на два лагеря. Тем больше оснований серьезно задуматься и стремиться к разрешению спорных вопросов. Общеизвестно, что вся наша жизнь, все будущее человечества, само существование рода человеческого зависит от сохранения мира. Обеспечить мир — это

не значит сохранить беспокойное status quo, а продолжать двигаться к определенной цели — всеобщему разоружению. Все это общеизвестно, но судьба, которая постигнет человечество в том случае, если не будет упрочен мир, столь ужасна, что мы даже не решаемся по-настоящему осмыслить и представить ее себе. Мы обычно всерьез думаем о возможных последствиях катастрофы лишь в минуты гнева, большого эмоционального напряжения. Самая характерная черта современной обстановки у нас в Англии состоит в том, что очень многие находятся в состоянии апатии, равнодушно подчиняются силам, в руках которых находится их жизнь. Многие произведения искусства отражают это положение вещей. Мне вспоминается франко-японский фильм «Хиросима — любовь моя». Его значение, на мой взгляд, состоит в том, что, не сосредоточивая внимание на ужасах атомной бомбы, которые всем известны, как бы мы ни старались спрятаться от них, он поднимает вопрос: как могут люди забыть, выбросить из головы жгучие проблемы современности и вести себя так, будто их не существует? Мимоходом скажу, что я работаю над романом на эту тему, в основу сюжета положена война в Корее.

Я знаю, что вам трудно понять это. Ведь вы живете в стране, где правительство ежедневно делает все возможное для осуществления мирной политики и воспитывает у народа сознание необходимости неустанной борьбы за мир. Я считаю, что в вашей стране, особенно в течение последних пяти-шести лет, проблеме мира уделяется серьезное внимание, проявляется готовность продумать этот вопрос еще и еще раз, подойти к нему смело и творчески, несмотря на препятствия, чинимые международной реакцией. А эти постоянные усилия достойны самой высокой похвалы. Я думаю, что они получили поддержку у народов мира, постоянно уменьшая страхи и подозрения, прочно укоренившиеся вследствие многолетней антисоветской пропаганды.

Да, правдивый, человечный, сердечный тон советской мирной политики последних лет был огромной силой и много сделал для того, чтобы уничтожить апатию, о которой я говорил выше. Но еще немало предстоит сделать для достижения решающих результатов. Одна страна должна говорить с другой на понятном обоим языке, и чем меньше будет иллюзий, тем лучше. Поэтому я и подчеркиваю различие между такими странами, как Англия и Советский Союз, различие в подходе народа к международным событиям и программам совместных действий.

В нашей стране колоссальные средства массовой пропаганды, находящиеся в руках правящего класса, используются для того, чтобы отвлекать и оглуплять людей. Как совершенно справедливо говорится в Московском Заявлении, «Успехам социализма класс эксплуататоров противопоставляет все более активную идейную обработку масс, старается удержать их в духовном плену буржуазной идеологии». Причем используется не только прямая пропаганда, хотя, конечно, ее нельзя недооценивать, а также так называемая «индустрия развлечений», которая создает иллюзию какого-то особого мира, далекого от волнующих проблем реальной действительности. Эти «развлечения» предлагают в качестве идеала жизнь, полную убогих иллюзий и мещанских удобств. Сейчас одна из самых популярных в Англии, в том числе и среди рабочих, телевизионных программ — передачи состязаний по вольной борьбе. Борцов показывают крупным планом, когда они выкручивают друг другу руки, сворачивают скулы, показывают их искаженные, как в страшной агонии, лица. Я знаю, вы сказали бы: «Империалистическая культура деградирует, это общеизвестный факт». Но когда изо дня в день эта деградация оказывает влияние на образ мыслей и чувства народных масс, все оборачивается не так просто. Можно искать прибежище в сентиментальных рассуждениях о «народе» и о «рабочих», но это не даст вам настоящего представления о том, как действительно ведут себя этот «народ» и эти «рабочие» в сложных условиях пропагандистской «обработки». Простите меня, если я скажу, что вы иногда ошибаетесь, представляя себе действительность в несоциалистических странах разделенной на две части: с одной стороны — разлагающиеся силы империализма, с другой — народ, не тронутый разложением. К несчастью, на самом деле это не так. В странах, подобных Англии, неблаговидные поступки и благородные человеческие стремления тесно связаны между собой, они не изолированы друг от друга, а находятся в постоянной борьбе

в жизни отдельного человека. Иначе не было бы никакой проблемы. Люди признали бы необходимость мирной политики, которую проводит Советский Союз, и ни одно правительство — ни здесь, ни в США, ни где бы то ни было — не смогло бы противостоять требованиям осуществлять эту мирную политику.

Разрешите мне привести слова драматурга Роберта Болта, пьеса которого, посвященная проблеме борьбы за мир, с успехом идет сейчас в Лондоне. Главный герой пьесы, ректор университета, отказывается каким бы то ни было образом помогать движению борцов за мир. Он гордится тем, что далек от злободневных политических событий. В конце пьесы он вынужден признать, что «обособленность» лишает его всего того, чем живут люди, он душевно опустошен, кроме того, переживает личную драму — теряет любовь жены. Болт пишет:

«Логически рассуждая, угроза взаимного уничтожения должна запугать людей, но в конце концов к ней можно привыкнуть. Эмоциональное напряжение слишком интенсивно, и естественно, что оно приводит к состоянию скуки, смешанной с истерией, а это — самое опасное сочетание из всех возможных. На самом деле, в то время как всякое новое изобретение (вроде ракет «Поларис») повышает нашу боевую «готовность», она не уравновешивается ростом решимости помешать использованию этих ракет. Наука развивается непрерывно, но в нас самих не растет понимание опасностей, связанных с ее прогрессом. Так день за днем адская машина становится все более изощренной, а чувства людей, которые должны держать ее под контролем, все более притупляются. Вот к чему приводит «логика запугивания».

Эти слова не объясняют полностью положения в такой стране, как Англия, но освещают важный аспект этого положения. Многие люди хотели бы, чтобы военные приготовления были приостановлены, они знают, до чего доводит «логика запугивания», и все же не предпринимают необходимых шагов, чтобы покончить с таким убийственным положением вещей; они слишком одурманены и одурачены. Империалистическая пропагандистская машина сделала свое дело.

Но, как я уже сказал, машина одурманивания, о которой говорит Болт, не всевластна, иначе не было бы никакой надежды. Факторы, которые анализирует драматург, действительно существуют и представляют реальную опасность, они мешают людям выразить свое истинное желание — обеспечить мир для себя и своих детей. Необходимо сначала понять эти факторы, чтобы устранить их. Советская мирная политика последних лет несомненно помогла устранить некоторую растерянность и настроения покорности у народа нашей страны, потому что эта полигика выражена в ясных человеческих словах, которые не может полностью извратить злонамеренная пропаганда. Поэтому мне и кажется чрезвычайно важным, чтобы вопрос о мире настойчиво поднимался вновь и вновь, чтобы был найден верный тон, правильный способ аргументации, обращенной и к разуму и к чувству людей, чтобы никакие провокационные действия, вроде полета «У-2» над советской территорией, не могли помешать делу мира. Далее, важно, чтобы все социалистические страны, выступая вместе, ясно и смело ставили вопрос о мире каждый раз, когда возникнет к тому хоть малейшая возможность. Поэтому я так счастлив приветствовать Заявление Московского Совещания, которое, по-моему, шло по правильному пути, укрепляя, с одной стороны, единство социалистических стран и, с другой, показывая всему человечеству, непоколебимую преданность Советского Союза делу мира. «Наступило время,— говорится в Заявлении,— когда социалистические государства, образовав мировую систему, стали силой интернациональной, оказывающей могучее воздействие на мировое развитие. Появились реальные возможности решать важнейшие проблемы современности по-новому, в интересах мира, демократии и социализма».

Мне кажется, что, следуя курсу, указанному Совещанием, страны социалистического лагеря — насколько это в человеческих силах — смогут обеспечить мир. А если мир будет сохранен, то ни империалистическая пропаганда, ни финансовые манипуляции, ни подачки рабочей аристократии, которые помогли капитализму в последние годы достигнуть так называемой стабилизации, не смогут помешать торжеству социалистической идеи братства, равенства и свободы еще во многих районах земного шара.

Когда задумываешься над тем, насколько далеко зашел в эти годы распад империалистической и колониальной системы, и сравниваешь сегодняшнее положение, скажем, с положением до 1939 года, то понимаешь, какие глубинные силы преобразуют мир и насколько слабее стала реакция. Огромное значение имело освобождение китайского народа. А кто, не обладая марксистским предвидением, мог поверить, что Африка сделает такие гигантские шаги, как в последние годы? Наконец в самой Америке Куба вырвалась из-под власти доллара. Борьба латиноамериканцев всегда очень интересовала меня, особенно крестьянские движения в Мексике, Никарагуа и других странах. Эта борьба знала страшные и героические моменты, когда в ход были пущены подводные лодки США или доллары, чтобы отнять у народа то, что он выстрадал и завоевал в борьбе. Поэтому значение кубинского «прорыва» трудно переоценить.

Нет необходимости детально рассматривать эти вопросы. В существующих условиях чрезвычайно важно, чтобы народы таких стран, как Англия и США, как можно лучше поняли, что происходит в мире, увидели, как и почему освобождение народов где бы то ни было, особенно в слаборазвитых странах с низким жизненным уровнем, помогает делу мира. Вот почему такое существенное значение имеет движение борьбы за мир. Без этого движения, без непрерывных усилий, которые предпринимает Советский Союз, чтобы вопрос о мире все время стоял на первом плане, было бы трудно на что-нибудь надеяться. Мы едва ли могли бы предсказать иное будущее, кроме такого, когда империалистические силы настолько обезумеют, что развяжут войну. Движение борцов за мир, осуществление политики, сформулированной на Московском Совещании, должны предотвратить эту вспышку. Политика мирного сосуществования медленно, но верно приведет к тому, что слаборазвитые и колониальные страны найдут свое место в свободном мире без взрыва, который мог бы произойти по воле потерявшего разум империализма.

Вот почему наряду с той мрачной апатией, о которой пишет Роберт Болт, есть и надежда. В его словах содержится глубокая правда, и о ней не следует забывать, но ведь и другие силы действуют в нашем народе, во всех народах, силы, которые помогают им отбросить апатию и отрешенность и объединиться для эффективных действий. Иногда трудно указать эти силы, объяснить, как они действуют, несмотря на препятствия и окольные пути. Но, конечно, главный фактор, помогающий людям на земном шаре сохранить надежду и желание действовать,— мирная политика Советского Союза. Открытым выражением этого желания у нас в Англии является движение за уничтожение ядерного оружия, движение, которое имеет много сторонников среди буржуазии и интеллигенции. Существует прочная связь этого движения с растущим сопротивлением организованного рабочего класса самоубийственной ядерной политике. Это сопротивление нашло свое выражение в торжестве сторонников политики мира на последней конференции лейбористской партии. Правда, эта политика должна еще овладеть массами, чтобы добиться изменения внешнеполитического курса нашего правительства и лейбористских лидеров, но нужно только оглянуться на три года назад, чтобы увидеть, какие колоссальные успехи достигнуты, какие глубокие и прочные изменения происходят в нашем народе. Следует подчеркнуть, что эти изменения произошли не в период усиления классовой борьбы, когда вопрос о мире был бы одним из аспектов общей борьбы за прогресс и улучшение условий жизни, не в период безработицы и снижения жизненного уровня. Это, по-моему, указывает на более решительную, глубоко продуманную позицию народа. Это не результат внезапно вспыхнувшего энтузиазма, этот процесс происходит медленно, но энергично, народ убедился в необходимости полного разоружения.

Внутри лейбористского движения идет борьба со старыми лидерами, использующими любой трюк, чтобы помешать осуществлению чаяний народа. Но это новое движение за мир шире лейбористского и привлекает даже политически отсталых людей. К этому движению присоединяется молодежь, которая серьезно стремится к миру. Мне кажется, что в политическом отношении мы переживаем очень интересный для Англии момент, когда еще много неясного, но уже действуют новые движущие силы.

Трудно точно предсказать, какие организационные формы из этого возникнут, даже если ясно ощущаешь общее направление.

Я думаю, что в Англии движение за мир добьется важных демократических завоеваний, ибо оно возникло как моральный протест против системы, которая не может положить конец угрозе войны. Однако народ не остановится лишь на моральном осуждении консерваторов и официальных лейбористских лидеров, это осуждение — свидетельство разумного подхода к действительности, возрождения идеала о всеобщем братстве, показатель того, что народ изверился в возможности политики доброй воли в классовом государстве.

Процесс, который я обрисовал, происходит в Англии гораздо быстрее, чем в США. Ухудшившееся положение нашей страны как империи дает возможность все более широким слоям населения трезво и реалистически подойти к вопросам международного положения. Но я думаю, что и в США есть признаки такого же «изменения настроений».

Так или иначе, ход моих рассуждений привел меня к тому, с чего я начал,— к значению решений Московского Совещания и к той огромной роли, которую они должны сыграть в уменьшении международной напряженности, поскольку СССР и вся социалистическая половина мира продолжают выступать с этой программой на дипломатическом и других поприщах. И я верю, что мои заметки, порой умозрительные, все же помогут понять мою точку зрения и уяснить, какую роль, на мой взгляд, могут сыграть решения Совещания в том, чтобы мои соотечественники нашли путь к прочному миру.

КРИТИКА

Е. П. Кирилюк

член-корреспондент
Академии наук Украинской ССР

Т. Г. ШЕВЧЕНКО В СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРАХ

(К 100-летию со дня смерти)

Судьба породнила Тараса Шевченко с русским народом. Великий украинский поэт и художник жил долгое время на русской земле. Благородные русские люди помогли ему освободиться от крепостной неволи, получить высшее художественное образование. Передовая русская культура способствовала формированию революционно-демократического мировоззрения Шевченко, его гения поэта и художника.

Мы хотим остановить внимание читателей на связях Шевченко с западно- и южнославянскими литературами.

Исторические судьбы связали Украину с Польшей. Западноукраинские земли, правобережье Украины весьма продолжительное время находились под властью польских феодалов, польской шляхты. Украинский народ в течение многих десятилетий вел национально-освободительную борьбу против польских магнатов. Борьба эта ярко отразилась в раннем творчестве Шевченко — в поэме «Тарасова ночь» и особенно в поэме «Гайдамаки», крупнейшем поэтическом произведении Шевченко. В ней поэт исторически правдиво показал события 1768 года. Но как великий гуманист и демократ, он не переносил вполне законную ненависть к польским феодалам на польский народ. С болью в сердце пишет Шевченко о прошлом:

За что ж люди
Губили друг друга?
Поглядеть — такие ж люди,
Жить, водить бы дружбу.
Не умели, не хотели —
Разделиться нужно...
Сердцу больно, как помыслишь:
Что людей побито!
Столько крови!

И еще более выразительно в предисловии к поэме: «Сердце болит, а рассказывать надо... Пусть житом, пшеницею, как золотом, покрыта, неразмежевана останется навеки от моря и до моря славянская земля».

Возникает вполне законный вопрос: откуда у молодого поэта такие широкие взгляды на единение славянских народов? Вполне понятно, что поэт, революционер-демократ, не мог разделять реакционные панславистские бредни об объединении славян под скипетром жандарма Европы Николая I. В той же поэме «Гайдамаки», напоминая народу о героях прошлого, Шевченко писал об императоре:

**Тяжело! Палач на троне,
А они забыты.**

Безусловно, от своих русских друзей поэт мог узнать о программе декабристского «Общества соединенных славян», от польских — об аналогичных планах польских революционеров. Очевидно, он был знаком и со знаменитой книгой Й.-П. Шафарика «Славянские древности», изданной в переводе И. Бодянского в 1837 и 1838 годах.

Но все это лишь предположения. Фактом является то, что в своих ранних произведениях Шевченко последовательно проводит идею братства славянских народов. Вслед за поэмой «Гайдамаки» он пишет на русском языке драму «Никита Гайдай» (1842). Единственный напечатанный отрывок из драмы кончается такими словами главного героя, сподвижника гетмана Богдана Хмельницкого: «Славяне, несчастные славяне! Так нещадно и так много пролито храброй вашей крови междоусобными ножами! Ужели вам вечно суждено быть игралищем иноплеменников? Настанет ли час

искупления? Придет ли мудрый вождь из среды вашей погасить пламенник раздора и слить воедино любовию и братством могущественное племя!»

Знакомство Шевченко с известным славистом проф. И. Бодянским усиливает интерес писателя к истории славянских народов, к деятелям славянского возрождения. Он внимательно изучает широкоизвестную книгу Шафарика «Славянское народописание» (1843) в переводе И. Бодянского.

В 1845 году Шевченко создает свою пламенную поэму «Еретик» о великом сыне чешского народа Яне Гусе и пишет стихотворное посвящение «Шафарикови». Возникает вопрос: почему Шевченко посвящает поэму «Еретик» именно Шафарику? Это говорит о том, что поэт имел подробные сведения о чехословацких будителях и избрал именно Й.-П. Шафарика как наиболее прогрессивного ученого и деятеля славянского возрождения, не разделявшего панславистских заблуждений.

Реакционное славянофильство Шевченко осуждает в послании «И мертвым, и живым...» (1845). Поэт следил за успехами всех славянских народов и в предисловии к предполагавшемуся изданию «Кобзаря» в 1847 году писал: «Слышу, а иногда и читаю: поляки печатают, чехи, сербы, болгаре, черногорцы, русские — все печатают, а у нас ни гугу, словно язык отняло» Шевченко ссылался далее на самоотверженный труд деятелей славянского возрождения, ставил их в пример: «Почему В. С. Караджич, Шафарик и иные не постриглись в немцев (им бы сподручнее было), а остались славянами, истинными сынами матерей своих, и славу добрую стяжали?».

Шевченко боролся и практически за осуществление идеи единения и братства славянских народов. В 1846 году он вступил в тайное политическое общество — «Кирилло-Мефодиевское братство», одной из задач которого было объединение всех славянских народов в единое государственное целое.

В ссылке друзьями Шевченко были поляки революционеры. Им он посвятил замечательное стихотворение «Полякам»:

Дай казаку ты руку снова
И сердце чистое отдай!

Интересен и тот факт, что в первые же сутки после возвращения из ссылки в Петербург поэт встречается у своего друга В. Белозерского с польскими революционерами: Сераковским, Станевичем и Желиговским. Нет сомнения в том, что Чернышевский (с которым Шевченко познакомился вскоре после возвращения из ссылки), Сераковский и Шевченко принадлежали к одной всероссийской революционно-демократической организации — «партии Чернышевского». Все они боролись за свержение самодержавия и освобождение всех народов Российской империи.

Поэт стремился установить связи и с зарубежными славянскими писателями. Известно, что А. Мицкевич был одним из любимейших поэтов Шевченко, многие его стихи автор «Кобзаря» знал наизусть и пробовал переводить. Он передал А. Мицкевичу автограф поэмы «Кавказ» (1845) через своего знакомого, члена «Кирилло-Мефодиевского братства» Савича, ехавшего за границу.

Имеются сведения, что Шевченко направил свое стихотворное послание «Шафарикови» адресату. Автограф этот не сохранился, но издана фотолитография рукописи, на которой В Белозерский, редактор петербургского украинского журнала «Основа», дописал: «Рассказывают свидетели, что Й.-П. Шафарик, читая это послание Шевченко, плакал благодарными слезами».

Еще при жизни Шевченко в польском альманахе «Ластивка» («Ласточка») были помещены его первые стихи Они отмечены рецензией Ф. Евецкого в варшавском литературном журнале «Денница», издававшемся на двух языках — русском и польском. Имя Шевченко не раз упоминается и в польской газете «Тыгодник петербургски». Польский критик Р. Подберезский посвящает целую статью альбому офортов «Живописная Украина» (1844) и говорит об авторе не только как о талантливом художнике, но и как об авторе «Кобзаря», поэм «Гайдамаки», «Тризна», «Гамалия», как о народном поэте, известном в русской и украинской литературе.

В Чехии первое известие о Шевченко мы находим в пражском журнале «Часопис ческего музеум» за 1845 год. Здесь в обзоре русской литературы упомянута поэма «Тризна», правда без фамилии автора. В чешской газете «Тыденник», выходившей в Брно в конце 1848 года, переведена статья из одной львовской газеты под названием «Политическое положение русинов»

(украинцев), в которой дан краткий обзор украинской литературы, в частности, сказано: «Среди других следует упомянуть о Шевченко, который является ныне мучеником за свободу. Величавость, глубокое знание сердца человеческого, лиричность и язвительная ирония соединяются в его произведениях в очаровательную гармонию». И далее: «Патриотические произведения Шевченко известны по всей Украине и во многом содействуют пробуждению ее духа. О вы, не верящие в самобытность языка, читайте сочинения Шевченко и тогда скажете, имеет ли язык русинский будущность, будет ли нация русинская свободной и независимой». Таким образом, впервые в мировой литературе украинский поэт был назван борцом за свободу, а его творчество связано с общей национально-освободительной борьбой украинского народа.

В Литературном архиве Национального музея в Праге в фонде Вацлава Ганки хранится рукописный список стихотворений украинского поэта — «Отрывки из собрания сочинений Шевченко под названием «Кобзарь». В него вошли четыре произведения: «Думы мои», «Перебендя», «Думка» («Нащо мени чорни брови») и «Иван Пидкова». Сейчас ведется исследование этого списка, переписанного кем-то из украинских писателей или ученых из «Кобзаря» 1840 года.

В львовской польской газете «Постемп» в 1848 году помещена статья К. Падуха «Народность польская и украинская на Украине», в которой некоторые абзацы посвящены Шевченко. Автор статьи давал одностороннее и неправильное представление о поэте как о поборнике «федерации с Польшей». Вместе с тем справедливо указывалось на его участие в «Кирилло-Мефодиевском братстве».

В парижской польской газете «Пшеглёнд жечи польских» в 1859 году помещена статья «О современных взаимоотношениях Украины и Польши», в ней рассказывалось, как агитировал Шевченко: «Для более наглядного убеждения их (крестьян — *Е. К.*) в объединенном могуществе народа, в преобладающем значении общины, Шевченко доставал из кармана горсть пшеницы и, беря из нее зернышко за зернышком, выкладывал на стол, называя каждое: «Это князь, это граф, это генерал, это исправник»; за этими рядами добавлял длинный ряд меньших «посипак» (сутяг.— *Е. К.*), полицейских и помещиков, а когда так разделил и уложил все начальство, брал затем в пригоршню полную горсть пшеницы и говорил «Вот это начальство, а это народ. Теперь смотрите внимательно, где граф, где генерал, где «посипака», где помещик. Ну, смотрите же, где они теперь?» И по этому слову бросал горсть пшеницы на ряды начальства. Крестьяне очень удивлялись, что в куче никого из начальства отыскать не могли».

Вопрос о подлинности этого эпизода требует дополнительного исследования. Некоторые авторы, в частности Иван Франко, склонны считать его модификацией польской легенды.

Прогрессивные польские писатели высоко ценили творчество Шевченко. Поэт Э. В. Желиговский (Атони Сова) записал 13 мая 1858 года в дневнике украинского поэта свое стихотворение на польском языке «Брату Тарасу Шевченко». Оно было вариантом стихотворения «Поэту народа», помещенного в сборнике «Поэзии Антонего Совы» (1857) с подзаголовком «Из болгарского». Мы просмотрели немногочисленные болгарские издания того времени и пришли к убеждению, что и в первом варианте стихотворение было посвящено Шевченко, так как в болгарской литературе не было аналогичного произведения. Украинский поэт находился тогда в ссылке, и для отвода глаз царской цензуры А. Сова дал подзаголовок «Из болгарского», вместо «тиранов» написал «султанов», вместо «мученика» написал «лирника» и т. д.

В ответ Шевченко посвятил Желиговскому (А. Сове) свое стихотворение «Посажу возле хатки». Как в свое время установил В. Шурат, это было подражание одному стихотворению польского поэта Яна Чечота.

Первые переводы на польский язык, известные нам, принадлежат польскому поэту, воспитаннику Киевского университета, Леонарду Совинскому. Они напечатаны в польской газете «Курьер виленски» за 1860 год. В следующем году в Вильно вышла его же книга на польском языке «Тарас Шевченко, штудия Леонарда Совинского с приложением перевода «Гайдамаков».

Следует отметить широту взглядов польского поэта, его смелость. В то время среди польской шляхты господствовало предубежденное отношение к автору поэмы

«Гайдамаки». Л. Совинский стремился преодолеть шляхетскую ограниченность. Безусловно, в этом исследовании не все утверждения являются правильными. Но совершенно очевидно уважение к украинскому народному поэту. «Душа Тараса,— писал он,— это душа крестьянской общины, исполненная убеждения правды... растравленная страстной жалобой». И далее: «Великая личность — Тарас Шевченко, великая сама по себе и еще более — массой дум миллионов, бьющих ключом из его вдохновенных песен».

Шире знакомятся с жизнью и творчеством Шевченко и чешские читатели. В 1859 году пражский журнал «Часопис музеа краловстви Ческего» поместил серию статей А. Пыпина «Письма о современной русской литературе». В последней статье русский ученый и критик остановился и на украинской литературе. Взгляды А. Пыпина на перспективы развития украинского языка и украинской литературы были не совсем правильными, но о Шевченко он высказал ряд ценных мыслей, которые послужили делу дальнейшей популяризации творчества поэта в Чехословакии. О крупнейшей поэме Шевченко русский критик писал: «Его поэма «Гайдамаки», из бурливых времен Малороссии, о тех, кто боролся за свободу и мстил своим врагам, глубиной и прекрасными образами может быть приравнена к наилучшим национальным произведениям Пушкина и Мицкевича».

Уместно напомнить, что значительно позже А. М. Горький, безусловно не зная этой чешской статьи А. Пыпина, также сказал: «Шевченко, Пушкин, Мицкевич — люди, воплощающие в себе дух народа с наибольшей красотой, силой и полностью».*

После выхода в свет «Кобзаря» 1860 года чешский писатель Вацлав Дундер, который некоторое время жил во Львове, напечатал в газете «Пражские новины» статью «Литература русинская». Автор статьи, очевидно, был знаком с рецензией Н. Добролюбова на «Кобзаря», опубликованной в журнале «Современник». Об этом говорит ряд моментов. В. Дундер приводит биографические данные из письма Шевченко к редактору журнала «Народное чтение», а это письмо полностью приведено в рецензии «Современника». Мысль Добролюбова напоминает и такая фраза: «Тарас Шевченко является художником и поэтом наиболее простонародным, какого русины еще не имели». В. Дундер стремился полнее представить читателям творчество Шевченко, причем он приводил некоторые отрывки в украинском оригинале, но в чешской транскрипции (из поэмы «Катерина», из вступления к «Кобзарю» — «Думы мои»).

В чешском журнале «Образы живота», выходившем в Литомышле под редакцией Яна Неруды, в том же году была напечатана специальная статья «Тарас Григорьевич Шевченко, поэт малорусский». Автором ее был Йозеф Первольф, тогда студент Карлового университета в Праге, позже известный славист. «Между новейшими представителями литературы малоросской, без всякого сомнения, занимает первое место поэт Тарас Григорьевич Шевченко,— пишет Йозеф Первольф,— его можно сравнить с поэтами народными, с Кольцовым и Бернсом, силой поэтического чувства, глубокой сердечностью, пониманием нужд, горя и радостей национальных».

Й. Первольф знакомил чешских читателей с биографией Шевченко, с содержанием «Кобзаря» 1860 года, с понятиями «кобза», «бандурист». При характеристике отдельных произведений автор статьи давал переводы отрывков на чешский язык из произведений «Катерина», «Перебендя», «Наймичка», «Иван Пидкова». После статьи был помещен полный чешский перевод «Ивана Пидковы».

В том же журнале за 1862 год помещена статья «Из Украины». Инициалы «К. С.» принадлежат Карелу Сабине, известному чешскому политическому деятелю и писателю. В свое время он был организатором тайного политического общества «Репал», участвовал в Пражском восстании в 1848 году, за что был приговорен к смертной казни, замененной затем восемнадцатью годами заключения в крепости. В 1859 году К. Сабина был освобожден по амнистии. В статье «Из Украины» говорилось о политической деятельности Шевченко, его аресте в 1847 году, о «Кобзаре», о поэме «Гайдамаки».

Пропагандистом наследия Шевченко был и другой чешский революционный демократ — Йозеф-Вацлав Фрич. Он перевел «Послание Тараса Шевченко славному И.-П. Шафарику».

---

* М. Горький О русской интеллигенции и национальных вопросах. «Украинская жизнь». М., № 9, 1912.

К этому же периоду относятся и первые переводы Шевченко на болгарский язык. Но в Болгарии эти переводы сыграли значительно большую роль В годы, когда Болгария находилась еще под турецким игом, ряд молодых прогрессивных писателей жил и учился в России. В Москве издавался в конце 50-х годов журнал «Братски труд» Первым переводчиком Шевченко на болгарский язык был Райко Жинзифов. В его книге поэзии «Новобългарска сбирка», изданной в Москве, был большой раздел «Гусляр Тараса Шевченко». Открывался он предисловием — краткой биографией украинского поэта, взятой из письма к редактору журнала «Народное чтение». Р. Жинзифов перевел поэму «Катерина», баллады «Тополя» и «Утоплена» и три лирических стихотворения. Позже его переводы из Шевченко печатались в периодических изданиях *. Великий украинский поэт оказал большое влияние и на оригинальное творчество Р. Жинзифова, в частности на его поэму «Кровавая сорочка».

Болгарский классик и общественный деятель Любен Каравелов также учился в Москве и имел возможность широко познакомиться с творчеством Шевченко. Переводы Л. Каравелова печатались уже после его отъезда из Москвы, есть все основания предполагать, что готовились они в Москве. В болгарском Историческом архиве в Софии хранится рукопись перевода поэмы Шевченко «Неофиты» (впервые напечатана в журнале «Основа» в 1862 году). В рукописи есть также следы почерка И. Прыжова, русского ученого и революционера, знатока творчества Шевченко, с которым был близко связан Л. Каравелов во время пребывания в Москве.

В газете «Свобода», издававшейся Л. Каравеловым в Бухаресте, помещен в 1869 году ряд его переводов из Шевченко: отрывок из поэмы «Иван Гус, или Еретик», отрывок «Учитесь, братья мои» из послания «И мертвым, и живым ..», ряд лирических стихотворений. Влияние «Кобзаря» сказалось и на всем поэтическом творчестве Л. Каравелова. Творчески воспринимал наследие Шевченко и Петко Рачев Славейков.

Выдающиеся современные писатели Болгарии Георги Бакалов, Людмил Стоянов, Тодор Павлов, Мария Грубешлиева, Ангел Тодоров и другие в письме на имя юбилейного пленума Союза писателей в 1939 году определили значение творчества Шевченко для развития болгарской литературы следующим образом: «Влияние Шевченко на болгарскую литературу в период ее зарождения и роста во второй половине прошлого столетия столь значительно, что без него почти немыслимы некоторые из наших крупных писателей и поэтов, например Любен Каравелов, Ботев и другие. Часть огня, бушевавшего в поэзии Шевченко, перешла, таким образом, в кровь и плоть болгарского народа в эпоху национально-освободительной борьбы».*

После Л. Совинского на польский язык Шевченко переводят А. Гожалчинский (1862) и Владислав Сырокомля (Л. Кондратович) (1863). Во Львове в 1865 году издана на польском языке монография Гвидо Баттаглии «Тарас Шевченко, жизнь и творчество его». В народно-демократической Польше в 1955 году изданы «Избранные сочинения» Шевченко в переводах польских классиков и современных выдающихся поэтов. Вступительное слово к этому изданию написал поэт и переводчик Влодзимеж Слободник, послесловие и примечания проф. Мариан Якубец. В настоящее время в Польше печатается монография М. Якубца «Шевченко и польская литература».

Первые переводы на сербский язык Андра Николича и Стояна Новаковича появляются в 1868 году. Позже Шевченко переводит Милован Глишич. На хорватский язык его переводил Август Харамбашич, учившийся в Венском университете, где он познакомился со студентами украинцами и полюбил Шевченко. В 1887 году в Загребе вышла его книга переводов Тараса Шевченко «Поэтические повести» (поэмы) с его вступительной статьей. В ней помещены поэмы «Катерина», «Гайдамаки», «Наймичка», «Невольник», «Петрусь», «Неофиты», ряд баллад. Влияние Шевченко заметно и на оригинальном творчестве А. Харамбашича.

После переводов Й. Первольфа и Й

* Все переводы — в книге «Съчинения на Райко Жинзифов», София, 1927. В письме к проф. Харьковского университета Марину Дринову Р. Жинзифов писал, что он перевел все известные в то время произведения Шевченко, но не может их опубликовать.

* VI пленум правления Союза писателей СССР, посвященный 125-летию со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Бюллетень № 4, ГЛИУ, К., 1939, стр. 156

Фрича на чешский язык Шевченко переводят Э. Вавра, Й. Коларж, К. Худоба и другие. Особенно велики заслуги Ружены Есенской. Ее переводы печатались в периодической прессе, отдельное издание — «Избранные поэзии» (1900). В народно-демократической и социалистической Чехословакии над чешскими переводами много потрудились М. Марчанова, Я. Туречек-Изерски, З. Бергрова-Вовсова и другие. Вступительную статью «Гений Украины» к наиболее полному изданию «Кобзаря» (Прага, 1953) написал проф. Юлиус Доланский. Многочисленные статьи и исследования о Шевченко принадлежат молодому чехословацкому ученому М. Мольнару.

На словацкий язык первые переводы Т. Г. Шевченко появляются в 1896 году. Сейчас начато большое издание переводов поэта. Вышел первый том под названием «Думы мои» (Братислава, 1959). Переводы принадлежат Юлию Кокавцу. Вступительную статью «Гений славянства» написали М. Неверли и М. Мольнар. Вышла в свет монография Микулаша Неверли на словацком языке «Т. Г. Шевченко, революционный поэт Украины» (Братислава, 1960).

В народно-демократической Болгарии изданы «Избранные произведения» в переводе и с предисловием Димитра Методиева (1956). Сейчас изданы «Избранные произведения» в двух томах в переводе того же поэта (София, «Народна култура», 1960). Монографию о Шевченко в Болгарии готовит проф. Симеон Русакиев.

Тарас Шевченко, как и другие великие славянские писатели, внес свой вклад в величественное здание дружбы народов, которое все время растет и высится, объединяя всех людей доброй воли на земле

М. Кораллов

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ — ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

В день объявления войны России, 1 августа 1914 года, по Берлину пополз слух, что Роза Люксембург и Карл Либкнехт убиты. Этот слух был ложным, но не случайным.

Никто не распространял слухов об убийстве вождей «правых» социал-демократов или «центра». Никто не видел в Шейдемане или Каутском непримиримых противников войны. Никто не приписывал им героическую верность пролетарскому делу.

...Закончилась мировая война. Немецкий народ начал осознавать масштабы развязанной его правителями катастрофы. Прозрение привело к революции. Освобожденная из тюрьмы, где предусмотрительное имперское правосудие держало ее и К. Либкнехта в военные годы, Р. Люксембург в бурные дни конца 1918 — начала 1919 года призывает своими статьями в «Rote Fahne» «смыть плотины» на пути революционного потока, свергнуть правительство Эберта — Шейдемана, вооружить массы — действовать, а не совещаться.

30 декабря 1918 г. на учредительном съезде Коммунистической партии Германии, явившемся, по словам Вильгельма Пика, решающей победой политики левых и поворотным пунктом в истории германского рабочего движения, Р. Люксембург напоминает о значении «русского опыта»: «Когда нам преподносят клевету на русских большевиков, мы должны в ответ неизменно отвечать: а где же вы научились азбуке вашей теперешней революции? Вы получили ее от русских в виде рабочих и солдатских советов».

15 января 1919 г. офицеры дивизии, занявшей Берлин по приказу главнокомандующего — социал-демократа Густава Носке, зверски убили Р. Люксембург и, заметая следы, бросили ее изуродованное прикладами тело в Ландверский канал

И вот трупы революционеров, погибших в боях за социалистическую Германию, убраны, кровь их смыта с асфальта. Тогда враги революции решили, что пришел час для создания легенды о Розе, которая будто бы была не такой уж красной...

Их много, творцов этой легенды. У нее есть своя, уже довольно длинная история. Правда, те, кто сорок лет назад расправлялись с Р. Люксембург прикладами, сегодня делают вид, что готовы заключить ее в свои объятия. На ее авторитет сейчас пытаются опереться противники коммунизма и в их числе — современные продолжатели цепкой традиции социал-демократического приспособленчества. Им нельзя отказать в последовательности. Сначала они расправились с Розой, затем фальсифицировали ее мысль, а теперь они используют ее имя, чтобы прикрыть им свою неприглядную политику.

Если Карл Каутский вскоре после убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта доказывал, что они были проводниками неприемлемого в Германии «русского мышления», то Бенедикт Каутский — сын Карла — через тридцать лет после кровавой расправы писал, продолжая старые традиции на новый лад: «Роза Люксембург доказала, что она значительно переросла ограниченность чисто русского мышления Ленина и его последователей».

Б. Каутский, разумеется, не случайно пошел наперекор «родовым» традициям

Р Люксембург, точнее, ее ошибки стали нужны австрийскому социал-демократу для борьбы с ленинизмом.

Когда Б. Каутский писал о разногласиях между Розой Люксембург и Лениным, он обнаруживал в ней и «удивительное богатство идей», и «глубину взглядов», и «пророческую ясность ума». Но он немедленно лишал Р. Люксембург всех этих достоинств, как только касался ее борьбы с правыми. «Удивительное богатство идей» тотчас оборачивалось «доктринерством», «пророческая ясность ума» — «непониманием некоторых сторон западноевропейского рабочего движения».

Сегодня, когда существует Германская Демократическая Республика, возрождающая на новой основе революционные традиции К. Либкнехта и К. Цеткин, Ф. Меринга и Р. Люксембург, полемика вокруг наследия «великой коммунистки» приобретает особую остроту и значимость.

* * *

«Искусство и революция» — такова генеральная идея статей Р. Люксембург об искусстве, независимо от того, чему они посвящены: творчеству Мицкевича или Короленко.

Сражаясь против буржуазно-реформистских взглядов, согласно которым искусству будто бы противопоказана политика, Р. Люксембург страстно отстаивала мысль, что именно участие в социальных битвах оплодотворяет искусство, что именно революция наделяет его силой, становясь богатейшим источником поэзии и красоты.

Во имя искусства, посвятившего себя служению революции, и во имя революции, одаряющей своей творческой мощью искусство, написана статья о Мицкевиче — отклик на исполнившуюся 24 декабря 1898 г. столетнюю годовщину со дня рождения поэта. В тот день в Варшаве «с высочайшего дозволения самодержца всея Руси» состоялось открытие памятника Мицкевичу. Своим «дозволением» Николай II как бы показывал миру, что пламя восстаний 1831 и 1863 годов навсегда угасло, что империя русская осенена покоем и благодатью.

Столетняя годовщина поэта вызвала множество самых различных откликов во всей европейской печати. В Варшаве и Петербурге, разумеется, волновалась правительственная и либеральная пресса, бравшая на себя смелость утверждать, что эпоха восстаний «бесповоротно замкнута». В центральном теоретическом органе немецких социал-демократов «Neue Zeit» появилась большая статья о Мицкевиче, автор которой — М. Беер — рассматривал поэта как воплощение «всех черт славянства»: «цезарианской беспощадности», «религиозной мистики» и пр.

Отвергая самый подход М. Беера к теме, Р. Люксембург объясняет все развитие Мицкевича историей польского революционно-демократического движения. «Классицизм и романтика,— пишет она,— таковы были перенесенные в сферу искусства противоречия, сталкивавшиеся как в экономике, так и в политике и вылившиеся в лязг стали и треск выстрелов в повстанческих боях». Но если на полях сражений, продолжает критик, победа досталась господствующей власти, то в битве идей потерпела поражение именно власть. В то время как «классики» набрали в свои ряды лишь серую массу посредственностей, романтики послали в бой плеяду блестящих талантов, первым из которых был Адам Мицкевич. Пока Мицкевич стоял в центре идейной битвы, пишет автор, пока революция щедро питала его творчество, оно дышало титанической силой. И оно иссякло, когда Мицкевич после разгрома национального движения направил свой путь к пристани бесплодного, бесплотного мистицизма.

В своих последующих литературных статьях Р. Люксембург вышла за пределы польской тематики: сфера ее интересов как критика расширялась вместе с размахом ее политической деятельности.

Возмущенная пренебрежительно-лаконичным известием о смерти Глеба Успенского, которое 7 апреля 1902 г. дала буржуазная газета «Berliner Tageblatt», Р. Люксембург 9 апреля публикует о нем вдохновенную статью. В Глебе Успенском Р. Люксембург видит представителя поколения разночинной интеллигенции, а в его творчестве — отражение идеологии народничества.

Некролог Р. Люксембург был свидетельством ее теснейшей связи с русской культурой, близости к революционно-демократической публицистике России, к тради-

циям Белинского, Добролюбова, Чернышевского.

Две статьи о Шиллере, появившиеся в 1905 году, были эпизодами ожесточенной, охватившей всю Германию литературной полемики, политической основой которой была проблема социальной революции. В этой борьбе за наследие Шиллера уже наметилась расстановка сил, которую выявила до конца лишь революция 1918 года. Солидаризируясь с «левым» Мерингом, обрушиваясь на «правого» Штампфера *, глухо полемизируя с Каутским — пока еще «своим», но уже проявившим в статье «Мятежное в драмах Шиллера» явно центристские настроения,— Р. Люксембург ведет бой, безошибочно определив, кто в недалеком будущем окажется по эту, а кто по другую сторону баррикад.

Дискуссия о Толстом, в которой приняли участие самые крупные теоретики революционного крыла социал-демократии и реформисты различных оттенков и рангов, носила уже общеевропейский, интернациональный характер и соответствовала не только мировому значению творчества Толстого, но и масштабу надвигающихся социальных потрясений.

Несомненно, проблема «Толстой и революция» была самой сложной из всех литературных проблем, которые история поставила перед социал-демократической публицистикой начала века. Чтобы высказать мнение о Толстом от имени класса, которому принадлежало будущее, надо было проникнуть в самую почву и обнажить корни политических, морально-религиозных и эстетических воззрений Толстого, надо было пройти через весь лабиринт противоречий проповедника смирения и непримиримого воина, убежденного противника революции и все же ее союзника.

Три статьи Р. Люксембург о Толстом были опубликованы с 1908 по 1913 год, то есть в тот же период, когда появились статьи Ленина о Толстом.

В бесстрашной и многогранной критике, разоблачающей бессмысленность и преступность освященных традицией общественных институтов — церкви, государства, милитаризма,— в критике, не знающей «никаких границ, никаких оговорок, никаких компромиссов», Р. Люксембург видит пафос произведений Толстого, истоки мирового значения его творчества, причину близости революционному пролетариату.

В глазах Р. Люксембург Толстой — это титан, вступивший в битву против всего социального строя, основанного на неравенстве. «Великий подвиг беззаветного служения правде» — вот оценка его творчества. Р. Люксембург постоянно отмечает «абсолютную искренность» Толстого, «неумолимую честность», «беспримерную правдивость» — качества прежде всего социальные, которые перерастают в «непримиримость борца» и раскрываются в статьях как главная черта художника: в тюремных условиях царской России эти качества, по убеждению критика, становятся важнейшей гранью героического характера, присущего русской литературе.

Именно «неумолимая честность», побуждавшая Толстого подвергнуть бестрепетно смелому социальному анализу всю общественную систему России, породила, как пишет Р. Люксембург, самую способность писателя отразить жизнь во всем многообразии ее форм, стать «недосягаемым эпиком», автором грандиозной эпопеи, охватывающей от начала до конца все девятнадцатое столетие, создать «энциклопедию человеческой жизни», равную по масштабу «Фаусту» Гете.

Правда, решить «проблему Толстого» полностью Р. Люксембург не сумела. Поскольку она не видела в русском крестьянстве революционной силы, ей пришлось ограничиться оценкой Толстого только «с точки зрения современного рабочего движения и современного социализма»*, оценкой, которую В. И. Ленин считал необходимой, но недостаточной. Однако, сосредоточив свое внимание на тех же вопросах творчества Толстого, что и Ленин, выступив как соратница Ленина в борьбе против ревизионистских истолкователей Толстого, подойдя к статьям Ленина ближе, чем кто-нибудь из публицистов европейской социал-демократии, Р. Люксембург сумела дать глубокую характеристику писателя и нашла истинные пропорции между Толстым — реакционным проповедником и Толстым — борцом против социальной несправедливости. Она сумела накрепко связать все тол-

---

* Впоследствии, с 1916 по 1933 г., Фридрих Штампфер редактировал "Vorwärts".

* В. И. Ленин «О литературе и искусстве» М., Гослитиздат, 1957, стр. 203.

стовское творчество с общественной, политической борьбой и доказать, что его величие порождено силой заключенного в нем социального протеста. Этот центральный тезис критической трилогии Р. Люксембург о Толстом остается идейным стержнем и последнего ее выступления — статьи «Душа русской литературы».

Законченная летом 1918 года статья писалась в заключении и была предназначена в качестве предисловия к сделанному там же, в тюрьме, переводу «Истории моего современника» Короленко. Самая значительная из работ критика, итоговая по своему характеру, статья выходит, однако, далеко за пределы предисловия, да и всего творчества Короленко.

Лирически проникновенная, она охватывает единым взглядом весь период блестящего расцвета русской поэзии и прозы от эпохи Отечественной войны 1812 г. и до мировой войны 1914. Это первый на Западе и в России марксистский очерк «золотого века» нашего искусства, написанный с большой любовью, умом и чуткостью к его красоте. Это одно из лучших в мировой критике произведений, посвященных русской литературе и ставящих основные проблемы искусства нашего времени.

Написанная в то время, когда угар шовинизма и национальной вражды отравлял сознание всей Европы, написанная в Германии, где всеми средствами насаждалась ненависть к России — главному военному противнику, статья «Душа русской литературы» была блистательным ответом интернационалиста на шовинистическую пропаганду. Созданная за решеткой, за крепостными стенами кайзеровской тюрьмы, она была ответом революционера на все репрессии и насилия.

В те годы, когда не только буржуазная, но в значительной части и социал-демократическая литература, потеряв всякое подобие гражданского мужества, пресмыкалась перед властью, статья Р. Люксембург прославляла проникнутую духом борьбы и чувством социальной ответственности героическую литературу, величие которой оплачено кровью ее создателей, шедших на виселицу, отбывавших каторгу, умиравших в ссылке и на чужбине.

Буржуазным и ревизионистским «экспертам» по психологии и искусству России, всем, кто усердно выполняли «социальный заказ», настаивая на извечной противоположности России и Запада, всем, кто доказывали враждебность или — в лучшем случае — «непознаваемость» русской души для людей цивилизованного мира, статья отвечала: душа русской литературы не фатализм и рабская покорность, а борьба. И этот ответ был, несомненно, приветствием русской революции.

«Оппозиция существующему режиму», «борьба против мрака, невежества и гнета», «высокое чувство социальной ответственности» раскрыты здесь как самый полноводный, могучий источник силы и красоты искусства. Вся статья — гимн политической поэзии, и потому не нуждается ни в каких других доказательствах непреложный вывод: Р. Люксембург — страстный защитник искусства, посвятившего себя гражданскому, общественному служению. Именно в этом главное значение ее критических статей, значение тем более высокое, что, требуя от искусства гражданского служения, Р. Люксембург отнюдь не превращает его в безответную служанку, не попирает его достоинство, не нарушает его свободу, права и законы.

Искусство без искусства для Р. Люксембург столь же неприемлемо, как и искусство для искусства. Идейность не существует для нее независимо от художественности. Поэтому в своих статьях она не прощает измену искусству, так же как измену революции, ибо для нее героическая правдивость, непримиримость писателя неотрывна от художественной правды его творений. Поэтому верность революции непременно предполагает в этих статьях верность действительности. Поэтому в них, параллельно «генеральной идее», все время нарастая, звучит тема реализма и сопутствующий ей мотив — развенчание декадентства.

* * *

Уже в первой своей критической статье, характеризуя польский «псевдоклассицизм», Р. Люксембург писала, что его признаком была гладкая, напыщенная, пустая форма и полное отсутствие самобытности, внутреннего чувства и глубокой мысли. В отличие от «ремесленников мертвой формы», Мицкевич — «рупор целого поколения» — создавал произведения, замечательные именно силой чувства и глубиной мысли. Его поэма «Пан

Тадеуш» казалась Р. Люксембург близкой одновременно «Илиаде» и «Дон-Кихоту» своим классическим покоем и ноткой печальной иронии, сатирического и вместе с тем мягкого юмора.

Итак, различие между «псевдоклассиками» и «романтиками» — это различие подражательного и самобытного, нищеты голой формы и богатства внутреннего содержания, поверхностности и глубины; это противоположность ремесленника и художника, лжи и правды, рабского и свободного, мертвого и живого.

Разумеется, Роза Люксембург в этом споре на стороне «романтиков», однако лишь до тех пор, пока они сохраняют преимущества, которые дает им близость к революции и действительности. Когда романтическая поэзия после разгрома восстания 1831 года потеряла питавшую ее связь с жизнью, Р. Люксембург вынесла ей такой же суровый приговор, какой был вынесен «псевдоклассикам». В статье о Мицкевиче верность действительности оказывается, таким образом, основным критерием силы и достоинства искусства.

Вершиной достигнутого современностью художественного развития, воплощением эстетического совершенства для Р. Люксембург был Толстой: «В эпоху распада всего буржуазного общества Толстой, будто поднявшись над потоком времени, сохранил видение художника и способность постигать жизнь в ее широте и единстве». Его творчество противопоставляется всей декадентской литературе конца века: «В эпоху упадка буржуазного искусства, которое, переживая внутренний распад, больше не в состоянии создать ни великий роман, ни великую драму, уникальный гений Толстого сохранил художественные, полные мощи средства эпического поэта». Какими же художественными достоинствами привлекает Розу Люксембург творчество Толстого?

В письме из тюрьмы от 8.III.1917 г., адресованном близкому другу Гансу Дифенбаху, Р. Люксембург дает перечень требований, которые она предъявляет к художественному произведению: форма должна быть в нем доведена до высшей простоты, свободна от всяких прикрас, всякого кокетства и блеска, оно должно быть голо, как глыба мрамора. «Теперь это вообще мой вкус, побуждающий меня ценить и в научной работе, так же как в искусстве, только простое, спокойное и величественное». И теми же словами, почти точно повторяющими известную формулу Винкельмана, Р. Люксембург оценивает творения Толстого: «Все, что выходило из его рук — вплоть до самой непритязательной статьи и простенького рассказа, носило на себе печать классической простоты, законченности и величия». Ее восхищает, что Толстой ничем не жертвует во имя «формальных красот» и, отвергая «всякое украшательство, всякую литературщину», проявляя «высшую честность и строжайшее самоограничение», добивается такой лаконичности выразительных средств, что художественная форма, полностью сливаясь с содержанием, становится почти неразличимой, «чем-то само собой разумеющимся».

Великолепным штрихом, дополняющим высказанные в статьях мысли Р. Люксембург о совершенстве толстовских творений, служит еще один отрывок из ее переписки: «Вечером я читала «Отец Сергий» Толстого. Это просто и прекрасно... Ложась спать, я вдруг вспомнила одно место, где Толстой рассказывает, как Сергий, читая молитву, увидел воробья, который внезапно упал перед ним в траву, потом, громко чирикая, подскочил к нему, а затем, чего-то вдруг испугавшись, улетел прочь. Этот воробей не имеет ни малейшего отношения к описываемым событиям, в нем нет ничего символического, но именно потому, что этот эпизод совершенно излишен и не мотивирован, он оставляет впечатление абсолютной жизненной правды и поэзии».

Истинная поэзия, следовательно, неотделима от абсолютной жизненной правды, требующей той «наивности», которая как бы гарантирует отсутствие всякого насилия над материалом. Насколько органичен этот вывод для эстетических воззрений и вкусов Р. Люксембург, показывают ее отзывы о различных писателях, не обладающих гениальной «наивностью» Толстого. Упреки, предъявленные многим бесспорно значительным художникам в статьях и переписке Р. Люксембург,— это, по сути, вариации той же мысли, которая была высказана в отзывах о Толстом. «С Геббелем* я знакома и испытываю к нему большое, хотя и холодное уважение,— пишет Р. Люксембург Гансу

* Фридрих Геббель (1813—1863) — известный немецкий драматург.

Дифенбаху 5.III. 1917 г — Я ставлю его значительно ниже Грильпарцера или Клейста. У него много мыслей и прекрасная форма, но в его героях слишком мало крови и жизни, они чересчур абстрактны и кажутся голыми символами надуманных проблем». «Рикарда, действительно, в высшей степени умна и интеллигентна,— пишет Р. Люксембург 30.III.1917 г. Гансу Дифенбаху, прочтя книгу о Готфриде Келлере известной немецкой писательницы Рикарды Гух.— Но ее столь отработанный, дисциплинированный, сдержанный стиль представляется мне несколько искусственным, а ее классичность кажется несколько нарочитой, псевдоклассической. Кто внутренне действительно богат и свободен, тот в состоянии всегда быть естественным и отдаваться своей страсти, не изменяя самому себе».

Обладавшая взыскательным вкусом («беллетристику могу я читать только редко и только хорошую»*), Р. Люксембург была в высшей степени чутка ко всякому отклонению от «естественности». О романе Флобера «Саламбо» она писала, например, что он действует ей на нервы крикливостью театральных декораций, несколько напоминающих оперу Мейербера своей мишурной роскошью и помпезностью. Даже Тициан показался ей «слишком прилизанным и холодным». Он «слишком виртуоз,— писала она Софье Либкнехт 14.I.1918 г.,— простите, если это оскорбление величества, но я могу следовать только своему непосредственному чувству».

Именно это непосредственное чувство влекло ее к произведениям Короленко — певца «боевой, меченосной ненависти» и одновременно «лирически нежного художника», влюбленного в Россию, в ее природу, в каждую сонную речку и тихую окаймленную лесом долину. Его очерки и рассказы, как будто еще покрытые «блестящими каплями росы и овеянные запахами земли», бесконечно нравились Р. Люксембург своей «полной тепла и свежести естественностью», «благороднейшей скромностью и простотой».

Своего рода итогом этих отзывов об отдельных художниках оказываются глубоко закономерные признания Р. Люксембург о своих симпатиях и антипатиях к декадансу и классике:

«У меня подлинная жажда классической литературы»,— пишет она Луизе Каутской*; «моей натуре чуждо все декадентское и извращенное»,— отвечает она Софье Либкнехт**.

Итак, с точки зрения Р. Люксембург, непременное условие художественности — это естественность, непреднамеренность, «ненарочитость», предполагающая настолько высокое мастерство формы, что оно должно без всякого осадка растворяться в материале, в идее.

Следовательно, «естественность»— это не что иное, как единство формы и содержания. По сути все, в том числе и неоправданно резкие, отзывы Р. Люксембург о творениях художников исходят из требования верности искусства действительности. Отстаивая этот принцип, Р. Люксембург проявляет ту же последовательность, которая была проявлена ею в защите искусства идейного, гражданского, революционного.

Несомненно, как раз последовательностью в защите *единства* идейного и художественного начала, пониманием *нерасщепляемости* ядра искусства порождены те высказывания против «тенденции», которые нередко встречаются в ее статьях и письмах.

В предисловии к «Истории моего современника», доказывая художественное превосходство русской литературы девятнадцатого века над другими европейскими литературами, «социальный накал» которых слабее, Р. Люксембург сравнивает, например, изображение детства у Толстого (и одновременно у Достоевского, Короленко, Горького) с изображением детства у Золя. Русские писатели, пишет Р. Люксембург, подходят к ребенку с внутренним трепетом и благоговением перед незамутненной человечностью, дремлющей в каждой детской душе, у них нет фальшивой искусственности тона, они говорят с ребенком с искренней и серьезной интонацией товарища, видя в нем такую же, как во взрослом, человеческую индивидуальность, только стоящую ближе к природе, неиспорченную и, прежде всего, еще более беззащитную перед влиянием социальных условий: «Для русских ребенок и его психология являются самостоятельным и полноценным объектом художественного интереса».

---

* Супругам Вурм — 15.II.1917 г.

* Без даты. Почтовый штемпель — Берлин, Зюденде, 9.I 1913 г.

** Письмо от 1.VI.1917 г.

Не то у Золя. В романе «Страница любви» изображена «с захватывающей силой» духовная драма заброшенной, болезненной девочки. Но маленькая героиня, «увядая, как едва распустившийся бутон, оказывается, однако, лишь аргументом в золаистской теории экспериментального романа, манекеном, на котором демонстрируется тезис о наследственности».

В полярности двух этих отношений к герою, двух принципов изображения человека, в одном случае — «самостоятельного и полноценного объекта художественного интереса», в другом — «манекена» для демонстрации тезиса, Р. Люксембург видит главное различие между Толстым и Золя.

Не стоит вдаваться сейчас в вопрос, права или не права Роза Люксембург в своем суждении об Эмиле Золя. Нам важна не оценка Золя и его романа, а сама постановка проблемы.

Внутренний трепет, отсутствие фальши, уважение к своему герою, сочувствие к жертве социальных условий — вот качества, обязательные, по убеждению Р. Люксембург, для всякого истинного художника. И потому оправдано, что именно Толстой, превыше всего ставящий объект и объективность искусства, оказывается у нее художником социальным и идейным. Осуждение «тенденциозности» Золя, таким образом, не является отступлением критика от принципа идейности искусства.

Именно этот принцип лег в основу характеристики европейских литератур, которая вырастает в письмах Р. Люксембург из случайных и вместе с тем закономерных оценок.

В переписке, относящейся к периоду, когда Р. Люксембург жила, в основном, в Германии, наряду с русской литературой особенно часто идет речь о творениях литературы немецкой, ставшей критику поистине родной и близкой. Однако чувство родственной близости и любовь к Гете, Мёрике, Гауптману не побуждало Р. Люксембург снять свой упрек в адрес немецкой музы, слишком долгое время связанной путами филистерства: еще в предисловии к «Истории моего современника» Короленко Р. Люксембург писала о несовместимости сатиры с «верноподданническим» духом, о том, что целым эпохам в истории немецкой литературы недостает той великой и благородной идеи, без которой не может быть великого искусства.

В противоположность немецкой, английская литература привлекала Р. Люксембург свободой от верноподданнического филистерства и тем, что сатира — в ней Р. Люксембург видела выражение свободолюбия нации — со времени революции стала в Англии не привилегией аристократов духа, а «национальным» достоянием. Далекое эхо революции слышится Р. Люксембург в том, что сатира превратилась для англичан в насущную потребность, проникла в памфлеты и речи, определила характер творчества лучших писателей современной Англии: Шоу, Голсуорси, Уайльда,— по мнению Р. Люксембург, впрочем, несвободных от недостатков, присущих современной буржуазной литературе. Отрицания, за которым пустота, отрицания, не рожденного утверждением, Р. Люксембург не приемлет, и в этом смысл ее оценки таланта Шоу, безгранично парадоксального и как раз в этой безграничности обнаруживающего свою слабость. В этом смысл и упреков в адрес Голсуорси, высказанных в письмах Софье Либкнехт.

Думается, не случайно один из отзывов об Оскаре Уайльде Роза Люксембург заканчивает решительным «...с меня довольно. Я радуюсь уже тому, что опять примусь за такого молодчину, как Стендаль». Во французской литературе XIX в. Стендаль был, несомненно, любимым писателем Р. Люксембург. Именно его — воина, исследователя искусства, проницательнейшего мыслителя, связанного с традициями Просвещения, художника, на всем облике которого лежал отсвет французской революции, противопоставляет она Уайльду. Бальзак, Флобер, Мопассан, Гонкуры, Золя, Додэ при всем различии и всей значительности своих талантов как будто остаются для Р. Люксембург в пределах буржуазной прозы — Стендаль знает поэзию революционной героики.

Из французских писателей XX в. внимание Р. Люксембург привлекали к себе прежде всего Анатоль Франс и Ромен Роллан. Однако Роллан, вызывавший особую симпатию Розы Люксембург энтузиазмом и принципиальностью убеждений, страстной любовью к Гете и Бетховену, все же казался ей значительнее как личность, чем как художник.

Отстаивая органический синтез идейности и художественности, Р. Люксембург не всегда находила истинное соотношение и связь между ними. Порою в ее рассуждениях о мировоззрении и творчестве слышны отзвуки традиционных уже в ту пору теорий разлада между мыслью и талантом. Относится это, в известной степени, и к статье «Душа русской литературы». Явно тревожась, что ее гимн русской литературе, проникнутой «духом борьбы», может привести читателя к ложному выводу, что она защищает искусство «грубо» тенденциозное, Р. Люксембург спешит сделать оговорку, что у «истинного художника социальный рецепт, предлагаемый им, является делом второстепенным: решающую роль играет источник его искусства, его животворный дух, а не сознательно поставленная им себе цель».

Однако эта оговорка нужна Р. Люксембург не столько для того, чтобы объявить превосходство «животворного духа» над сознательно поставленной целью, сколько для того, чтобы дальше уже без всяких оговорок, оглядок, сомнений, полным голосом пропеть гимн идейности, прославить мировоззрение: «Мировоззрение — вот что придало тончайшую чувствительность социальной совести русской литературы, так поразительно обострило ее понимание психологии различных характеров, типов и общественных слоев; мировоззрение — вот что породило трепетную до болезненности чуткость, расцветившую образы русской литературы ослепительными красками; именно мировоззрение вдохновило ее на неустанный поиск и напряженное раздумье над социальными загадками, которое и одарило ее способностью охватить взором художника общественный строй во всей его широте и внутренней сложности, запечатлеть в могучих творениях».

* * *

Сегодня, в свете сорокалетнего опыта борьбы за литературное наследство «великой коммунистки», не так уж трудно найти в ее статьях об искусстве погрешности и высокомерно указать, что того-то она недопоняла, а этого недосмотрела.

Давая отпор тем, кому были важны только ошибки Р Люксембург, Ленин писал: «Мы ответим на это двумя строками из одной хорошей русской басни: орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда, как орлы, не подняться». И дальше, перечислив эти ошибки, Ленин решительно подчеркнул: «Она была и остается орлом; и не только память об ней будет всегда ценна для коммунистов всего мира, но ее биография и *полное* собрание ее сочинений (с которым невозможно опаздывают немецкие коммунисты, извиняемые лишь отчасти неслыханным количеством жертв в их тяжелой борьбе) будут полезнейшим уроком для воспитания многих поколений коммунистов всего мира»*.

Ленинский отзыв полностью включает в себя и оценку наследия Р. Люксембург как литературного критика. Да, в ее статьях об искусстве есть ошибки; Роза Люксембург ошибалась, характеризуя Мицкевича как последнего поэта польского национализма, ошибалась, объясняя величие творчества Толстого и Достоевского прежде всего «душою» русской литературы и недостаточно уделяя внимания ее конкретно-исторической «плоти». И все же критик, каждая статья которого, как и вся жизнь, посвящена революции, критик, рассматривающий связь писателя с революционным движением его времени как критерий оценки и условие величия творчества, критик, пропагандирующий русскую литературу как великий образец служения народному благу, отстаивающий высокое реалистическое искусство, боровшийся с традициями буржуазно-реформистской эстетики,— такой критик, несмотря на свои ошибки, и сегодня «остается орлом».

Статьи об искусстве Р. Люксембург, так же как статьи Ф. Меринга, К. Цеткин, К. Либкнехта, являются не только замечательными страницами истории марксистской критики· они современны и сохраняют свое живое значение.

---

* В. И. Ленин. Соч., т 33, стр. 183—184.

П. Балашов

ЕДИНСТВО ЛИРИЧЕСКОГО И ЭПИЧЕСКОГО

(О художественном новаторстве Шона О'Кейси)

Шон О'Кейси по-прежнему радует читателей своими оригинальными произведениями. Крупнейший писатель современности, прочными нитями он связан с жизнью. Интересы народа — его интересы. Пристально следит писатель ирландец, находящийся «в добровольном изгнании», за всем, что происходит в его родной Инишфоллен, которую он был вынужден покинуть несколько десятилетий назад. Он завершил многолетний труд — шеститомную автобиографическую эпопею, большое художественное полотно. Его последние пьесы, полные оптимизма и юмора, так же как и ранние, носят печать самобытного и яркого дарования.

В прошлом году, когда писателю исполнилось восемьдесят лет *, была поставлена новая пьеса О'Кейси «Барабаны отца Неда» — живое свидетельство неистощимого таланта драматурга. Пьеса эта полна колючей и веселой насмешки над всем отжившим и темным, над всем, что держит человеческую душу в плену.

Советский читатель еще до войны познакомился с некоторыми пьесами и избранными главами из автобиографической эпопеи Шона О'Кейси. Разумеется, это до обидного мало, но все же доброе начало было положено.

В 1957 году вышли в свет в полном объеме две первые книги из автобиографического цикла: «Я стучусь в дверь» (1939) и «На пороге» (1942). Эти книги обрели на русском языке новую жизнь. Переводы художественно адекватны оригиналу, ярко передают его богатое содержание, дух и стиль. О'Кейси предстает перед русским читателем со всеми приметными особенностями своей писательской манеры. За ними следуют и ждут издания еще четыре: «Барабаны под окном» (1945), «Прощай, Ирландия» (1949), «Роза и корона» (1952) и заключающая цикл — «Заход солнца и вечерняя звезда» (1954). Переводчики и издатели наши еще в очень большом долгу перед О'Кейси-прозаиком и тем более перед О'Кейси-драматургом. Удивительное равнодушие проявили наши театры: с их сцен не услышать веселого, искристого, порой едкого смеха знаменитого драматурга.

Автобиографическому циклу Шона О'Кейси присуще углубленное внимание рассказчика к внутреннему миру героев и эпическая широта изображаемой действительности. В «биографических книгах», как их называет писатель, субъективно-лирическое, эмоциональное начало естественно сочетается с началом эпическим.

Образ героя эпопеи — это, если угодно, автопортрет, нарисованный на широком общественном фоне со всей возможной мерой объективности. Это портрет художника в детстве и юности, в годы зрелости и на склоне лет. Но как различны судьбы Стивена Дедалуса — героя «Портрета художника в юности» Джойса, отражающего проти-

---

* В датах о рождении О'Кейси был разнобой, который устраняется прямым заявлением писателя. Шон О'Кейси говорил, что он никогда не праздновал день рождения, ибо «борьба за существование была слишком тяжелой, чтобы можно было думать о дне рождения. По свидетельству о рождении,— писал О'Кейси,— я родился в 1880 году... Это так много, что я выбросил календарь и часы за окно — пусть ничто не напоминает мне об уходящих годах, об уходящем времени».

воречивые устремления ирландской буржуазной интеллигенции, и Джонни Кессиди, поднявшегося из нищих дублинских кварталов! У них разные пути, разные исторические судьбы. Стивена Дедалуса тяготят «общественные узы», и он всячески стремится отгородиться от борьбы. Джонни Кессиди, вовлеченный в схватку, становится одним из активных борцов за освобождение своего народа.

Путь лирического героя эпопеи связан с народной борьбой, и «биографические книги» О'Кейси показывают, какой грозной может быть разбушевавшаяся народная стихия. Повествование о личной судьбе рассказчика вырастает в героическую эпопею об исторических судьбах Ирландии. Результат — монументальное полотно, огромная панорама народных страданий, бедствий и борьбы, охватывающая во времени многие десятилетия, начиная с восьмидесятых годов прошлого столетия и кончая серединой «атомного века».

Каждая из книг вносила свежие и особые штрихи в повествование, обозначая новую грань в духовном развитии героя и важную веху в бурных общественных событиях, находивших живой отклик в его душе. Поворотные пункты в судьбе Джонни Кессиди (потом он будет именоваться просто Шоном) удачно подчеркиваются названиями книг. С наивной доверчивостью вступает мальчик в мир, вынося первые горькие уроки («Я стучусь в дверь»). Герой в преддверии больших испытаний — «На пороге» Грозовой атмосферой насыщены «Барабаны под окном»: будущий писатель уже участник длительной забастовки дублинских трамвайщиков (1913) и «пасхального восстания» 1916 года, разгромленного англичанами.

Обращаясь к началу двадцатых годов, писатель в книге «Прощай, Ирландия» вспоминает о тех мотивах, которые заставили его покинуть родину, образ которой навсегда останется в его душе. О'Кейси развенчивает деятелей «Свободного Ирландского государства», предавших дело «пасхального восстания». Не по пути начинающему писателю было и с представителями «Ирландского возрождения»: те с умилением всматривались в отжившее прошлое, идеализируя его, а его взгляд устремлялся в будущее. Художник показывает, какое воздействие на умы оказала победа Октябрьской революции. В сознании писателя встает символический образ красной звезды, ставшей его путеводной звездой.

Разнообразные картины общественной и частной жизни воссоздает книга «Роза и корона», переносящая действие в Англию второй половины двадцатых годов. К этому времени относится начало драматургической деятельности О'Кейси, который предпочитал идти своим путем, жить в бедности, но не поступаться своими творческими принципами. Встречи с Шоу и Уэллсом, столкновения с заправилами театрального мира в Лондоне, впечатления от поездки в Америку, поразившую драматурга социальными контрастами,— все это живо запечатлено в книге.

Завершающий эпопею том «Заход солнца и вечерняя звезда» повествует о суровых днях второй мировой войны и послевоенной борьбе за мир. Размышляя о пройденном пути, о всех трудностях, какие выпали на его долю, О'Кейси сохраняет чувство бодрости и исторического оптимизма. Да, он нетерпим к снобам, к тем, кто пытаются сбить его с пути. Душа его рвется к простым людям. Он плодотворно трудится, создавая все новые и новые произведения. Книга — как бы отчет об исканиях очень жизнелюбивого, жизнерадостного и цельного человека.

Стиль О'Кейси самобытен и оригинален, отличается многообразием ритмов; в повествовании возникают то исторические реминисценции, то образы ирландского народного эпоса, то библейские образы, переосмысленные чаще всего в ироническом плане. В острой полемике рождается и пародийное «словотворчество». Смело используя поэтику намека, О'Кейси прибегает к литературно-историческим параллелям, сопоставлениям, ассоциациям. И тонкие душевные движения героя и богатый общественный опыт, осознаваемый как личный опыт, раскрывается в эпопее очень многосторонне, многообразно. Художнику чужд какой бы то ни был схематизм и иллюстративность.

Драгоценное чувство локтя выносит герой эпопеи из общения с бастующими дублинскими трамвайщиками в 1913 году; он видит, какой крепкой может быть товарищеская спайка в самые острые моменты классовой борьбы. В ту пору зарождается в душе О'Кейси светлая мечта о свободном труде, изменяющем лик земли и людей,— ро-

мантическая мечта, как бы просветляющая персонажей его произведений, та самая, которая может и должна стать явью. Немногие из западных писателей так новаторски ставили проблему созидательного, освобожденного труда, как источника всего истинно прекрасного и поэтичного на земле. Для Шона О'Кейси вообще характерно стремление заглянуть в будущее, характерен этот романтический взлет, который покоится у него на ясном понимании движущих сил истории. Писатель знает, что в ходе исторического развития, в процессе освободительной борьбы его мечта обретет плоть, и тогда «никто не станет печалиться о завтрашнем куске хлеба, ибо все поймут, что, пока стоит земля, посев и сбор урожая будут чередоваться с той же неизменностью, как сменяются зима и лето». С утверждением справедливого общественного порядка «военные сражения сменяются сражениями мира. Труд во всех его разновидностях, превратившись в почетнейшее дело жизни, с каждым днем все ярче станет озарять улыбкой лик всей земли» *.

Писатель снова и снова обращается к урокам так называемого «пасхального восстания» 1916 года, когда, схваченный английскими солдатами, он по чистой случайности избежал расстрела. Размышляя над причинами поражения, он стремится трезво оценить силу и слабость ирландского национально-освободительного движения. Именно в ту пору жестокого террора и разгула реакции О'Кейси знакомится с «Коммунистическим манифестом». Он проникается новой надеждой, и это не просто «смутный интернационализм», о котором так любят распространяться иные буржуазные критики,— это незыблемая уверенность в том, что рано или поздно народ победит. «Сквозь все крики, смятенье и страданья, царившие кругом,— пишет О'Кейси в третьей книге эпопеи,— ему слышался бой иных барабанов, пение иных труб и мерная поступь миллионов людей» **. Так в романтически-символических образах писатель утверждает неизбежность грядущего, по-своему развивая традиции революционного романтизма. Утверждение будущего, пронизывающее книгу, носит сугубо личный и лирический характер — именно так писатель воспринимает течение жизни, ее прогрессивные устремления. И это субъективное начало не глохнет в книге, а, напротив, крепнет по мере развития исторических событий.

Ирландская действительность начала двадцатых годов, когда страна добилась относительной независимости, представляется писателю далеко не в розовом свете, как бы ни пытались ее приукрашивать люди, ставшие у кормила «Свободного Ирландского государства».

Наглядно вырисовывается у О'Кейси, мастера живописной реалистической детали, мир социальных контрастов. Писатель вспоминает в романе «Прощай, Ирландия» о том, как часто он блуждал, «полный душевной боли», по улицам дублинского «дна». «Шон часто бродил по кварталам нищеты, где нищие ютились в нищенских домах; он входил то в один дом, то в другой, спускался в подвалы, обиталища беднейших из бедных. Осклизлые, зеленые от плесени каменные ступени были кое-где прикрыты жалким ковриком, чтоб мягче было ступать тем, чья жалкая жизнь чуть теплилась в сырой мгле подвальных берлог; и никогда над этими замшелыми ступенями не проплывал лоснящийся цилиндр, черный галстук и смокинг или белый галстук и фрак. И никогда даже самый острый глаз не углядел бы здесь пурпурного или алого головного убора духовной особы. Лишь когда чья-нибудь душа трепетала на грани последнего прощания с жизнью, вниз по лестнице спускался простенький черный попик, чтобы наспех соборовать умирающего и укрепить его дух для четырех последних испытаний: рая, ада, смерти и божьего суда».* Сколько в этой картине человеческого участия и как явственно слышна ироническая насмешка автора эпопеи! Но вот он уже выступает как строгий судья, как страстный сатирик, озабоченный историческими судьбами ирландского народа:

«Ирландское буржуазное мещанство втоптало в грязь знамя Дублинского восстания и теперь торопливо рядилось в доспехи власти, оброненные в поспешном бегстве людьми, потерпевшими поражение от тех, кого, увы, уже нет в живых. А пурпурные и алые сутаны осеняли своим благословением их и все их погремушки: декольтиро-

* Sean O'Casey. "Drums under the Windows"., L., Macmillan and Co, 1945, p. 222.

** Там же, стр. 289.

* Sean O'Casey. "Inishfallen, Fare Thee Well". L., Macmillan and Co, 1949, p. 169.

ванные белые платья, шелковые цилиндры, фраки и белые галстуки, дурацкие мантии и парики — все обветшавшие украшения государства, приказавшего долго жить. Во всем этом, говорило духовенство, пребывает Христос. Ecce Homo! Ecce Homo Noster! Их Христос, их образ и подобие,— в визитке, в цилиндре, с золотыми запонками, с фальшивым бриллиантом в булавке для галстука, с туго свернутым зонтиком вместо креста».*

Иронически-сатирическое начало выступает не только в форме обобщенных, так сказать, групповых характеристик буржуазных политических деятелей и духовных «пастырей», но и в форме ярко очерченных индивидуальных сатирических портретов. Удачно используя прием сатирической пародии, писатель беспощадно срывает маски с демагогов и елейных святош, обнажая истинное лицо буржуазных политиков и столпов католической реакции. Сатира О'Кейси, сатира бичующего, гневного отрицания, прочно опирается на положительный общественный идеал — идеал социализма; смиренномудрию и кротости писатель противополагает «мятежного» человека — созидателя и борца, в схватке утверждающего свое право на жизнь. Воинствующий гуманизм Шона О'Кейси вызывает наиболее ожесточенные атаки буржуазной критики, доходящей в своей слепой ярости до грубо личных, оскорбительных выпадов.

Поэтически вдохновенные строки О'Кейси посвящает утверждению своего общественного идеала. «Слезы гнева закипали на глазах у Шона», когда он бродил по нищим улицам Дублина и «с горьким недоумением думал о том, почему эти жалкие, обглоданные жизнью люди не поднимутся в исступленном порыве и не уничтожат тех, кто сделали их такими, как они есть».** И это томительное и горькое ожидание художника-поэта освежающей бури не было напрасным и безнадежным: не здесь, в Ирландии, а там, в России, «явилась в мир грозная красота».

Примечателен самый образ «грозной красоты» — образ новой исторической силы, образ надежды народов всего мира Обращаясь к обитателям нищих лачуг, О'Кейси призывает их к мужеству, призывает верить в то, что наступит и их день, как он наступил на Востоке: «Над Кремлем — былою твердью царей горит Красная звезда. Те, кто хотели сбросить ее оттуда, обратились вспять...» Как торжественный гимн звучит патетическое обращение художника-поэта: «Звезда могущества, пусть твои лучи испепелят то, что нелепо, чтобы человек не мог больше присваивать плоды трудов брата своего и укрывать их в хранилищах, где их ест моль и точит ржавчина и куда может проникнуть вор и похитить их. Зеркало мудрости, что преображает труд молотобойца, и пахаря, и ткача и делает труд прекрасным, озари нас всех твоим светом»*.

Неустанно отстаивает О'Кейси незыблемость и священность своих идеалов — то в стычке с непрошенными гостями, которые, как дурной сон, появляются на пороге его дома и зловещими наветами пытаются поколебать давние симпатии писателя к Советскому Союзу (глава «Три дамы» в книге «Заход солнца и вечерняя звезда»), то в утверждении несокрушимой мощи Советской Армии, повергшей в прах гитлеровские орды (глава «Красный смех войны»), то в изобличении апологетов «холодной войны» («советские бомбы никогда не упадут на Нью-Йорк, если только американские бомбы не будут первыми сброшены на Москву»**— высказывание, доставившее много хлопот буржуазным комментаторам).

Острый, принципиальный характер носит полемика О'Кейси с Джорджем Оруэллом. Художник восстает против клеветнических попыток Оруэлла представить человечество как стадо тупых животных. Анализируя его книги, он показывает, что философия Оруэлла обнаруживает признаки крайнего распада морально-духовных ценностей.

Произведения О'Кейси, особенно его пьесы, всегда служили ареной идейно-эстетических схваток, которые нашли отражение в эпопее. Писатель постоянно вел борьбу с буржуазными толкователями его творчества. Эта борьба отнимала у него много сил, но она была неизбежной и проводилась с неизменным полемическим блеском, с боевым пылом и задором.

---

* Sean O'Casey. "Inishfallen, Fare Thee Well", p. 171.

** Там же, стр. 170.

* Там же, стр. 171—172.

** Sean O'Casey. "Sunset and Evening Star". L., Macmillan and Co, 1954, p. 310.

Встречи с Шоу — одна из светлых страниц в жизни О'Кейси: в лице великого ирландца он всегда находил сочувствие и поддержку. Рассеянные по «биографическим книгам» высказывания о Шоу, о Шекспире и многих других писателях-классиках дают большой материал для характеристики эстетических воззрений О'Кейси, проливают свет на процесс формирования его творческого метода.

В критических работах перед нами вырисовывается образ художника, идущего в ногу с временем и смело отстаивающего свое эстетическое кредо, свою писательскую индивидуальность.

Лирический герой наделен бурным и страстным темпераментом, жаждой свободы, независимым образом мысли. Это глубоко правдивый характер непримиримого бойца, стойкого в своих привязанностях. Сложная жизнь и движение образа раскрываются в многообразии личных и общественных связей и размышлений. Собственное «я» героя развертывается очень многогранно начиная с детских лет и до тех дней, когда в тоне рассказчика прорываются чуть-чуть слышимые элегические нотки: уже пришла осень, и листья вот-вот облетят, но все же нет места безнадежности. Это оптимистическое восприятие мира очень характерно для О'Кейси. Внимание писателя к собственной психологии нигде не превращается в «несносный эгоцентризм», ибо писатель никогда не утрачивает ощущения слитости отдельной личности со стремительным развитием общества

Личные переживания героя эпопеи часто служат поводом для глубоких и порой горестных раздумий, поэтому так и велика здесь роль внутреннего монолога, в котором прослеживается сложная гамма чувств и настроений. Размышления над властным и радостным чувством, охватившим юношу, воспоминания о прекрасной ирландской девушке Норе Крина, с которой он разлучился, невольно сопровождаются горькими мыслями об удручающей бедности, о гибельных путах церкви. И в этих размышлениях проявляется та гневная, страстно протестующая интонация, составляющая пафос всей эпопеи.

С первых же страниц эпопеи рядом с образом Джонни возникает образ матери, нарисованный с трогательной нежностью, исполненный большой нравственной силы и душевной красоты, проявляющихся в самых обыденных, житейских обстоятельствах, в преодолении всего тяжкого и трудного, что выпало на ее долю. В мужестве, в спокойной и несокрушимой стойкости, в бесстрашной борьбе с тяжелой, зачастую жестокой жизнью она, по словам О'Кейси, была «душой социализма». Художник видит, как велики потенциальные возможности народного характера. В романе «Прощай, Ирландия» (глава «Миссис Кессиди уходит на покой») он рассказывает о своей невозвратимой утрате, о последних часах горячо любимого человека, такого щедрого в неусыпных заботах, в преданности и нежности. В образе матери художник утверждает силу гуманного начала в простом человеке труда.

«Биографические книги» О'Кейси разрушают обычные представления о биографическом жанре. В действительности — это художественные полотна большого эпического размаха, в которых жизнь и устремления богато одаренной личности показаны в неразрывной связи с движением общественных идей. Озаренная светом социалистических идей эпопея народного возмущения О'Кейси восходит к образам ирландского народного эпоса. Фольклорные мотивы как бы обретают новую жизнь, перекликаются с современностью. «Вольная» композиция глав подчинена единой художественной цели — глубокому раскрытию духовной жизни писателя, вышедшего из народа и верно служащего народу. Проза О'Кейси отличается яркостью красок, прибегает ли автор к историческим реминисценциям, рисует ли жанровые сцены или портреты живых и дорогих ему людей. Острый диалог, в котором угадывается рука опытного драматурга, удачно «ложится» в многоплановое повествование, течение которого неторопливо и сложно. Колоритные описания сменяют внутренние монологи, где очень полно раскрываются сложные пути сознания, причудливая порой игра воображения рассказчика.

Шон О'Кейси занимает едва ли не самое первое место в рядах драматургов Запада Он настойчиво продолжает свои творческие поиски в области драмы, отвергнув карьеру удачливого сочинителя тривиальных пьесок Вспоминая о пережитом в книге «Роза и ко-

рона», О'Кейси говорит о той альтернативе, что когда-то встала перед ним: писать ли развлекательные банальные пьесы на потребу фешенебельной публики или искать новые пути и экспериментировать. О'Кейси выбрал последний путь и никогда от него не уклонялся.

О'Кейси пришел в драму, вооруженный богатым жизненным опытом. Он прочел множество пьес, изучил Гольдсмита и Шеридана, а позднее Шекспира. Именно им был многим обязан начинающий драматург: они оказали на него, по его собственным словам, доброе влияние.

Ранние трагедии Шона О'Кейси — «Тень стрелка» (1923), «Юнона и павлин» (1924) и «Плуг и звезды» (1926),— поставленные на сцене дублинского Театра Аббатства, прочно завоевали симпатии демократического зрителя. Драматург обращался к недавним эпизодам из освободительной борьбы ирландцев. Драмы были написаны в реалистической манере и замечательны своими жанровыми картинами быта.

О'Кейси стремится к эпическому охвату в изображении жизни, широко используя выразительные средства повествовательной ремарки, всемерно связывая то, что развертывается на сцене, с тем, что происходит за ее пределами. Драматизм ситуаций и характеров сочетается у него с эмоционально-лирическим развитием темы. Драматург вводит песни, созвучные общей атмосфере пьесы, и пантомиму.

Судьба «обглоданных жизнью» людей занимает драматурга и в пьесах «Серебряный кубок» (1928) — о юноше, искалеченном в первую мировую войну, и «За оградой» (1933) — об участи молодой женщины, опустившейся на «дно». В трагикомедии «Серебряный кубок» заметны изменения в стилистической манере писателя, теперь смело обращающегося к символам, раскрывающим сущность несправедливого уклада общественных отношений. Пьеса не была принята Йитсом к постановке на сцене Театра Аббатства. О'Кейси знал, что литературные «вельможи» присоединятся к влиятельному в ту пору голосу Йитса, но смело выступил в защиту права драматурга на эксперимент.

О'Кейси создал свой театр, и театр очень оригинальный, хотя, как это случается порой с драматургами-новаторами, он оказывался иногда в положении «драматурга без театра». Пьесы О'Кейси, разумеется, ставились с большим успехом во многих театрах, но все же не в таких масштабах, на которые они по своей идейной устремленности и художественной ценности вправе претендовать. Драматург отлично чувствует театральную стихию, хотя и идет по пути разрушения отживших канонов и смело ищет новые средства художественного воплощения, сценической выразительности. Однако это не означает, что писатель отвергает лучшие традиции классической драмы. «Проблема не в том,— писал О'Кейси в своей замечательной статье «В чистом небе поет жаворонок»,— чтобы покончить с традициями и законами вообще, а в том, чтобы найти передовые пути развития общества, сохранить здоровые, прогрессивные традиции».

Драма О'Кейси в известной степени восприняла и продолжила традиции театра Шоу, защите творческих принципов которого О'Кейси посвятил немало ярких страниц. О'Кейси вслед за Шоу боролся против сторонников безыдейности в искусстве, ополчившихся на «пьесы идей».

В эстетических суждениях О'Кейси выступает противником эмпиризма, мелкотравчатого бытописательства. Он стремится к художественным реалистическим обобщениям большой емкости, содержательности, пластичности. О'Кейси удачно использует прием метафорической символики. Его драма глубоко эмоциональна, а условность относительна: символы в его образной системе в характерной форме отражают природу вещей, качество человеческих отношений. «Символизм О'Кейси никогда не становится настолько абстрактным, чтобы терять свою силу воздействия... Бессилие или ощущение поражения, присущие Ионеско или Беккету, ничуть не свойственны О'Кейси.. это мастерское сочетание интереса к индивидуальным судьбам с умением поднять общие социальные проблемы выделяет его среди других поэтов-драматургов»*,— писал известный актер и режиссер Ван Гайзегем. Даже заглавия пьес О'Кейси: «Звезда становится красной», «Пурпурная пыль», «Красные розы для меня»,— так же как и романов: «Барабаны под окном», «Роза и корона», — оттеняют их большое общественное содержание.

Реалистическое постижение действитель-

---

* Daily Worker London, 24.III.1960.

ности в представлении драматурга не исключает ни смелых поисков новых средств, ни полета фантазии. «Творческое воображение драматурга,— писал О'Кейси в статье «Искусство — песнь жизни»,— залог неугасающей жизненной силы его творений». Но игра творческой фантазии лишь тогда принесет зрелые плоды, когда будет опираться на жизненный опыт и когда драматург подчинит свое «творческое воображение велениям разума. В противном случае он, может быть, и напишет интересную (хотя и довольно нескладную) пьесу, но ему никогда не создать подлинно прекрасного произведения драматического искусства»*. О'Кейси говорит о магической силе поэзии, заключенной в драмах Шекспира, о его блистательном слоге.

Оптимистическая трагедия «Красные розы для меня», подступом к которой была исполненная революционного пафоса пьеса «Звезда становится красной», запечатлела образ передового борца нашего времени, павшего в бою за народное счастье. Не за сценой, как в некоторых ранних трагедиях, а на сцене, в сложном и остром конфликте между старым и новым, между личным и общественным протекает жизнь героя.

В последних пьесах О'Кейси-гуманист выступает против всего, что принижает человека и делает его рабом обстоятельств. Требовательный гуманизм О'Кейси восстает против этой тупой покорности судьбе, против проявления малодушия и слабости. Не случайно же один критик назвал его «грозным О'Кейси». Писатель не склонен идеализировать своих героев, но он всегда протестовал против попыток низвести их до уровня четвероногих. Философии пессимизма и неверия в человека он противопоставляет свою философию жизни и веры в силу человеческих возможностей. «Горстка мышей среди людей,— писал он,— не делает всех людей мышами».**

Сатира О'Кейси направлена на вполне реальные явления, если даже она облекается в форму фантастической буффонады, как в «Петухе Денди» (1949) Сельский быт католической Ирландии рисуется жестоким и косным, застывшим и мертвящим в своем убожестве и темной власти суеверия. Драматург не оставляет сомнений, что жизнь, социальные обстоятельства делают из фермера Майкла Мортруана жестокого человека, от которого бегут даже близкие ему люди. Но этот черствый человек не безнадежен — на какое-то мгновение он забывает о своих мелочных расчетах, и тогда в его облике проступает нечто человеческое.

Драматург отлично использует «малые» формы, чтобы отразить значительное и большое. Таковы его одноактные пьесы, вошедшие в издание 1951 года: глубокий по мысли фарс «Обитель врачевания», рисующий картины грубого произвола в больнице для бедноты; бурлеск «В ночную пору» — о «грехопадении» мнимого святоши, страшащегося изобличений; комедия-моралите «Пора уходить» — об изжившем себя мире меркантильного расчета торгашей, услаждающих свое сердце звоном монет. Как люди другого мира и другой морали возникают в ней образы вдовы Макри, запросившей слишком много за корову, и Келли, заплатившего за нее слишком мало; они терзаются из-за этого «смертного греха», тем самым нарушая «священные» традиции торгашей. Так возникает в пьесе столкновение парадоксально-утопического, прекрасного и желанного и по сути своей грядущего и неизбежного с житейской прозой собственнического мира. Драматург смело использует романтическую символику, изображая момент «озарения», возрождения истинных человеческих чувств: опаленные деревья вдруг покрываются цветами, затем и плодами, но они тут же вянут, лишь только начинает проявляться грубая сила меркантильной морали.

Пьесы О'Кейси «Костер епископа» и «Барабаны отца Неда» сильно встревожили «пастырей» католической церкви и некоторых ирландских критиков. Преподобный д-р Мак-Квейд, архиепископ Дублинский, употребил весь свой вес и влияние, чтобы снять драму «Костер епископа» со сцены главного дублинского театра. Под его нажимом «Барабаны отца Неда» были исключены из числа пьес, которые должны были быть показаны весной 1958 года на очередном национальном фестивале в Дублине.

Идейно-эстетическая борьба, развернувшаяся вокруг пьес позднего периода, носит острый характер. Критики лицемерно превозносят ранние драмы О'Кейси, противопоставляя их пьесам позднего периода. Они силятся создать впечатление, что писатель

---

* «Литературная газета», 5 апреля 1960 г.
** Daily Worker. New York., 25.V.1955.

не знает современной ирландской действительности, что оптимизм, прогрессивное мировоззрение якобы наносят ущерб дарованию драматурга и влекут за собой утрату художественного качества. В блестящей полемической статье «Костер под черным солнцем» (статья вошла в сборник «Зеленая ворона», ярко отражающий идейно-эстетические позиции писателя) О'Кейси раскрыл истинные побуждения своих критиков и беспочвенный и предвзятый характер их обвинений. Он доказал, что не уклоняется от жизненной правды, от истины в своих поздних пьесах, хотя и делает это в иной форме, чем раньше.

Драма «Костер епископа», по мысли драматурга, символически изображает удушающее влияние отцов католической церкви на духовную жизнь ирландского народа. Важно не только то, что случается в доме советника Религана, властвующего над жизнью городка, но и то, что происходит за сценой, а там с лихорадочной поспешностью готовятся разжечь костер в честь приезда епископа в родной город — приезда того самого фермерского отпрыска Биля Муларки, которому приличествовало бы держать в руках вилы, а не крест. Костер в честь епископа — зловещий костер: на нем будут преданы сожжению создания человеческого пытливого ума, все, что носит печать здорового и свежего чувства,— всяческая непозволительная «ересь» и вольнодумство. Блики этого костра освещают и печальный финал драмы — драмы загубленных чувств.

«Грустная пьеса на мотив польки» — гласит подзаголовок пьесы, подчеркивая ее эмоциональную окраску: парадоксальное сочетание печальных мелодий и ломающих ее задиристых тонов и ритмов. Как бы ни была мрачна действительность Балиуны, в ней есть люди, рвущиеся на широкий простор, на свежий воздух. Не только смирение и тупая покорность судьбе, но и другие чувства владеют людьми Балиуны. Даже батрак Дэниэль Клункухи, не уверенный ни в себе, ни в своем будущем, поднимается до ропота на советника Религана.

Важное место в пьесе занимает рельефный образ Чудака Слихона, который — весело и вызывающе — несет груз своих восьмидесяти с лишком лет. Самые ядовитые саркастически-обличительные реплики по адресу «хозяев» Балиуны срываются с уст этого старика, сохранившего молодость духа и доброе, отзывчивое сердце. В образе Чудака Слихона воплощены народная мудрость, стойкость простых людей труда, оптимистическое восприятие ими жизни. Чудаковатые герои О'Кейси, смеющиеся над самодовольством и пошлостью собственнического уклада, куда более человечны и проницательны, чем люди «нормальные».

Деньги не пахнут, даже если они «заработаны» на торговле лесом, прибывшим из страны, которую они готовы проклясть,— такова несложная жизненная «философия» героев последней комедии «Барабаны отца Неда». Мэр городка Дунвэйл Биннингтон, адвокат и «строитель», и Мак-Гиллиган, владелец универсального магазина и помощник мэра, несмотря на взаимную личную неприязнь и антипатию, конечно же найдут общий язык, как только появится возможность сорвать куш побольше. Они готовы пойти против своих убеждений, раз того требуют интересы дела, но они не потерпят никаких новшеств, никаких вторжений в размеренный уклад их жизни, ничего, что представляет угрозу устойчивости их деловых начинаний. Даже подготовка к невинному фестивалю, которым увлечена молодежь, пугает дельцов и духовного пастыря Филлифога. Так возникает конфликт между «отцами и детьми», удачно решенный в комедии «Барабаны отца Неда». Мы не видим барабанщика, мы даже не знаем точно, кто он, но звуки барабана, которые врываются на сцену, то усиливаясь, то замирая,— это зов самой жизни.

Крупные художественные победы О'Кейси наглядно опровергают мифы врагов социализма, будто приверженность писателя идеалам коммунизма оказывает губительное воздействие на его талант. Художественное новаторство Шона О'Кейси — убедительный пример того, какой притягательной и вдохновляющей силой являются передовые идеалы и какой неограниченный простор для расцвета творческой индивидуальности писателя открывает путь борьбы за утверждение исторической справедливости.

СЛОВО БОЛГАРСКИХ ДРУЗЕЙ

Обсуждение журнала «Иностранная литература» на читательской конференции в Софии

В конце прошлого года по инициативе Союза писателей Болгарии в Софии состоялось обсуждение журнала «Иностранная литература». В обсуждении приняли участие болгарские писатели, поэты, драматурги, критики, литературоведы, художники.

Все выступавшие горячо одобрили курс советской писательской общественности на широкую публикацию зарубежных произведений, отражающих достижения социалистической культуры, а также книг, правдиво рисующих социальные конфликты в капиталистических странах, борьбу за мир и лучшее будущее. Болгарские литераторы считают, что одним из проявлений этой линии является целиком оправдавшее себя решение Второго съезда советских писателей о создании журнала «Иностранная литература».

Отмечая достижения журнала, все выступавшие обстоятельно говорили и о его недостатках, вносили конкретные предложения, касающиеся отбора печатаемых произведений, оформления журнала и т. д.

Обсуждение, прошедшее в духе доброжелательной, товарищеской критики, явилось одним из проявлений братской дружбы болгарской и советской литератур.

Первое обсуждение журнала «Иностранная литература» за рубежом представляет, на наш взгляд, интерес для советских читателей.

Окно в мир

Многие выступающие говорили о большой популярности «Иностранной литературы» в Болгарии, о том, что журнал является ценным и полезным источником, знакомящим с творчеством писателей многих стран и народов.

— Журнал «Иностранная литература» предназначен прежде всего для советских читателей. Но по нашей славной традиции мы всегда поддерживали контакт с зарубежными литературами через русские переводы книг или через русские, а ныне советские журналы. «Иностранная литература» играет и будет играть в этом отношении большую роль,— сказал в своем выступлении профессор Петр Динеков.

Эту же мысль поддержал и поэт Божидар Божилов.

— Болгарская литература,— заявил он,— своими реалистическими традициями неразрывно связана с русской и советской литературой. И сегодня мы стоим плечо к плечу в великой битве за сердца людей обоих полушарий, которые борются за самый светлый гуманизм — гуманизм трудового человечества.

Болгарские товарищи отмечали, что до появления «Иностранной литературы» в СССР много лет не было журнала, знакомящего с новейшими произведениями прогрессивной литературы многих стран, с закономерностями в развитии мировой литературы. Особенно необходима была такая трибуна для обмена творческим опытом представителей новой, реалистической литературы в странах народной демократии, трибуна, которая популяризировала бы достижения этой литературы, ее реалистические и прогрессивные устремления. Многие статьи и материалы, публиковавшиеся в журнале, имеют большое международное значение.

Не случайно такое издание осуществлено в СССР, говорили болгарские читатели журнала. Советская литература явилась наслед-

ницей и продолжательницей реалистических и самых гуманных традиций русской классической литературы и теперь занимает почетное место в мировой прогрессивной литературе.

— Не было ни одного значительного литературного события,— сказал Божидар Божилов,— которое не нашло бы отражения на страницах журнала, пусть не всегда одинаково полно и широко, одинаково успешно.

Писатели и критики говорили в своих выступлениях о том, что журнал выявляет и подчеркивает самое прогрессивное в мировой литературе, самое ценное в творчестве представителей критического реализма на Западе.

— Журнал ведет острую и смелую борьбу против проявлений ревизионизма,— заявил писатель Андрей Гуляшки,— против тех явлений в буржуазной литературе, которые по своей сущности (независимо от формы, в которую они обличены) реакционны, льют воду на мельницу империализма.

На конференции отмечалось, что важное место в журнале заняли статьи о социалистическом реализме в литературе и искусстве. В них, с одной стороны, подчеркиваются успехи литератур социалистических стран, а с другой — разоблачается клевета на эту литературу и ее метод.

Болгарские товарищи называли ряд материалов, публикация которых повысила международный авторитет журнала. Это, прежде всего, выступления Н. С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа» и публикация статей — отзывов зарубежных писателей.

— Эти материалы,— сказал Васил Колевский,— явились острым оружием в борьбе с буржуазной концепцией о «независимости» литературы от политики, от жизни народа. В своих выступлениях Н. С. Хрущев с новой силой подтвердил ленинские принципы партийности литературы и искусства и партийного руководства этой важной формой идеологического воспитания.

Болгарские писатели и критики высказали пожелание, чтобы теоретические положения, содержащиеся в выступлениях Н. С. Хрущева, были широко разработаны на материалах современной мировой литературы.

Ряд статей в журнале помог болгарским писателям в освещении современных проблем жизни, главными из которых являются борьба за прочный мир, демократию и социализм. Как заявил в своем выступлении литературовед Николай Дончев, журнал обогащает литературный опыт болгарских писателей, расширяет круг затрагиваемых ими тем и проблем, наталкивает на новые, подчас весьма удачные художественные находки.

Болгарская литература в журнале

В своих выступлениях болгарские товарищи отмечали стремление редакции публиковать прежде всего художественные произведения о нашей современности. Это относится и к болгарской литературе, ее прозаикам и поэтам.

— Журнал печатает главным образом наших молодых авторов, особенно в области беллетристики,— сказал Георгий Караславов.— Может быть, эти молодые писатели еще не совсем созрели как мастера, но именно они горят проблемами нашей новой жизни. И поэтому правильно поступает редакция, широко представляя их на страницах журнала. Это чрезвычайно полезно для всей нашей литературы, для ее развития.

Отметим, со своей стороны, что из 65 номеров журнала в 44 помещены материалы, представляющие болгарскую литературу,— повести, стихи, рассказы болгарских писателей, критические статьи и рецензии на их произведения.

Некоторые товарищи, выступавшие на обсуждеиии, считают, что литература современной Болгарии могла бы быть представлена бóльшим количеством имен, что иногда отбор авторов и их произведений носит случайный характер. Указывалось, что в журнале не встречаются имена талантливых беллетристов, таких как Димитр Димов, Павел Вежинов, Андрей Гуляшки, Емелиян Станев. Редакция, подчеркнул Драгомир Асенов, должна быть более взыскательной, отбирая лучшее в прозе и поэзии. Через журнал социалистическая литература как бы соревнуется с литературой капиталистического мира, и поэтому она должна быть представлена лучшими произведениями и авторами.

Участники конференции подчеркивали, что с трибуны «Иностранной литературы» далеко за пределами страны слышен голос болгарской поэзии. Но далеко еще не все ведущие поэты получили место в журнале. Отсутствуют имена Валерия Петрова, Александра Герова, Веселина Ханчева и других поэтов. Еще не переведены последние работы Николы Фурнаджиева, Младена Исаева и некоторых других авторов.

Некоторые выступающие высказали мнение, что не следует печатать только небольшие лирические стихотворения, так как это создает неполное, обедненное представление о болгарской поэзии. В болгарской литерату-

ре есть такие стихотворения и поэмы, которые стоило бы напечатать хотя бы в отрывках, если нет возможности опубликовать их полностью.

Качеству перевода болгарской поэзии посвятила свое выступление поэтесса Дора Габе.

— Почти все переводы на иностранные языки,— сказала она,— делаются с помощью подстрочников. Есть переводчики, которые строго придерживаются текста подстрочников, и в результате получаются мертвые переводы, а зачастую и неверные. Например, выражение «минал чрез огни и вода» по-болгарски означает «прошел через испытания». Но поскольку слова «вода» и «огонь» есть в подстрочнике, переводчик стихотворения Павла Матева «Песня» Виноградов перевел текст так: «нас огнем пытали и водой».

— Подстрочник не помог Елене Николаевской,— сказала Габе,— при переводе стихотворения Слава Караславова «Черноземная земля» передать все достоинства оригинала. Отрывистый ритм и напевность рифм отличают это стихотворение. Но подстрочник не смог передать этих качеств, а добавленные переводчиком слова лишают стихотворение типичной для него лаконичности.

— Из цикла «Стихи разных лет» Багряны,— отметила Дора Габе,— лучшие переводы принадлежат Вере Инбер. Они не только точны, но в них чувствуются акцентированные автором выражения, углубляющие мысль, выделяющие поразительные по своей силе обороты речи, осязаемость слов. Переводы Анны Ахматовой стихов Багряны местами очень хороши, но кое-где неточны.

Особо выделила Дора Габе высокое качество переводов В. Лифшица, который, по ее словам, сохранил тон Башева, ритм, образы, передал его мысли. Это в полном смысле слова творческий перевод. Здесь подстрочник играл второстепенную роль.

Хороши, по мнению Доры Габе, переводы «30 миллионов» и «Болгарии» Павла Матева, сделанные В. Виноградовым. Некоторые выступающие говорили, что юбилеи болгарских поэтов, таких, например, как Вапцаров и Смирненский, должны были найти более широкое отражение в журнале.

— «Иностранная литература», — сказал В. Колевский, — отметила их годовщины лишь краткими сообщениями и малоудачным переводом стихов Вапцарова. Новые хорошие переводы этих поэтов и статьи об их творчестве дали бы читателям представление о завоеваниях реалистической поэзии в прошлые десятилетия.

Дыхание времени

Появление журнала «Иностранная литература», отмечали в своих выступлениях ораторы, тесно связано с теми новыми задачами, которые встали перед советским литературоведением в последние годы. Подход к современной западной литературе стал более гибким, более разносторонним. Журнал публикует прежде всего тех представителей критического реализма, творчество которых отличается ярко выраженным гуманным, прогрессивным направлением.

— Одно из существенных завоеваний марксистской литературной мысли,— сказал Минко Николов,— верное отношение к возможностям и перспективам развития современного критического реализма. В журнале «Иностранная литература» были напечатаны «Старик и море» Хемингуэя, «Жемчужина» Стейнбека, рассказы Колдуэлла, роман Моравиа «Чочара», романы Ремарка и другие произведения. Журнал открыл советскому читателю английского романиста Грэхема Грина. Два его романа — «Тихий американец» и «Наш человек в Гаване» — представили Грина в истинном свете как художника, скептически относящегося к буржуазной действительности и к пресловутому американскому образу жизни.

Журнал, отметил Николов, правильно освещает тенденции развития современной немецкой литературы. На страницах «Иностранной литературы» советскому читателю были впервые преподнесены некоторые значительные произведения Бертольта Брехта, например его пьеса «Добрый человек из Сычуаня». Журнал поместил интересные статьи Н. Вильмонта, рассматривающие два последних романа Томаса Манна — «Доктор Фаустус» и «Признания авантюриста Феликса Круля». Минко Николов высказал пожелание, чтобы в журнале появилась более целостная, обобщающая статья о творчестве этого большого художника, которая пролила бы свет на сложный путь его развития и критически проанализировала бы накопившуюся на Западе за последнее десятилетие огромную литературу о писателе. То же самое относится и к творчеству Брехта.

— Журнал разоблачает милитаристскую литературу, проповедующую идеи реваншизма. Этой теме была посвящена хорошо аргументированная статья Л. Черной «Немецкие реваншисты и изящная словесность» (№ 5 за 1959 год). Милитаристской псевдолитературе в Западной Германии противостоит литература так называемого «поколения вернувшихся». Это писатели, пережившие в юношеские годы заблуждения национал-социализма, перед которыми теперь стоит во всей остроте вопрос: кто виноват? Наиболее крупный представитель этого по-

коления Вольфганг Борхерт, умерший совсем молодым вскоре после окончания войны. По этому же пути идут такие беллетристы ФРГ, как Генрих Бёль и Вольфганг Кёппен. О них в журнале была помещена обстоятельная статья И. Фрадкина. В статье их творчество рассматривалось на фоне всей общественно-политической обстановки в Западной Германии.

— К сожалению,— заявил Минко Николов,— этого нельзя сказать о статьях, посвященных писателям Германской Демократической Республики. Оценки литературы ГДР в журнале часто поверхностны, они не всегда показывают самое значительное, характерное в новой немецкой литературе. Было бы неплохо, если бы журнал после статей, разоблачающих литературу реваншизма и милитаризма Западной Германии, проанализировал книги о второй мировой войне, вышедшие в Германской Демократической Республике. Тогда бы безусловно были отмечены такие произведения, как «Чудодей» Эрвина Штриттматтера, «До последнего человека» Мундштока и «Товарищи» Франца Фюмана. В этих книгах разоблачаются и осуждаются националистические предрассудки и проповедуется новый, социалистический гуманизм. О «Чудодее», одном из наиболее значительных произведений в литературе ГДР за последние годы, была помещена в журнале краткая статья-рецензия Л. Симонян. Но автор статьи не смог связать появление романа с основными тенденциями в развитии литературы Германской Демократической Республики.

На конференции отмечалось, что журнал поставил задачу серьезно изучать противоречивые явления в зарубежной литературе. Об этом свидетельствует ряд интересных статей, посвященных представителям критического реализма Запада. По мнению болгарских товарищей, в «Иностранной литературе» было не очень много таких глубоких критических статей, как, например, статья С. Великовского «Разрушение романа» (№ 1 за 1959 год), в которой рассматривается новейшая формалистическая школа французской литературы. Что же касается статей о других течениях в современном модернизме, то читателям во многих случаях приходится удовлетворяться беглыми информациями и случайными заметками. Например, об экзистенциализме как философском направлении, о взаимоотношении философии и художественного творчества представителей этого направления не было напечатано ничего значительного.

Выступавшие говорили также о необходимости обобщать отдельные примеры, чтобы объяснить связь между мировоззрением писателей и их художественной практикой. Информации и отдельные сведения не могут заменить большого и квалифицированного обзора. Это относится и к другим нашумевшим «модным» течениям, например, к таким, как «сердитые» молодые люди в Англии или «битники» в США.

На Западе в последние годы проходят оживленные дискуссии о судьбах романа, о роли и назначении поэзии. Эти вопросы, по мнению большинства товарищей, журнал должен освещать систематически, не ограничиваясь информационными заметками. Следует публиковать также отрывки из наиболее интересных монографий зарубежных авторов о творчестве современных писателей.

Участники конференции считают, что редакция «Иностранной литературы» имеет все возможности давать на своих страницах ответ на ряд спорных вопросов, которые буржуазная критика и теория литературы освещает односторонне. Такие проблемные статьи всегда читаются с интересом.

Поэт Веселин Ханчев отметил в своем выступлении, что за пять лет в журнале была представлена поэзия почти всех стран мира. Опубликованы циклы стихов испанской, греческой, итальянской, французской поэзии. Подборки стихов и небольших рассказов оставляют у читателей определенное впечатление о литературе данной страны. На конференции отмечалась также удачная подборка рассказов лучших представителей современной итальянской прозы: Карло Бернари, Итало Кальвино, Альберто Моравиа, Васко Пратолини, Ренаты Вигано. По мнению участников конференции, было бы уместным в том же номере, наряду с рассказами, поместить и статью какого-нибудь известного критика (Франко Фортини, Энрико Фалкуи, Николо Галло или Вальтера Мауро) об итальянской прозе. Это помогло бы читателю полнее и глубже познакомиться с современной итальянской прозой.

Вместе с тем болгарские товарищи говорили, что не все публикуемые в журнале художественные произведения отвечают высоким требованиям, иногда их выбор носит случайный характер.

Открытые вопросы

По мнению болгарских писателей и критиков, в некоторых номерах «Иностранной литературы» нет своего центра, ядра.

— Создается такое впечатление,— сказал Драгомир Асенов,— что перед вами богатая и разнообразная витрина и вы не знаете, к чему протянуть руку, мимо чего нельзя пройти. На этой витрине есть все: стихи румынских поэтов, пьеса западногерманского автора, английский роман, статья о литературной жизни в Индонезии

и т. д. Что же все-таки главное, что же прочесть?

В последнее время, заявил Асенов, журнал имеет в этом отношении заметные успехи. Например, публикуется роман Сэлинджера. Американский прозаик представлен читателю советской писательницей Верой Пановой. Тот, кто читал Веру Панову и ценит ее творчество, непременно прочтет роман Сэлинджера. Другой читатель последует рекомендации Константина Федина, третий — Константина Паустовского, четвертый — Леонида Соболева. И тогда номер журнала, очевидно, будет иметь свой центр или «главное направление». Некоторые же сопроводительные статьи были информационными, не давали представления о творческом пути и не вскрывали противоречий того или иного писателя.

По мнению болгарских товарищей, журнал интересен, разнообразны его отделы и рубрики. В разделе «Культура и современность» в полемической форме разоблачаются ошибочные взгляды и оценки, появляющиеся в буржуазной печати. Однако иногда материалы, публикуемые в этом обзоре, не дают полного представления о том, что появляется в буржуазной прессе.

В рубрике «Среди книг», а также в литературной информации болгарские читатели хотели бы находить больше фактических данных об авторах и их книгах. Кроме того, в ряде стран выходят литературные журналы, их количество велико, и, конечно, нет никакой возможности за ними следить. В этом, считают участники конференции, может оказать помощь журнал «Иностранная литература», систематически публикуя краткие обзоры наиболее значительных произведений различных стран мира.

Критик Славчо Васев высказал пожелание, чтобы больше места уделялось боевой публицистике, выступлениям крупнейших писателей современности по актуальным проблемам нашего времени. В журнале отсутствуют статьи, которые бы отражали и обогащали важнейшие события за истекший месяц. Такие статьи, по мнению Васева, должны быть в каждом номере, они усилят воздействие журнала на читателей.

— В последнее время,— сказал критик Иван Руж,— в «Иностранной литературе» систематически публикуются письма погибших антифашистов. Это очень ценные документы большой разоблачающей силы. Можно было бы расширить этот отдел, обогатить его аналогичными документами из тех стран, которые сегодня ведут борьбу против империализма и его колониальной политики, против милитаризма и возрождения фашизма.

Некоторые товарищи отмечали важность публикации материалов о влиянии Октябрьской революции и советской литературы на творчество иностранных писателей. Но в этом разделе, по их мнению, еще мало печатается документов и исследований. Появление такого, например, документа, как письма Младена Исаева А. М. Горькому (№ 6 за 1958 год), показывает, чем была и остается советская литература и ее лучшие представители для прогрессивных зарубежных писателей. Она их друг и учитель. Подобные материалы следовало бы публиковать чаще.

Болгарские товарищи, в частности Асен Босев, Петр Димитров-Рудар и другие, высказали мнение о необходимости шире освещать литературу для молодежи и детей.

— Детская литература,— заявил Асен Босев,— является неотъемлемой частью общей литературы. Об этом напоминал в свое время Горький. Книги для детей и юношества выходят миллионными тиражами, поэтому журнал не должен проходить мимо них. Следовало бы посвящать специальные номера детской и юношеской литературе. Можно подобрать интересные материалы для чтения, которые будут восприняты с одинаковым интересом как детьми, так и взрослыми. Неплохо было бы давать также краткие информационные сообщения о состоянии детской литературы в отдельных странах.

— Необходимо также освещать основные проблемы, стоящие перед современными детскими писателями. В ряде стран выпускается огромное количество гангстерской, порнографической, бульварной литературы. Следовало бы высказать свое отношение к ней, ибо она калечит души подрастающего поколения. С такой «литературой» надо вести решительную борьбу.

В ходе обсуждения высказывались различные мнения о тематических номерах журнала. Профессор Петр Динеков, например, считает нецелесообразным выпуск тематических номеров «Иностранной литературы» (№ 10 за 1960, посвященный молодежи), ибо это, на его взгляд, лишает читателей тех статей и информаций, которые он привык видеть в каждом номере (обозрения зарубежной прессы, хроника «Из месяца в месяц» и т. д.). Поэтому он высказал пожелание, чтобы в отдельных случаях определенной проблеме посвящалась лишь половина номера, а в остальном структура журнала сохранялась бы.

С возражениями Динекову выступил заведующий редакцией переводной литературы издательства «Народна младеж» Петр Димитров-Рудар, который считает тематические номера чрезвычайно полезными. Он подчеркнул в своем выступлении большое значение и успех молодежного номера «Иностранной литературы», который найдет, по его мнению, широкий отклик среди молодежи различных стран. Димитров-Рудар сообщил, что известие о выходе этого номера было с большим удовлетворением встречено участниками пленума бюро Всемирной федерации демократической молодежи, который проходил в Софии, и инициатива «Иностранной литературы» получила самую высокую оценку.

О культуре оформления

Выступившие на обсуждении болгарские писатели и художники высказали ряд критических замечаний относительно оформления журнала и публикуемых в нем иллюстраций. Они отмечали, что это очень важный вопрос для авторитета такого издания, которое имеет читателей во многих странах.

— Обложка, шрифты, рисованные заголовки, расположение материалов,— сказал писатель Валерий Петров,— все это очень старомодно. Стиль оформления несколько манерен. Заглавия литературных материалов графически оформлены плохо.

Оформлению «Иностранной литературы» посвятил свое выступление и художник Ненко Балканский. Уровень оформления, подчеркнул он, не соответствует уровню литературных материалов. И рассказы, и стихи, и хроника иллюстративно выражены одинаково. Часто иллюстрации не передают настроения, атмосферы, которой проникнут рассказ, не соответствуют литературным материалам. Иллюстрации обычно не связаны с текстом графически.

Были высказаны также замечания о тех материалах, которые представляли читателям болгарское изобразительное искусство. Подбор их, по мнению Балканского, носил случайный характер.

Советская общественность, заявил в заключение Ненко Балканский, имеет хороший журнал, однако следовало бы улучшить его внешнее оформление.

* * *

В конце дискуссии выступил главный редактор «Иностранной литературы» А. Б. Чаковский, который поблагодарил болгарских товарищей за доброе, внимательное отношение к журналу и дружеские советы. В своем выступлении он подчеркнул главную задачу журнала — знакомить советских читателей с достижениями литературы социалистических стран, с прогрессивной литературой всего мира, борющейся за лучшее будущее человечества. Журнал знакомит читателей также с творчеством тех буржуазных писателей, которые придерживаются иных политических взглядов или стоят в стороне от борьбы, но, будучи честными и правдивыми, обличают несправедливость и ложь своего общества. В свете этих задач журнала редакция рассмотрит и учтет в своей практической работе критические замечания и советы участников конференции.

Конференцию читателей журнала закрыл главный секретарь правления Союза писателей Болгарии Георгий Караславов, выразивший уверенность в том, что редакция учтет в своей работе высказанные пожелания.

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

«Таймс» о сегодняшней немецкой литературе

То ли следуя традициям, то ли в силу особого, точнее сказать, обостренного внимания англичан ко всему, что происходит нынче в Германии, прежде всего в западной ее части, лондонская **«Таймс»** в одном из последних литературных приложений дает обширный свод статей — **«Немецкая литература сегодня»**,— посвященных современной литературе, умонастроениям интеллигенции, духовной жизни вообще. Пространно широк и круг обсуждаемых предметов — от новейших течений в философии до специфических проблем текущей периодики. Неоправданно универсален и самый подход к явлениям культуры и искусства. Авторы симпозиума, основываясь единственно на языковом принципе и без особого уважения к реальной истории последнего пятнадцатилетия, берутся обозреть «четыре отчетливые традиции» западногерманской, австрийской, швейцарской и восточногерманской культуры.

Не будем следовать примеру «Таймс» и ограничимся тем, что касается интеллектуальной обстановки в ФРГ, тем более что львиная доля помещенного в «Литературном приложении» материала относится именно к Западной Германии.

Итак, какие же характерные черты замечает «Таймс» в развитии культуры ФРГ после 1945 года?

> «Когда нацизм катастрофически рухнул, молодые поколения немцев в Западной Германии оказались в состоянии растерянности и смятения... Они ощупью брели к демократии, но та встретила их нищетой, голодом, военной оккупацией. Благоглупости, которыми сопровождалось «перевоспитание», и различные оккупационные установления подтачивали нередко наивные надежды... Открытие запрещенной отечественной литературы, а также книг Элиота, Джойса, Фолкнера, Хемингуэя, Сартра, Камю несколько ободряло, но и сбивало с толку. Отчаянно пытаясь обрести какую-нибудь духовную устойчивость, раздираемая чувствами вины и невиновности, молодежь выдумала, не без доли жалости к себе, концепцию «нулевого состояния».
>
> «Нулевое состояние», крах привычных представлений и идеалов, духовная и физическая истощенность, пустота и хаос — таково было наследие Третьего рейха. Разобщенность интеллигенции, в том числе и художественной, достигла крайних размеров. Люди чувствовали отчужденность, болезненно ощущали, что у них нет общих убеждений и прошлого, отсутствует «камертон, по которому настраивают совесть», пользуясь выражением одного писателя.
>
> Не удивительно, что в такой обстановке пышным цветом расцвел экзистенциализм, причем худшего, реакционнейшего толка, апологетами которого являются небезызвестные Ясперс, автор ретроградного опуса «Атомная бомба и будущее человечества», и Хейдеггер, «самый влиятельный философ, несмотря на его нацистское прошлое и вынужденный отход от деятельности в 1945 году», как сообщается в статье, посвященной развитию философской мысли в сегодняшней Западной Германии. Экзистенциализм Хейдеггера и Ясперса «рассматривает социальную деятельность людей как случайное, преходящее явление, утверждает трагическое одиночество личности, «брошенной» в мир, и уводит человека в глу-

бины его собственного, неповторимого «я», его «Existenz'a».

В полном соответствии с господствующими тенденциями в философии развивается новейшая художественная литература ФРГ. Детей — нынешнее поколение западногерманских писателей — лучше всего, пожалуй, узнать по тому, кто их отцы. «Не впадая в особую ошибку,— пишется в «Литературном приложении»,— в качестве таковых можно назвать Кафку, Германа Броха и Готтфрида Бенна».

Разумеется, к западу от Берлина живут и работают писатели, которые оглядываются не на Кафку, а на корифеев немецкой литературы — от Гете до Манна. Но их имена почти не встречаются в обзоре «Таймс» — речь идет о других, которых, как это ни печально, большинство.

> «Каким бы уважением в Западной Германии ни пользовался сегодня Томас Манн, у него нет потомства, зато появилось несметное количество законных и незаконных отпрысков Кафки. Безразличие к конкретному обществу и конкретным событиям, разобщенность людей и вещей, склонность к гротеску, абсурдности и к подмене причинных связей мистикой, смутные, метафизические стремления, которых не определить и которым не суждено осуществиться,— таков крик души современного поколения писателей. О том же, еще более отчетливо и теоретично, свидетельствуют произведения Броха. Он подвергает критике опыт традиционного психологического и социального романа и путем экспериментов стремится создать некий роман-миф...»

Ни Кафку, ни Броха нельзя назвать украшателями мира, который их окружал, но их цель не Lösung (стремление познать), а Erlösung (надежда на спасение), как лаконично определял Т. Манн выбор, стоящий перед художником; не озабоченность социальными проблемами, а «освобождение» от них, по выражению Броха.

Если Кафка и Брох еще как-то болеют за человечество, хотя их гуманизм и принимает форму бессильной жалости и отчаяния, то последний, доживший до 1956 года, член святой троицы, Готтфрид Бенн, по характеристике авторов обзора, «человеконенавистник и нигилист, по собственному признанию», который

> «...ищет избавления в продуктах творческой фантазии. Искусство для него — чисто субъективная конструкция и единственный смысл жизни («Искусство не имеет никакого отношения к истине, главное в нем — выразительность»). Вместе со своими соратниками по экспрессионизму Бенн выработал некий эмоциональный язык без прикреплений и грамматических связей, свойственных нормальной речи, язык, который, по выражению немецкого писателя Михаэля Хамбургера, соединяет «отдельно взятый факт и самодовлеющую фантазию»...
>
> Но особенно неприятен тот факт, что антигуманизм Бенна связан с нищенским культом примитивного инстинкта, со шпенглерианским биологизмом, с презрительным глумлением над демократией, которое привело его в свое время в объятия нацистов».

Авторы «Литературного приложения» особо отмечают, что из современных книг полностью ушел рабочий класс — факт, непреложно свидетельствующий об упадке, хотя внимание к человеку труда было в традициях лучшей части новой немецкой литературы — для подтверждения этого достаточно вспомнить хотя бы Гауптмана.

> «Какими бы антибуржуазными и богемными ни казались западногерманские писатели... духовно они пребывают в типичной буржуазной атмосфере, и их вовсе не занимают условия жизни рабочего класса».

Разгром гитлеризма, поражение Германии в войне, разделенная на две части страна, оборотная сторона так называемого «экономического чуда» и т. д.— все это дает богатейший материал для политической литературы и могло бы способствовать появлению политического романа.

По окончании войны, говорится в статье, после двенадцатилетнего вынужденного молчания, костров из книг, удушения любой свободной мысли иные авторы попытались честно разобраться в происшедшем, осмыслить причины, которые привели страну к национальной катастрофе, задуматься над тем, как возродить мирную, демократическую Германию. В литературе тех лет явственно звучали антинацистские мотивы.

Но чем дальше, тем реже и неохотнее западногерманские писатели обращаются в своих произведениях к политической теме. Авторы обзора склонны объяснять это тем обстоятельством, что немцы, дескать, были заняты преимущественно восстановлением экономики. Но они оказываются гораздо ближе к истине, когда вынуждены сказать, пусть глухо, что причиной тому — усиление реваншистских настроений, поддерживае-

мых Бонном, и преследования, которым подвергаются прогрессивные элементы. Именно существующим политическим режимом в ФРГ объясняется тот факт, что

> «...менее свободно стали проявляться новые идеи; в молодой демократии обнаружилось опасное нежелание, даже отказ разобраться в природе новой республики, равно как и в недавнем прошлом... Словно по молчаливому согласию, чаще стали игнорировать историю... Продолжающийся раскол страны и запрещение Коммунистической партии имело неприятные последствия, как, впрочем, и сведение политического мышления к партийным ярлыкам».

«Отход от политики» правомерно связывается в статье с личностью Аденауэра Некоторым немцам поначалу импонировала уверенность и, так сказать, респектабельность боннского канцлера — политические авантюристы вконец перестали пользоваться доверием,— но «стремление к непомерному, на манер Бисмарка, величию и авторитарности, уравновешиваемое умением чутко улавливать настроения публики, отнюдь не способствовали оживлению на политической сцене».

Хотя авторы статьи предельно осторожны в суждениях, но «игнорирование истории», находящее, в частности, выражение в сочинениях профашистски настроенных писателей типа Эрнста фон Соломона или в мутном потоке милитаристской литературы, все же вызывает у них беспокойство:

> «...если печатная продукция отражает политическое мышление и развитие страны, то Западной Германии еще только предстоит достигнуть чего-то большего, чем экономическое благосостояние. Если это покажется слишком суровым приговором стране, которая приняла на себя руководство в осуществлении европейского единства, то писателям пока только предстоит опровергнуть этот приговор».

Подытоживая свои наблюдения над характерными чертами развития сегодняшней западногерманской литературы, авторы «Литературного приложения» пишут:

> «Наибольшее беспокойство, пожалуй, вызывает выпадение памяти у немцев, занятых восстановлением и «экономическим чудом», тот факт, что прошлое тщательно дезинфицируется и подкрашивается Но литература — это память, причем память не только личности, но и общества. Чтобы создать настоящую литературу, немецкие писатели должны мужественно принять на себя бремя памяти,— это должны сделать и те, кто вспоминают историю единственно для того, чтобы, подобно Гюнтеру Грассу, умыть руки, отвернуться от безумия, вины и страданий недавнего прошлого, и те, кому вслед за Генрихом Бёлем не дает покоя совесть, и те, составляющие большинство, которые ищут какую-то иную, метафизическую реальность, где они надеются сохранить внутреннюю свободу».

Возникает вопрос: почему же лондонская «Гаймс», газета вполне буржуазно-добропорядочная, столь озабочена, если не сказать сильнее, «выпадением памяти» у писателей «атлантического союзника»? Дело, видимо, в том, что издатели ее не могут не учитывать настроения широких масс английского народа, который встревожен воцарением реваншистского духа в ФРГ, подавлением демократических свобод, милитаризацией страны, таящей опасность военного взрыва.

Весьма показательно, что традиции подлинно демократической реалистической немецкой литературы, традиции Гейне, Гервега, Бюхнера, Веерта, Фрейлиграта, «Литературное приложение» обнаруживает в ГДР, прочно вставшей на путь подлинно демократического развития. Авторы обзоров отдают в этой части дань предрассудкам, порой они повторяют порядком навязшие в зубах разного рода измышления насчет литературной жизни ГДР, но, как признается в статье,

> «...за всем этим мы как-то забываем, что лучшие произведения литературы Восточной Германии лежат в русле благородной и мужественной традиции тенденциозной литературы, которая издавна занимает особое место в немецкой истории».

В качестве непосредственных предшественников современных восточногерманских писателей авторы называют немецких экспрессионистов (Толлер, Мюзам, Оскар Граф), социальных и политических сатириков 20-х годов, таких, как Эрих Вайнерт и Тухольский, славную плеяду писателей-антифашистов начала 30-х годов («не все они были коммунистами, но они уже тогда твердо знали, что представляли собой нацисты, и выступали против них»). И именно в ГДР

> «...в издательстве «Ауфбау» печатались старые и новые произведения Ренна, Зегерс, Фаллады, Бределя, Арнольда Цвейга, пьесы Брехта и Вольфа, шеститомное собрание сочинений Бехера, большинство, хотя и не все, произведений писателей, эмигрировав-

ших из нацистской Германии, в том числе Томаса Манна. Другие издательства выпустили девятитомное собрание сочинений Вайнерта, пятитомное Тухольского, избранные романы бывшего шахтера и рабочего — корреспондента Ганса Мархвицы».

Говоря о писателях ГДР — А. Цвейге, Л. Ренне, А. Зегерс, Ф. Вайскопфе, Бодо Узе, С. Хермлине, С. Гейме и других литераторах,— авторы обзора признают:

«Книги этих писателей, хотя их плохо знают за пределами Германии, продолжают и развивают традиции, которые возродились в Восточной Германии после 1945 года, и во многих отношениях они заслуживают всяческого уважения».

Доллар *vs* свобода творчества

Изрядное количество литературных и иных журналов, бесчисленные статьи, рецензии о книгах, спектаклях, фильмах в глухих университетских изданиях и крохотных ежедневных газетках, нескончаемые споры и дебаты специалистов, немыслимое множество мнений, точек зрения, «эстетических» концепций — все это создает видимость содержательной интеллектуальной и культурной жизни в США. Однако под этим поверхностным кипением скрывается «ханжески прикрываемая крайняя путаница» в головах буржуазных искусствоведов, убожество мысли, унылый конформизм и раздраженное отрицание передовых идей. Об этом еще раз убедительно говорится в эссе критика-марксиста **Сиднея Финкелстайна «Критики в затруднении»,** напечатанном в сентябрьской книжке журнала «Мейнстрим».

Две концепции, два подхода к эстетической теории свойственны сегодня буржуазной критике и искусствоведению, отмечается в статье. Прагматическая «безтеорийность», согласно которой любой художник интуитивно сам устанавливает для себя законы искусства по первому впечатлению, противопоставляется всеядной эклектической концепции, утверждающей, что все точки зрения — кроме, разумеется, марксистской,— равно хороши и «интересны». Однако по сути дела обе «теории» ненаучны, обе, пишет автор, отвергают возможность теоретического осмысления проблем искусства современности.

«...Свободное и легковесное отношение к теории, на которое нередко указывают как на образец «свободы искусства», есть признак углубляющегося кризиса, затрагивающего самое существо свободы творчества». Прямое следствие этого кризиса -- «очевидный распад критических норм, и те, кого принято считать компетентными лицами, уже не в состоянии отличить хорошее произведение от плохого, подлинное искусство от подделки. Путаница эта, в свою очередь, передается публике. С пугающей быстротой забывается наследие прошлого и уроки, которые из него можно вынести».

Многие американские критики и сами признают очевидную ненормальность положения, при котором «интересной» объявляется всякая — без исключения — теория. Сидней Финкелстайн ссылается, например, на Джона Кэнэдея, который писал по поводу абстрактной живописи:

«Ревностно восхваляя абстракционистов, мы создали представление, будто любое абстрактное полотно непременно содержит нечто большее, чем видит глаз. Любой другой вид живописи непременно встречают предубежденностью, заранее зная, что он не так хорош, как кажется. Дело дошло до того, что критик может с усмешкой сбросить со счетов шедевры Возрождения, но, дорожа своей репутацией, не преминет разглядеть во второсортном абстракционистском опусе какую-нибудь космическую идею».

В самом деле, трудно что-либо возразить Кэнэдею, когда он утверждает, что «сама природа абстрактного экспрессионизма дает возможность чрезмерно терпимо относиться к бездарности и шарлатанству».

Однако, приветствуя ту или иную теорию искусств как «интересную», буржуазные критики обходят, не берут в расчет то решающее обстоятельство, что «произведение искусства есть отражение реальности».

«Широкое или узкое по охвату, прозрачное или искаженное по форме, оно так или иначе содержит типические картины действительной жизни, которые показывают, именно в силу своей типичности, те или иные силы, действующие в обществе...

Такие критики предпочитают видеть в произведении искусства свободную

игру фантазии, этакую воображаемую произвольную ситуацию, созданную более или менее умело, в лучшем случае — сугубо внутреннюю, психологическую истину, раскрывающую характеры с точки зрения «вечных категорий», таких как любовь, смерть, гомосексуализм, невроз или эдипов комплекс — в зависимости от личных склонностей критика. Им и в голову не придет рассматривать такую, скажем, пьесу, как «Кошка на раскаленной крыше», в свете проблем, возникающих из состояния самой американской демократии... сопоставлять пьесу с влиянием сенатора Истлэнда на американскую политическую жизнь или влиянием Юга вообще, где демократические институты развиты менее всего и превратились по существу в жалкий фарс...»

И все же присяжным профессорам не удается уйти от неприятных вопросов, особенно теперь, когда с расширением международных культурных связей им выпадает задача комментировать отклики на отечественную литературу и искусство за рубежом. Задача поистине нелегкая, ибо из произведений таких признанных в США писателей, как Лилиан Хеллман, Артур Миллер, Джон Стейнбек, Уильям Фолкнер, Генесси Уильямс, складывается картина современной Америки, которая может привести в ужас кого угодно. Верно, что некоторые из названных авторов склонны обращаться скорее к морально-психологическим проблемам. Верно и то, что они трактуют их порой отвлеченно, как проблемы «человеческого сердца» или «судьбы», но «разве они перестают от того быть также и проблемами социальными?

Еще чаще ставит буржуазных критиков в тупик «массовое» искусство, особенно кинематограф, фильмы, воспевающие «сильную личность» — гангстера, уголовника. бандита. Сидней Финкелстайн отмечает, что от таких фильмов нельзя отмахнуться на том основании, что это «развлекательные» картины, что они далеки от подлинного искусства. Ведь они подчиняются некоторым его законам, в частности «формируют умы»:

«...чтобы затронуть зрителя, такой фильм должен иметь какие-то корни в действительности несмотря на наслоения лжи и фантазии. Фильмы о преступниках и насильниках черпают факты, обстоятельства и колорит из американской жизни. Не продюсеры изобрели гангстеров и убийц... Это, разумеется, отнюдь не означает, что такие картины художественны или отражают правду, но они восприимчивы к событиям реальной жизни и заимствуют оттуда содержание, в какую бы искаженную форму оно в конечном счете ни облекалось».

Наибольшие. однако, хлопоты доставляет охранителям американской буржуазной культуры утвердившийся в США взгляд на искусство как на предмет потребления и средство извлечения прибыли. Всепроникающий коммерческий дух «плюет, фигурально выражаясь, на все и всякие эстетические теории и единолично устанавливает правила игры», так что «свобода искусства» превращается в «пустую, дешевую фразу».

Сидней Финкелстайн, к примеру, убедительно показывает raison d'être абстрактной живописи. Под бесконечными разглагольствованиями насчет того, что именно абстрактным методом лучше всего отображать бурную и неустойчивую современность, кроется самый прозаический, меркантильный расчет:

«...в этом сомнительного качества искусстве кровно заинтересованы перекупщики и владельцы галерей, которые, расхваливая картины как великое искусство будущего, устанавливают на них баснословные цены, а также музеи, вложившие туда солидные капиталы».

Если дух торгашества затронул даже такие «высокие» области, как живопись, то что же говорить о зрелищных предприятиях, о бродвейских театрах, о массовых дешевых книжных изданиях? С. Финкелстайн приводит характернейший пример: под нажимом продюсера И. Казана, финансировавшего постановку Т. Уильямса, тот вынужден был переписать финал третьего, заключительного акта своей пьесы «Кошка на раскаленной крыше». Вещь удостоилась Пулицеровской премии, но игрался второй, отличающийся от первоначального, вариант. Он оказался «коммерческим», сделал финал более мелодраматичным, дал аудитории надежду на «счастливую развязку».

Что касается дешевых изданий, то, спекулируя на том, что он якобы идет навстречу «вкусам» публики, в этой сфере полновластно хозяйничает предприниматель. Он определяет не только тему, но и название и объем книги; также «твердо устанавливается художественная сторона произведения: псевдореализм по форме, нереальность по существу и содержанию». (И это в стране, где публицисты с благородным негодованием обрушиваются на социалистический

строй за то, что при нем якобы попирается «свобода культуры»,— иронически комментирует автор статьи)

> «Коммерческий дух с кровожадностью ищейки преследует художника и лишает его свободы смотреть на Америку реалистически и критически — ибо такой взгляд наиболее ненавистен торгашескому сознанию .

Итак,— заключает С Финкелстайн свою статью,— «свобода творчества» в нашей стране поражена смертельной болезнью. Она таит в себе неразрешимые противоречия, которые являются частью механизма «свободного», точнее, торгашеского общества... «Свобода творчества» означает на деле свободный отказ от теории и поиски в темноте, возможность выдвигать любую идею, не заботясь о том, чтобы проверить истинность ее на практике... «свободный», в корыстных интересах, контроль частных лиц над огромной системой, обеспечивающей общество художественными ценностями, и возможность выкидывать на рынок все, что имеет спрос и гарантирует прибыль...»

Дискуссия об индийской литературе

Индийские литераторы считают одним из главных недостатков современной индийской литературы отрыв от жизни целого ряда писателей, которые в своем творчестве не откликаются на вопросы, волнующие читающую публику.

Об этом и о многих других проблемах, стоящих сейчас перед индийскими литераторами, в течение нескольких месяцев шел серьезный и откровенный разговор на страницах еженедельного журнала **«Иллюстрейтид уикли оф Индиа».** В дискуссии о современной индийской литературе приняли участие такие видные писатели, как М. Р. Ананд, Р. К. Нарайан, Р. С. Динкар, П. В. Раджаманнар и другие.

> «Большинство писателей,— отметил в своем выступлении **Гангадхар Гаджил,**—вероятно, не понимают тех новых требований, которые предъявляет к ним жизнь. Они, видно, не понимают тех жизненных вопросов, трудностей и противоречий, которые глубоко волнуют наш народ... Они сознают необходимость новых тем, но не понимают, что для того, чтобы их воплотить в своих произведениях, надо писать совершенно по-другому»

Новые темы требуют новых героев. Об этом говорил **П. В. Раджаманнар:**

> «Для современного писателя необходима более широкая тематика произведений. Не только короли и королевы должны фигурировать в качестве героев литературных произведений — жизнь простых людей. крестьян, рабочих, борющихся слоев средней буржуазии — дает современным писателям обширный материал для их творчества».

Все участники дискуссии подробно останавливались в своих выступлениях на анализе причин, которые мешают творчеству писателей. Большинство авторов считают, что развитию литературы прежде всего препятствует невозможность для писателей жить литературным трудом. Даже широко известным литераторам приходится работать учителями, конторщиками и т. д.

Р. К. Нарайан, известный нашим читателям по роману «Святой Раджу», отмечая, что индийская действительность дает богатый материал для творчества, считает, что писатели мало его используют.

> «Главная причина,— по его мнению,— заключается в том, что большинство авторов могут писать только в свободное время. Для того чтобы написать роман в 80 тысяч слов, писатель должен работать ежедневно в течение года или двух. Если же он все свои основные силы тратит на добывание средств к существованию, то он может писать только урывками ..»

Гангадхар Гаджил говорил в своей статье, что он не принадлежит к тем, «кто считают, что писатель должен быть абсолютно обеспеченным человеком. Однако писатель нуждается в определенном досуге, в книгах и тихом месте, где он смог бы работать».

Многие писатели подняли в своих выступлениях вопрос о необходимости установления для писателей государственных стипендий, чтобы они могли заниматься одной лишь литературной деятельностью.

Однако против подобной точки зрения выступил **Мулк Радж Ананд.**

> «Писатели,— заявил он,— вероятно, ошибаются, когда видят главное препятствие своему творческому росту в том, что невозможно заработать на жизнь одним лишь творческим трудом. ..компромиссы с коммерсантами портят

самых талантливых писателей, которые становятся не способными создать значительные работы».

Участники дискуссии критиковали газеты за недостаточное внимание к вопросам литературы, за то, что они не воспитывают у своих читателей любви к художественным произведениям.

«Автор,—заметил Нарайан,—не пользуется вниманием газет до тех пор, пока его имя не будет упомянуто в речи какого-нибудь высокого лица».

С горечью вспоминает писатель о разговоре с одним из чиновников, который при встрече спросил его:

«— Что вы пишете, романы? Рассказы? Никогда не читал их.

—Может быть, вы читаете биографии, поэзию, философию?

— Нет, нет, я перестал читать после окончания колледжа, тридцать лет назад».

«Он — государственный служащий,— продолжает писатель,— зарабатывающий свыше 1000 рупий в месяц... Страшное впечатление производил этот преуспевающий, самодовольный, бесстыдный обыватель. Все дискуссии по проблемам литературы и языка бессмысленны, когда я думаю об этом человеке и о сотнях ему подобных в различных областях жизни. Бесполезно обвинять обывателя за то, что он таков, как он есть. Он — продукт нашего общества».

Недостаточное количество переводов с одного языка Индии на другие, все еще большое число неграмотных в стране, а также равнодушие средних слоев населения к покупке книг — таковы, по мнению Нарайана, самые большие помехи в развитии индийской литературы.

Участники дискуссии, с одобрением отзываясь о мероприятиях правительства, направленных на подъем национальной культуры страны, вместе с тем указывают на необходимость дальнейшего улучшения системы образования, создания новых библиотек и пополнения уже существующих новыми фондами. Лучшие индийские писатели в своих выступлениях не раз подчеркивали, что в произведениях, посвященных современной Индии, нельзя забывать о замечательных традициях классической индийской литературы.

Отстаивая народные национальные традиции, писатели в то же время отдают должное взаимным влияниям в литературе разных стран.

Р. С. Динкар, однако, отмечает, что далеко не все зарубежные писатели могут служить образцом для индийских литераторов.

«Вовсе не плохо, когда влияние зарубежной литературы исходит от таких писателей, как Диккенс, Тэккерей, Бальзак, Тургенев, Толстой или даже Флобер и Лоуренс, как поэты романтического и послеромантического периодов. Но тем писателям, которые черпают вдохновение у Рембо, Малларме, Рильке и их английских двойников, трудно претендовать на известность».

Продолжая свою мысль о культурном обмене, Динкар далее пишет, что, хотя в Индии издается огромное количество книг зарубежных авторов, в странах капитала индийская литература до сих пор не получила должного признания.

«По историческим и политическим причинам Нобелевские премии стали монополией Америки и Европы. Никто в Азии до и после Тагора не был удостоен этой премии».

Писатель противопоставляет такому пренебрежительному отношению к индийской литературе со стороны «высоколобых» западных критиков интерес к ней в Советском Союзе.

«Русские с большим энтузиазмом изучают языки Индии. Они также прилагают большие усилия к тому, чтобы переводить на свой язык романы и стихи целого ряда наших классиков и современных писателей. Не будет преувеличением сказать, что наши писатели известны в России больше, чем в любой другой стране».

Дискуссия на страницах журнала показала, что лучшие индийские писатели делают все от них зависящее для того, чтобы создавать подлинно художественные произведения, отражающие современную индийскую действительность и обращенные к массовому читателю.

Творец БЕССМЕРТНОГО „ИНТЕРНАЦИОНАЛА"

ГОВОРИТ ПОЭТ РЕВОЛЮЦИИ

Перед нами чрезвычайно интересный документ — речь крупнейшего поэта Парижской коммуны, автора бессмертного «Интернационала» Эжена Потье.

Речи поэта до сих пор оставались неизвестными советскому читателю. Публикуемое журналом выступление Потье показывает, каким искусным оратором он был. Его темпераментная, отлично построенная речь полна обычных для поэта афористических высказываний, ярких, впечатляющих образов, злой иронии по адресу врагов Коммуны и волнующей величественной патетики.

Потье являлся активным участником Парижской коммуны, был избран ее членом и защищал ее дело на последних баррикадах «кровавой недели».

Заочно приговоренный военным судом к смертной казни, Потье бежал из Франции в Англию, а затем в 1873 году переехал в Америку. Период эмиграции Потье в США (1873—1880) еще совершенно не изучен. Причины, побудившие поэта к переезду в Америку, вероятно, находились в какой-то связи с тем, что резиденцию Генерального Совета I Интернационала в конце 1872 года (после Гаагского конгресса) решено было перенести в Нью-Йорк.

Потье считал, что цели Интернационала, членом которого он стал еще в 60-х годах, во всех странах едины, и он стремился быть активным деятелем борьбы рабочего класса США.

Близость Потье к социалистическим кругам США подтверждается тем, что его политическое послание «Рабочие Америки рабочим Франции» было издано отдельной брошюрой в Нью-Йорке в 1876 году Социально-демократической партией рабочих Северной Америки,* а поэма «Парижская коммуна» в 1877 году «Социалистической группой Сан-Франциско (Калифорния)».

В 1878 году, по призыву лондонских эмигрантов Коммуны, организовавших вещевую лотерею в пользу сосланных в Новую Каледонию коммунаров, Социалистическая Рабочая партия Северной Америки** создала ряд комитетов. Активное участие принял в этом Эжен Потье, избранный «генеральным секретарем-казначеем для США». Сохранилось письмо поэта от 1 марта 1878 года, в котором он от имени комитета Нью-Йорка и Сан-Франциско выражал благодарность Социалистической Рабочей партии, ее секциям, социалистической прессе и всем трудящимся США за их товарищескую готовность содействовать успеху лотереи.

Неизвестно, являлся ли Потье членом Социалистической Рабочей партии США, но он явно был связан с нею, о чем свидетельствует публикуемая речь о Парижской коммуне на одном из социалистических собраний в США.

Эта речь свидетельствует также о том, что после Коммуны, стараясь осмыслить опыт пролетарской революции, Потье еще не освободился полностью от пережитков столь распространенной в то время среди

---

* Создана в 1874 году.

** Создана в 1876 году после роспуска Генерального совета I Интернационала.

коммунистов прудонистской идеологии. В этот период Потье — еще сторонник мютюэллизма*. Лишь после возвращения во Францию, когда поэт стал членом основанной в 1879 году французской Рабочей партии, примкнув к гедистам, сторонникам научного социализма, ему удалось окончательно изжить старые прудонистские влияния. Доказательство тому — его сборник «Революционные песни» (1887), который дал полное право Геду назвать Эжена Потье «Тиртеем нашей Рабочей партии».

Речи Потье должны были войти в его книгу, анонсированную при издании томика «Революционных песен». Однако после смерти поэта, в том же 1887 году, эта книга осталась неопубликованной, подобно другим его поэтическим сборникам, тогда же анонсированным в Париже.

К сожалению, во Франции до сих пор не издано полное собрание сочинений вдохновенного певца Парижской коммуны, не изучен его архив, неизвестны его переписка и другие литературные материалы. Все наиболее достоверные данные о жизни и творчестве Потье по-прежнему сводятся к нескольким страничкам его автобиографии в письме к Полю Лафаргу. Все это создает большие трудности для изучения поэзии Парижской коммуны и того крупного вклада, который внесен ею в историю французской поэзии и мировой литературы.

* Прудонистский термин, обозначающий взаимный обмен услугами, продуктами, ссудами, кредитом и т. п. как предполагаемую (в духе мелкобуржуазного утопизма) основу для построения общества, свободного от принуждения и насилия со стороны государственной власти.

Речь Эжена Потье,

произнесенная 18 марта 1878 года

Семьи пролетариев, гражданки и граждане труда и нищеты, состарившиеся от забот и изнуренные лишениями, и вы, веселые и беззаботные дети, ростки Социализма,— привет вам всем!

Я пришел к вам с двойным мандатом — от имени Парижской коммуны, ныне покойной, и от Социалистической Рабочей партии, которая здравствует.

Поговорим сначала от имени умершей. Но правда ли, что она мертва?

Перед лицом скошенных митральезой масс, расстрелянных в Сатори* героев, изнемогающих в Нумее мучеников — кто стал бы в этом сомневаться?**

Она мертва, говорю вам я. Ее погребли в шинели федерата и так поторопились с этим, что она еще корчилась в агонии и ее сведенная рука пробила тонкий пласт земли, брошенной на могилу.

В этой мрачной ночи, в сиянии звезд — к чьей же Справедливости взывает ее грозно воздегая рука?

К господней Справедливости?

Но астрономия, разместившая в бесконечном пространстве мириады населяющих его миров, давно уже выселила из квартиры бога-отца и все это святое семейство.

К людской Справедливости?

Но в лице своих судей, заседавших в квадратных шапочках или в военных кепи набекрень, побежденные нашли лишь услужливых палачей.

Не взывала ли она к самому мстящему врагу?

Но вокруг нее уже проносилась фарандола: плясала святая церковь в кружевном стихаре, галантно приподняв сутану и распевая «Te Deum»* безжалостной резне; плясал вампир-капиталист, слегка встревоженный, как бы такое истребление массы тру-**

Речь Потье публикуется по книге Эрнеста Мюзе «Эжен Потье и его творчество». Ernest Museux. Eugène Pottier et son oeuvre. Paris (1898).

* Версальская тюрьма, место расстрела участников Коммуны, осужденных по приговору военного суда.

** Столица Новой Каледонии, место ссылки коммунаров

*** Католическая молитва «Тебя, бога, хвалим» *(лат.)*.

женихов не повело к повышению заработной платы; плясала банда капитулянтов, украшенных трехцветными лентами и с таким воинственным жаром вопивших: «Победа́!», что было очевидно, до какой степени они трусы.

Или она взывала к Истории?

Но ведь перо — в руках Вейо * и Вильмессана **. И даже сам Уошберн *** пользовался в своих лекциях блевотиной «Фигаро».

Или к Будущему?

Но его больше не было! По старым своим следам возвращалось Прошлое с присущим ему рабством тела и духа, средневековой системой образования и зачумленностью цезаризма. И рука трупа, поднявшаяся против торжествующего Версаля, казалось, от имени порабощенного человеческого рода протестовала против векового гнета и унижения...

И что же, однако, граждане: вот уже седьмая годовщина, а мертвая не мертва! Пурпурная ее кровь стучит в наше сердце, голос Истории судит судей, мстители поднялись во весь рост, а Будущее — нам ли его бояться?

Вы знаете пословицу: сначала подраться, потом объясняться. Так вот, после битвы приходит пора объяснений.

К чему стремилась ты, Коммуна, если тебя так разгромили, так оклеветали?

Впрочем, оставим клевету в покое — что нам за дело до этой слюны слизняка.

Дон Базилио говорил: «Клевещите, что-нибудь от клеветы да и останется». Так говорят и враги социализма. Но что же нередко остается? Только конфуз клеветников. Приходит час — и человек, которого оклеветали, переступает эту грязь и идет, высоко подняв чело, к яркому солнцу общественного признания.

Объяснимся же только по поводу принципов. Одни говорят, что в тебе выразилось возмущенное негодование против трусости и предательств в пору осады Парижа.

По мнению других, ты желала, чтобы Париж, назначая членов своего городского самоуправления, стал сам себе господином наподобие городов Соединенных Штатов.

Третьи говорят, что монархическо-клерикальная клика, сбросившая маску 16-го мая****, желала свергнуть республику, нашу единственную защитницу, и отнять буржуазные завоевания 1789 года и что Париж воспротивился этому, провозгласив Коммуну.

Некоторые, наконец, думают, что ты была прологом социальной революции, чем-то вроде астрономической революции Коперника и Галилея, заменивших противоречивые законы авторитарности и произвола научными законами единомыслия.

Какое же из этих объяснений настоящее?

Да все!.. Революция 18 марта была всем этим, и в этом ее слава. Она была практическим воплощением принципов Интернационала, отпрыском которого является Социалистическая Рабочая партия. Она была тою железнодорожной стрелкой, которая определяет направление пути. К месту назначения прибывают, лишь проехав мимо станций; первая из них — мютюэллизм, равный обмен, судья и контроль услуг, а вторая — коллективизм, то есть весь капитал производства и обращения: земля, рудники, фабрики, машины, каналы, железные дороги, пароходы, телеграф, объявленные национальной собственностью, коллективной и неделимой.

Все это для меня настолько очевидно, что можно было бы этим и ограничиться. Однако нет! Наш идеал — безграничное развитие, хотя наиболее нетерпеливые удовлетворились бы и таким прогрессом. После первых пробных ударов поршня поезд устремляется вперед на всех парах. А те, кто вызывали катастрофу, те, из-за кого поезд сходил с рельс, сами присуждают себе имя консерваторов.

---

* Вейо, Луи (1813—1883) — французский публицист католического лагеря, враг Коммуны

** Вильмессан, Ипполит (1812—1879) — издатель французской буржуазной газеты «Фигаро», яростно нападавший на Коммуну и ее деятелей.

*** Уошберн (1817—1887) — американский дипломат, посланник в Париже во время Коммуны

**** 16 мая 1877 г. президент Третьей республики Мак-Магон, ярый монархист и католик, уволил в отставку министров-республиканцев и создал новый кабинет из ультраправых элементов.

Еще два вопроса к тебе, Парижская коммуна:

— Кто твои мстители? Какова их задача?

— Мои мстители? Это прежде всего все пролетарии, у которых украдено то, что они создают, и которые производят, не потребляя, для выгоды тех, которые потребляют, не производя. И это — вся масса человечества, исключая ничтожное меньшинство, которое должно исчезнуть или войти в общие ряды...

Мы ведем себя с вами, мошенники-капиталисты, не как затаившиеся враги; мы открыто говорим вам: вы — воры! И с вами, памфлетисты, шарлатаны, попы: вы — лжецы! И с вами, короли и цезари, носители сабли и тоги: вы — убийцы! Все вы вне общественного договора.

Человеку, который мыслит и действует, незачем вступать в договор с гложущей вошью: гребенка ставит ее вне закона.

Мои мстители — все избранные умы, борцы за социальную справедливость. Они отнюдь не считают совершенством бессердечное общество, которое каждое утро, не стыдясь, регистрирует банкротства, церковные проповеди, биржевой курс и... самоубийства от нищеты; общество, которое оставляет мерзнуть голодных, их жен и детей в жилищах-трущобах и с торжественным благочестием возвещает, что в его богадельне, в Ватикане, отдал богу душу один непогрешимый бедняк *, оставивший под сырой соломой в своей келье два миллиона в облигациях Ротшильда.

Душу-то он отдал, этот нищий, но не миллионы!

А те, которые не выклянчивают по грошу свои миллионы, попросту наворовывают их!

Хорошо же общество, опирающееся на мелких собственников, замкнувшихся в своем кретинизме, которыми их собственность владеет, как раковина устрицей!

Хорошо же общество разбойников, которые находят себе защиту в лоне церкви и выставляют у своих несгораемых шкафов часовых с крестом на штыке!

Мои мстители — это, будьте уверены, также все те, кто, подобно вам, организуются в тред-юнионы, в союзы борьбы, в общества потребления, в кооперативы. Это прежде всего ты, Социалистическая Рабочая партия, с твоей активной пропагандой, с твоими секциями, которые проводят принцип общности и охраняют честь каждого из своих членов как общую честь... Это рабочий, размышляющий над социальными вопросами, это его жена, когда она действительно жена его, а не своих духовников. Это его дети, широко открывающие навстречу свету свои ясные глаза, в то время как другим их застилает церковная догма. Это перо, бегущее по бумаге, это бумага в газетном рулоне, это поезд на рельсах, это депеша, мчащаяся по проводам. Это бесконечное пересечение и постоянное объединение в одном фокусе всех лучей, всех умов, всех национальностей.

Это — на американской земле — рука французского труженика в руке труженика немца; это их звенящие стаканы с пенистым пивом и искрометным вином, осушаемые за всемирное согласие!

А какова же задача всех этих мстителей?

Создать Будущее!

Мы до сих пор слишком дорогой ценой оплачивали то будущее, которое, как в магазине готового платья, делалось мелкими торгашами; они продавали нам законодательные наручники и оппортунистические намордники, и мы остались... с носом и всего лишь в смирительной рубашке.

Создавать будущее мы в дальнейшем станем сами, по нужной нам мерке, выкраивая его из целого куска.

Мы будем следовать двойному плану социальной организации. Человек индивидуален и в то же время множествен, но силы его устремлены к общей гармонической цели — к жизни; так разве этот человек — не живая Коммуна?

Вселенная, та штука мануфактуры, образчиком которой является каждый из нас, разве не обнаруживает тот же самый организм, те же законы, те же принципы?

Воздух, вода, тепло, свет, электричество — разве это чье-либо частное достояние?

---

* Иронический намек на римского папу Пия IX, умершего в 1878 году.

Вот кодекс правил, которым надлежит руководствоваться.

Природа! Возвратимся же к ней после разлуки, длившейся столько веков. Она расстелет свою зеленую скатерть, зажжет свои огни, одарит нас всеми чудесами, добытыми наукой и искусством, заколет тучного тельца для этого торжественного пира свободных и равных.

Гражданки и граждане, сегодняшний вечер — только прелюдия к этому празднеству. Но именно на это сияющее будущее и указывает рука заживо погребенного федерата.

И знайте, друзья мои, если бы телефон, это новейшее чудо человеческого рода, принес бы нам сюда в эту самую минуту возгласы из всех городов Соединенных Штатов и столиц Европы, где обездоленные празднуют 18 марта, если бы все эти возгласы, слившись в единый громовой клич, прокатились по этому залу, мы увидели бы, как рушатся эти стены,— так рухнут вскоре и стены старого общества,— и мы присоединили бы к этому кличу свой мощный свободолюбивый призыв: Да здравствует Коммуна!

Вступительная статья и перевод ***Ю. Данилина***

В ДУМАХ ОБ ЭЖЕНЕ ПОТЬЕ

В середине прошлого столетия во Франции появился поэт огромного таланта, подлинно народный, поэт-пролетарий Эжен Потье Потье предстояло пройти увлечение фурьеризмом, сражаться на баррикадах двух революций — 1848 года и Парижской коммуны, — пока он не поднялся до идейных вершин «Интернационала». Но уже песни 1848 года — «Пропаганда песнями», «Старый дом на слом» и другие проникнуты таким пониманием гнилостности капиталистической системы и таким поэтическим мастерством, что и у взыскательных современников Потье не было сомнения, что в литературу пришел мощный талант... Однако, как это часто бывало во Франции, песни эти изданы не были.

Русский поэт и переводчик М. Л. Михайлов, познакомившийся с Потье в одном из демократических салонов Парижа, где поэт читал свои стихи, был весьма удивлен, что ни одно стихотворение Потье не опубликовано. Это, очевидно, помешало М. Л. Михайлову широко познакомить русскую публику с творчеством Потье. Однако то, что он услышал, цитируется им в «Современнике» в 1859 году. Стоит подчеркнуть, что этот первый отзыв о поэзии Потье появился в России.

«Интернационал», ставший с музыкой П. Дегейтера гимном борцов за свободу, был переведен на русский язык в 1902 году поэтом А. Я. Коцем — и сразу широко распространился.

Вот стихи, написанные в 1849 году, которые мог слышать М. Л. Михайлов в исполнении автора, полные глубокого раздумья о капиталистическом мире. Конечно, поэт задумался и о неизменном спутнике капитализма — войнах: «Штыком не лечат человечий род». Это — «крылатая строка» из стихотворения «Смерть земного шара». Вот заключительные его строфы:

Война — и крови больше с каждым часом.
Заткнули рот Идее — замолчи!
И, насыщаясь человечьим мясом,
Людей живьем сжирают богачи.
И кажется, что Землю на мученья
Руками грязными передает
Палач безжалостному богу мщенья.
Рыдайте, звезды, шар земной умрет!

Но справедливого закона слово,
Приязнь умов и душ у нас в крови.
В концерте единения людского
Звучат аккорды дивные любви.
И возликует сердце молодея!
Штыком не лечат человечий род,
В калеку превращая Прометея,
Рыдайте, звезды, шар земной умрет!

Гигант, рыданьем душу надрывая,
Утихнет наконец — и мертвеца
Проглотит вечность темная, пустая,
Пучина без начала и конца.
Его на кладбище миров, в могиле,

У Млечного Пути разыщут — вот
Планета, на которой люди жили.
Рыдайте, звезды, шар земной умрет!*
Жоан-ан-Жоза, 1849

На троне — «Наполеон Малый». Во Франции вакханалия спекуляций. Начались завоевательные войны. Мексиканская кампания, Крымская кампания. Потье выступает против всех проявлений милитаризма с гневными стихами «Война» (1857), «Казарма и лес» (1867). Он пишет с сарказмом и о мнимых миротворцах:

Уже людей не убивают,
Не топчут хлеб с недавних пор,
Зеленых рощ не вырубают:
Скреплен Конгрессом договор.
Да, мир, но вновь — удар суровый,
Опять в толпу заряд свинцовый.
Нет мира — ложь одна:
Ведь кровь народа льется снова.
Нет мира — ложь одна.
Нет мира — вновь идет война.

Стихотворение «Крестьянская наука» написано поэтом сто лет назад (1861) и посвящено гражданину Годену из Гиз, основателю «Филимистеры»:

. . . . . .
Породы скрещивай, о фея,
И выведи таких коров,
Чтобы глядеть, благоговея,
На туши в лавках мясников.
И, пусть успех дается туго,
Взрасти овец и лошадей!
Дай людям мускулы для плуга,
Дай шерсть, чтоб одевать людей!
. . . . . .
Взгляни ж гражданственно впервые
Вслед за мучением веков
На виноград и зерновые,
На выгоны и на быков.
Пора, чтобы везде под небом
Трудился на себя вовек
И досыта питался хлебом,
Вином и мясом человек.

Только к концу жизни поэта его стихи выйдут из печати — и то благодаря счастливому случаю — накануне смерти Потье... Потье неизвестен как поэт в 60-е годы. Он — художник, создающий узоры набойки, известный в этой области прикладного искусства. Потье — не только художник, он и организатор синдиката художников прикладного искусства, как теперь бы сказали, объединяющего 500 человек и входящего в Интернационал. Накануне Парижской коммуны Потье — член I Интернационала. Коммуна! Потье — член Коммуны, избранник 2-го округа Парижа. Он работает в мэрии своего округа, входит в ряд комиссий Коммуны. Если он и пишет в эти дни, то декреты Коммуны. Слишком долго ждал поэт дня воплощения социалистических идей. Ему теперь «не до стихов» А скоро наступает и час, когда надо с оружием в руках защищать Коммуну. Потье — на баррикадах! Он сражается, он видит гибель Коммуны, он видит трупы своих друзей — горы трупов и море крови... Благодаря счастливой случайности ему самому удалось избежать расстрела... И вот в июне 1871 года Потье пишет «Интернационал» ..

Морис Торез говорит об этих днях: «Запомните дату: июнь 1871 года — несколько дней, несколько недель после побоища Версальцы ликуют, а капиталисты во всем мире считают себя господами навечно В июне 1871 года Эжен Потье создает «Интернационал». Какая изумительная вера в будущее рабочего класса! Какая вера в душу борцов революции, вчера еще бывших свидетелями гибели своих товарищей по борьбе за дело коммунизма»... «Потье сражался на последних баррикадах Коммуны. Он писал, прославляя память 35 тысяч коммунаров, расстрелянных на кладбище Пер-Ляшез:

У этой стены убивали. От крови она
была красной.
Шла бойня. В ров падали трупы,
суля мясникам торжество!
И вот палачи убедились: они над
Грядущим не властны,
И дело Коммуны бессмертно —
нельзя уничтожить его.

Нельзя уничтожить его, уничтожить будущее рабочего класса, будущее народа, будущее, которое с такой уверенностью предсказал Потье».

1871—1880. Эмиграция: Лондон — 1871—1873, США — 1873—1880. В США Потье продолжает революционную борьбу. Он пишет несколько поэм, одушевленных идеями Интернационала. Это — «Парижская коммуна», в которой осознаны ошибки Коммуны; «The workingmen's party» — патетическая и полемическая поэма о Социалистической Рабочей партии; «Рабочий Америки — рабочему Франции» — поэма Потье, о которой Ленин писал: «Он обрисовал в ней жизнь рабочих под игом капитализма,

---

* Все стихи, цитируемые в статье, даются в моем переводе.— *А. Г.*

их нищету, их каторжный труд, их эксплуатацию, их твердую уверенность в грядущей победе их дела».

В США Потье начинает писать сонеты, которые впоследствии войдут в сборник «Социально-экономическая поэзия» (1884). Никогда со времени создания сонета в эпоху Возрождения он не нес такого революционного заряда:

СУДЬИ

Лисицы старые, вы — те же фарисеи,
И в заседатели Каяфою * взяты.
Под горностаевою мантией тучнея,
Что вы творите там? Суд праведный? Шуты!
Народные права поправших вы, злодеи,
Оправдываете. Блудливые коты!
Рабочих же и слуг ума и красоты —
В тюрьму, на каторгу иль петлю им на шею!

Одежды белые на вас обагрены.
За кровь невинных жертв награды вам даны:
Крест — за предательство, плевок — за злобу к людям.
На дереве любом, о Линч, ты вешал тут!
А если под руку и судьи попадут,
Какой бы приговор ты вынес нашим судьям?

Палерсон, Нью-Йорк, 1879.

Но вот у заправил Третьей республики объединившимися демократическими партиями и организациями вырвана амнистия участникам Парижской коммуны.

Потье, проведший в Америке семь лет в тяжелой борьбе за существование, в борьбе за права трудящихся, возвращается на родину. Больной, измученный годами изгнания, он поражает окружающих своим внутренним мужеством. Находясь на трансатлантическом пароходе «Франция», он пишет:

О нации, влеченья жар
Вас должен породнить друг с другом:
Все — рельсы, кабели, и пар,
И электричество — к услугам.
И человек уже готов
Любую одолеть вершину.
Края песков, полярных льдов
Ему сдадутся — властелину.

Поразителен подъем творчества Потье в 80-е годы, он приветствует первые успехи французской Рабочей партии на муниципальных выборах, он выступает со стихами, являющимися поэтической декларацией «Рабочей партии»: его «Социальная амнистия» от строфы к строфе соответствует партийной программе. Он создает блестящий памфлет на Третью республику «Дочь термидора». Да и сборник сонетов Потье вышел в том же издательстве Анри Ориоль, где печатались труды Жюля Геда, Поля Лафарга, постановления конгрессов партии. Не удивительно, что Гед восторженно высказывался в печати о поэзии Потье Правда, Потье связывала тесная дружба и с Жюлем Валлесом, его соратником по Коммуне, но, мне кажется, ближе всего Потье был в 80-е годы к французским марксистам. Ведь именно Полю Лафаргу, очевидно по его просьбе, Потье написал автобиографическое письмо, являющееся ценнейшим документом...

Трудно жилось поэту в 80-е годы, когда он из-за частичного паралича лишился возможности зарабатывать на жизнь физическим трудом, а социалистическая пресса не могла обеспечить ему и скромного заработка. Имеются сведения, что Потье обращался к одному из директоров кафе-концертной залы, рассчитывая вновь выступать на эстраде, как в молодости, когда он дружил и жил в одной комнате с будущим автором «Богемы» Мюрже... Мне больно представить себе старого поэта около афиши кафе, где изображена пара, танцующая кекуок и знаменитый клоун. И все же поэт переступает порог кафе:

— Я пришел предложить вам песни, которые сам сочиняю...

Директор с удивлением взглянул на старого поэта: из-под седых бровей смотрят добрые и умные глаза. Борода спутана, видно, что к ней давно не прикасалась рука парикмахера,— таким запечатлел Потье в офорте его друг, художник Кателлан. Но в позе поэта, несмотря на бедность, чувствуется гордость и достоинство.

Директор не заставил себя долго ждать с ответом. вряд ли революционные песни могут понравиться его посетителям.

Воздадим должное мощному духу Потье, который *никогда* не сомневался в правоте коммунистического движения и в его победе. И в старости гремел его голос, голос нищего «Ювенала предместий», как звали его друзья.

Хочу подчеркнуть лишь значение поэмы фрески «Триумфальный марш Республики»,

---

* Каяфа — сподвижник Пилата

иллюстрирующей барельеф скульптора Оттэна (к сожалению, пока остающийся нам неизвестным, хотя поэт указывает, где был выставлен барельеф,— Салон, 1885). В главке поэмы «Сферивский союз» поэт выступает с такой программой:

Европа, Азия, а вслед
И Африка встает. Впервые
Встает Австралия. Рассвет
Окрасил дали мировые.
И Варварству конец! Поют
Народы, кончив с эрой дикой.
Народы делегатов шлют
Стать родиной одной, великой.
Они поют: — Цвети, Земля!
Смести границы нужно людям.
Мы жизни сочные поля
В кладбища превращать не будем.

Кого не увлечет такая сила социальной фантазии? Безумцем он казался буржуазным деятелям, травившим его, пророком он кажется нам. Но если бы ему, скромному Потье, сказали, что он пророк, он бы рассмеялся. Какой там пророк! Нет, он только коммунар, друг Геда и Лафарга.

Потье мужественно переносил горечь непризнания, неизвестности. Трагическая судьба: великий поэт социализма, чья старость была так же плодотворна, как старость Гете, Толстого, Гюго, был незнаком не только читателям, но и даже искушенным литераторам...

Ленин назвал Потье «одним из самых великих *пропагандистов посредством песни*». Можно приводить длинный список великих общественных деятелей, восторженно отзывавшихся о Потье,— от Геда и Жореса до Ромена Роллана. У Н. С. Хрущева мы находим высокую оценку идейной глубины и афористической силы стихов «Интернационала».

Однако пока еще не весь арсенал поэзии Потье взят на вооружение нашим народом. А действительно давно наступило время, чтобы Потье «знали, читали и цитировали...» (Рошфор). Бессмертен подвиг Потье — революционера-поэта, бессмертны лучшие из его созданий.

И есть еще одно желание, одна просьба к нашим товарищам — французским писателям, критикам, ученым — подготовить хорошо комментированное издание произведений Потье (последний раз «Chants revolutionnaires» вышли в 1937 году). Было бы крайне важно обследовать архивы многих литературно-революционных деятелей, с которыми Потье был связан, например Геда, Валлеса и многих других — хотя бы тех, кому Потье посвящал свои стихи. Ведь оказалось же в архиве Лафарга важное автобиографическое письмо; может быть, нас ожидают не менее счастливые открытия. Вот уж о ком можно с полным правом сказать, что его творчество принадлежит миру,— это о Потье. И несомненно, что недалеко время, когда автору «нерукотворного памятника» — «Интернационала», борцу за свободное человечество будут поставлены монументы во многих столицах мира.

Александр Гатов

В Джафне всегда ветрено

Из путевого альбома

В. Горяев

НА ЦЕЙЛОНЕ

Добрейший в мире лев с загнутым вверх хвостом держит в правой передней лапе короткий меч с тупо усеченным концом. Лев заключен в круг, стилизованный под лепестки лотоса. Это — герб острова Цейлон. Лев не стремительный, не нападающий, скорее неловко загородившийся непривычным для него оружием. Лотос — это его вечно цветущая родина, его мир. Лучшего ему и не нужно, плохо только, что этот мир всегда был заманчивым для хищников, которые столетиями грызлись за него, отнимая друг у друга лакомый кусок. Лев — это народ Цейлона. Колонизаторы надеялись, что терпению его не будет конца, но оно лопнуло. Народ сбросил иго колониализма.

Меч в лапе льва — предостережение на случай новой попытки порабощения. Но главное здесь — труд ради благополучия на своей отвоеванной земле.

Когда самолет идет на снижение, первое ощущение, что он собирается садиться на бескрайное поле, сплошь покрытое опавшими кленовыми листьями. Это верхушки пальм. Потом замечаешь, что между ними просвечивает речушка, на берегу разбросаны небольшими кучками деревеньки, и все сплошь покрыто узорчатыми рисунками теней от пальмовых листьев. Светло-зеленый квадрат аэродрома так похож на соседнее рисовое поле, что просто удивительно, как летчик не перепутал и не посадил самолет на залитое водой поле со свежей рассадой риса. Таково первое впечатление.

Цейлон — необычайно плодородный край: здесь произрастают все виды имеющихся в мире пальм, самый вкусный чай, бананы всех сортов. Каучуковые деревья сочатся драгоценным соком, и не мудрено, что соки Цейлона всегда стремились высасывать поколения колонизаторов, следы «опеки» которых остались в стране, как надрезы — раны на коре каучукового дерева. Вывески коммерческих предприятий в городах Коломбо, Канди и другие писаны на разных европейских языках. Их меньше всего на сингалезском и тамильском.

В истории Цейлона — очень большую роль всегда играла борьба с джунглями. Для того чтобы жить, нужно расчистить участок джунглей и построить незамысловатое бенгало. Для того чтобы добывать пропитание, надо расчистить еще кусочек джунглей — там будет

У гостиницы

Продавец газет

рисовое поле, несколько банановых деревьев, несколько кокосовых пальм, два-три хлебных дерева, а рядом речка, в которой, если поостеречься крокодилов, можно наловить вдоволь рыбы. Как будто бы рай. Но ведь джунгли сотнями лет расчищались под плантации то для португальских, то для голландских, то для английских хозяев, а настоящим хозяевам цейлонской земли оставалось ничтожно мало. Зарастали и высыхали грандиозные водохранилища в северной и восточной части страны. Великий город Анурадхапура, раскинувшийся на 25 километров в поперечнике, постепенно уступал напору бурной, никем не сдерживаемой растительности. И вот он превратился в несколько растянувшихся вдоль дорог уличек, а монументальные дагобы*, гордость национальной архитектуры, стали холмами причудливой формы, под которыми угадываются силуэты необычайной архитектуры времен былого расцвета.

Сейчас организуются музеи, ведутся раскопки, но, пожалуй, легче выкопать

---

* Буддийские храмы.

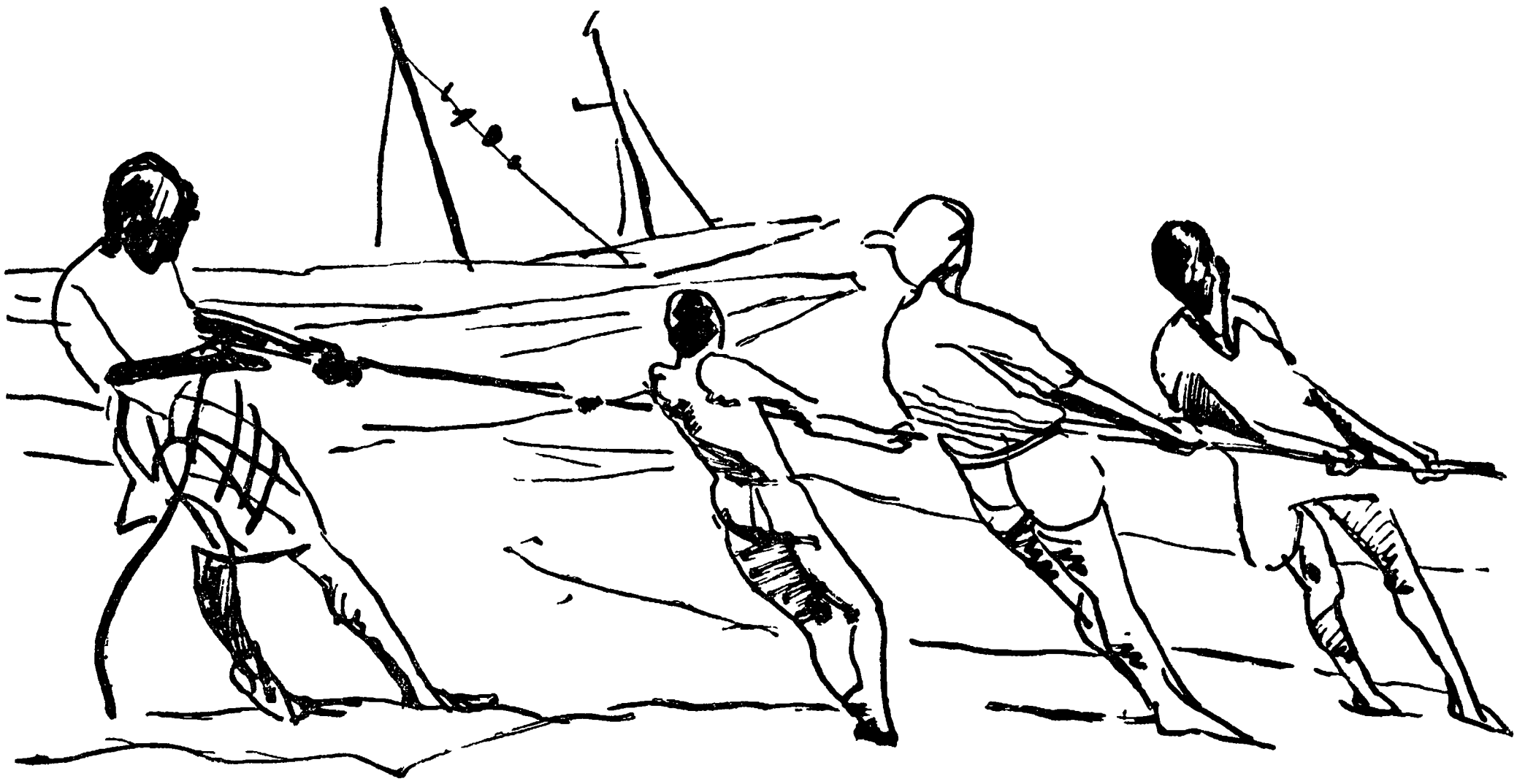
Мальчик на кокосовой пальме

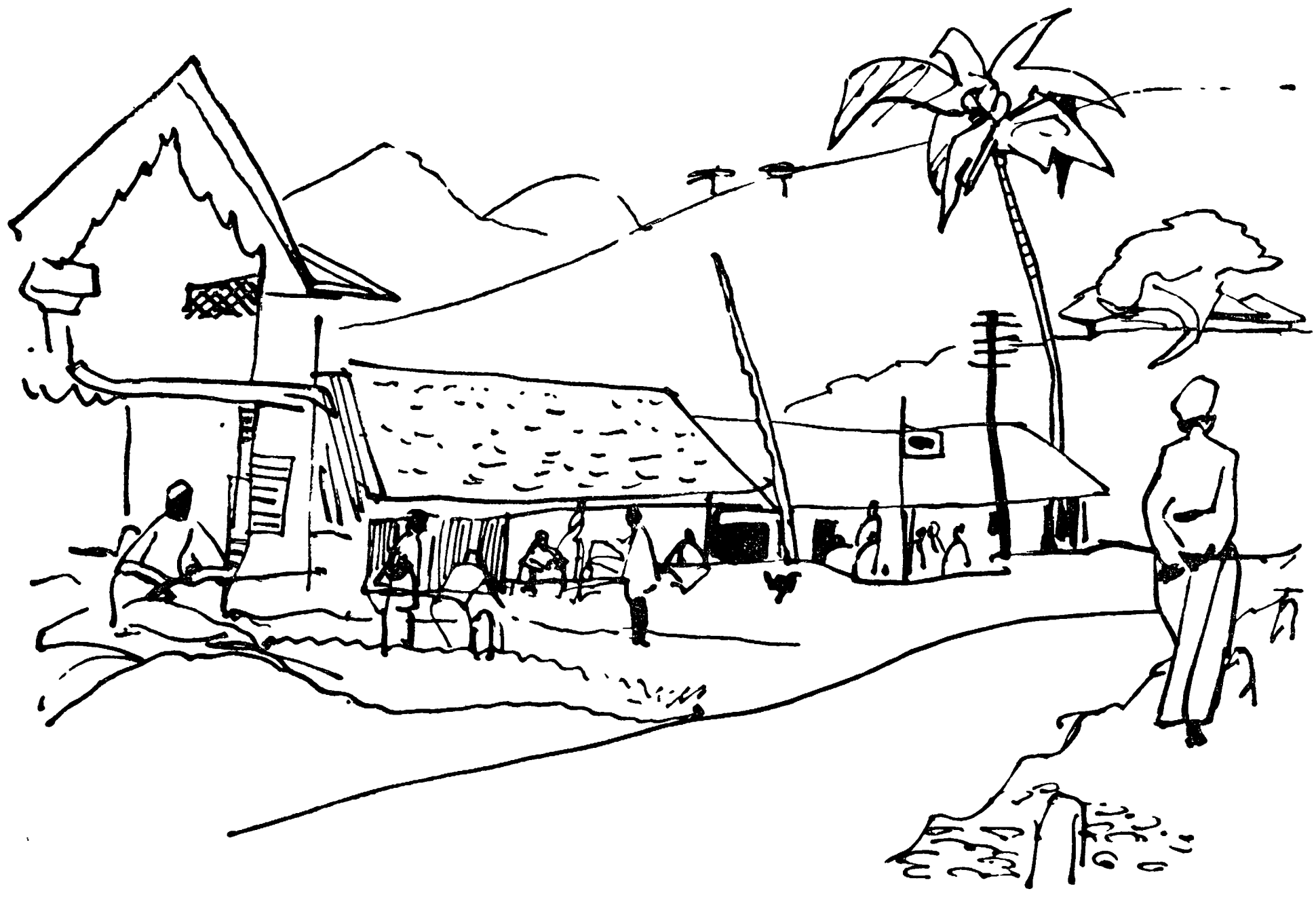
эти памятники из-под земли, чем вырвать их из объятий оплетенных лианами стволов. Сколько еще одиноких будд сидят просто в лесах, далеко от проезжих дорог, а когда-то они были центром архитектурных ансамблей. От многоэтажных сооружений остались лишь каменные столбы, а остальное богатство раскидано где-то вокруг, и как трудно собрать его молодому, неокрепшему государству. Но страна зажила новой жизнью, и она еще сделает это.

Поистине знаменателен поход за всеобщее образование, организованный по призыву нового правительства Цейлона во главе с премьер-министром г-жой Бандаранаике.

С восьми до девяти утра по дорогам страны двигаются к ближайшей школе мальчики и девочки, одетые в чистые штанишки и юбочки с большими не по росту сумками через плечо. Помещение школы — это, как правило, большая крыша на четырех или шести столбах. Самоотверженные учителя

Тянут сети





Селение в горах

Сбор чая

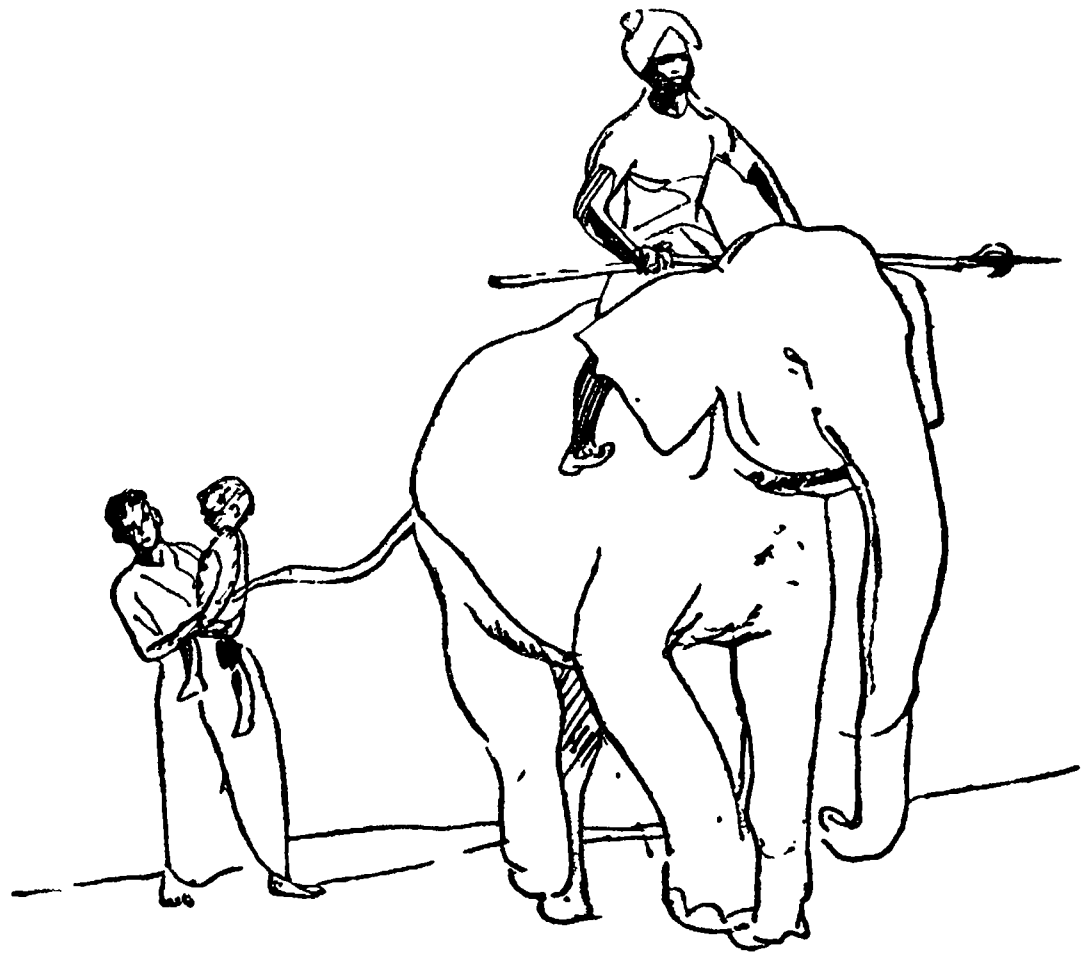
передают всеми возможными способами свои знания малышам. Всеми возможными — это не просто слова, потому что в стране не хватает учебников на родном языке и многие школы пользуются наглядными пособиями, изготовленными самими педагогами-художниками. Художник незаменим в каждой школе.

Труд и события окружающей жизни получают непосредственное пластическое воплощение в танцах — обязательной дисциплине с первого класса школы. Старшеклассники уже танцуют сложные классические кандийские танцы (от города Канди), приучаясь органически осваивать высокую национальную культуру. Па танца как бы повторяют скульптурные изображения,

Писатель
Викрамасингхе

Урок арифметики

На автобусной станции



Погонщик рабочих слонов

Сон сморил

сохранившиеся в памятниках национального зодчества. Таким образом, через сложные ритмы национальной музыки в соединении со сложным движением входит в плоть и кровь все лучшее, что создано тысячелетиями и является гордостью цейлонского народа.

В странах. которые недавно освободились от ига колониализма, иной раз ощущаешь неловкость от того, что у тебя белая кожа. Столетиями в народ вколачивалось низкопоклонство перед белыми «хозяевами», и до сих пор простые люди, по привычке, нередко встречают низким поклоном европейца. Хочется подальше отойти от отеля, где эта привычка еще не изжита.

А лучше всего просто уехать в такие города, как Бадулла, Хамбантота, Матара, для того чтобы люди почувствовали, что ты сам пришел как гость в их небогатое жилище, что ты по-настоящему заинтересован в благополучии их семьи.

Советские люди поражают цейлонцев непривычным и странным для них бескорыстием. Мы — в отличие от многих других «белых» — не имеем привычки выменивать на безделушки какие-нибудь ценности. Цейлонцы очень отзывчивы на дружбу. Они видят, что советские люди искренне желают им счастья, благополучия в семье, зажиточной жизни, уважают нравственные устои, обычаи и своеобразную культуру Цейлона. Все это вызывает горячее ответное чувство.

Советское правительство. посылая по просьбе цейлонских властей наших специалистов, помогает расчищать джунгли, создавать собственную цейлонскую промышленность, и цейлонцы верят, что весь советский народ хочет благополучия и счастья их родному острову

Может быть, эти обстоятельства и сделали такими теплыми встречи нашей небольшой делегации Общества советско-цейлонской дружбы с самыми разными цейлонцами: с премьер-министром г-жой Бандаранаике, с простыми крестьянами Джафны, Матары и Анурадхапуры, с интеллигенцией Бадуллы, Канди и Коломбо, с членами Лиги цейлоно-советской дружбы...

Желаю тебе счастья, милый моему сердцу Цейлон!

Н. В. Реформатская

ФРАНЦУЗСКИЕ ХУДОЖНИКИ И МАЯКОВСКИЙ

Во второй половине ноября 1922 года Маяковский совершил первую поездку в Париж, которую назвал в одном из своих очерков «Семидневным смотром французской живописи». Поэт пробыл в Париже с 18 до 25 ноября. В эти короткие дни своего знакомства с современным искусством Франции больше всего внимания и времени он отдал живописи — искусству, которое очень интересовало его и к тому же было доступно без знания тонкостей быта и языка.

Маяковский осмотрел многочисленные полотна выставки «Осенний салон», побывал в галереях владельцев крупнейших художественных магазинов Парижа, лично познакомился с Пикассо, Делонэ, Леже, Браком, посетил мастерские этих художников, осмотрел их работы, разговаривал, спрашивал, рассказывал сам.

Маяковский очень хотел встретиться с Пикассо, которого он знал по произведениям довоенных лет.

«Первая мастерская, в которую нужно пойти в Париже, это, конечно, мастерская Пикассо...

Самыми различнейшими вещами полна его мастерская, начиная от реальнейшей сценки, кончая конструкцией жести и проволоки. Посмотрите его иллюстрации: девочка совсем серовская. Портрет женщины грубовато реалистичен, и старая разложенная скрипка. И все эти вещи помечены одним годом».

В числе некоторых других своих вещей

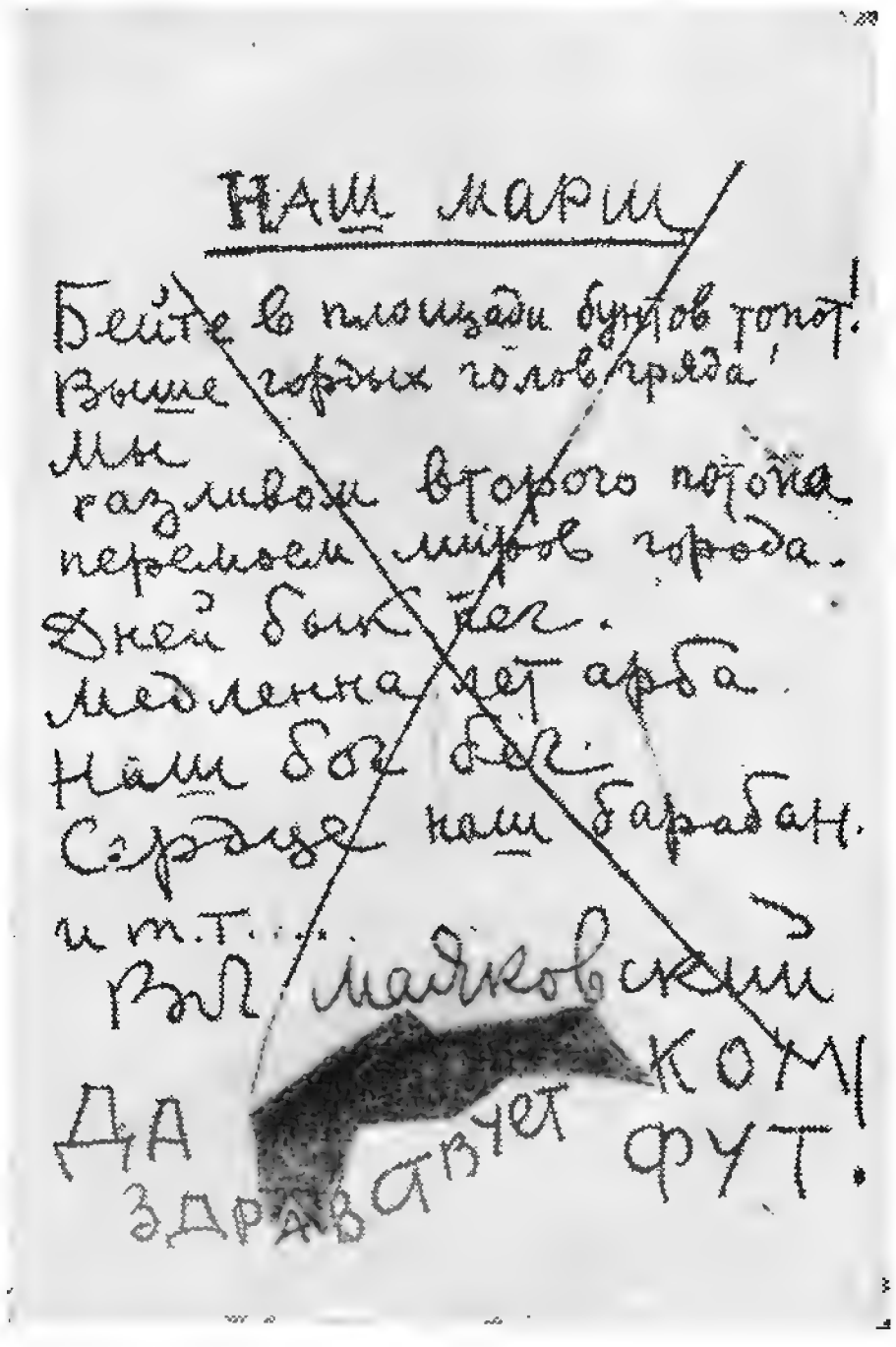
Портрет Пикассо в молодости, подаренный художником Маяковскому.

подарил тогда Пикассо Маяковскому цветную литографию. Литография представляет собой семицветное, выполненное гуашью в кубистической манере изображение человека и содержит авторскую подпись — «Пикассо».

Не этот ли рисунок Маяковский имел в виду, когда писал в заключительной части своего очерка. «Если взять какую-нибудь отвлеченную задачу... конечно, здесь сильнее всех Пикассо»?

Но, с другой стороны, именно такая «отвлеченность» не удовлетворяла Маяковско-

* Из неопубликованных материалов, относящихся к встречам поэта с Пикассо, Леже, Делонэ. Хранятся в фондах Государственной библиотеки-музея В. В. Маяковского. Приведены в виде фотокопий.



Текст «Нашего марша», который Маяковский первоначально собирался изобразить на дверях мастерской Делонэ.

го. Он видел в ней угрозу самоповторения, «голый формализм» и звал Пикассо к искусству большого общественного звучания, к открытиям, предназначенным не для собственной мастерской, а к работе, «украшающей жизнь миллионам».

«— Почему, — спрашивал Маяковский Пикассо,— не перенесете вы свою живопись хотя бы на бока вашей палаты депутатов? Серьезно, товарищ Пикассо, так будет виднее.

Пикассо молча покачивает головой.

— Вам хорошо, у вас нет сержантов мосье Пуанкаре».

Читая сейчас этот диалог 1922 года, нельзя не вспомнить о полотнах Пикассо, которых Маяковскому уже не суждено было увидеть, о «Гернике» (1937) — картине, посвященной разрушенному фашистскими летчиками испанскому городу, о панно для капеллы Валлорис «Война» и «Мир» (1954).

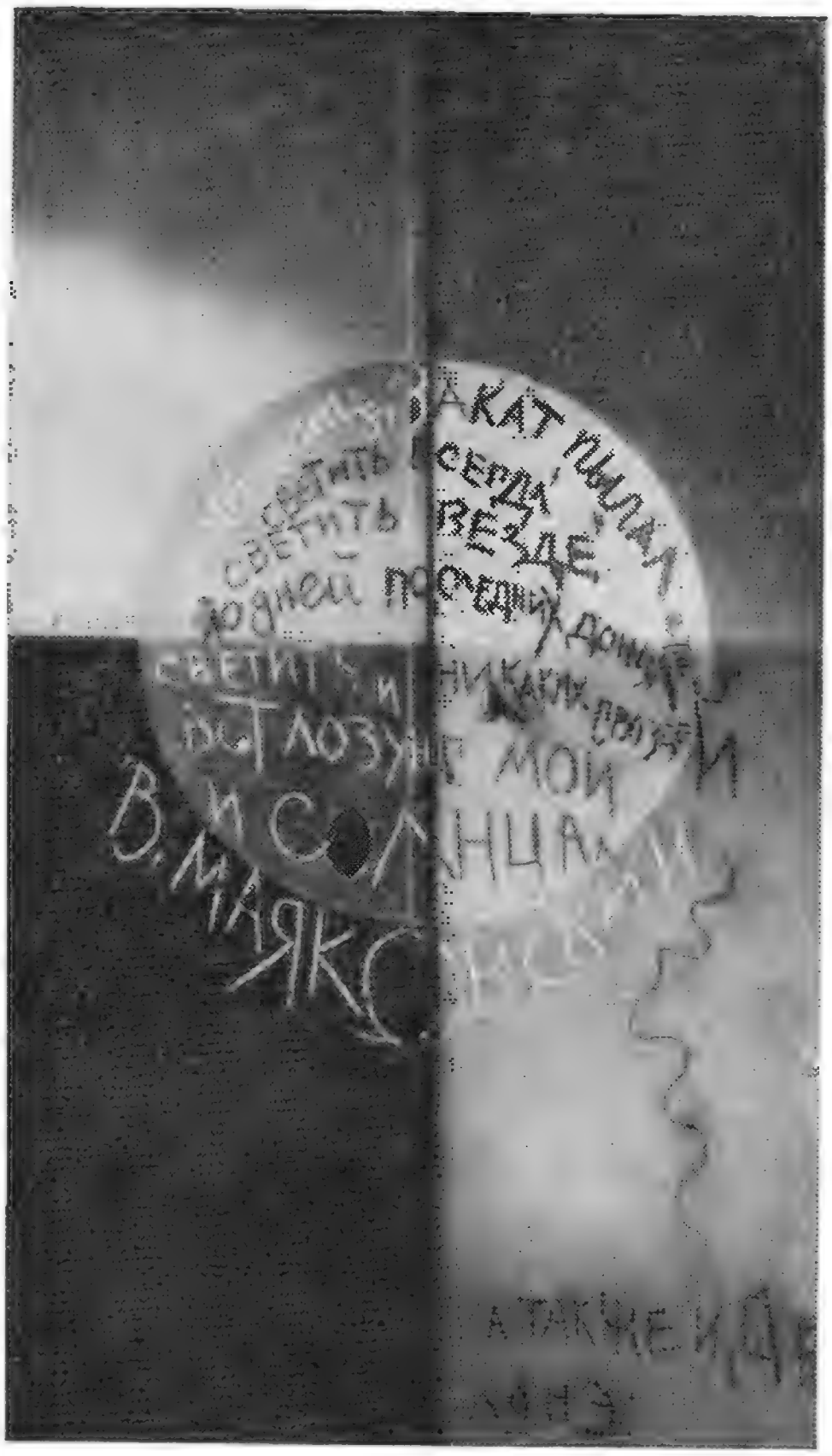
Побывал Маяковский и в мастерской Делонэ. Характеризуя художника, Маяковский писал. «Он весь, даже спина, даже руки, не говоря о картинах, в лихорадочном искании... и какими-то косыми путями подходит тоже к революции». Делонэ с завистью слушает рассказы Маяковского о наших революционных праздниках, украшенных художниками улицах, домах, площадях. Ему близка идея искусства, обращенного к массам. «Он носится с мыслью приехать в РСФСР... А пока что к его ноге привязано ядро парижского быта, и он разрешает вспышки своего энтузиазма раскрашиванием дверей собственного ателье».

В одной из таких «росписей» накануне отъезда из Парижа принял участие и Маяковский.

Делонэ раскрасил дверь своей мастерской и попросил Маяковского дать в центре ее текст какого-нибудь из своих произведений.

Маяковский набросал на бумаге три эскиза текста «Нашего марша» с различными рисунками, но потом выбрал другое

Строфа стихотворения «Необычайное приключение..» и рисунок, сделанный Маяковским на дверях мастерской Делонэ.



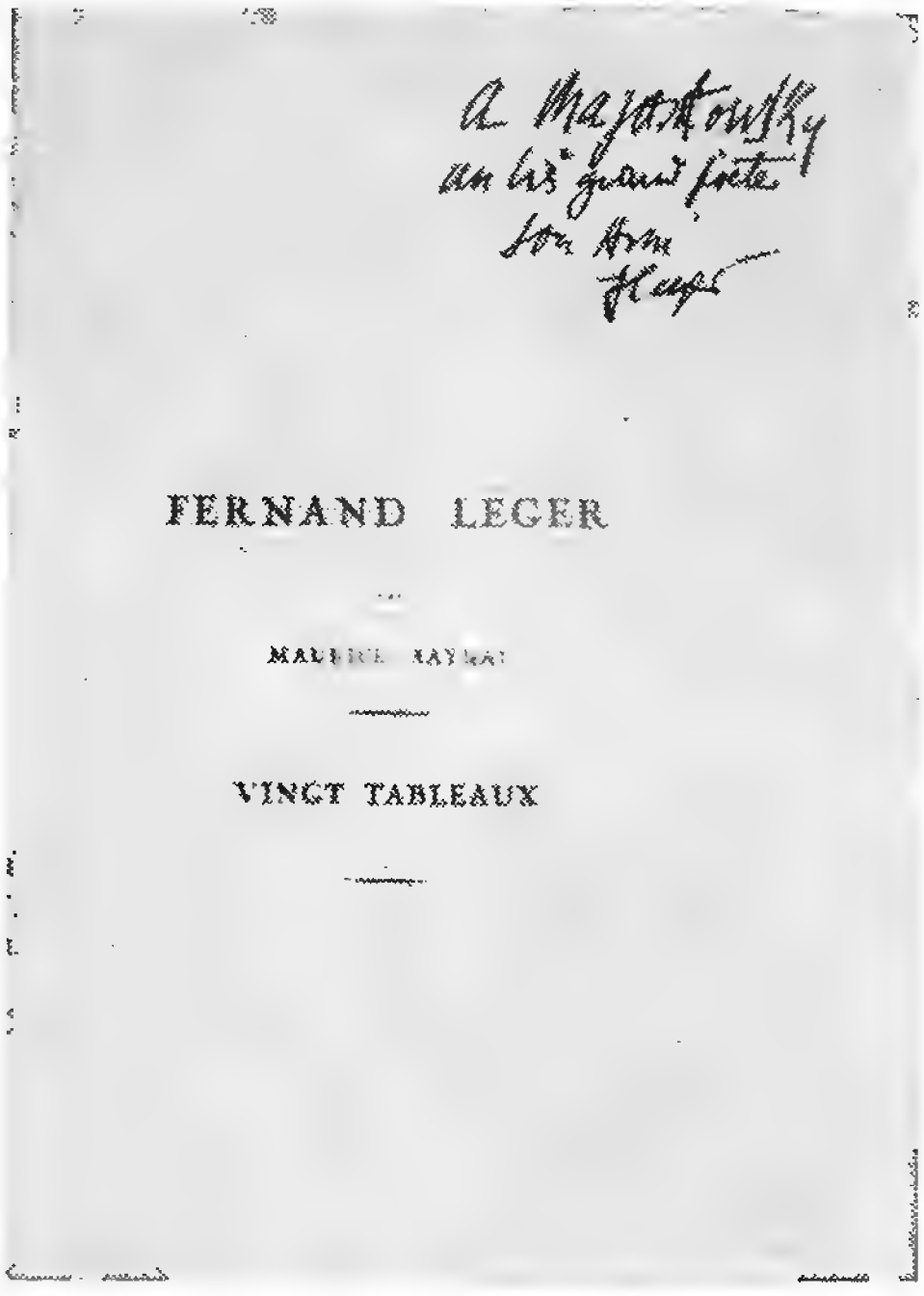
решение и написал на двери первую и четыре заключительные программные строки стихотворения «Необычайное приключение...»

Надорванные Маяковским листы с текстом «Нашего марша» Делонэ бережно склеил и сохранил. Надо думать, что эти стихотворения были уже знакомы Делонэ: известно, что Маяковский читал в этот же день стихи на банкете, устроенном в его честь французскими художниками, журналистами и поэтами в редакции журнала «Esprit nouveau». Видимо, тогда же Делонэ сделал карандашный портрет Маяковского и подарил его поэту с надписью: «Великому поэту великого народа его восторженный друг Робер Делонэ. Париж. 1922».

Вскоре после своего возвращения в Москву Маяковский отправил Делонэ свою книгу «13 лет работы», т. 1, М., изд. Вхутемас, 1922. На книге дарственная надпись: «Милым и прекрасным Делонэ В. Маяковский с двадцатью тысячами приветов. Москва 15/II-1923 г.»

С большой симпатией писал Маяковский о Леже:

«Леже — художник, о котором с некоторым высокомерием говорят прославленные знатоки французского искусства,— произвел на меня самое большое, самое приятное впечатление. Коренастый, вид настоящего художника-рабочего, рассматривающего свой труд не как божественно предназначенный, а как интересное, нужное мастерство, равное другим мастерствам жизни. Радует его эстетика индустриальных форм, радует отсутствие боязни перед самым грубым реализмом... В его отношении к российской революции — то же



Монография Мориса Рейналя о творчестве Леже с личной надписью художника, подаренная им Маяковскому.

отсутствие эстетизма, рабочее отношение.

...Как только я заикнулся о том, что товарищей моих может заинтересовать его живопись, то увидел не дрожащего над своими сокровищами купца-художника, а простое:

— Берите все. Если что через дверь не пролезет, я вам через окно спущу».

Маяковский увез от Леже монографию о его творчестве Мориса Рейналя (1920) с надписью: «Маяковскому — великому поэту его друг Леже».

Издано в СССР

О БЕСКОРЫСТНОМ И САМООТВЕРЖЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

□

Чжоу Эр-фу. Доктор Бетьюн. Повесть. Перевод с китайского и предисловие А. Файнгара. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 110 стр.

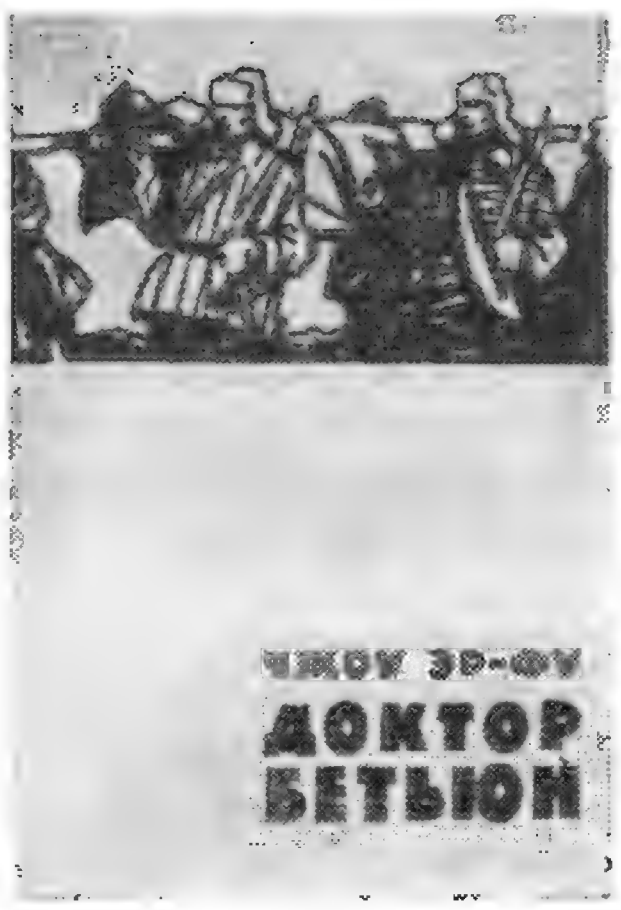
□

Двадцать с лишним лет назад, в конце 1939 года, трагически оборвалась жизнь боевого друга китайского народа — доктора Бетьюна. Канадский хирург, пользующийся всемирной известностью, почетный член Королевского медицинского общества Англии Норман Бетьюн отдал последние годы жизни борьбе против фашизма. Начался фашистский мятеж в Испании — доктор Бетьюн становится бойцом легендарной Интернациональной бригады; японская военщина бесчинствует в Китае — доктор Бетьюн в рядах доблестной Восьмой народно-революционой армии.

Известный китайский писатель Чжоу Эр-фу собрал для своей книги о деятельности доктора Бетьюна в Китае большой фактический материал. Он встречался и беседовал со многими людьми, близко знавшими и работавшими вместе с канадским хирургом. Все это дало возможность автору воссоздать образ живого Бетьюна, не впадая в ложный пафос и не гоняясь за сенсационными броскими деталями.

Повесть «Доктор Бетьюн» начинается с приезда главного героя в одну из деревень освобожденного района, где расположилось санитарное управление военного округа. Бетьюн соскакивает с коня, приветствует встречающих жестом, какой был принят у бойцов Интернациональной бригады, и с этого момента вы, не отрываясь, следите за судьбой этого замечательного человека.

Вот доктор Бо, как зовут Бетьюна китайцы, шутит со своим переводчиком Туном, смышленым китайским пареньком, который годится доктору во внуки; вот он отчитывает начальника санитарного управления Сюя за то, что раненым бойцам не выдали вовремя одеяла; вот он, худой и нескладный, с закатанными рукавами, в клеенчатом фартуке, склонился над раненным в грудь бойцом. В любое время дня и ночи, в любую погоду он скачет туда, где идет бой и где всего нужнее его скальпель. Он руководит курсами хирургов, создает летучие санитарные отряды, учит других и учится сам, делает многие сотни сложнейших операций, спасая людей от, казалось бы, неминуемой смерти. И вот последние страницы повести. Во время одной из операций Бетьюн порезал палец, в ранку попала инфекция, началось общее заражение



крови. За несколько часов до смерти он пишет командующему округом Не Жунчжэню последнее письмо: «Сообщите всем, что здесь я был счастлив... мне только хотелось бы принести значительно больше пользы... Последние два года — самое радостное, самое значительное время в моей жизни». И тут же требование рачительного хозяина. «Ни в коем случае не надо покупать лекарства в Баодине и Тяньцзине. Они там вдвое дороже, чем в Гонконге и Шанхае». Умирающий отдает последние распоряжения переводчику Туну, прощается с боевыми друзьями...

«...мы все чтим его память, и это свидетельствует о глубине чувств, вызванных в нас его душевной силой,— писал Мао Цзэ-дун в статье, посвященной па-

мяти Бетьюна.— Всем нам нужно учиться у него бескорыстию и самоотверженности. Именно так можно стать человеком, приносящим великую пользу народу».

Перевод книги, выполненный А. Файнгаром,— первая большая самостоятельная работа молодого литератора. Повесть написана простым, ясным языком. Это обстоятельство иногда усыпляет внимание переводчика, и слова как бы сами собой укладываются в предложение, работа идет легко и споро. Но беда в том, что временами переводчику попадает под руку словесный материал, лежащий на поверхности, и фраза получается недостаточно выразительной. С подобными промахами мы встречаемся и в повести. В целом же стиль подлинника передан удачно.

Имя доктора Бетьюна уже знакомо советскому читателю по книге Т. Аллана и С. Гордона «Скальпель и меч», отдельные главы из которой были опубликованы в 1956 году в журнале «Иностранная литература». Нет сомнения, что и книга Чжоу Эр-фу о мужественном и стойком борце за счастье людей докторе Бетьюне тепло будет встречена нашей общественностью.

А. Тишков

ГОЛОС ПОДЛИННОЙ ФРАНЦИИ

□

Louis Aragon. Choix de poemes Составитель сборника, автор послесловия и комментария Н. Козлова. Moscou, Editions en langues étrangeres, 1959. 326 p.

□

«Всякая подлинная поэзия рождается под воздействием могучих и светлых сил истории, и всякая подлинная песнь коллективна и национальна по своему характеру... Голоса поэтов — это прежде всего голоса самих народов, самих наций»,— говорил Луи Арагон в одном из своих выступлений.

Голос современной Франции прозвучал для советского читателя и в книге избранных поэтических произведений Луи Арагона, вышедшей на французском языке в Москве. До сих пор лишь отдельные стихотворения Арагона появлялись у нас в оригинале.

В книге собрана, конечно, лишь небольшая часть лирического творчества поэта, начиная с 30-х годов и до 1956 года. Но надо сказать, что отбор произведен удачно. Жаль только, что из второй и третьей части поэмы «Неоконченный роман» выпали многие замечательные места из тех, которые делают произведение Арагона лирической эпопеей, в которой отражены важнейшие исторические события середины XX века.

Даже в этой небольшой книге явственно звучат доминирующие мелодии многоголосой поэтической симфонии Арагона. С 30-х годов поэт обращается «к миллионам людей, которые изменят мир». Он стремится и своими стихами и прозой участвовать в этом преобразовании жизни. Требуя «возврата к реальности» и продолжая лучшие традиции реализма во французской литературе, он хочет идти дальше, создавать реализм нового типа, социалистический, в прозе и в поэзии.

Арагон действительно осуществляет свои принципы, делая огромный шаг вперед в те годы, когда, по его словам, «обстоятельства определяют обновление национального чувства» и «возрождается вкус к эпосу, эпическая поэзия»,— в годы войны и Сопротивления.

Разве «Сирень и розы», как и многие другие стихотворения военных лет, будучи глубоко лирическим выражением личного и всенародного горя, не представляет собой в то же время эпически обобщенное отражение национальной трагедии? Эти сжатые до предела маленькие эпопеи как бы предвещают созданную впоследствии эпическую прозу «Коммунистов», отразившую уже в монументальной форме ту же национальную трагедию. И так же, как в «Коммунистах», в лирике Арагона есть ясное понимание причин этой трагедии, сатирическое обличение ее виновников — тех, кто предали Францию, наконец есть непобедимая воля к борьбе и вера в освобождение, звучащая все с большей силой по мере роста Сопротивления. Ибо поэт-коммунист выступает с позиции народа и его авангарда, который знает путь к освобождению и борется.

Взгляды Арагона на вопросы поэтической формы ясно выражены в статьях, написанных во время войны (отрывки из двух статей помещены в рецензируемой книге). Арагон тесно связывает развитие поэтической формы с историческим движением общества, раскрывает истоки французской национальной рифмы и показывает пути ее образования, обогащения, освобождения от стесняющих правил. В речи на II съезде советских писателей поэт снова, как и в ряде других выступлений, подчеркнул необходимость сочетания новаторства с традицией, отверг пустое оригинальничанье.

Замечательная особенность лирики Арагона — ее социалистический гуманизм, глубочайшее слияние самого интимного, личного чувства с общенародными переживаниями. О родине он говорит с такой же нежностью, как о любимой женщине, о политических решениях партии — как о биении собственного сердца. Таков образ «ветра из Арля» (намек на IX, Арльский съезд компартии Франции, бросивший призыв к национальному объединению против фашизма). В этом ветре поэт слышит «звуки, слишком близкие сердцу, чтобы говорить о них вслух в те дни, когда

пожелтевшие болота Ониса и Сентонжа еще изборождены танками завоевателей» («Та, что прекраснее слез»).

Лейтмотив всего творчества Арагона — любовь. Не случайно в сборнике его произведений, появившемся весной прошлого года в Париже, опубликована статья «На жизнь мадонны Эльзы», в которой Арагон говорит, что подлинно художественная любовная лирика не есть нечто второстепенное, напротив, она выражает высший подъем душевных сил человека. И глубина любви к близкой женщине у лирического героя Арагона — нового человека не только не отъединяет его от окружающего мира, от других людей, но еще более сближает с ними, что, в свою очередь, стократ обогащает его личность, его чувство.

В поэмах «Глаза и память» и «Неоконченный роман», завершающих книгу, раскрыт перед читателем путь их автора — человека, поэта, борца,— раскрыта наша эпоха, сформировавшая его, дан образ партии, которая ему «вернула глаза и память», «цвета Франции».

Оптимизм этих поэм выстрадан долгим опытом жизни и коллективной борьбы, пронесен через жестокие испытания. Коммунистический идеал предстает перед поэтом не как утопия, а как реальность во всем ее многообразии, с тяготами, порой разочарованиями — и все же с «чудесами, которые она вершит на свой лад».

Предельно искреннее и обобщенное выражение нашла в этих поэмах любовь поэта не только к своей родине, но и ко всем народам мира, к партии, которая борется за их счастье, и к стране, впервые проложившей трудный путь социализма для всех людей,— к Советскому Союзу.

Поэзия Арагона, как и его проза, свидетельствует о том, что «он верен своему слову и великолепно служит жизни, прогрессу, людям в борьбе за обновление» (Морис Торез).

Арагон мог бы сказать о любом своем значительном произведении то, что сказал о романе «Страстная неделя»: «Я не мог бы написать его, если б не был коммунистом».

Послесловие к книге стихов Арагона написано со знанием дела. Комментарии составлены подробно и тщательно, правда, некоторые имена и понятия, требующие пояснения для советского читателя, все же пропущены в них. Есть ошибки, хотя и немногие. Впрочем, в целом, повторяем, книга сделана добротно. Можно только приветствовать подобные издания лучших зарубежных поэтов

Ф. Брескина

РАССКАЗЫ БОСНИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ

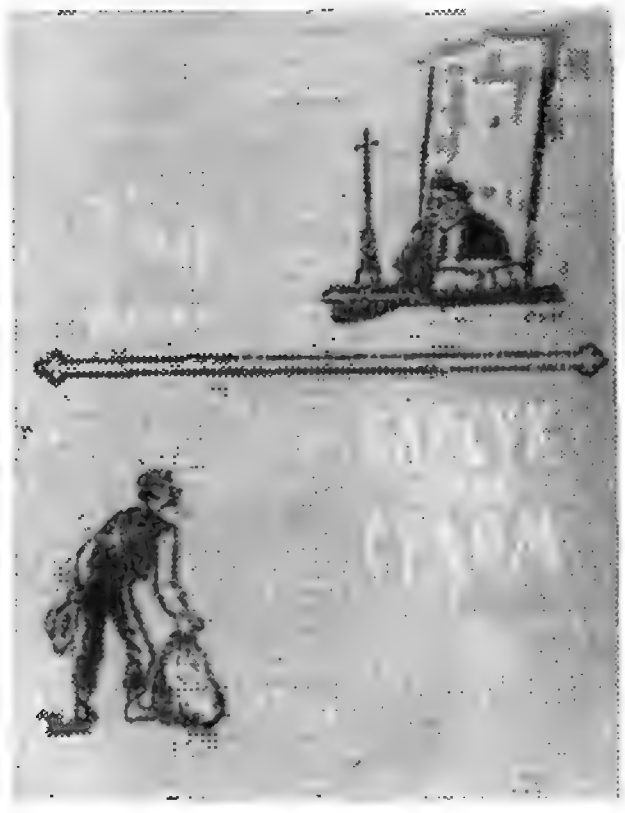
□

Петар Кочич. Барсук перед судом. Рассказы. Перевод с сербохорватского под редакцией М. Эфрос. Составление И. Макаровской Послесловие М. Богданова. Москва, Гослитиздат, 1960. 339 стр.

□

В этом томике собраны лучшие произведения талантливого и самобытного боснийского писателя Петара Кочича (1877—1916), творчество которого неразрывно связано с борьбой за освобождение его родины от ига австро-венгерской монархии. Боснийцы любили своего «Петрича». Они знали его произведения на память и слагали о нем песни. Нельзя без волнения читать страницы из тюремного дневника Кочича, на которых он рассказывает о простых людях, собиравшихся под окнами тюрьмы и просивших узника разрешить им силой освободить его.

Герои рассказов Кочича — крестьяне, задавленные имперской бюрократической машиной, обираемые помещиками, никогда не теряют чувства собственного достоинства. Они смелы, умны и по-крестьянски лукавы. Таков герой знаменитой сатиры Кочича «Барсук перед судом» Давид Штрбац, явившийся с жалобой в австрийский суд. Идейный смысл этого произведения раскрывает эпиграф к нему: «Кто искренне и страстно любит Правду, Свободу и Отечество, свободен и неустрашим, как бог, и презираем и голоден, как собака». Штрбац с виду простодушен, и, чем глупее кажутся судье-чужеземцу его речи, тем ядовитее намеки в них на власть предержащих. Этот человек из народа одерживает моральную победу над судьей и доктором. И уже не смешат, а будят заключительные слова Давида: «...и оттого я вам чудным кажусь, что в



груди у меня миллион сердец, а во рту — миллион языков, ведь сегодня перед вашим судом плакал я о миллионах душ, которые от большой вашей заботы и доброты при смерти и едва дышат!»

Любовь к отчизне, ненависть к угнетателям сделали произведения Кочича страстными, волнующими. А его маленькие новеллы и стихи в прозе не оставят равнодушными даже самых

строгих ценителей литературного мастерства.

Рассказы Кочича, насыщенные каламбурами, народным юмором, необычайно трудны для перевода. И эти трудности не всегда в полной мере преодолевались переводчиками. Вызывает некоторое сомнение то, что для передачи «колорита» в русском тексте оставлено много сербских слов. Но в основном сборник переведен хорошо.

Нам кажется, что советский читатель будет рад познакомиться с еще одним талантливым представителем многонациональной югославской литературы.

Д. Жуков

ИСПОВЕДЬ ПЛАМЕННОГО СЕРДЦА

Габриэла Мистраль. Стихи. Перевод с испанского, составление и предисловие О. Савича. Под общей редакцией М. Кудинова. Москва, Гослитиздат, 1959. 247 стр.

Эта маленькая книжка знакомит нас с ярким творчеством чилийской поэтессы.

Поэзия Габриэлы Мистраль, с детства познавшей бедность и унижение, впитала в себя извечное стремление народа Чили к свободе. Скромная сельская учительница Люсила Годой, позднее ставшая широко известной под именем Габриэлы Мистраль, воспитывала в детях высокие человеческие качества, вселяла в них любовь к родине и ненависть к угнетателям. Пабло Неруда — один из ее учеников.

Став лауреатом Нобелевской премии, получив всемирную известность, Габриэла Мистраль, как и прежде, учит людей ценить жизнь, беречь будущее своих детей.

Ее стихи неповторимы. В них сочетаются особенности древнего фольклора индейцев, классической испанской поэзии и новые средства поэзии XX века. Голос поэтессы звучит то жалобой покинутой женщины, то веселым смехом ребенка; слышится то протяжный вопль плакальщицы, то страстный призыв к борьбе. Что это? Способность к перевоплощению как одна из сторон художественного дарования? В поэзии Мистраль это качество имеет другой, более глубокий смысл: в ее стихах говорит необъятность сердца, щедро подаренного людям:

Верую в сердце свое, что,
как знамя, по воздуху
плещет:
жизнью его одарил тот,
кто море приводит
в движенье.
Жизнь дирижирует им,
словно целым оркестром,
вечный прибой — его
пенье.
Верую в сердце свое; я
его выжимаю,
чтобы окрасить холсты
этой жизни надеждой
в красный, в розовый
цвет; и стала холстина
алой одеждой.

(«Верую».)

Основной для творчества Габриэлы Мистраль мотив — боль за родину, свой народ, стремление к свободе, счастью. Даже в интимной лирике Мистраль этот мотив получает свое особое, национальное звучание. Пантеистические образы многих ее стихотворений свидетельствуют не только об особенностях восприятия поэтессой фольклорной традиции. Одухотворяя родную природу, она вкладывала в нее и свою душу. Пейзаж в стихотворении Габриэлы Мистраль поэтому не простое описание природы, но и рассказ о неисчерпаемых силах, таящихся в недрах чилийской земли и народа. Вот, например, описание вулкана Осорно:

Осорно, камни пращой
в себя самого ты кидаешь.
Ты — старший пастух на
равнине,
глава и рода и края.

Далее в стихотворении развивается тема страдающей земли, и вулкан предстает перед нами символом величия и мощи:

Указывай путь пастухам,
Осорно, старик величавый;
расправь своим женщинам
плечи,
покрой детей своих
славой!

Г. Мистраль назвала сборник своих стихов «полной эготизма книгой», подразумевая под этим, что в ней она писала лишь о себе самой. Можно, прочитав сборник, воспринять его как повесть о жизни поэтессы: детство, любовь, материнство... если не знать, что многое из того, о чем пишет Габриэла Мистраль, ей не дано было пережить. Защитница детей, оставившая память о себе в сердцах матерей разных национальностей, она сама только мечтала о сыне «смуглом, цвета красной глины». Ей суждено было узнать большое личное горе — она потеряла человека, которому безраздельно отдала свою любовь. Но такова была душевная красота и стойкость этой простой чилийской женщины, что ее собственное горе не заслонило от нее мира других людей. «Солнце инков, солнце майя», согревшее ее сердце, закалило его для борьбы за свободную чилийскую землю.

Габриэла Мистраль мечтала о том дне, когда «выйдут люди в мир открытый, как проснувшиеся дети». Стихи ее суровы и взволнованны, серьезны и радостны. В них звучит тревога за людей и надежда на лучшее будущее. Мужество в борьбе — вот к чему призывает Габриэла Мистраль, выступая за мир и братство народов: «Призывайте же мир, вопреки всем ветрам и бурям, хотя бы вам пришлось на три года потерять друзей. Положение изгоя тяжело, одиночество обычно производит странный шум в ушах, который слышишь, спускаясь в пещеры или... в катакомбы. Пусть это не останавливает вас, друзья. надо бороться!»

А. Мартынова

НОВАЯ КНИГА АЛЬБЕРТА КАНА

□

А. Кан. Заметки о национальном скандале. Перевод с английского. Предисловие доктора юридических наук Д. С. Карева. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 341 стр.

□

Новая книга известного американского публициста Альберта Кана посвящена тому периоду послевоенной истории США, который называют годами маккартизма Сюжетные рамки произведения — история написания и выхода в свет книги бывшего платного осведомителя Харви Матусоу, решившего порвать с прошлым и рассказать правду о своей грязной работе на службе правительственных учреждений. Но по содержанию книга А. Кана несравненно шире — это яркое, построенное на документах и фактах, разоблачение эпохи маккартизма, тех сил, которые насаждали в США дикие нравы «охоты за ведьмами», создали в стране обстановку политической нетерпимости, разжигали антикоммунистическую истерию, лишали американцев элементарных демократических прав. Но вместе с тем книга эта отнюдь не говорит о делах минувших. Она показывает сегодняшний день Америки, попытки реакции сохранить и увековечить дух маккартизма в стране.

«Широкие круги американской общественности, — пишет А. Кан в предисловии к русскому изданию,— считают, что этот позорный период канул в прошлое, но все же кое-какие отвратительные анахронизмы продолжают еще существовать. В какой-то мере маккартизм — это «национальный скандал», и, называя так свою книгу, я имел в виду эту эпоху. Точнее говоря, скандальна сама система профессиональных свидетелей-осведомителей, отравлявшая атмосферу в Соединенных Штатах в течение этого периода...»

В книге Кана хорошо показано, как американские власти превратили платных осведомителей в «национальных героев», а донос — в бизнес; их показания в судах и конгрессе в качестве свидетелей — «экспертов по коммунизму» помещали в газетах на первых полосах; их прославляли в кино, в теле- и радиопередачах, чествовали на банкетах, им присваивали различные почетные звания и даже научные степени

На основании щедро оплаченных лжесвидетельств этих профессиональных шпиков, доносчиков и провокаторов были брошены в тюрьму руководители коммунистической партии, многие профсоюзные лидеры и другие общественные деятели с прогрессивными взглядами. И не удивительно, что правящие круги сделали все возможное, чтобы разоблачения Матусоу не стали достоянием общественности, чтобы помешать выходу в свет его книги «Лжесвидетель», написанной с помощью А. Кана. Власти попытались завладеть рукописью, они запугали владельцев многих типографий, вынудив их отказаться от ее публикования. Все сотрудники фирмы, издававшей книгу Матусоу, были взяты под следствие, а сам А. Кан, один из руководителей фирмы, приговорен к шести месяцам заключения... И до сих пор эта книга в США не издана.

Реакция не простила бывшему сподвижнику Маккарти того, что он «вышел из игры» и решил исправить зло, которое причинил многим честным, прогрессивно мыслящим американцам Разоблачая всю фальшь и классовую ограниченность буржуазного правосудия, обрушившегося на Матусоу только за то, что он стал

Вышли в свет

В ГОСЛИТИЗДАТЕ

Асуэла, М. Те, кто внизу. Роман Перевод с испанского В Герасимовой и А. Костюковской Предисловие И Григулевича 126 стр

Загорчинов, С. День последний Исторический роман из жизни XIV столетия Перевод с болгарского Д Горбова Послесловие С. Никитина 454 стр

Кирога, О. Анаконда. Рассказы. Перевод с испанского Предисловие С. Мамонтова 343 стр.

Матавуль, С. Баконя фра Брне. Рассказы Перевод с сербохорватского и предисловие И Дорбы 439 стр

Маха, К. Г. Избранное Перевод с чешского. Составитель и автор предисловия В Мартемьянова. 323 стр.

Ньево, И. Исповедь итальянца. Роман. Перевод с итальянского. Послесловие и примечания И. Голенищева-Кутузова Т I—455 стр Т. II—479 стр

Попович, Т. Жажда. Роман. Перевод с румынского А Лубо. 575 стр.

Птачник, К. Год рождения 1921. Роман. Авторизованный перевод с чешского Т. Аксель. Послесловие И Бернштейн 423 стр.

Сербский эпос. Составление, вступительная статья и комментарии Н. И Кравцова Переводы под редакцией М. А. Зенкевича. Т. I—359 стр Т. II—463 стр

Фаиз Ахмад Фаиз. Руки ветра Стихотворения Перевод с урду. Вступительная статья и редактура переводов А Суркова. Составление и послесловие М Салганик 163 стр

Фонтане, Т. Эффи Брист Роман Перевод с немецкого. Предисловие и примечания С Гиждеу 299 стр.

Японские трехстишья. Хокку. Перевод с японского, вступительная статья и комментарии В. Марковой. 255 стр.

говорить правду, неприятную господствующим в стране силам, Кан саркастически замечает: «Ему никогда не предъявляли обвинения в том, что он давал ложные показания, когда выступал свидетелем обвинения, в том, что он помогал отправлять людей в тюрьму, в составлении черных списков и в опорочивании доброго имени многих граждан... Закон в своем могуществе выступил сейчас против него, так как он якобы солгал, когда, признаваясь в своих преступлениях, обвинил Роя Кона (бывшего помощника министра юстиции США.— *И. Г.*) в том, что тот убедил его дать ложные показания». Его сажают в тюрьму на 5 лет— не за преступления, в которых он признался, а за то, что он признался в них.

Альберт Кан не бесстрастный наблюдатель и летописец событий, а их деятельный участник. Проявляя подлинное мужество, не останавливаясь перед перспективой самому попасть за тюремную решетку, он решительно добивается предания гласности разоблачений Матусоу. Он считает, что главное жюри не те несколько облеченных высокой властью людишек в судейских мантиях, которые лишь выполняют волю сильных мира сего, а американский народ. Народ, который буржуазные пропагандистские пауки десятилетиями опутывают паутиной лжи и предрассудков и который, как в свежем воздухе, нуждается в правде. И, хотя в результате развернувшейся борьбы Матусоу брошен за тюремную решетку, хотя немало тяжелых минут приходится пережить А. Кану и его друзьям, они выходят победителями из неравного боя: «На рыночную площадь лжи вторглась правда». И эта правда— разоблачения Матусоу, по словам Джона Стейнбека, нанесла сокрушительный удар по маккартизму, по всей правительственной системе свидетелей-осведомителей.

Рассказывая о ходе этой большой политической битвы, которая велась в конгрессе и в судах, на страницах газет и перед объективами телевизионных камер, писатель много внимания уделяет душевному состоянию Матусоу, его внутреннему миру. В то время как силы реакции делают все, чтобы запугать Матусоу, поколебать его решимость порвать с позорным прошлым и ступить на путь честного человека, Альберт Кан оказывает ему большую моральную поддержку, борется за утверждение в нем лучших человеческих качеств.

Матусоу идет в тюрьму, но не отказывается от своих разоблачений. Эта победа особенно дорога Кану — писателю-гуманисту.

«Заметки о национальном скандале» в жанровом отношении отличаются от предыдущих работ А. Кана. Хотя и здесь в основе лежат реальные события, используется много документов и даже разговоры воспроизводятся по стенографическим или магнитофонным записям, Альберт Кан выступает не только как историк и публицист, как мастер политического репортажа, но и как художник слова. В книге немало метких психологических наблюдений над людьми, скупых и точных портретных описаний, а личное отношение автора к событиям и людям проявляется здесь гораздо полнее, нежели в предыдущих произведениях. Это своеобразное сочетание документальности и художественности, эмоциональная взволнованность, с которой ведется рассказ факты огромной взрывной силы, разоблачающие политические нравы в США, делают «Заметки о национальном скандале» большой творческой удачей автора.

И. Геевский

Вышли в свет

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Браннер, Х. К. Две минуты молчания. Новеллы. Перевод с датского. Послесловие Н. Крымовой. 87 стр.

Брэйн, Дж. Путь наверх Роман. Перевод с английского Т. Озерской и Т. Кудрявцевой. Послесловие В. Зорина. 263 стр.

Гродзенская, С. Розовый свитер Юморески. Перевод с польского и предисловие Н Лабковского. 149 стр.

Кекконен, С. Амалия. Повесть. Перевод с финского В. Богачева. Послесловие Г Фиша. 207 стр.

Коуп, Дж. Прекрасный дом. Роман. Перевод с английского Н. Емельянниковой. Послесловие А. Давидсона 389 стр.

Лопес, П. Х. Гидроцентраль. Роман. Перевод с испанского. Предисловие Ф Кельина. 298 стр.

Лудемис, М. Мальчик считает звезды. Роман. Перевод с новогреческого А. Сенкевича. Редактор К. Бучинская. Кн. 2. 181 стр.

Маммери, М. Когда спит справедливость. Роман. Перевод с французского М. Дмитриевой. 164 стр.

Мюрдаль, Я. Возвращение Повесть. Перевод со шведского Е. Суриц Редактор Т. Гнедич. 140 стр.

Научно - фантастические рассказы американских писателей. Перевод с английского. Предисловие А. Казанцева. Редактор А. Асаркан. 328 стр.

Пастернак, Л. Коммуна города Ломжи. Повесть. Перевод с польского М. Игнатова и Е. Курбатовой. Предисловие М. Игнатова. 149 стр

Сахни, Б. «Гнев всевышнего» и другие рассказы. Перевод с хинди В. Чернышева Редактор В. Зимин. 99 стр.

Фрей, Б. Эстафета. Исторические миниатюры. Перевод с немецкого М. Ермашевой Послесловие Д Мельникова. 223 стр.

Хо Ши Мин. Тюремный дневник. Стихи. Перевод с вьетнамского и предисловие П. Антокольского. 122 стр.

ГРУСТНАЯ И ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ

□

Дж. Б. Пристли Улица Ангела Перевод с английского М. Абкиной. Предисловие Ю. Кагарлицкого и Р. Померанцевой. Москва, Гослитиздат, 1960. 501 стр.

□

Грустную и правдивую историю о том, как предприимчивый жулик обманул людей, ему доверявших, рассказал 30 лет назад английский писатель Дж. Б. Пристли в романе «Улица Ангела».

Эта книга впервые выходит в русском переводе. Не удивительно, что издательство обратилось к раннему периоду творчества Пристли: в «Улице Ангела» проявилось лучшее, что характеризовало произведения писателя, написанные в то время, и от чего впоследствии он отказался.

Действие романа относится к 20-м годам нашего века, и литературные персонажи, ожившие под пером Пристли,— клерки, рассыльные, агенты, машинистки — очень характерны для Англии того времени. Для каждого из них автор находит свои запоминающиеся черты, свои особенности, свои слова. Обитатели улицы Ангела, служащие конторы «Твигг и Дэрсингем» нередко способны вызвать усмешку читателя, но чаще — сочувствие и понимание.

Пристли описывает своих героев с мягким человечным юмором. Порой этот юмор бывает горек, звучат в нем и нотки злой иронии. Печальна и в то же время комична история любви клерка Тарджиса к дочери своего патрона. Печальна потому, что она плохо кончается для клерка. Комична в силу несоответствия между романтически-возвышенным идеалом любви Тарджиса, который видит в своем чувстве единственное спасение от грязи жизни, и осуществлением этого идеала в духе «жестокого романса», когда обезумевший от ревности юноша пытается убить возлюбленную, а затем трусливо кается ее отцу. Смехотворно в своей нелепости стремление семейства мелкого буржуа Дэрсингема походить на аристократов.

Писатель не может принять «страусову» философию бегства от действительности, которая определяет поведение большинства персонажей романа. Пристли видит их неспособность хоть как-то изменить условия своего существования Но к их горячей жажде нового, к их по-детски слепой вере в счастливый случай, в то, что произойдет же наконец нечто необычайное, интересное, он относится с большим уважением.

Пристальное изучение жизни заставило писателя прийти к выводу, который и лег в концовку романа. в том мире, где живут его «маленькие герои», процветают хищники, и надежды, мечты так и остаются надеждами и мечтами, а сказки не становятся действительностью, если за них не платишь звонкой монетой. Поэтому сказки «маленьких людей» всегда имеют плохой конец: им нечем заплатить за хороший.

В. Скороденко

НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ЛИТЕРАТУРОВЕДА-ЗАРУБЕЖНИКА

□

Б. Л. Кандель. Путеводитель по иностранным библиографиям и справочникам по литературоведению и художественной литературе. Под редакцией академика М. П. Алексеева. Издание Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград, 1959. 441 стр.

□

Когда вы открываете «Путеводитель по иностранным библиографиям и справочникам», вас поражают два обстоятельства: о каком числе важнейших, подчас драгоценных «ключей» к тайнам зарубежной литературы вы не знали и какое это удобство, что в наших крупнейших книгохранилищах находятся все необходимые библиографические инструменты для углубленной работы в области зарубежной литературы. Если к этому добавить, что зарегистрированные в «Путеводителе» полторы тысячи библиографий и справочников содержат ссылки на десятки тысяч текстов и источников, практически доступных нам благодаря международному библиотечному абонементу, то окажется, что любой литературовед, критик или читатель может располагать всей зарубежной библиографией по художественной литературе и литературоведению.

В «Путеводителе», пишет его составитель, «предпринята первая попытка собрать и описать в систематическом порядке иностранные библиографии и справочники, посвященные зарубежной художественной литературе, фольклору и литературоведению». За исключением библиографий античной, восточной и детской литератур, нуждающихся в специальном издании, здесь представлены практически все иностранные библиографии во всем разнообразии их жанров. Тут можно встретить ретроспективные и текущие библиографии мировой литературы и персоналии писателей, указатели содержания журналов и библиографии пословиц, словарь героев художественной литературы с их характеристиками и исчерпываю-

щую библиографию по Шекспиру, библиографию лопарской литературы и указатель музыкальных произведений на тексты Э. По Здесь зафиксированы как хорошо известные издания, так и прикнижная библиография, затерянная в различных специальных изданиях.

Эта книга окажется хорошим подспорьем для ученого и критика, она пробуждает творческую мысль. Так, например, литературовед, занятый творчеством Марка Твена, получит великолепную библиографию, позволяющую, в частности, поставить интересную проблему литературной судьбы твеновских произведений. Десять записей посвящены Уолту Уитмену: здесь и указатели рукописей и печатных изданий поэта, и каталоги его собраний, его переписка и словари языка его произведений, ну и, конечно, исчерпывающая библиография. Специалист по Мопассану найдет в «Путеводителе» плодотворную тему о Мопассане как журналисте, стендалевед с удовлетворением воспользуется четырехтомным указателем имен, названий произведений и тому подобных сведений, содержащихся в собрании сочинений Стендаля.

Столь обстоятельное и широко задуманное издание, каким является «Путеводитель», должно быть расширено за счет русской дореволюционной и советской библиографии вопроса. Отечественная библиография зарубежной литературы, вполне естественно уступая иностранной в широте охвата, превосходит ее по теоретическому и историко-литературному уровню. Русская библиография зарубежной литературы явится своеобразным и необходимым методологическим дополнением к «Путеводителю».

Можно не сомневаться, что «Путеводитель» станет настольным справочником специалистов, и не только у нас в стране, но и за рубежом, где подобного издания до сих пор еще не существует. Для того, однако, чтобы удовлетворить хотя бы минимальное число заинтересованных лиц и учреждений, необходимо, переиздавая «Путеводитель», значительно увеличить его тираж. В настоящее время он едва превышает одну тысячу экземпляров.

Н. Таманцев

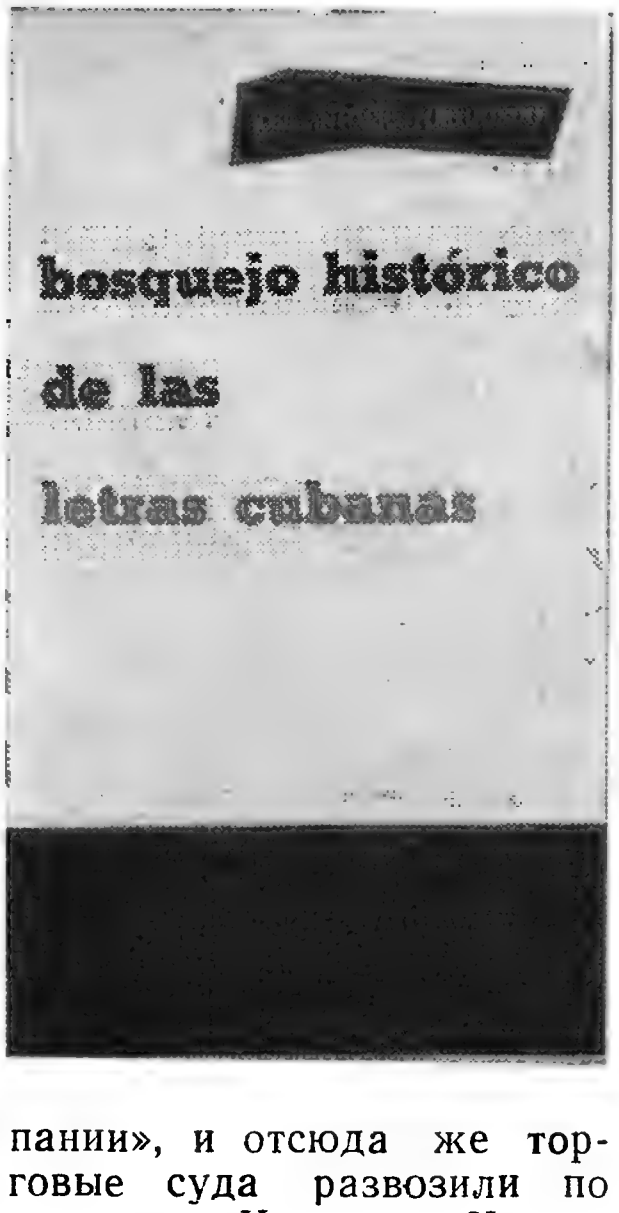
Издано за рубежом

ПУТЬ КУБИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

□

José Antonio Portuondo. Bosquejo histórico de las letras cubanas. Departamento de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. La Habana, 1960

□



«Литература наша родилась вместе со стремлением к независимости...» — пишет известный кубинский литературовед Хосе Антонио Портуондо в предисловии к своему «Историческому очерку кубинской литературы», недавно вышедшему в Гаване.

Знакомясь с небольшим по объему, но весьма содержательным исследованием, убеждаешься не только в правоте этих слов Портуондо — весь путь кубинской литературы неразрывно связан с национально-освободительной борьбой.

Истоки этой литературы, давшей миру таких певцов свободы, как Хосе Марти, как Николас Гильен, теряются в глубине столетий. Но разве могут умолкнуть в музейном покое задорные и язвительные песенки-коплас негритянок Гаваны XVI века, беспощадно высмеивавшие пройдох монахов или надменных грандов?.. Около четырехсот пятидесяти лет назад испанские завоеватели начали превращать Кубу в огромную факторию — транзитную остановку на пути между метрополией и ее богатейшими колониями Западного полушария: отсюда в Мексику вместе с конкистадором Кортесом отплыл солдат-летописец Берналь Диас дель Кастильо, автор будущей «Подлинной истории завоевания Новой Испании», и отсюда же торговые суда развозили по свету — в Кадис и Картахену, в Севилью и Веракрус — грузы и вольные коплас кубинских негритянок.

Хосе Антонио Портуондо рассказывает об этапах развития кубинской поэзии и прозы или, как определяет

автор исследования, о «поколениях» (еще в книге «История и поколения», опубликованной в 1958 году в Сантьяго де Куба, он писал: «Каждый автор принадлежит поколению той эпохи, когда создавались его труды»). И какой век ни возьмешь, лучшие творения его вдохновлены мечтой о свободе.

До наших дней сохранилась вошедшая в сокровищницу кубинской литературы поэма Сильвестре Бальбоа «Зерцало терпения». Знаменательно, что среди героев этого произведения, написанного еще в 1608 году,— порабощенный испанцами, но не примирившийся с неволей негр по имени Сальвадор Голомо́н, «слава о котором,— говорит поэт,— вознеслась и никогда не исчезнет, и восхвалять столь доблестного воина пусть никогда не устанут ни язык, ни перо... ибо пишу я с любовью о негре рабе, пленен-ном без какого-либо права». А позднее, в XVIII веке, испанская цензура ревностно вычеркивала в книге гаванца Хосе Мартина Феликса де Аррате «Ключ к Новому Свету» слово «креол» (так называли себя уроженцы острова в отличие от испанцев): королевским цензорам само слово это казалось символом непокорности «колонии сахарных и табачных плантаций» испанской короне.

На рубеже XIX века кубинские поэты, воспевая островную родину свою, вкладывают в произведения уже четко выраженные национальные чувства. Выдающийся публицист Феликс Варела, покинув кафедру в семинарии, зажигает пламя борьбы за независимость Кубы. Испанские абсолютисты вынесли смертный приговор этому депутату от Кубы в мадридских кортесах, однако не смогли заставить его умолкнуть: найдя убежище вдали от родины, он обращается к кубинцам со страстным словом патриота. Жажда свободы оторвала от своего класса поэта Хосе Мариа Эредиа, в мрачную годину колониального гнета заявившего с непоколебимой уверенностью:

Куба! В конце концов ты
будешь чистой и
свободной,
Как светлый воздух, которым дышишь ты ..

Сепаратистские настроения овладевают умами революционных романтиков первых десятилетий прошлого века: Куба должна быть отделена от Испании. Всем пылом сердца отстаивает национально-освободительные идеи кубинский литератор и философ Хосе Антонио Сако. Испанские колониальные власти с бешенством обрушиваются на кубинскую Академию литературы, объединившую ведущих писателей того времени, усматривая в ней очаг революционного пожара. Закрыта Академия, сослан Сако, выступавший в ее защиту, но погасить огонь протеста не удалось— все громче звучат в книгах кубинских писателей гражданские мотивы, не затихает и голос Сако, продолжавшего бороться за интересы родины издалека. Крупнейший литератор той эпохи Доминго дель Монте, обращаясь к молодым писателям, говорил о необходимости отражения в литературе жизненно важных проблем; он подчеркивал, что поэт «прежде чем считать себя поэтом, должен не забывать, что он человек и в качестве такового обязан вместе с другими художниками и философами века направлять весь талант свой... на улучшение условий жизни ему подобных».

Видные представители кубинской литературы энергично боролись за отмену рабства — тогда насущнейшего вопроса, «с которым по важности своей и по безотлагательности ничто не могло сравниться». И это естественно: большая часть населения Кубы в ту пору состояла из негров рабов.

Ненавистью к тиранам и любовью к свободе проникнуто творчество талантливого поэта-самоучки мулата Габриэля де ла Консепсьон Вальдэса («Пла́сидо»), впоследствии расстрелянного испанцами за участие в заговоре негров и мулатов. Ужасы рабства, трагическая действительность колониальной Кубы с исключительной силой воспроизведены в романе Ансельмо Суареса и Ромеро «Франсиско» (кстати, созданного по прямому совету Доминго дель Монте), рукописные страницы которого, глава за главой, распространялись среди современников. Реалистически рисует жизнь на Кубе Сирило Вильяверде в своем нашумевшем романе «Сесилия Вальдэс», пронизанном духом сопротивления испанскому деспотизму.

Даже литераторы-костумбристы (бытописатели) прошлого века, сторонники бескровных реформ общества, не могли молчать — и в своих книгах говорили о социальной несправедливости.

Возникновение в стране пролетариата сказалось и в художественной литературе.

В 1868 году против испанского владычества вспыхнуло восстание под руководством национального героя кубинского народа Карлоса Мануэля де Сеспедеса. Началась десятилетняя народно-революционная война — многие писатели встали под ее знамена. Поэт Мигель Херонимо Гутьеррес незадолго до гибели на поле боя заявил кубинцем может быть «лишь благородный патриот, который предпочел героем умереть иль быть свободным».

Особое место в сердце каждого кубинца занимает имя Хосе Марти, знаменитого поэта и пламенного революционера, одного из вдохновителей разгоревшейся в 1895 году второй освободительной войны. И ныне — прошло уже свыше шестидесяти лет после смерти Марти в бою с чужеземными захватчиками — его идеи претворяются в кубинской революции, нако-

нец-то принесшей Кубе освобождение.

«Творчество Марти,— говорит Портуондо,— представляло собой как бы выступление против прежних поэтических форм», оно питалось традиционной народной поэзией. «Его стихи похожи на коплас, творимые для того, чтобы струйками излить песню, бушующую в груди». И что исключительно важно для оценки поэзии Марти — «стих сопровождает поэта в его усилиях поднять народ на завоевание свободы».

В канун нынешнего столетия американский империализм закабаляет Кубу. Вместо флага Испании, потерявшей господство над островом в результате испано-американской войны, на флагштоках подымают два флага — американский и кубинский. Но «никогда не сольются они вместе!», писал, отражая настроения народа, поэт Энрике Эрнандес Миярес.

Участие кубинских писателей в антиимпериалистической борьбе подробно освещено Портуондо.

Немалую роль сыграла в этой борьбе литературная молодежь, выступившая в 1923 году с «протестом тринадцати». Тринадцать писателей, опубликовавших заявление с разоблачением антинациональной политики правительства, позднее образовали так называемую «группу меньшинства» («групо минориста»), занявшую позицию защиты национальной культуры, солидарности с народами Латинской Америки перед угрозой экспансии со стороны империализма США. Участники группы, как отмечает Портуондо, находились под влиянием идей Великой Октябрьской социалистической революции в России, выражали симпатии к Китаю Сун Ят-сена, к народным героям мексиканской революции 1910 года. «Минористы» указывали, что деятели культуры не могут отстраняться от участия в демократическом освободительном движении. После установления в стране проамериканской диктатуры генерала Мачадо (1925—1933) «групо минориста» активизирует политическую деятельность. В 1927 году «минористы», среди которых находились такие виднейшие литераторы, как Хуан Маринельо, Алехо Карпентьер, Рубен Мартинес Вильена, Эмилио Роиг де Леучсенринг, Хорхе Маньяч, подписали «Манифест», провозглашавший, в частности, что группа борется «за экономическую независимость, против империализма янки».

«В ходе ожесточенной схватки со свирепствующей диктатурой Мачадо,— пишет Портуондо,— молодое поколение писателей пришло к убеждению, что изолированные выступления интеллигенции бесплодны. Так были открыты *массы*». Негр, крестьянин, пролетарий — наиболее обездоленные — становятся героями произведений ведущих писателей Кубы, обратившихся к острым социальным проблемам.

В тридцатых годах Куба объята пламенем борьбы с диктатурой Мачадо — писатели снова в первых рядах. Это годы появления на литературной арене поэта Николаса Гильена и прозаика Алехо Карпентьера. Стихи Гильена, внесшие в кубинскую лирику народную песенность, прозвучали «горьким разоблачением социальной несправедливости», в строках его стихов слышался голос эксплуатируемых. Отмечая, что творчество Гильена «пример того... насколько социально насыщенной может быть поэзия без какого-либо ущерба для ее эстетической ценности», Портуондо подчеркивает: «Поэт говорит на общедоступном языке и в близких народу традиционных формах; это новое слово, приближающее будущее». В прозе тех лет наряду с «Экуэ Ямба-О» Алехо Карпентьера, которого Портуондо называет «одним из крупнейших романистов испанского языка», выделяются книги Энрике Серпы, Энрике Лабрадора Руиса, Карлоса Монтенегро, Луиса Фелипе Родригеса, Лино Новаса Кальво и многих других. Их произведения, написанные, по словам Портуондо, главным образом под влиянием советской литературы и книг прогрессивных писателей США, характеризуются «революционным и разоблачительным реализмом».

Тирания диктатора Батисты, активизация реакционных сил после второй мировой войны привели было к тому, что некоторые писатели предпочли «бегство в чистую поэзию», увлеклись формалистическими поисками, а то и просто замолкли. И все же в кубинской литературе стало появляться много новых имен.

Это новое поколение заговорило полным голосом в дни революции. Это поколение заявляет о себе в наши дни, когда родина Хосе Марти дышит воздухом свободы — тем воздухом свободы, о котором сто с лишним лет назад пророчески писал поэт-патриот Хосе Мариа Эредиа... Возникают новые имена — определяются новые темы.

Портуондо приводит факт, ярко характеризующий нынешний, революционный этап в истории литературы Кубы: на недавнем международном конкурсе, устроенном гаванским издательством «Каса де лас Америкас», жюри, составленное из выдающихся писателей Латинской Америки, присудило первую премию роману о последних днях батистской диктатуры «Бертильон 166» Хосе Солера Пуига, лишь вчера — простого кубинского рабочего.

Вместе с Хосе Антонио Портуондо, написавшем интересное и ценное исследование (примечательно, что эта книга издана Министерством иностранных дел Кубы!), мы верим: еще будет сказано новое — кубинское — слово о революционном подвиге героического народа.

Юрий Дашкевич

ЧЕРНОЕ ПЛАМЯ РАЗГОРАЕТСЯ ЯРЧЕ

□

W.E.B. Du Bois. Mansart Builds a School. New York, Mainstream Publishers, 1959.

□

Тайри Таккер, ведущий персонаж последнего романа Ричарда Райта «Долгая мечта», заявляет: «У негров нет никаких прав, кроме тех, которые он может купить». До поры он и в самом деле покупает себе с молчаливого согласия местных столпов общества кое-какие права. К примеру, право выгодно содержать тайный притон, а после того как там по недосмотру случается пожар с жертвами — не менее выгодное право отправки черных душ в рай Несчастье помогло предприимчивому Таккеру превратить в звонкую монету две дюжины завалявшихся в его лавке гробов.

Хотя делишки отца не по сердцу юному Рексу, он зачарован всемогуществом доллара, превращающего черное в белое.

Но все-таки циничная и, казалось, такая жизнестойкая философия старшего Таккера не спасает его от «белой» пули. А Рекс, испив до дна чашу страданий и унижений, покидает родной Клинтолл и отправляется в Париж, в надежде «хоть где-нибудь найти дом».

«Долгая мечта» Ричарда Райта — сильная и горькая книга о судьбах людей черной кожи. Обличая продажность, расовую ненависть, насилие, писатель предлагает, однако, насквозь ложные решения. Он словно не замечает, как пришли в движение широчайшие массы его темнокожих соотечественников, решительно требующих равноправия. Оттого, верно, так мрачен колорит романа Райта, так душен его мир.

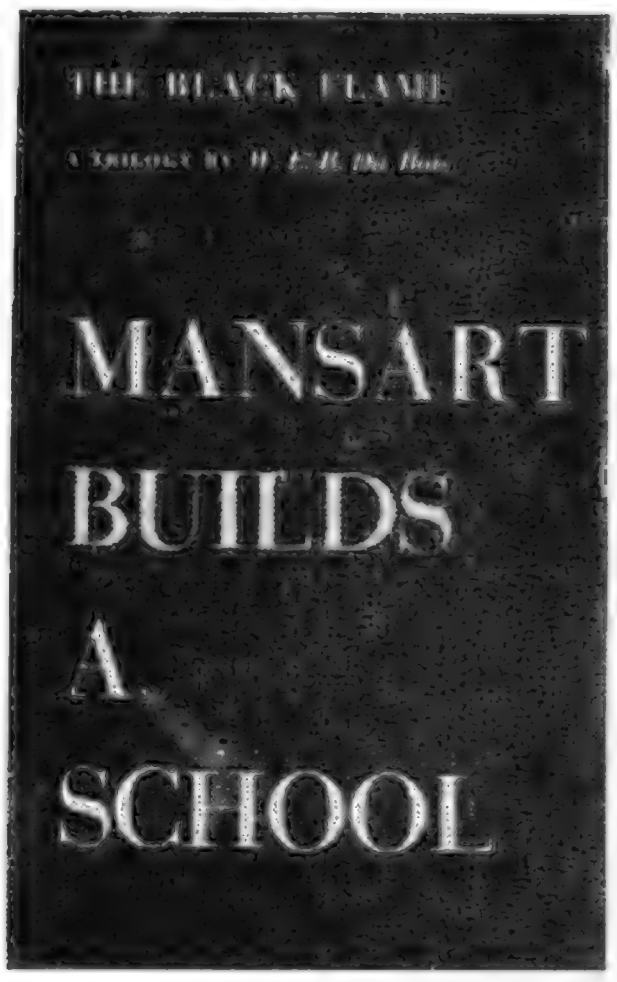
Но есть в негритянской литературе последних лет и иные произведения — не менее талантливые, но более гражданственные, свободные от индивидуалистических представлений. В ряду таких книг высятся два тома монументальной трилогии Уильяма Дюбуа «Черное пламя».

Трилогия эта задумана как историко-художественное полотно, рисующее мучительную и бесстрашную борьбу американских негров за равноправие, начиная с времен Гражданской войны в США до наших дней. В первом томе трилогии, романе «Испытания Мансарта»*, который, кстати говоря, появился в русском переводе, доктор Дюбуа довел повествование до событий, непосредственно предшествовавших первой мировой войне. В канун своего девяностодвухлетия старейший негритянский писатель издал вторую книгу — «Мансарт строит школу».

Читатель снова встречается с героем трилогии Мануэлем Мансартом — ему только что предложили пост управляющего «цветными» школами в Атланте. Их пять, этих школ, пять на сорок тысяч детей — еще одно конкретное выражение расовой проблемы.

Объявлена первая мировая война. Как всегда в трудную минуту, дядя Сэм призывает своих «черных сынов». «Это означает конец сегрегации,— размышляет вслух Мансарт.— Если негр достоин умереть за страну, следовательно, он достоин и жить в ней». Но, когда струсил на позициях белый полковник, был предан суду вместе с одиннадцатью другими офицерами неграми капитан Ревелс Мансарт, сын Мануэля. И после войны все шло по-прежнему: в «кровавом» 1919 году было зарегистрировано двадцать пять негритянских погромов.

Дюбуа достигает редкой



художественной точности и предельной исторической достоверности в описании жизни своего народа в первую треть века. Зарождение знаменитого Ниагарского движения, мужественные выступления газеты «Крайсис», увлечение части негров неверным гарвиистским лозунгом «Назад в Африку», так называемый Гарлемский Ренессанс (вскормленный на подачках белых меценатов неудачливый отпрыск большого негритянского искусства) — ни одно, даже самое малое как будто событие не ускользает от внимания автора.

С мудрым психологизмом. неспешно и обстоятельно развертывает Уильям Дюбуа людские характеры. Надолго западают в память рассказы об избравших разные дороги сыновьях Мансарта и особенно повесть об искалеченной судьбе самого младшего из них, красавца Бруса, с его большой, но смятой дикими предрассудками любовью к Зое Койпел, той, которую еще голубоглазой девчушкой спас он из-под колес автомобиля Выразителен и портрет дочери Мануэля — застенчивой, с глазами сикстинской мадонны дурнушки Соджурне; она была молчалива и замкнута, но скрипка ее лучше всяких слов пела о мире, где нет зла и насилия.

Название второй книги

---

* Рецензия на него была опубликована в «Иностранной литературе» № 2, 1958

трилогии Дюбуа отражает один из насущных вопросов тех лет — просвещение черного населения Юга, развитие его национального и гражданского самосознания. Тут сталкивались подлинные интересы негритянского народа с «разумной» политикой крупного бизнеса, цинично сформулированной мэром Атланты Джоном Болдуином: «Мы обучаем негров потому, что хотим сделать из них соперников белых рабочих и таким образом держать зарплату на низком уровне».

С мыслью хоть как-то предотвратить превращение негров в «класс просвещенных, надежных работников и слуг» Мануэль Мансарт в 1920 году принимает пост президента Сельскохозяйственного колледжа для цветных в штате Джорджия. Невозможно даже приблизительно представить трудности, проистекавшие из двойственного положения Мансарта. Он был официальным ответственным лицом, обладал известными полномочиями и в то же время в глазах белых оставался существом второго сорта. Националистические настроения среди студентов, острая нехватка преподавателей, нажим и угрозы спекулянтов, жаждущих погреть руки на подрядных работах, болезненные отношения с профсоюзами белых рабочих — все эти обстоятельства, в описании которых автор не поступается ни одной крупицей даже самой горькой правды, вынуждают президента Мансарта быть «мудрым, как змий».

Медленно постигал Мансарт истину, что только при поддержке белых трудящихся можно добиться равноправия для негров, ту истину, которую с юности почти бессознательно усвоила его помощница и секретарь Жан Дюбиньон (удивительно обаятелен образ этой молодой мужественной метиски, которая, отказавшись от привилегий, что давали белая кожа и родство со старой аристократкой, посвятила себя труду на благо народа).

Чтобы многосторонне представить отношения между людьми, писатель как бы заглядывает в душу белому рабочему Скроггсу. Есть два мира: мир белых — чиновники, хозяева, собственники и мир черных — слуги, бедняки, низшие существа. Но почему же тогда он, Джо Скроггс, не имеет ни денег, ни домов? Жизнь путала его представления. Быть может, есть и третья группа, таких, как он, белых, судорожно цепляющихся за свои «права» и страшащихся, как бы не опуститься до уровня «ниггеров». А с Запада доносилась насмешливая песенка Джо Хилла о пирогах на небесах.

Негров не принимают в профсоюзы. Чтобы не голодать, они вынуждены становиться «скэбами». Значит, без негров не может быть организованного рабочего движения? Но тогда социальное равенство, каждодневное общение, смешанные браки... Так сплетался из предрассудков клубок неразрешимых как будто бы несоответствий, на которых умело играли демагоги и расисты.

У восьмидесятилетнего Джона Пирса, «милостью Золота Короля бирж и властителя людей», еще в двадцать седьмом появились нехорошие предчувствия. Его пугал невиданный рост богатств Америки. Финансист решается на поездку в Европу — прозондировать обстановку. Дурным знаком показались ему малопонятные холсты сына-художника, символически передающие некие грядущие потрясения. Еще более мучительно было видеть внука, Джона Четвертого, несостоявшегося банкира, а теперь — декадентского пророка. Потом дела: вложения в германскую промышленность, концессии в Африке, встречи с нужными людьми. Как раз во время приватного разговора с международным авантюристом и миллионером Базилем Захаровым — субъектом с моноклем в глазу и в безукоризненном костюме,— который излагал планы покорения большевистской России, телеграф принес из-за океана сообщение о крахе на нью-йоркской бирже. Впервые за всю историю «Американской Мечте» был нанесен удар такой сокрушительной силы. Вырвались на свет демоны противоречий, таившиеся до поры. Миллионы теряли работу. Стрелялись разорившиеся дельцы. Страна стояла перед катастрофой.

А человек, сидевший в Белом доме, некто по имени Герберт Гувер, продолжал уныло бубнить: «Процветание близко, за углом».

Быть может, дело в коммунистах? Или в курсе валюты? Или в последствиях войны? Дюбуа-художника снова сменяет Дюбуа-историк и социолог. Цифры, факты, аргументы... Нет, «что-то неладно было в самой системе производства», лаконично заключает автор.

Тридцатые годы еще резче размежевали классовые силы, еще более обострили социальные и расовые конфликты в Соединенных Штатах. Какие только меры не предпринимались федеральным правительством и «Мозговым трестом» Франклина Рузвельта, чтобы выйти из депрессии, спасти в глазах американцев идеалы частнособственнической демократии. А монополии уже начали нападки на президента Подымает голову фашизм. Тысячи людей открыто заявляют о своей вере в партию рабочего класса.

В надежде найти ответ на мучительные вопросы Мансарт по ночам читает «Коммунистический манифест». Ему еще не видится «Красное пламя революций». Но он знает, что разгорается ярче Черное Пламя. Как же может полыхающее пламя оставаться черным? — размышляет Мануэль Мансарт на последней странице романа.

Герой трилогии Дюбуа неизбежно найдет ответ.

Г. Злобин

В БОРЬБЕ ЗА СВЕТ

□

Rubén Benitez. Ladrones de Luz. Buenos Aires, Emecé Editores, 1959.

□

Вилья мисериа в переводе с испанского — поселок горя и нищеты. Жалкие лачуги, сооруженные из фанерных ящиков и картона, консервных банок и листового железа. Ни электричества, ни водопровода, ни канализации. Там ютится рабочий люд городских окраин. Нестерпимым зловонием несет от ям, куда жители выбрасывают мусор. А в ливень эти поселки, расположенные нередко в низинах, превращаются в вязкое болото, на поверхности которого видны захлебнувшиеся крысы. «Вилья мисериа» — так называют эти поселки в Аргентине, но есть они и в Уругвае, где их именуют «кантогриль», в Бразилии, где их окрестили «морро». Свыше пятнадцати таких поселков, население которых достигает нескольких сот тысяч человек, опоясывают Буэнос-Айрес, крупнейший город Южной Америки.

Вилья мисериа — социальное бедствие многих стран Латинской Америки, породившее целую литературу: научную, публицистическую, художественную. Известный аргентинский писатель-коммунист Альфредо Варела не так давно опубликовал на эту тему исследование, снабдив его фотографиями, воспроизводящими неописуемо тяжелые условия жизни обитателей вилья мисериа. Другой аргентинский писатель, Бернардо Вербицкий, три года назад издал книгу «Вилья мисериа — это тоже Америка». На ту же тему написан роман тогда малоизвестного Рубена Бенитеса «Похитители света». Книга сразу же привлекла внимание читателей, а одно из крупнейших издательств Аргентины «Эмесэ» удостоило ее первой премии за 1959 год.

Действие романа происходит в январе 1959 года в крошечном, примыкающем к Буэнос-Айресу поселке Ресаго. Когда-то обитатели его, гонимые нуждой, покинули родные края. Сверкающий огнем неоновых реклам Буэнос-Айрес казался им землей обетованной. Их надеждам не суждено было сбыться. Вилья мисериа — вот их жалкий удел. Но в этих людях живет стремление вырваться из тисков нищеты.

Владелец поселка дон Ноторио отказался засыпать зловонный высохший колодец, откуда полчища крыс совершают набеги на хибарки бедняков, угрожая жизни их детей. Чтобы предотвратить несчастья, жители дежурят ночи напролет у колодца. Однажды они врываются в дом Ноторио, решив заставить дежурить и его. Охваченный страхом, Ноторио убегает и падает в глубокий, кишащий крысами колодец.

Один из обитателей поселка, молодой рабочий Анибал, наивно считает, что жизнь их изменится, пойдет совсем по-иному, если провести в Ресаго электричество. Своими мечтами Анибал заражает соседей. Решив, что электрическим светом, так же как воздухом и водой, должны пользоваться все люди, они сообща, без согласия электрокомпании «похищают свет». В момент торжества по случаю одержанной «победы» поселок погружается в темноту — компания выключила электричество.

Неподдельной любовью к простым людям мрачной рабочей окраины Буэнос-Айреса дышит эта книга. С глубоким сочувствием Бенитес описывает выселение из лачуги женщины с пятью детьми, судьбу безработного, доведенного до отчаяния и вынужденного воровать. С мягкой иронией говорит он о вере жителей вилья мисериа в чудодейственную силу электрического света, могущего якобы преобразить их жизнь. Но он показывает, как в борьбе с доном Ноторио и электрокомпанией крепнет солидарность жителей поселка, а некоторые из них начинают понимать непримиримую противоположность интересов людей труда и власть имущих.

Хотя борьба обитателей вилья мисериа заканчивается поражением, все же роман не оставляет ощущения безысходности: в финале между строк сквозит уверенность, что за этой первой битвой последуют другие, более успешные.

Ю. Певцов

НАЧАЛО НОВОГО ПУТИ

□

Willi Bredel. Ein neues Kapitel. Berlin, Aufbau-Verlag, 1959.

□

Апрель 1945 года. Дни гитлеровского рейха сочтены. Советские войска сокрушили нацистские армии. В этот переломный и трудный для немецкого народа час в старинный балтийский город Росток по поручению политбюро Коммунистической партии Германии приезжает писатель Петер Бойзен. Вокруг разрушенные фабрики и заводы, взорванный порт, сгоревшие дома и школы; по дорогам бредут отчаявшиеся люди. Роман известного немецкого писателя Вилли Бределя «Новая глава» повествует о том, как из развалин гитлеровского государства поднималась новая, демократическая Германия.

В. Бредель создает своеобразный роман-хронику, состоящий из отдельных сцен, картин, бытовых за-

рисовок, отмеченных зоркостью наблюдений и острой политической мыслью автора. Такая форма дает писателю возможность свободно включать в повествование самые различные эпизоды из общественно-политической жизни города, запечатлевшие накал классовой борьбы. Однако основная тема «Новой главы», как и предыдущих романов Вилли Бределя,— тема рабочего класса, его единства.

Образ главного героя произведения — Петера Бойзена — во многом автобиографичен: как и Бредель, Бойзен был редактором коммунистической газеты в Гамбурге, сидел в концлагере Фульсбюттель, сотрудничал в Париже в комитете по освобождению Тельмана, работал в комитете «Свободная Германия». Это коммунист тельмановской школы, солдат переднего края. Обладая большой политической зрелостью и опытом, Бойзен твердо знает, с чего начать: он собирает силы для строительства новой жизни. Во главе коммунистической организации Ростока становится верный борец против нацизма Иоганнес Шабер, выдержавший кровавый экзамен в фашистских застенках; на пост обер-бургомистра города выдвигается слесарь Томас Вайс, перешедший еще в 1941 году на сторону Красной Армии; новую немецкую полицию возглавляет молодой коммунист Герхард Эрмшер, доказавший свою преданность немецкому народу в боях с фашистами. Бредель убедительно показывает, как постепенно расширяется фронт строителей будущей Германии, как начинает складываться и крепнуть демократический строй. Вместе с коммунистами возрождая город, честно и преданно трудятся и пастор Клаусман, и бургомистр времен Веймарской республики буржуа Христвит, и рядовой социал-демократ Тиме.

С суровой правдивостью писатель изображает острые, драматические моменты, дающие представление о напряженной борьбе, происходившей в первые месяцы после крушения гитлеровского режима: надо покончить с бандами, действующими вблизи города, выловить переодетых эсэсовцев, спасти от болезни и смерти беженцев, надо восстановить нормальную жизнь города, но прежде всего надо вывести людей из душевного оцепенения, открыть перед ними перспективу, вселить веру в завтрашний день. Нелегка эта борьба. Но еще труднее бороться с изворотливым и скрытым врагом Альбертом Мейером, бывшим депутатом рейхстага от социал-демократической партии, приехавшим в Росток из Западной Германии. Прожженный политикан и демагог, он пытается, как и в былые времена, сорвать единство действий рабочего класса, клевещет на Советский Союз и советское командование. Этот остро очерченный образ еще раз продемонстрировал мастерство Бределя-сатирика, неизменно разоблачающего предателей рабочего класса.

Изображая дела и дни «города семи башен», Бредель крупным планом выделяет события огромного общественно- политического значения, характерные не только для Ростока: создание рабочих комитетов из представителей коммунистической и социал-демократической партий Ростока, решение о проведении земельной реформы. Эти описания дают ощутимое представление о тех больших социальных преобразованиях, которые проводились в Германии уже в первые послевоенные месяцы.

Весь роман проникнут идеей советско-германской дружбы. Тепло и задушевно написаны образы советских офицеров, проявивших подлинный гуманизм и глубокое понимание нужд немецкого народа. Бредель показывает, как совместными усилиями немецких патриотов и воинов страны Советов строится новая Германия — страна труда и мира.

Роман носит подчеркнуто незавершенный характер: Бойзен по поручению партии направляется на работу в другой город, но он уверен, что его друзья будут упорно продолжать борьбу против возрождения фашизма и войны. Новая глава в истории Германии начата.

Е. Мандель

ПЕВЕЦ ИНДИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ

□

ठुमरी, कहानी – सग्रंह
ले० फणीश्वरनाथ 'रेणु'
राजकमल प्रकाशन
१९५९, दिल्ली

□

«Мелодии», сборник рассказов... Дебют Пханишварнатха Рену в этом жанре. Первые встречи читателя с Рену произошли на страницах его романов.

Романы Рену («Грязное покрывало», 1954 г., переведенный на русский язык, и «Сказание о пустоши», 1957 г.) привлекают читателя актуальностью темы, высокой художественностью и оригинальностью «почерка», страстной взволнованностью и глубокой любовью автора к простому человеку своей страны. Однако уже в первом романе, в котором прозвучал протест против условий жизни, низводящих человека до положения бессловесной скотины, отчетливо выявились мотивы, свидетельствующие об идейной слабости писателя: как средство решения аграрного вопроса Рену рекомендует типично гандистский путь — нравственное самоусовершенствование, которое, по его мнению, позволит нена-

сильственным путем разрубить гордиев узел в земельных отношениях.

Во втором романе эти взгляды писателя получили дальнейшее развитие. В нем Рену выступает как защитник заминдара (помещика), становящегося в оппозицию даже по отношению к умеренным земельным реформам и вынужденного в новых условиях переходить к капиталистическим методам ведения хозяйства.

С волнением читатель берет в руки новую книгу писателя: куда пойдет Рену? Будет ли взирать на события с балкона заминдарского особняка или, спустившись вниз, соединится с простым народом и вновь, как в первом романе, станет отражать точку зрения жителей хижин?

Большинство из помещенных в сборнике рассказов посвящено современной индийской деревне. Даже в таком рассказе, как «Вечная забава», в котором изображен мифический веселый бог Кришна, традиционной оставлена только канва рассказа, остальное же в нем взято из жизни современной деревни. Кришна — грубоватый деревенский парень — веселый озорник, у которого самые земные отношения с жителями деревни и членами его семьи. Рену изображает повседневную жизнь индийских крестьян, нелегким трудом добывающих свой хлеб, бедную радостями жизнь и ту особую атмосферу индийской деревни с ее обычаями и предрассудками, которая окружает крестьянина со дня рождения и до смерти. Но Рену описывает не только крестьянский быт, нравы и обычаи. Из его рассказов встает картина индийской деревни, в которой положение человека и отношение к нему до сих пор в первую очередь еще определяются тем местом, которое он занимает в кастовой иерархии. Кастовые предрассудки и — как следствие — чувство приниженности, неполноценности заставляют музыканта Панчкаури, выходца из низшей касты, покинуть любимую женщину, которая принадлежала к более высокой касте («Любовь юных дней»); восхищаясь искусной работой народного умельца Сирчана и пользуясь его услугами, односельчане не упускают случая подчеркнуть его «низкое» происхождение («Удар»); новоселу Годхану только тогда удается освободиться от кастового запрета общаться с окружающими, когда панчаят (совет касты) был вынужден обратиться к нему за помощью («Пятисвечник»).

От внимательного глаза Рену не ускользает и то, что существующее классовое расслоение крестьянства еще более усиливается кастовыми различиями.

Характерная черта стиля Рену — почти полное отсутствие портрета. Писатель показывает своих героев в действии, в отношении с другими персонажами и часто — через восприятие их последними. Образы, созданные Рену, нарисованы как бы одним быстрым движением карандаша, резко и рельефно: детали портрета не выписаны, но тем отчетливее выступают наиболее характерные черты героя. В этой связи нельзя не отметить, что в иллюстрациях к книге, которые представляют собой рисунки-контуры, великолепно схвачена и передана эта характерная черта стиля Рену. Читая книгу, видишь и страстно влюбленного в свою профессию бродячего сельского музыканта Панчкаури, которого за его странные привычки и суждения все в округе считают полоумным; и виртуоза своего дела медлительного Сирчана, которого побаиваются за его острый язык; и простодушного, доверчивого Сингхая, едва не ставшего жертвой злой сплетни, пущенной про его жену; и мечтателя, поэта в душе, деревенского возчика Хирамана, который полюбил танцовщицу, но, следуя законам касты, был вынужден расстаться с ней.

Рассказам Рену присуща мелодичность и напевность, идущая от фольклора, и они чем-то неуловимо напоминают кружевную индийскую мелодию, пропетую на одном дыхании. Это достигается и выбором выразительных средств, и особым строем фразы, и всей композицией рассказа. Недаром весь сборник назван «Мелодии», хотя в нем нет ни одного произведения под таким названием, а все рассказы обозначены термином «тхумри-дхарма» (введенным самим автором), который в переводе означает «пропитанный мелодией, мелодичный, напевный».

Все рассказы сборника проникнуты любовью и уважением к простому труженику индийских полей, отмечены глубоким вниманием к его внутреннему миру: в каждом из своих героев, не блещущих изысканностью речи и одеяния, Рену прежде всего видит Человека, со своими нуждами, заботами и своей — может быть, маленькой, но светлой — мечтой о будущем.

Этот сборник рассказов служит свидетельством того, что Рену уже покинул балкон заминдара, вышел на бескрайний простор родного края и вновь оказался среди индийских крестьян — обитателей хижин,— но еще не обратил пера против тех, кто живут в каменных особняках и жиреют за счет труженика индийских полей.

В. Чернышев

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Французский читатель теперь может ознакомиться со всеми четырьмя томами романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», вышедшими в переводе Антуана Витеза в издательстве Жюллиар (это же издательство выпустило в свет «Они сражались за родину»).

«Следует подчеркнуть, что нет необходимости проявлять неуместную сдержанность в оценке произведения, столь выдающегося, одного из величайших произведений нашей эпохи, которое надо знать и которое является этапом в развитии мировой литературы»,— пишет газета «Пари-Норманди».

В издательском объявлении о выходе в свет книги Шолохова отмечается, что, не зная творчества этого советского писателя, нельзя претендовать на знание и понимание России.

Доминик Фернандес на страницах еженедельника «Экспресс», сравнивая роман М. Шолохова «Тихий Дон» с «Войной и миром» Л. Толстого, отмечает, что одно и другое произведения характерны большим числом персонажей и событий, проникновением во внутреннюю жизнь героев и общества, чередованием жанровых картин и фресок, широкой, откровенной — «без всякой таинственности» — фактурой романа.

Указав, что «за пределами социализма человек человеку — волк», Доминик Фернандес подчеркивает: «Шолохов сделал привлекательным благородство социалистического идеала... показом конфликтов, которые были вызваны в сердце политически неподготовленного крестьянина переменами в России».

■

В индийском издательстве «Адхар пракашан» (Бихар) вышел на хинди роман советского писателя В. Попова «Сталь и шлак».

Оценивая это произведение, индийская газета «Нью эйдж» отмечает, что в «романе раскрывается все величие и красота образа коммуниста — человека особой закалки». Газета подчеркивает своевременность перевода и издания произведения о людях и делах советского города стали: книга «особенно близка и понятна индийскому читателю именно сейчас, когда в стране развивается отечественное сталелитейное производство и выросли такие города, как Бхилаи».

■

Французское издательство Галлимар выпускает серию советских романов под редакцией Луи Арагона, работа которого «Введение в советские литературы» была предпослана изданию книг советских писателей, переведенных на французский язык. Уже вышли в свет два романа Мухтара Ауэзова «Юность Абая» и «Абай» и роман Александра Малышкина «Люди из захолустья».

«Эти три книги,— пишет в газете «Юманите» Андре Стиль,— служат одновременным ответом на некое засушенное здесь представление о социалистическом реализме, объявляющее его совершенно чуждым всякому романтизму, то есть вообще поэзии в романе». Стиль подчеркивает, что основа романа Ауэзова — это поэзия, а поэзия — содержание всей жизни народного акына Абая — связана и с темой большой любви Абая и с темой народа, страдавшего, подавленного, но таившего в себе огромные силы, способного сбросить с себя ярмо угнетения. И в этом, с точки зрения Стиля, роман Мухтара Ауэзова близок к одной из самых волнующих проблем сегодняшней Франции — проблеме самоопределения алжирского народа.

По мнению Стиля, роман Малышкина «Люди из захолустья» еще ярче доказывает, что романтичность — неотъемлемое качество социалистического реализма: поэтичность этого романа не связана с экзотикой, она рождается в суровой действительности из будущего, появляющегося на глазах у читателя. Романтический пафос в романе Малышкина возникает потому, что автор показывает период строительства индустриальных гигантов и коллективизации, не избегая конфликтов, воссоздавая атмосферу брожения 30-х годов.

«В этом романе видно,— пишет Стиль,— как История ведет к выявлению лучшего в человеке, как бы глубоко оно ни было запрятано».

В образах героев книги — Журкина и Тишки — Стиль видит пример того, как в людях постепенно зреет общественное сознание. Оценивая роман Малышкина с точки зрения дальнейшего развития советской литературы, Стиль замечает, что поколение, к которому принадлежит Тишка, со временем вырастет в поколение, к которому принадлежит инженер Бахирев, герой романа Галины Николаевой «Битва в пути».

■

„Сентиментальный роман» Веры Пановой появился в издании «Культур унд фортшритт» (ГДР) под названием «В 17 лет — мы молоды».

Газета «Нейес Дейчланд» отмечает, что сила романа Веры Пановой состоит в умении автора убедительно и захватывающе преподнести читателю верные и интересные образы своих героев. Ее комсомольцы хорошо знают, для чего они живут и работают.

«Это роман чувств и мыслей молодого человека...— пишет газета.— В романе мастерски показаны психологические переживания героев».

Издательство Министерства национальной обороны ГДР выпустило «Испанский дневник» Михаила Кольцова под названием «Красная битва».

По мнению газеты «Берлинер цейтунг», «Испанский дневник» Кольцова представляет и сегодня большой интерес для читателей Германской Демократической Республики. «Эпизоды интернациональной борьбы с фашизмом, написанные с большим художественным мастерством ее очевидцем,— отмечает газета,— дают читателю правильное представление об исторических событиях в Испании».

■

В рецензии на мюнхенское издание романа К. Симонова «Живые и мертвые» западногерманский еженедельник «Дейче фольксцейтунг» пишет: «На нашем книжном рынке появилось новое имя — Константин Симонов, книга которого «Живые и мертвые» выпущена издательством «Киндлер-ферлаг». Это событие достойно внимания...»

Знакомя читателей с творчеством Симонова, еженедельник отмечает, что «Дни и ночи» вышли на немецком языке в Восточной Германии еще в 1947 году. Говоря о стиле прозы Симонова, он добавляет: «Для полноты картины нельзя не сказать еще, что Симонов не забывает о сочувствии к человеку и умеет немногими скупыми штрихами нарисовать незабываемые характеры».

В заключение «Дейче фольксцейтунг» пишет: «Поистине издание такого автора в Западной Германии является чрезвычайной заслугой; это может не только пойти на пользу читателю Федеративной республики, но и даст мощный живой импульс армии наших молодых писателей, которые, как известно, из-за неверно понятого модернизма часто слишком легковесны в своем литературном творчестве».

■

Издательство «Чительник» выпустило уже четвертую часть автобиографического цикла повестей Константина Паустовского «Время больших ожиданий» в переводе И. Енджевича. Ранее в народной Польше были изданы повести этого цикла — «Далекие годы», «Беспокойная юность» и «Начало неведомого века».

Оценивая цикл повестей Паустовского, рецензент Вацлав Садковский пишет в «Новых ксенжках»:

«Эти воспоминания восхищают силой и свежестью писательского видения, живостью передачи отдаленных событий, их богатой атмосферой и быстро меняющимся настроением, которые не имеют ничего общего с однообразной сентиментальностью, свойственной многим другим воспоминаниям. Здесь же, особенно в последнем томе цикла, рассказывающем о первых годах Советской власти в Одессе, о трудностях тех лет, о духовном подъеме и надеждах, наконец, о конфликтах, очень выразительно проявляется дифференциация тона воспоминаний, которая в то же время не нарушает стилистической и эмоциональной целостности книги. Выведены живые люди с их различным отношением к происходящим событиям, передана горячая атмосфера жизни редакции одесского «Моряка», нарисованы в высшей степени интересные портреты ее сотрудников, а также широко известных писателей — Эдуарда Багрицкого и Исаака Бабеля».

■

„Какую из книг, прочитанных вами в этом году, вы хотели бы перечитать?» На этот вопрос еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» английский прозаик Ч. П. Сноу, в частности, ответил: «Я хотел бы перечитать рассказ Александра Твардовского «Печники», так как он снова введет меня в атмосферу русской литературы, которую я очень люблю... Твардовский редко обращается к прозе, и «Печники» — почти единственный его рассказ. Впервые я прочел его прошлым летом в самолете по пути домой из Москвы. Этот рассказ привел меня в восторг. Он достоин пера Чехова и совершенно не похож на то стереотипное представление о сегодняшней советской литературе, которое распространено на Западе».

■

Газета «Фольксштимме» сообщает о поступлении в книжные магазины Австрии романа Леонида Леонова «Русский лес».

Роман оценивается газетой как лучший образец современной советской прозы.

■

Под названием «Охота за миллионами» австрийским издательством «Бухгемейнде» выпущен роман И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ПО СТОПАМ МАККАРТИ

Несколько месяцев идет в Австралии борьба против реакционного законопроекта, с помощью которого правительство, идя по стопам американского сенатора Маккарти, собирается установить в стране контроль над мыслями.

Против этого законопроекта, предусматривающего дополнения к уголовному кодексу, согласно которым неугодные правительству взгляды могут рассматриваться как уголовное преступление, выступили многие крупные писатели Австралии. Заявление протеста подписали деятели культуры и литераторы самых разных политических взглядов, даже крайне правых.

Прогрессивные писатели справедливо усматривают в новом законопроекте угрозу для национальной литературы. В газете «Трибюн» Джуда Уотен пишет: «С середины прошлого века австралийский писатель отождествлялся с прогрессивным движением... Австралийская литература в основе своей прогрессивна, поэтому правящие классы всегда смотрели на нее с подозрением и время от времени преследовали писателей или запрещали их книги... Дополнения к уголовному кодексу уничтожат самую характерную черту австралийской литературы — ее прогрессивность, а значит, и самоё литературу».

Театр южноавстралийского города Аделаиды, основанный еще в 1838 году, поставил много пьес драматургов разных стран мира. В этом театре жители Аделаиды познакомились с «Чайкой» А. П. Чехова, видели инсценировки «Преступления и наказания» Ф. Достоевского и романов Н. Островского. Не так давно театр показал постановку пьесы Артура Миллера «Испытание» («Салемские колдуньи»). На снимке: Сцена из спектакля «Испытание».

(Журнал «Острэйлиен леттерз»)

«ХУЖЕ СОБАЧЬЕГО»

Во время «Недели писателя» на недавнем Фестивале искусств Южной Австралии среди других вопросов обсуждались и такие, как «Массовое искусство и писатель», «Критика и издание австралийской литературы», «Положение писателя в Австралии». Последняя тема вызвала особенно оживленную дискуссию. Многие выступавшие, по словам писательницы Х. Уилсон, опубликовавшей в журнале «Уэстерли» отчет об этой дискуссии, жаловались на чрезвычайно тяжелое материальное положение писателей в Австралии — положение «хуже собачьего», как выразился один из ораторов. Только отдельные писатели могут жить литературным трудом. Подавляющее же большинство вынуждено где-нибудь работать или служить. Но и поступить на работу не так-то просто. Предприниматели и государственные учреждения не любят брать на работу литераторов. «Тот, кто умеет писать книги, может составлять и петиции. Опасный человек!» — заявил один из боссов.

Писатель Морис Уэст, автор получивших известность книг «Дети солнца» и «Адвокат дьявола», выступил с предложением создать в Австралии нечто вроде Американской гильдии деятелей искусств, взять коммерческую сторону литературной

деятельности в свои руки и не позволять эксплуатировать себя дельцам от литературы. Однако это предложение вызвало сомнение у других участников дискуссии, которые ставили законный вопрос: «Почему же Американская гильдия деятелей искусств не спасает американских писателей от такого же «собачьего положения»?..»

АВСТРИЯ

РОМАН ОБ АВСТРИЙСКИХ КОММУНИСТАХ

На австрийском книжном рынке появился роман Герты Лигети «Звезды не гаснут». Автору этой книги — писательнице немецкого происхождения, проживающей в Румынской Народной Республике, удалось, по оценке газеты «Фольксштимме», рассказать об активной борьбе австрийских коммунистов против гитлеровского режима во времена «аншлюсса». Этому помогло как личное знакомство автора со многими австрийскими коммунистами, так и пережитые вместе с ними тяжелые годы.

Группа молодых австрийских коммунистов — героев романа — действует в глубоком подполье. Некоторые члены группы вели нелегальную работу на военных заводах Австрии, другие были крепко связаны с австрийцами — солдатами гитлеровской армии, находившимися в Бельгии. Многие из коммунистов-подпольщиков не избежали гестапо, ужаса концлагерей Германии, многие погибли. Мало кому довелось дожить до дня освобождения Австрии от фашизма, вернуться домой.

Заслуга автора, отмечает газета, состоит в том, что герои романа — не какие-то абстрактные фигуры «революционеров», а живые, настоящие люди, полные оптимистических надежд на лучшую жизнь для трудового народа Австрии.

«Хорошей и нужной книгой, особенно полезной для молодежи» называет этот роман «Фольксштимме».

С ЧУЖОГО ГОЛОСА

«Австрийское телевидение, так же как и австрийское радио,—пишет газета «Фольксштимме», — настолько заполнено передачами из Западной Германии, что для отечественных передач почти не остается места».

Клевета на ГДР, пропаганда в духе «холодной войны», призывы к реваншизму — и все это вперемежку с американскими гангстерскими фильмами — вот чем, по словам прогрессивной печати, характеризуются передачи по австрийскому телевидению.

По австрийскому радио услужливо транслируются передачи из Западного Берлина. Авторы подобных западноберлинских передач, не считаясь с нейтралитетом Австрии, нагло клевещут на ГДР. Австрийское радио стремится помогать боннским пропагандистам. Характерен такой факт: стоило германскому демократическому радио провести передачу о лирике Брехта, о творчестве Арнольда Цвейга и Бехера, как австрийское радио в своих «комментариях» попыталось опорочить известных всему миру немецких писателей. «Допуская такие передачи, австрийское радио пренебрегает нейтралитетом своей страны»,— подчеркивает «Фольксштимме». Резко выступая против боннского влияния на австрийское телевидение и радио, «Фольксштимме» призывает всех честных австрийцев поднять свой голос протеста.

ПО ГОРЛО СЫТЫ «ЗИССИ»...

Завезенный из ФРГ фильм «Зисси», показывающий в слащаво - сентиментальных тонах юность последней австрийской императрицы, стал как бы типичным образцом всей киномакулатуры, ныне решительно отвергаемой австрийцами. В Австрии, пишет еженедельник «Зонntаг», «по горло сыты «Зисси» и теперь испытывают жажду по свежей, отечественной кинопродукции Протест против засилия вся ческих «зисси» принял тревожащие владельцев кинотеатров формы: посещаемость и доходы резко упали.

Причины? Отнюдь не пресловутая конкуренция телевидения, а критическое отношение прозревающих кинозрителей. Интересно, что на «прозрение» не повлияли и рекордные цифры кинопроката. За первую половину минувшего года только в Вене публике предложили 1053 кинофильма! В связи с этим газета «Эстеррейхише нейе тагесцейтунг» пишет: «Чем больше названий фильмов, тем ниже посещаемость... Чтобы кинотеатры были во всеоружии перед лицом кризиса, нужны хорошие картины».

Фильмы австрийского производства, привлекающие публику, просто затерялись в лавине западногерманских и американских «боевиков».

АНГЛИЯ

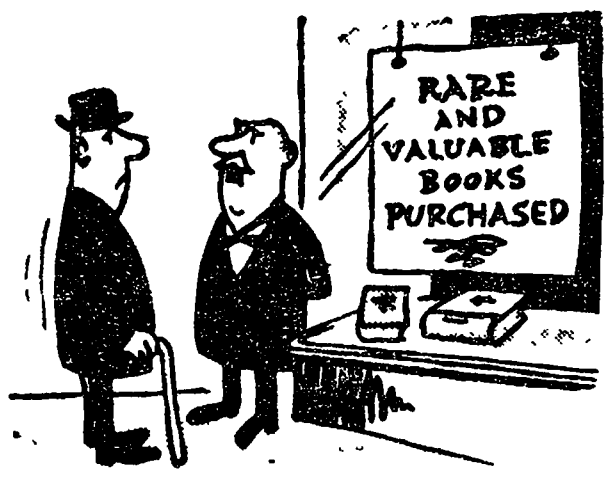
РОМАН... ПЕРЕД СУДОМ

В течение последних месяцев со страниц английских газет не сходили комментарии по поводу судебного процесса, в ходе которого решался вопрос, позволить или не позволить издательству «Пенгуин букс» продажу и распространение полного (с восстановлением

Объявление в витрине—«Покупают редкие и ценные книги» Владелец букинистического магазина обращается к своему собеседнику:

— Эх, это решение суда насчет леди Чаттерлей доведет нашу старую фирму до разорения! . (Карикатура художника Экклза).

(Газета «Дейли уоркер»)



всех сокращений) издания романа английского писателя Д. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». На скамье подсудимых была... книга.

Только ли пресловутое британское ханжество лежало в основе нашумевшего «книжного» процесса? Кстати, победителем из процесса вышло издательство «Пенгуин букс», а не шокированные цензоры, пытавшиеся выдать этот роман за «порнографию»...

Известный английский прогрессивный критик Арнольд Кеттл раскрывает на страницах газеты «Дейли уоркер» закулисную историю появления разных вариантов романа «Любовник леди Чаттерлей».

Лоуренс написал три варианта своего романа, причем все они были созданы в период между 1925 и 1928 годами. Тот вариант романа, который до сих пор (до последнего решения суда по тяжбе с издательством «Пенгуин») продавался в Англии, не является ни первым, ни вторым, ни третьим вариантом, написанными Лоуренсом,— это сильно искромсанный и изуродованный цензурой опус, где основной смысл и главная идея писателя утрачены.

Второй вариант произведения, пишет Кеттл, никогда и нигде не был опубликован. Подлинный первый вариант — под названием «Первая леди Чаттерлей» — можно было с трудом достать в Англии; он был издан также и в США, причем с рисунком на обложке, не соответствующим содержанию, но зато свойственным американской бульварной «литературе».

Именно первый вариант романа представляет собой особый интерес. По этому варианту можно судить об идеях, которыми руководствовался Лоуренс, замышляя свой роман. «Первая леди Чаттерлей» — прежде всего книга с острой политической направленностью. кстати, полностью отсутствующей в последнем, третьем варианте.

В первом варианте лесничий — любовник леди Чаттерлей — остро очерчен в классовом, социальном отношении. По ходу действия он поступает на один из шеффилдских заводов, впоследствии становится секретарем заводской ячейки коммунистической партии. Он стал коммунистом, потому что ненавидит и презирает господствующие классы, он сознательно и определенно высказывается за то, чтобы страной правил рабочий класс. Констанс Чаттерлей полюбила лесничего Мэллорса за человеческие достоинства, резко отличающие его от того пустого «высшего общества», в котором она вращается.

Лоуренс подчеркивал, что проблема, вставшая перед леди Чаттерлей,— оставить мужа и выйти замуж за Мэллорса,— не эмоциональная, а классовая, социальная.

Позднее, в третьем варианте романа — том самом, вокруг которого поднят весь шум,— Лоуренс сменил социальную заостренность на эмоциональную и сделал это, видимо, из тактических соображений.

Кеттл отмечает, что первый вариант романа написан так, как чувствовал сам Лоуренс, что же касается третьего варианта, то над ним писатель работал с оглядкой. Первый вариант поэтому сильнее. Это, однако, по словам Кеттла, не умаляет победы, одержанной издательством «Пенгуин букс», которое добилось легализации и распространения в Англии полного издания третьего варианта произведения Лоуренса.

АРГЕНТИНА

ЭКРАНИЗАЦИЯ ПОЭМЫ «МАРТИН ФЬЕРРО»

Немногие литературные произведения, пишет газета «Кларин», так трудно поддаются экранизации, как поэма «Мартин Фьерро» классика аргентинской литературы XIX века Хосе Эрнандеса, потому что особая сила этой знаменитой

По нашумевшему в свое время роману известного аргентинского писателя Бенито Линча «Романс одного гаучо» молодой режиссер Рубэн Кавальоти снимает фильм, главные роли в котором исполняют артисты Хулиа Сандоваль и Вальтер Видарте. Здесь помещен кадр из фильма.

(Газета «Кларин»)

эпической поэмы о гаучо состоит даже не столько в сюжете, сколько в ее поэтической форме, к тому же почти не поддающейся передаче на язык другого искусства.

Все же две аргентинские кинофирмы — «Анхель» и «Архентина соно-фильм» — недавно решили объединить свои усилия с целью совместной постановки большой национальной кинокартины по поэме Хосе Эрнандеса.

Для подготовки текста поэмы к экранизации в Буэнос-Айресе создан специальный комитет, в состав которого вошли писатели Эсекиэль Мартинес Эстрада, Хорхе Луис Борхес и Эдуардо Мальеа.

БИРМА

УСПЕХ КИТАЙСКОГО ФИЛЬМА

Огромным успехом в бирманской столице Рангуне пользуется китайский фильм «Пять золотых цветов» (см. «Иностранную литературу» № 7, 1960 г.). Билеты на фильм, сообщает газета «Гуанмин жибао», берутся с боя. Эта картина, рассказывающая о жизни современного Китая, была восторженно встречена зрителями.

Один бирманский журналист в беседе с корреспондентом агентства Синьхуа сказал: «Китайские фильмы своим высоким искусством и богатым жизненным содержанием захватывают зрителей; многие же фильмы западных стран отравляют сознание зрителей».

В этой связи печать отмечает решение бирманского правительственного цензурного комитета по киноискусству полностью запретить демонстрацию гангстерских фильмов. В этом решении, в частности, говорится: «Содержание гангстерских фильмов не только наносит вред национальной культуре Бирмы, но и представляет прямую опасность для нашей молодежи».

БОЛГАРИЯ

ПЕРЕД КОНГРЕССОМ СЛАВИСТОВ

Еженедельник «Литературен фронт» сообщает о происходившем недавно в Софии совещании Международного комитета славистов, связанном с подготовкой к Пятому конгрессу славистов, который состоится в болгарской столице в 1963 году.

Отмечая значение предстоящего конгресса, «Литературен фронт» пишет: «На конгрессе будет показана та роль, которую славянские нации, и особенно русская, играли в духовном сближении народов».

ДВЕ ПЬЕСЫ

В репертуар театров, сообщает еженедельник «Народна култура», включены две новые пьесы болгарских авторов.

Драма «Камера № 26» Васила Мирчовского, получившая премию Министерства просвещения и культуры, раскрывает полные драматизма судьбы людей, по разным причинам попавших в мрачные дни фашизма в тюремную камеру № 26. Под влиянием старого коммуниста Сандо меняются характеры этих не похожих один на другого людей — анархиста Бояна, вора Недко, убийцы Фантома.

Другая пьеса — «Последняя ночь» Лео Конфорти и Димитра Бочева — переносит зрителя в дни борьбы против немецких поработителей. Партизаны готовятся взорвать немецкий эшелон. Но в последний момент фашисты решили впереди пустить болгарский пассажирский поезд. Узнав об этом, двое людей спешат предотвратить несчастье. Преодолев препятствия, возникшие на их пути, они спасают пассажиров поезда.

Сцена из спектакля «Камера № 26» в исполнении актеров Благоевградского театра.

(Еженедельник «Народна култура»)

ВЕНГРИЯ

«ЧТО ПОМОГАЕТ ЖИТЬ»

Издательство «Магвёте» выпустило в свет сборник стихов поэта Шомьо Дьердя «Что помогает жить».

В сборник вошло семьдесят семь стихотворений, написанных в форме сонетов. Все они посвящены жизни и деятельности выдающихся поэтов, художников, мыслителей. Среди стихотворений — творческие портреты Чоконаи-Витеза и Пабло Неруды, Родена и Ван-Гога, Маяковского и Жолио-Кюри.

Поэт рассказывает, какое влияние оказали на него творения мастеров кисти, пера, музыки и как замечательные современники помогли поэту правильно оценивать происходящие события.

Главная ценность сборника, по словам еженедельника «Элет эш иродалом», заключается в том, что здесь «красной нитью проходит ленинская мысль— коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество,— вот почему сборник можно назвать подлинной поэтической историей искусства».

Национальный театр в Будапеште поставил пьесу советского драматурга А. Арбузова «Иркутская история». На снимке: Артисты Кати Берек и Адам Сиртеш в ролях молодых супругов — Вали и Сергея.

(Журнал «Нёк лапья»)

НОВЕЛЛЫ КЛАРЫ БИХАРИ

В Будапеште вышел сборник новелл известной советскому читателю писательницы Клары Бихари, автора романа «Жажда», опубликованного в журнале «Иностранная литература» (№№ 3—4, 1958 г.).

Сборник, изданный под названием «Всеми уважаемые женщины», объединяет рассказы на самые различные темы. Здесь и картины военных лет, и сегодняшняя жизнь заводов и фабрик. Но лейтмотив всех новелл — человеческие судьбы, перековка человеческих характеров.

«Новеллы Клары Бихари,— пишет журнал «Нёк лапья»,— вызвали живой интерес нашей литературной критики».

ГАНА

ПРОТИВ БЕЗВКУСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФИЛЬМОВ

Правительственная газета «Ганиэн таймс» выступила с требованием запретить показ поступающих главным образом из США и Англии разлагающих и пошлых фильмов.

Отмечая тлетворное влияние подобных фильмов на молодежь страны, видные общественные и культурные деятели Ганы считают необходимым изменить существующие в стране правила ввоза фильмов, с тем чтобы до ганского зрителя доходили лишь подлинно художественные, глубокие по содержанию кинокартины.

Министр информации и радиовещания Ганы Куаку Боатенг заявил на заседании парламента, что он «убежден в том, что, если бы во многих кинотеатрах страны показывались высокохудожественные фильмы, зрители резко выступили бы против той растлевающей кинопродукции, которая теперь, к сожалению, демонстрируется в большинстве кинотеатров страны».

Министр отметил, что он намерен расширить существующее в Гане небольшое местное кинообъединение «Филм юнит», поставившее два короткометражных художественных фильма, дав ему возможность выпускать художественные и документальные фильмы, журналы кинохроники. Это, по мнению министра, может стать зародышем будущей ганской кинематографии.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

НОВЫЙ РОМАН БЫВШЕЙ БАТРАЧКИ

Среди многих появившихся в последнее время в ГДР книг о социалистических преобразованиях в деревне демократическая пресса отмечает новый роман Ирмы Хардер, бывшей батрачки, ставшей ныне писательницей.

Этот роман — «Облака над Визенвегом» — по сути продолжение первой книги писательницы «В доме у Визенвега», написанной ею в 1956 году, хотя и представляет собой вполне самостоятельное произведение.

«Новую семью создали вернувшийся из плена крестьянин и крестьянка, потерявшая во время войны мужа. Оба они — сторонники установления новых порядков в деревне, однако сын крестьянки от первого брака, находящийся под влиянием бабушки и кулаков, угрожает счастью новой семьи. Озлобленный Юрген, рассчитывавший на

Ирма Хардер и министр культуры ГДР писатель Александер Абуш

(Газета «Нейес Дейчланд»)

наследство, ненавидит мать и ссорится с ней. Только в результате долгих и мучительных переживаний Юрген осознает, что сам он мешает своему благополучию, разрушает семью. Наконец, как и многие другие жители деревни, поняв преимущество коллективного труда, Юрген вступает в кооператив».

По словам газеты «Нейес Дейчланд», герои романа Ирмы Хардер — живые люди современной немецкой деревни с их недостатками и положительными качествами и вместе с тем — люди, прочно ставшие на путь строительства нового уклада. В этом большая сила убеждения романа.

ПИСЬМА К АННЕ ЗЕГЕРС

В издательстве «Ауфбауферлаг» вышел сборник писем, направленных прогрессивными литераторами многих стран мира Анне Зегерс в день ее шестидесятилетия.

«Каждая строка этих писем говорит о большом значении произведений Анны Зегерс, о ее плодотворной деятельности как члена Всемирного Совета Мира»,— пишет газета «Нейес Дейчланд».

Интересны приводимые в письмах теплые воспоминания о встречах с Анной Зегерс писателей обеих частей Германии, а также Франции, Мексики и других стран.

В письмах освещены некоторые остававшиеся до сих пор малоизвестными или неизвестными данные о жизни и творческой деятельности писательницы.

«Творчество Анны Зегерс, в оценке ее товарищей по перу из многих стран,— по словам газеты,— будет способствовать более глубокому восприятию широкими кругами читателей произведений писательницы».

ОПЕРА «МАРИКЕ ВЕЙДЕН»

Национальный оперный театр города Веймара, гастролировавший в Берлине, показал столичным зрителям новую оперу дрезденского композитора Карла-Руди Гризбаха «Марике Вейден».

Сцена из оперы «Марике Вейден».
(Еженедельник «Вохенпост»)

Тема оперы — становление Германской Демократической Республики, взаимоотношения ее жителей в момент перехода от капитализма к социализму. Замысел композитора — он же автор либретто — показать сложный процесс изменений в сознании людей, воспитанных еще гитлеровским нацизмом, процесс восприятия ими идей социализма.

Хотя автору и не удалось полностью выполнить поставленную перед собой задачу, «Марике Вейден», по мнению демократической печати, представляет собой интересную попытку создать оперное произведение на волнующую, актуальную тему.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ — БЕЗ КНИГ

По меньшей мере двадцать миллионов жителей Западной Германии не имеют своих книг, около четырнадцати миллионов человек, а это составляет 34 процента населения страны «экономического чуда», еще никогда в жизни не покупали себе книгу...

Эти данные, взятые из брошюры западногерманского писателя Эриха Кестнера, недавно были приведены газетой «Берлинер цейтунг». Брошюра Кестнера вышла три года назад. Но вот «Институт народного опроса» во Франкфурте-на-Майне только что установил, что и поныне почти половина (47 процентов) населения ФРГ не имеет ни одной книги.

«ЗАПРОС» ПРИХОДИТ ПО АДРЕСУ

Годы голода и разрухи позади. Жители западногерманского города торопятся насладиться покоем. Многие пытаются забыть и 1933 год, и войну, и разгром. Кому придет в голову тревожить тени прошлого?

Лишь молодой физик Клаус Кёлер задался целью разузнать о судьбе еврейской семьи, когда-то жившей в домике, где он занимает теперь комнату. Розыски увенчались успехом — найден последний оставшийся в живых член семьи. А затем выясняется и личность того, кто однажды ворвался в этот дом и стал повинен в страданиях и гибели его обитателей. Человек этот — отец Клауса Кёлера...

Такова несложная фабула романа молодого западногерманского писателя Христиана Гейслера «Запрос», выпущенного гамбургским издательством «Клаасен-ферлаг». Страницы этой книги о мрачном прошлом и о тревожной действительности на западе Германии проникнуты гневом и ненавистью к палачам; автор беспощаден и к тем, кто оказались слишком слабы, чтобы противостоять им. Сила привлеченного автором фактического материала настолько убедительна, что роман напоминает местами политический памфлет. «Гейслер ищет виновных с последовательностью, дотоле неизвестной в западногерманской литературе»,— указывает журнал «Нейе дейче литератур», отмечая рождение незаурядного таланта.

Обращаясь к немцам, торопящимся насладиться покоем, Гейслер называет свою книгу «Запросом». «Этот «Запрос» исходит от того поколения, которое в 1933 году еще находилось в детских садах,— пишет западногерманская газета «Дейче фольксцейтунг».— Запрос обращен к отцам. Он необходим, потому что отцы молчат. Но прошлое невозможно замолчать, ибо среди нас находятся и те, кто выжили, и те, кто убивали...» Так запрос стал жгучим обвинением, а молодой автор, по мнению литературной критики ГДР, поднялся на голову выше иных западногерманских писателей, берущихся истолковывать современность. «Гейслер сделал шаг,— пишет «Нейе дейче литератур»,— который для большой части западногерманской интеллигенции все еще представляется крайне трудным».

«Запрос» Гейслера имеет четкий и разборчивый адрес — писатель проклинает тех, кто убивали, и предостерегает тех, кто выжили. Смелая книга вызвала множество откликов в прессе. Газета «Дейче остдинст» обрушила на автора грубую брань, назвав его «изменником родины»... Газету особенно разгневали страницы книги, где Гейслер осуждает шовинизм известных кругов, которые, как он пишет, оплакивают «потерянные земли» на Востоке, вместо того чтобы поставить памятник сотням тысяч русских и поляков, угнанных и замученных на чужбине. И вот рецензент «Дейче остдинст» требует «заклеймить все высказывания автора по восточным проблемам Германии как государственную измену, а спор с этим сумасбродным наглецом отнести к компетенции государственного прокурора».

ЭРИХ КУБИ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Написав сценарий нашумевшей социальной киносатиры «Девушка Розмари», о которой уже сообщалось в нашем журнале, Эрих Куби выразил отношение широких слоев интеллигенции к коррупции правящих кругов. Теперь имя писателя вновь в центре внимания критики: вышла его книга «Всё в ведре» с многозначительным подзаголовком: «Победит ли Гитлер под Бонном?» Новая книга писателя, подчеркивает еженедельник «Дейче фольксцейтунг», «звучит предостережением ввиду надвигающегося неофашизма».

Антифашистская полемика не понравилась западногерманскому журналу «Монат». Журнал взял на себя труд немедля «подвести черту» под творчеством писателя, «развенчать» его и как публициста, и как киносценариста, поместив статью под названием... «Прощание с Куби».

Высоко оценивая смелые заявления писателя, «Дейче фольксцейтунг» отмечает, что Куби «пустился в политическую дискуссию для того, чтобы в будущем литература не была еще раз уничтожена варварством. Литература и демократия для него едины. Только вместе они гарантируют свободу».

ГОЛЛАНДИЯ

ЗА ВЫВЕСКОЙ «РОЙЯЛ ДАТЧ ШЕЛЛ»

«Искатели» — так назвал голландский писатель М. Ревис свою книгу, в которой реалистически изображены трагические судьбы ученых в условиях буржуазного общества. Действие романа развертывается в научно-исследовательской лаборатории могущественного нефтяного концерна «Ройял датч шелл». Здесь сталкиваются, противоборствуя, два типа ученых: одни — подлинные искатели, энтузиасты прогресса в области технических открытий, другие — откровенные карьеристы, для которых научная работа лишь трамплин, чтобы прыгнуть в мир богатых собственников.

По словам журнала «Хет бук фан ну», автор романа впервые в голландской литературе поднимает проблему растлевающего влияния капиталистической системы на ум и душу чело-

века. Ответственным за эту, как говорит автор, «эрозию человечности» является концерн «Шелл», как бы олицетворяющий собой сущность капиталистической системы. Научные сотрудники лаборатории не имеют права ослушаться чуть ли не армейских приказов руководства концерна, они вынуждены поступать вопреки своей научной совести, превращаясь в механических роботов, слепо повинующихся воле своих хозяев.

ДЕЙСТВИЕ ПРОИСХОДИТ В КОНГО

«...Язык романа вульгарен...» По мнению критика, автор грешит «схематизмом мышления», книга представляет собой «моментальный черно-белый фотоснимок», в ней нет объективного подхода к действительности... Все эти тяжкие обвинения содержатся в рецензии Пьера Дюбуа на талантливую книгу фламандского писателя Пита ван Акена «Чернокожие».

Почтенный литератор, выступавший на страницах журнала «Хет бук фан ну», возмущен «дерзостью» Акена, осмелившегося сказать горькую правду о колониальном гнете бельгийских империалистов в Конго Действие романа развертывается на плантациях Казамбаси и на кирпичном заводе в Рупеле. В течение сорока восьми часов происходит стихийное восстание на плантациях и стачка рабочих на заводе. Писатель умело объединил эти события в одну целостную картину народного возмущения против бесчинств и эксплуатации белых «цивилизаторов». Трудящимся людям Конго ван Акен противопоставляет губернатора Сванзена, его помощника Меерсмана, пускающих в ход бичи, пытки, виселицы, чтобы спасти власть колонизаторов в Конго. Автор показывает закономерность восстания туземных тружеников; повстанцы поджигают машину губернатора, расправляются со своими мучителями.

Нарисованная Акеном картина колониального гнета настолько ярка и реалистична, что даже рецензент, несмотря на свою внутреннюю оппозицию к роману, вынужден признать, что изображенные в романе условия жизни крестьян и рабочих Конго «являются унизительными, кабальными, постыдными».

ИНДИЯ

ПРОТИВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Как сообщает еженедельник «Стейтсмен», президент Индии доктор Раджендра Прасад выступил с призывом как можно скорее ликвидировать зависимость Индии от английского языка.

— По крайней мере простым людям, которые теперь вынуждены пользоваться английскими книгами, чтобы прочесть о самых простых вещах,— заявил Прасад,— должна быть предоставлена возможность изучить местные языки, в особенности язык хинди, на котором говорит большинство населения страны.

Длительное засилие английского языка, по словам президента, привело к тому, что индийские языки не располагали возможностями для всестороннего развития, а люди с европейским образованием относились к ним с пренебрежением.

Теперь, отметил Раджендра Прасад, когда после освобождения началось культурное возрождение Индии, развиваются все национальные языки, и в первую очередь хинди, который может быть назван «языком всей Индии».

ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА

Бхагвати Чаран Варма — один из видных современных индийских писателей. Тонкий юморист и сатирик,

Произведения классика бенгальской литературы Шоротчондро Чаттерджи широко известны в Индии. В прошлые годы было поставлено два фильма по мотивам его рассказа «Тяжба» и романа «Свет в темноте». Недавно студия «Алок бхарати» экранизировала повесть Шоротчондро Чаттерджи «Исправление Рама». Фильм, вышедший под названием «Сводный брат», с успехом демонстрируется на экранах Индии. Мы воспроизводим кадр из нового фильма. В главных ролях — артисты Бипин Гупта и Праноти

(*Журнал «Филминдиа»*)

он пользуется большой популярностью как у себя на родине, так и далеко за ее пределами. Его перу принадлежит роман «Читралейха», произведения о людях сегодняшней Индии — «Извилистые дороги», «Последняя ставка» — и многие другие.

Высокую оценку в индийской прессе получил новый роман писателя «Забытая картина», опубликованный недавно делийским издательством «Раджкамаль пракашан». Убедительно и с большим художественным мастерством показывает автор, как «в ходе долгой и упорной борьбы против феодализма и империализма растет сознание людей, исчезают старые общественные понятия, возникают новые отношения, происходит исторический процесс переоценки ценностей», пишет критик индийской газеты «Нью эйдж» Р. Б. Шарма.

Центральный персонаж романа — Джавала Прасад — глава некогда сплоченной патриархальной семьи. Много лет работая в английской администрации, он дослужился до крупного чина и полон гордости, что является одним из столпов, подпирающих английское правление в Индии. После первой мировой войны Джавала продолжает оставаться послушным орудием в руках англичан, принимая активное участие в подавлении национально-освободительного движения.

Совсем другими людьми вырастают его дети, особенно младшие — сын Навал и дочь Видья. Они не идут по стопам отца, у них совсем другие идеалы. Сначала неуверенно и робко, потом все решительней молодое поколение выступает против консерватизма, жадности и эгоизма своей «почтенной» семьи. Навал включается в национально-освободительное движение. Позднее через одного из своих близких товарищей, Прем Шанкара, Навал знакомится с английскими коммунистами. Он убеждается, что эти англичане — друзья индийцев. Они резко осуждают колониальную политику английского империализма, помогая индийскому народу в его борьбе за национальное освобождение.

Сестра Навала — Видья проявляет еще большую смелость и энергию. Несмотря на угрозы, она покидает ненавистный ей дом свекра, где нещадно ее били. Возвратившись под родительский кров, Видья поступает работать в школу учительницей, вместе с братом посещает заседания конгресса, становится общественным деятелем.

«В рамках одного класса,— пишет Р. Б. Шарма,— автор показал захватывающую картину распада патриархальной семьи и напряженность борьбы между старыми, консервативными понятиями и новыми, демократическими идеями. Создавая образы таких молодых людей, как Навал, Видья, Прем Шанкар и другие, Бхагвати Чаран Варма укрепляет нашу веру в индийский народ, выражает веру человека в свои собственные творческие силы».

ИРАК

КОНКУРС НА КИНОСЦЕНАРИЙ

В Багдаде, как сообщает газета «Ирак таймс», объявлен конкурс на лучший киносценарий. Он ставит своей целью привлечь внимание писателей страны к таким важным для иракского народа темам, как борьба за национальную независимость в течение последних сорока лет и социальные изменения в молодой республике.

Для обсуждения написанных на эти темы новых киносценариев создан специальный комитет, в который вошли видные иракские писатели и деятели кинематографии.

ИСПАНИЯ

МЕМОРАНДУМ ПИСАТЕЛЕЙ

В связи с усилением цензурных ограничений в Испании двести пятьдесят видных испанских писателей направили франкистскому правительству письменный меморандум, в котором требуют предоставления хотя бы элементарной свободы слова и протестуют против «системы нетерпимости, путаницы и капризов» — иными словами, против жестокого и бессмысленного цензурного произвола.

Резко осуждая введенную правительством так называемую «предварительную» цензуру, писатели изобличают цензоров в грубости, предвзятости и некомпетентности и указывают, что такая практика может нанести «непоправимый ущерб национальной культуре и изолировать Испанию от современных международных научных, литературных и культурных достижений. Почти полный запрет на распространение в Испании иностранных газет, книг и произведений искусства, а с другой стороны, бешеная злоба, с какой искажается все, на что дается разрешение, превращают Испанию в страну с омертвевшей культурой и полностью изолируют ее от влияния других цивилизованных стран».

Мексиканский журнал «Тьемпо» подчеркивает, что этот протест подписан людьми самых различных мировоззрений, в том числе академиком Камило Хосе Села. Среди подписавших — не только прогрессивно настроенные писатели, выступающие против диктаторского режима, как эмигрировавший во Францию Хуан Гойтисоло и его брат Луис, томившийся длительное время в тюрьме, а также профессор Тьерно Гальван, изгнанный из университета Саламанки и в настоящее время находящийся под следствием как «государственный преступник», но и активные сторонники Франко и монархисты. Знаменательным фактом является то, что

большинство подписей принадлежит именно профранкистски настроенным литераторам. В их числе—монархист академик Хосе Мариа Пеман, в свое время изменивший республике Рамон Перес де Айала, создатель так называемого «романа ужасов», бывший ректор мадридского университета фалангист Педро Лаин Энтральго, правые писатели Хоакин Кальво Сотело, Дионисио Ридруэхо и многие другие.

«Даже эти пользующиеся правительственной поддержкой писатели, — отмечает журнал,— наблюдая за идеологическим банкротством страны, к которому привел ее чудовищный, не виданный нигде деспотизм, выступили против своего хозяина».

По сообщению «Тьемпо», за время диктатуры Франко количество выпускаемой в Испании литературы и периодических изданий сократилось на семьдесят процентов. Девяносто процентов издаваемой литературы посвящено восхвалению «подвигов» каудильо в период гражданской войны и нападкам на республиканский строй. Поощряется только та литература, в которой поются дифирамбы Франко и его прихлебателям. 10—12 крупных ежегодных национальных премий в области художественной литературы распределяются исключительно среди фалангистов и придворных льстецов.

Меморандум испанских писателей, как сообщает печать, вызвал во франкистских кругах впечатление разорвавшейся бомбы и даже обсуждался на закрытом заседании совета министров.

В деревне Фуэнте Вакерос, где родился Федерико Гарсиа Лорка. Корреспондент журнала «Вие нуове» беседует с крестьянами, знавшими поэта. С одним из крестьян Федерико учился в школе.

(Журнал «Вие нуове»)

КАК БЫЛ УБИТ ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА

Двадцать четыре года спустя после гибели Федерико Гарсиа Лорки франкистские власти вынуждены были разрешить постановку его пьес. Особым успехом в конце прошлого года пользовалась «Йерма», намечена премьера пьесы «Дом Бернарды Альбы». Недавно выпущенное полное собрание сочинений Гарсиа Лорки разошлось тиражом в 130 тысяч экземпляров. Пытаясь как-то подорвать популярность великого народного поэта, франкисты продолжают распространять лживые версии о его смерти; в частности, они утверждают, что Гарсиа Лорка был убит не по приказу фалангистов и франкистских властей, а якобы из-за мести в результате семейных интриг людей, связанных с ним личными и даже родственными отношениями.

Специальный корреспондент итальянского журнала «Вие нуове» Джанни Тоти недавно посетил Испанию с целью установить истинные обстоятельства гибели поэта. Он беседовал с десятками людей — сестрами, родственниками, крестьянами, цыганами — с теми, кто лично знавали Гарсиа Лорку и его семейство; посетил родное селение поэта Фуэнте Вакерос и Гранаду, где тот жил в последние годы своей жизни.

Сначала все, с кем говорил Тоти, в том числе и сестры поэта, давали стереотипные ответы в духе официальной версии, распространяемой франкистами. Потом некоторые из собеседников — простые люди, любившие и помнящие поэта,— рассказали то, что им известно (имена этих людей Тоти, по вполне понятным причинам, не сообщает).

Из отдельных сообщений наконец сложилась полная картина происшедшего.

24 июля 1936 года фалангисты ввели в Гранаде осадное положение — «красные» уже были близко. В городе намеренно пустили ложные слухи об убийстве в Мадриде франкистского драматурга Хасинто Бенавенте. Местный правый депутат от фашистско-клерикальной партии СЕДА — Рамон Алонсо Руис в провокационных целях состряпал ложный донос на Федерико Гарсиа Лорку в городскую организацию фаланги и местное командование «гражданской гвардии». Губернатор, проконсультировавшись с фалангистами, подписал ордер на арест ненавистного поэта.

Дома Лорку фалангисты не нашли. Но одна из его сестер — Кончита, потеряв голову, выдала место, где он скрывался, и поэт был арестован в доме старых друзей его семьи. Поисками и арестом руководил некий Антонио Бенавидес — франкистский полицейский, дальний родственник семьи Лорки, который, надеясь получить свою долю наследства, был заинтересован в смерти поэта и его отца.

Но не прямые исполнители были настоящими убийцами Лорки, подчеркивает Тоти, и истинные мотивы его убийства далеки от сведения личных счетов. Бандиты, схватившие поэта, выполняли приказ фаланги и властей.

В течение трех дней Федерико Гарсиа Лорка находился в местной тюрьме, потом его перевезли в Виснар — местопребывание штаба фалангистов. Республиканские войска были в 20 километрах от Виснара — франкисты возили политзаключенных рыть окопы. Однажды по направлению к фронту вместе с тремя другими арестованными повезли и поэта. Это случилось ночью между 3 и 6 августа 1936 года. В старом красном «бьюике» ехали четверо пленников и трое вооруженных фалангистов. Гарсиа Лорке не позволили как следует одеться. У поэта в кармане была пачка с семью сигаретами — он роздал их по одной и товарищам и палачам. На девятом километре дороги на Альдагар машина остановилась. Фалангисты вытолкнули пленников из машины. Как говорят, Лорка только спросил: «Почему вы убиваете меня в такую лунную ночь?..» Даже не дождавшись, пока арестованные выроют могилы, фалангисты расстреляли их... Потом палачам пришлось самим хоронить свои жертвы. Федерико Гарсиа Лорка и три его товарища погребены так глубоко, что, как считают, их нельзя найти.

На месте убийства затем — в течение восьми месяцев — происходили военные действия, и впоследствии могилу было действительно невозможно обнаружить.

Все три палача поэта, имена их известны, вскоре умерли. Антонио Бенавидес бежал из Гранады. Мерзкий доносчик Рамон Алонсо Руис живет в Мадриде. Когда он входит в кафе, заканчивает свой репортаж Джанни Тоти, люди от него отворачиваются.

ИТАЛИЯ

НОВЫЙ РОМАН АЛЬБЕРТО МОРАВИА

Новый роман Альберто Моравиа «Скука» написан в форме «исповеди» — повествование ведется в нем от первого лица.

Главный персонаж «Скуки» художник Дино решает бросить живопись, так как ему не удается отразить окружающий его мир. Он живет в скромной студии на столь же скромную «пенсию», ежемесячно выплачиваемую очень богатой и жадной матерью, которая ему невыносимо скучна, так же как и весь круг ее знакомых-богачей.

Дино влюбляется в семнадцатилетнюю Чечилию — девушку с очень бурным прошлым. Он ревнует Чечилию к ее прошлому, но не совсем уверен и в ее настоящем.

Неудачная любовь и отъезд Чечилии с новым любовником приводят Дино к попытке покончить с собой.

Лежа в больнице, он размышляет о случившемся и приходит к выводу, что, кроме Чечилии, его никто и ничто не интересует на свете.

Роман, как отмечает рецензент газеты «Унита», написан в ключе «аллегорического реализма». Автора привлекают в первую очередь философско-моральные, а не социальные проблемы. Скука, равнодушие, неспособность или нежелание познать «объективную действительность», овладеть ею (Дино терпит крах и в искусстве, и в отношениях с окружающими) приводят людей в современном буржуазном обществе даже к отказу от жизни.

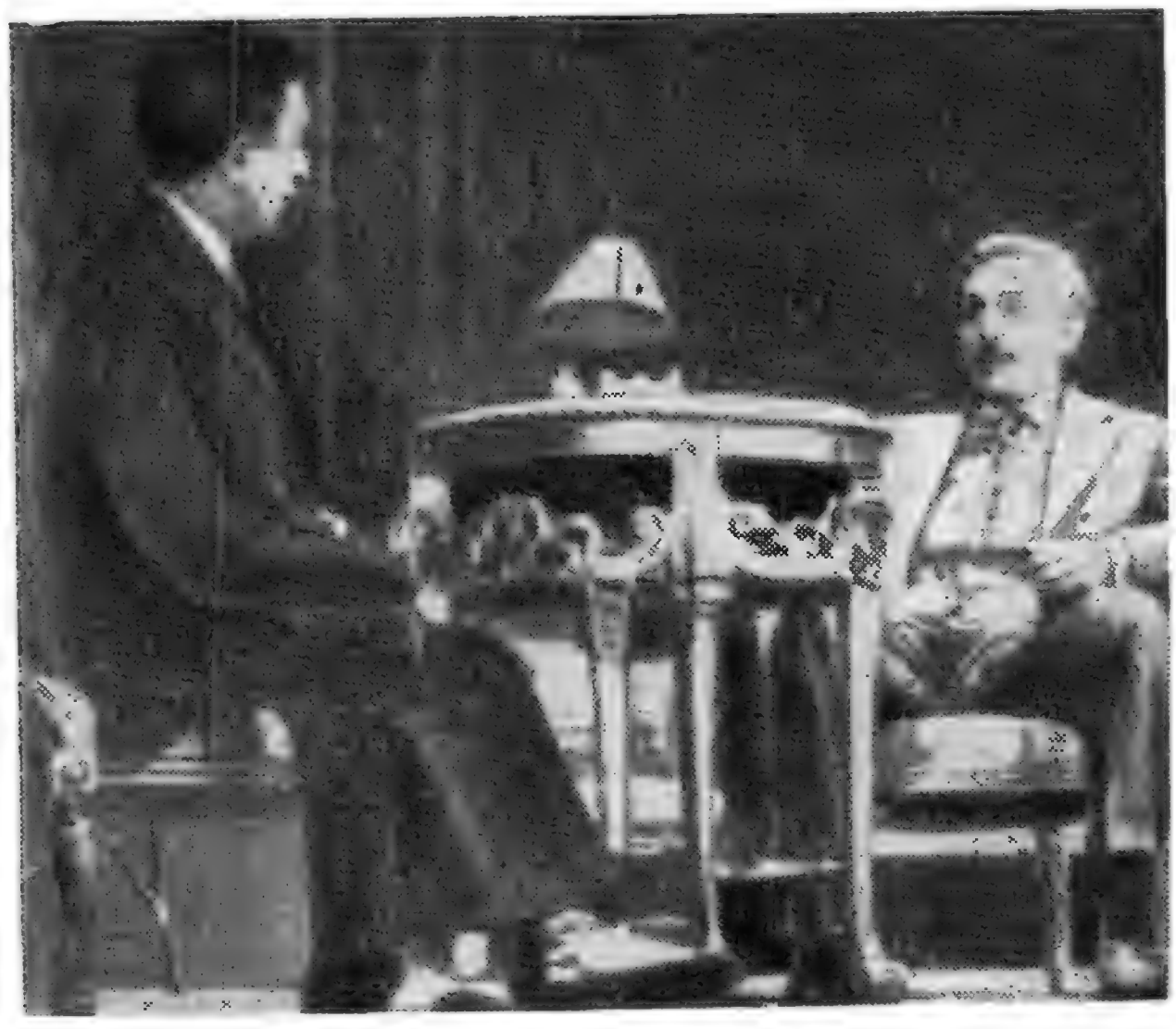
«МЭР РАЙОНА САНИТА»

Так называется новая пьеса Эдуардо Де Филиппо, показанная римским театром «Квирино». Поставил спектакль и играет в нем главную роль, как обычно в своих пьесах, сам автор.

Действие происходит в Неаполе. Герой, бывший «гуаппо», — вожак неаполитанской каморры, 75-летний дон Антонио Барракано. В течение многих лет он негласно правил целым районом города — Санита, творил там суд и расправу, пользуясь огромным влиянием и даже уважением. Теперь, удалившись на покой, на загородную виллу, дон Антонио, казалось бы, мог тихо доживать свой век. Но к нему то и дело обращаются жители района Санита за советом и помощью. И старик через тайную сеть

Сцена из спектакля «Мэр района Санита». Справа — Эдуардо Де Филиппо в роли дона Антонио.

(Газета «Унита»)



связанных с ним людей по-прежнему вершит правосудие согласно нравам и обычаям пока не умирающей неаполитанской каморры. «Кодекс чести» и приемы дона Антонио очень своеобразны и, конечно, противоречат законам. Однако неаполитанцы больше надеются на него, чем на представителей официального правосудия.

Уговорами и угрозами дон Антонио старается примирить богача лавочника с его сыном, выгнанным из дому за то, что он женился на бедной девушке, но старый, ослепленный яростью лавочник ударяет «гуаппо» ножом.

Умирая, дон Антонио впервые нарушает закон каморры: он отказывается от мести, осознав, что борьба за справедливость не под силу одиночке — это дело всех людей. А его личный врач, которого он угрозами тридцать лет держал при себе, теперь дает слово порвать с миром круговой поруки, преступного соучастия и обмана.

Основной конфликт новой пьесы неаполитанского драматурга — это конфликт между официальным и тайным правосудием. Эта тема актуальна для Неаполя и вообще для отсталого, нищего юга Италии, где еще царят предрассудки и обычаи прошлого.

Печать посвящает пьесе большие рецензии. Газета «Паэзе сера» пишет: «Перейдя от семейной среды к социальной, драматург поднял в пьесе «Мэр района Санита» большую тему и создал яркий образ, не уступающий по своей силе и значению образу Филумены Мартурано».

КАНАДА

СТИХИ РАБОЧЕГО-ПОЭТА

Газета «Кенэдиен трибюн» дает высокую оценку вышедшему из печати сборнику стихов канадского рабочего-поэта Алекса Гибсона. Всю жизнь Гибсон проработал на различных предприятиях бумажной промышленности. Он принимал активное участие в общественной жизни страны, являясь одним из видных профсоюзных деятелей. И поэзию свою шестидесятилетний поэт посвятил рабочему классу.

Указывая на противоречивость творчества поэта, на порой идеалистическую окраску его стихов, газета отмечает, что, несмотря на это, Алекс Гибсон «сумел с глубоким чувством отразить в своих стихотворениях — таких, как «Посвящение», «Бродяги и герои», «Я ходил по воскресеньям в церковь» и других,— окружающую его действительность, почувствовать пульс современной жизни, борьбы рабочего класса».

В своих стихах Гибсон выступает в защиту рабочих, брошенных в тюрьму за политическую борьбу.

В предисловии к книге президент Интернационального братства рабочих бумажной и сульфитной промышленности Дж. Бёрк писал: «Является ли Гибсон настоящим поэтом? Сказать по правде, не знаю. Я недостаточно разбираюсь в технике поэзии, чтобы об этом судить. Но я знаю, что стихи Гибсона написаны хорошо, что они понятны каждому человеку, чего нельзя сказать о стихах многих писателей с громким именем...»

КИТАЙ

ЦЕННЫЙ ТРУД

Выход в свет «Истории идеологической борьбы в литературе новейшего времени», вскрывающей исторические и классовые корни современного ревизионизма, по оценке китайской печати, имеет большое практическое значение для его окончательного разгрома.

Научная ценность этого коллективного труда преподавателей Фуданьского университета определяется целым рядом поднятых в нем вопросов, касающихся возникновения, развития и характера пролетарской литературы. В книге показана сложная идеологическая борьба в литературе за тридцатилетний период, начиная с «Движения 4-го мая».

Авторам труда удалось показать процесс становления передовой литературы и упадка буржуазной. Раскрывая сущность борьбы литературных направлений, авторы связывают ее с политической борьбой. Каждой главе книги предшествует краткий анализ политической обстановки в стране, того исторического фона, на котором возникала и развертывалась борьба литературных взглядов.

Некоторые проблемы, затронутые в книге, пишет журнал «Вэньсюэ пинлунь», требуют дальнейшей разработки. Охват более широкого круга вопросов, по которым развертывалась борьба

На сценах одиннадцати китайских театров идет музыкальная драма «Лю Сань-цзе», созданная коллективом авторов города Лючжоу по мотивам народной легенды. Действие драмы о народной певице Лю Сань-цзе происходит в эпоху Тан. В песнях девушки — мечта о светлой, радостной жизни, о том времени, когда народ станет хозяином своей судьбы. На снимке: Сцена из музыкальной драмы.

(Журнал «Удао»)

в литературе, связь литературной критики с историей идеологической борьбы, взаимозависимость творческого роста писателя и его взглядов — все это требует более детального исследования.

СЛОВО О ТОЛСТОМ

Выступая в Пекине на торжественном заседании, посвященном Л. Н. Толстому, председатель Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства, председатель Китайского комитета защиты мира Го Можо заявил: «Отмечая память Толстого, мы должны на основе марксистского мировоззрения и методологии критически воспринять его драгоценное наследство, взять из него все рациональное и вести решительную борьбу с современными ревизионистами и теми литераторами, которые извращают Толстого».

«Толстой, — подчеркнул председатель Союза китайских писателей Мао Дунь,— один из самых любимых в Китае зарубежных писателей. Его произведения, по имеющимся сведениям, стали переводиться на китайский язык с 1906 года... Мы должны глубоко изучать и воспринимать блестящие достижения толстовского реализма с тем, чтобы обогащать свое литературное творчество, повышать свое писательское мастерство. Творчество Толстого поныне поражает глубиной мысли, волнует, излучает немеркнущий свет».

На китайском языке вновь изданы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», «Хаджи-Мурат», пьесы и сборник «Толстой об искусстве».

НОВЫЕ РАССКАЗЫ

Писатели старшего поколения выступили недавно в журналах со своими новыми произведениями. Рассказы Ба Цзиня «Возвращение» и «Заместитель комиссара» написаны на материале героической борьбы китайских добровольцев в Корее.

Рассказы Ша Тина «Попробуй, догони!» и Чжао Шу-ли «Эти руки не знают перчаток» — гимн труду в современной китайской деревне.

«Новые произведения писателей старшего поколения,— пишет газета «Гуанмин жибао»,— воспевает новых людей, новые дела нашей эпохи».

В министерстве иностранных дел Кубинской республики был устроен вечер творчества Николаса Гильена После вступительного слова заместителя министра иностранных дел Карлоса Оливареса поэт прочел свои новые стихотворения. На снимке: Николас Гильен в момент выступления.

(Газета «Нотисиас де ой»)

КУБА

ГЛАЗАМИ ЙОРИСА ИВЕНСА

Известный голландский кинорежиссер-документалист Йорис Ивенс побывал недавно на Кубе по приглашению кубинского революционного правительства. В интервью для печати Ивенс рассказал о положении молодой кубинской кинематографии.

Фидель Кастро, с которым Ивенс встречался в Гаване, проявил большую заинтересованность в ускоренном развитии национальной кинопромышленности.

В стране повсюду создаются киноклубы для рабочих. В Бланките открывается центральный киноклуб, рассчитанный на шесть тысяч человек. Ему будет присвоено имя Чарли Чаплина. На торжественное открытие приглашен Чаплин.

На Кубе выпущено пока два художественных фильма, один из них показывает эпизоды борьбы против диктатуры Батисты. Сейчас идут съемки нового фильма, в котором воспроизводится выступление крестьян в 1933 году. Кубинские кинорежиссеры отдают предпочтение всем темам, служащим делу революции. Они хотят показать и перестройку сельского хозяйства, и ликвидацию неграмотности, и устранение прежней частичной безработицы тружеников сахарных плантаций. Для кубинских кинематографистов, указывает Ивенс, имеют важное значение подчас такие темы, которые иностранцам могут показаться пустяком. Один режиссер увлеченно рассказал Ивенсу о замысле фильма, посвященного... помидорам. Подобный фильм имеет большое значение в кубинских условиях: нельзя забывать, что такая страна, как Куба, способная снимать три урожая помидоров в

год, была вынуждена до последнего времени ввозить их из США...

За восемь недель пребывания в стране Ивенсу удалось снять в содружестве с кубинскими кинематографистами два короткометражных фильма: очерковый фильм о поездке по новой Кубе и фильм о деятельности народной милиции, зорко охраняющей завоевания революции.

«Все, что я увидел и пережил на Кубе, — отмечает в заключение Йорис Ивенс,— произвело на меня очень сильное впечатление. В непосредственной близости от империалистической державы — США — народ, насчитывающий шесть с половиной миллионов населения, осуществил такую революцию, что проникаешься уважением к рабочим и крестьянам, которые уверенно и с решимостью смотрят в будущее».

МЕКСИКА

БЕСЕДА С ДАВИДОМ АЛЬФАРО СИКЕЙРОСОМ

Один из виднейших современных художников Мексики Давид Альфаро Сикейрос, находящийся в тюрьме по обвинению в «нарушении конституции» (статья о Сикейросе опубликована в «Иностранной литературе» № 12, 1960), в беседе с корреспондентом мексиканского журнала «Сьемпре» выразил протест против незаконного ареста. Он заявил, что основной причиной ареста явилось его активное участие в создании Национального комитета борьбы за освобождение политзаключенных и защиты конституционных гарантий.

Сикейрос высказался за отмену 145 статьи конституции, ограничивающей свободу личности. Эта статья, принятая мексиканским конгрессом еще во время второй мировой войны, была направлена против организаций и групп, которые вели враждебную союзникам деятельность. После разгрома фашизма 145 статья не была отменена, и реакционные круги в Мексике стали ее использовать в борьбе против демократических организаций и групп.

Напомнив о соглашениях — заключенных под нажимом США правительствами латиноамериканских стран, в частности в Боготе,— острие которых направлено против так называемых «подрывных организаций», Сикейрос сказал:

— В 1958 году я написал книгу, в которой утверждал, что эта статья конституции в недалеком будущем будет использована против революционного и рабочего движения. Поэтому-то у меня и возникли разногласия с правительством Лопеса-Матеоса, которое в свое время не отменило этой статьи.

На вопрос корреспондента о том, имеются ли у него другие разногласия с правительством, Сикейрос ответил: «Да, имеются. Я считаю, что правительство, ссылаясь на статью 145, подвергает гонениям трудящихся, что имело место, например, в санкциях против железнодорожников».

Сикейрос также рассказал, что во время его поездок по странам Латинской Америки, и особенно во время пребывания на Кубе и в Венесуэле, его много раз спрашивали, не ущемляются ли в Мексике права трудящихся, рабочих организаций, особенно тех, которые стоят на демократических позициях. На эти вопросы он всегда и в прямой форме отвечал утвердительно. В заключение Сикейрос добавил, что, даже находясь в тюрьме, он продолжит борьбу за отмену этой статьи, будет бороться против попыток реакционных кругов использовать ее для подавления прогрессивного движения.

Сикейрос рассказал также о своей творческой работе в тюрьме и поделился своими планами на будущее. Он сообщил, что недавно написал декорацию для пьесы, поставленной заключенными, закончил портрет крупнейшего современного поэта Мексики Альфонсо Рейеса и, пользуясь имеющимися у него материалами, делает наброски для своих будущих фресок.

Давид Альфаро Сикейрос (слева) беседует в тюрьме с корреспондентом. На заднем плане — часть декорации, написанной художником.

(Журнал «Сьемпре»)

НОВАЯ ГВИНЕЯ

«ТУЗЕМЦАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!»

«В кинотеатре «Папуан тиэтр» в Порт-Морсби туземцы подвергаются расовой дискриминации», — вынужден был признать на страницах местной газеты «Саут пэсифик пост» Джон Гайз, занимающийся вопросами регулирования межрасовых конфликтов, возникающих в этой австралийской колонии.

Вход в лучшие кинотеатры колонии аборигенам запрещен, даже если они сумеют скопить деньги на приобретение билета. Театры предназначены «только для белых».

Явно под влиянием борьбы аборигенов за свои права Гайз просит центральный окружной консультативный совет колонии «позволить посещать кинотеатр туземцам — особенно тем, кому довелось побывать в Австралии» (лишь верхушка туземного населения Новой Гвинеи может выехать из страны). По его мнению, также следует снять цензурные ограничения на фильмы, показываемые коренному населению.

Председатель центрального окружного консультативного совета в Порт-Морсби Дейв Марш заявил, что из фильмов, показываемых аборигенам, вырезаются «такие нежелательные материалы, как эпизоды межрасовой борьбы, сцены, в которых высмеивается закон», и т. д. Хотя, по свидетельству Марша, все равно о многих «нежелательных» материалах, которые тщательно вырезаются из фильмов, «некоторые туземцы порой узнают из журналов».

Центральный окружной консультативный совет все же разрешил допускать в кинотеатры лишь опрятно одетых, «благонадежных» аборигенов, но «Саут пэсифик пост» указывает, что и подобная «милость» колонизаторов еще не претворена в жизнь.

НОРВЕГИЯ

Артистка Лиллебиль Ибсен в роли Раисы Павловны Гурмыжской.
(Газета «Афтенпостен»)

«ЛЕС» ОСТРОВСКОГО В ОСЛО

Национальный театр показал жителям Осло пьесу великого русского драматурга А. Н. Островского «Лес». Это первая постановка произведений Островского на сценах норвежских театров.

Талантливому режиссеру Кнуту Томассену, как сообщает печать, удалось передать замысел русского драматурга. В спектакле заняты ведущие норвежские актеры. Лиллебиль Ибсен играет роль Раисы Павловны, Як Фьельдстад—Восмибратова, Пер Обель — Несчастливцева.

Критика высоко оценила новую работу театра. Видный театральный критик и писатель Пауль Йесдаль пишет в газете «Арбейдербладет»: «Молодые норвежские драматурги должны не только смотреть, но и изучать «Лес». Произведение Островского — наглядный пример того, как должна строиться реалистическая пьеса. И сторонники новейших направлений могут многому поучиться у такого мастера и художника, как Островский».

ОБЪЕДИНЕННАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПЬЕСЫ Л. Н. ТОЛСТОГО НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ

Имя Л. Н. Толстого пользуется широкой известностью в арабских странах. Его основные произведения переведены на арабский язык.

В Каире с большим успехом недавно была показана пьеса Л. Н. Толстого «Власть тьмы». Журнал «Аль-Адиб» сообщает, что египетский литератор д-р Али ар-Раи работает над переводом другой пьесы — «Плоды просвещения».

НОВАТОРЫ В АРАБСКОЙ ПОЭЗИИ

Перу египетского критика д-ра Абд аль-Кадера аль-Катта принадлежит немало работ по истории классической и современной арабской литературы. Вышла в свет его последняя книга «Новаторские движения в арабской поэзии».

В этом труде автор, как сообщает каирская печать, рассказывает о первых новаторах в арабской поэзии, живших в эпоху «золотого века» арабской литературы.

Заключительный раздел книги посвящен современной арабской поэзии.

У ЛИТЕРАТОРОВ АЛЬ-КАМИШЛИ

По сообщению журнала «Аль-Адиб», в маленьком сирийском городке аль-Камишли, расположенном на крайнем северо-востоке страны, создан филиал Ассоциации арабских писателей (ведущая организация писателей в Сирии) на основе местного литературного кружка.

ПОЛЬША

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ ПИСАТЕЛИ

Под заголовком «В мастерских» еженедельник «Нова культура» сообщает,

над чем работают польские писатели.

Ярослав Ивашкевич продолжает работу над третьим томом исторической повести «Честь и слава», действие которой происходит в Польше и России в годы Великой Октябрьской социалистической революции. Недавно писатель закончил рассказ «Любовники из Мароны», который будет издан польским издательством «Искры» и также итальянским — «А. Мондадори». В планах писателя — книга записок о Дании и ее культуре.

Люциан Рудницкий работает над четвертым томом книги «Старое и новое». Это — большое эпическое произведение о жизни рабочего класса в условиях буржуазного строя, об общественно - политических устремлениях людей труда, о постепенном их превращении в организованную политическую силу.

Поэт старшего поколения Анатоль Стерн недавно завершил том воспоминаний «О поэзии и поэтах», где рассказал о польском футуризме, о Бруно Ясенском, Юлиане Тувиме, Константы Ильдефонсе Галчинском и о других. На рабочем столе поэта — перевод стихов Бажана «Мицкевич в Одессе» и воспоминания о Маяковском.

Рышард Данецкий подготовил к печати два сборника своих стихотворений. Он заканчивает повесть о годах гитлеровской оккупации в Познани, а также сборник рассказов на современную тематику.

ЮБИЛЕЙ «ШПИЛЕК»

«Шпильки» хорошо известны не только в Польше. Карикатуры из этого остроумного, веселого журнала перепечатываются многими зарубежными газетами и журналами. Примерно девять десятых объема журнала занимают материалы, посвященные проблемам внутренней жизни Польши. Большое внимание журнал уделяет и политической сатире на международные темы.

«Шпилькам» исполнилось двадцать пять лет. Первый номер журнала вышел в предвоенной санационной Польше и был целиком конфискован тогдашними правящими кругами. Антифашистский характер левого сатирического журнала пришелся не по вкусу пилсудчикам.

Много невзгод пришлось пережить журналу в буржуазной Польше: его запрещали, конфисковывали, отказывались распространять. За десять дней до нападения на Польшу фашистской Германии, 20 августа 1939 года, был конфискован последний предвоенный номер «Шпилек» — за карикатуру на Гитлера. В народно-демократической Польше первый номер журнала вышел 1 марта 1945 года; одним из его новых редакторов был поэт Леон Пастернак.

Долгие годы с журналом «Шпильки» сотрудничали выдающиеся польские поэты — Константы Ильдефонс Галчинский и Юлиан Тувим. Из журнала вышли и сотрудничают с ним по сей день писатели-сатирики Станислав Ежи Лец, Славомир Мрожек, Стефания Гродзенская. Продолжает работать в журнале художник очень своеобразного дарования — Бронислав Линке.

У объявления «Фильм разрешен лицам старше 18 лет».
— Не огорчайся, мы спокойно посмотрим этот фильм по телевидению.. (Карикатура Януша Гослиновского.)
(Журнал «Шпильки»)

РУМЫНИЯ

К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА САДОВЯНУ

В честь восьмидесятилетия со дня рождения выдающегося румынского писателя лауреата Международной премии мира академика Михаила Садовяну вышел специальный номер журнала «Стяуа».

На страницах журнала среди материалов о творчестве Садовяну помещены поздравления юбиляру от писателей других стран, в том числе от Михаила Шолохова, Константина Федина, Джанкарло Вигорелли.

США

«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ 1960 ГОДА»

Под этим многозначительным заголовком еженедельник «Нью-Йорк геральд трибюн бук ревью» опубликовал рецензию Милтона Ругдоффа на книгу Джона Апдайка «Беги, Кролик, беги!». Автор рецензии сравнивает эту книгу с «Американской трагедией» Драйзера не столько по художественной значимости, сколько по тому, что Апдайк выводит героя, который мог бы быть сыном Клайда Гриффитса. Речь идет о действительной американской трагедии 1960 года, о поколении, порожденном клайдами гриффитсами и социальной обстановкой, воспитывающей и формирующей их сознание, характеры, вкусы и устремления.

Центральная фигура романа — Гарри Энгстром, мещанское ничтожество, типичный продукт американского большого города. Человек без идей, без подлинных интересов к жизни и работе, без глубоких и настоящих привязанностей, лишенный способности любить, дружить, сам себя презирающий и презирающий других, человек, который не живет, а прозябает. Иногда его охва-

тывает возмущение тем, как он живет, и тогда он пытается бежать от окружающего, бежать от семьи, бежать от самой жизни, безобразие которой он где-то в глубине души смутно, неясно ощущает.

Милтон Ругдофф поясняет, как возникло название книги, предопределяющее и весь внутренний ее смысл и основную идею — бегство безвольного человека от жизни. Когда Гарри Энгстром учился в школе, он состоял в баскетбольной команде и носил кличку Кролик. Тренер, подгоняя его, вечно кричал медлительному парнишке: «Беги, Кролик, беги!» Через восемь лет после окончания средней школы Гарри оказался в таком положении, когда жизнь непрерывно подгоняла его, подхлестывая символическим окриком: «Беги, Кролик, беги!»

«Показанный в романе уровень американской жизни, от которой убегает Кролик, действительно является устрашающим, — пишет рецензент.— Это жизнь вульгарная, убийственная по своей тупости, скучная и невыразимо мещанская. Но и сам герой — устрашающий типаж, душевнобольной, неуравновешенный пессимист».

Путь, который прошел средний американец от Клайда Гриффитса до Гарри Энгстрома,— страшный путь; в этом заключается, по-видимому, подлинная американская трагедия 1960 года. Судя по рецензиям американской печати, книга Апдайка выделяется тем, что выразительно показывает эту трагедию.

НЕГРЫ И АМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР

О дискриминации по отношению к негру в американском театре написала статью в журнале «Тиэтр артс» писательница негритянка Лорейн Хэнсберри, известная советскому читателю по пьесе «Изюминка на солнце» (опубликована в «Иностранной литературе» № 11, 1959 г.).

Расизм появился не вчера, отмечает Хэнсберри. Он — порождение «духа торгашеского экспансионизма, который еще в XVI веке захлестнул Европу и вылился в колониальные захваты и работорговлю». Негров перестали считать за людей. Поэтому в течение трех столетий шут или злодей были единственными ролями, в которых позволялось негру выступать в театрах и зрелищных предприятиях Европы и Америки.

Писательница дает гневную отповедь тем, кто под прикрытием фраз о «художественной правде» выступают против интеграции негров в театре: «Люди, которые в ярости обрушиваются на то, что Ибсен и Шоу слишком тяготеют над современным театром, которые ратуют за фантазию и условность... эти люди почему-то первыми поднимают крик о «реализме», когда заходит речь о том, чтобы дать негру «белую роль».

С помощью подобных уловок игнорируется обширная область театра, которая не имеет прямого отношения к «искусству», продолжает Хэнсберри. Почему на Бродвее почти не встретишь негров кассиров, капельдинеров, рабочих сцены, осветителей?

Хэнсберри убедительно показывает вздорность мнения, будто пьесы негритянских драматургов непременно узки по теме и не интересны широкой публике. Заметим, что лучшим аргументом тут является успех ее драмы «Изюминка на солнце». Что же касается белых драматургов, то большинство из них, отмечается в статье, все еще находится, пусть бессознательно, в плену расовых предрассудков. Негры в пьесах таких авторов — не живые люди, за плечами которых героическая история борьбы за свободу и большое искусство протеста, а стереотипные, нарочито оглупленные фигуры. В одних случаях — это веселящиеся, беззаботные, никогда не слыхавшие о рабстве и дискриминации негры («Апологеты белого превосходства

Один из лучших нью-йоркских театров — «Феникс» — поставил драму Шона О'Кейси «Плуг и звезды», воссоздающую эпизоды так называемого «пасхального восстания» ирландцев в Дублине против британского владычества в 1916 году. На снимке: Сцена из спектакля.

(Еженедельник «Нью-Йорк геральд трибюн лайвли артс энд бук ревью»)

Лорейн Хэнсберри.
(Газета «Нью-Йорк таймс»)

стремятся создать впечатление, будто негр доволен своим положением»,— замечает Хэнсберри). В других случаях негры предстают всякого рода негодяями и насильниками.

Лорейн Хэнсберри выражает уверенность, что справедливое дело ее народа возьмет верх. Я верю, пишет она, что американские писатели начинают постигать то, что мне кажется одной из «тайн» искусства; в Азии и Африке совершаются коренные преобразования, а цепляющиеся за всякие мифы тупицы продолжают рассуждать о какой-то «загадочности и извечной безмятежности» народов этих континентов. Несмотря на то, что в сознании многих американцев негр долго ассоциировался с экзотическим и пикантным Порги, я верю, что спадут шоры с глаз и все увидят, что его двойник в жизни наделен такими чувствами, которые были и остаются близкими остальным людям и которые являются материалом для настоящего, большого искусства.

ТУРЦИЯ

НА СТАМБУЛЬСКОЙ СЦЕНЕ

Новый сезон в театрах Стамбула ознаменовался возвращением к театральной деятельности видного режиссера, «отца турецкого театра» Эртургула Мухсина, который был уволен бывшим правительством Мендереса с поста директора анкарских театров за свои демократические убеждения.

По свидетельству турецких театральных критиков, вступление Мухсина на пост директора стамбульских муниципальных театров сразу же сказалось на их репертуаре. Вместо набивших оскомину западноевропейских и бродвейских «боевиков», сезон открылся постановками двух пьес Шекспира «Король Лир» и «Укрощение строптивой», а также комедией турецкого драматурга Рефика Эртурана «Второй натиск».

Приветствуя обращение стамбульских театров к серьезному классическому репертуару и к произведениям отечественной драматургии, театральный обозреватель журнала «Еди тепе» высказывает пожелание увидеть на стамбульской сцене пьесы А. П. Чехова, которые не показывались турецкому зрителю уже несколько десятков лет.

ГОРДОСТЬ ТУРЕЦКОЙ ПОЭЗИИ

Газета «Джумхуриет» поместила список турецких поэтов, которые в период десятилетнего правления Мендереса (с 1950 по 1960 г.) подвергались судебному преследованию за свое творчество. В этом списке, составленном профессорами Стамбульского университета, указаны имена Суада Ташера, Сабиха Шендиля, Мелиха Джевдета Андая, Шюкрана Курдакула, Джахида Ирга-та, Рифата Ильгаза и многих других видных поэтов.

«Турецкая литература может гордиться этим списком, — пишет газета, — как свидетельством того, что и во время жесточайшего полицейского гнета огромное большинство турецких поэтов не удалось ни запугать, ни подкупить».

ФРАНЦИЯ

В ЗАЩИТУ ЖЕРТВ ФРАНКИЗМА

Комитет помощи испанским антифашистам опубликовал обращение, в котором призывает организовать широкое международное движение солидарности с целью освободить политических заключенных, томящихся в тюрьмах и лагерях франкистской Испании. Среди подписавших этот призыв — французские писатели Жан-Поль Сартр и Жан Кассу.

ДНЕВНИК ЖЮЛЯ РЕНАРА

Личная жизнь Жюля Ренара, автора знаменитого «Рыжика», мало известна историкам литературы. Поэтому, как пишет «Фигаро литтерер», внимание читателей привлечет вновь вышедший дневник Жюля Ренара, подготовленный к печати Леоном Гишаром и Жильбером Сиго.

ПРОБЛЕМА ПОДДЕЛКИ

Довольно известный во Франции художник Анти зашел в контору комиссионера. Внимание Анти привлекла картина с его подписью. Художник не поверил своим глазам: он никогда не писал этой картины...

Позднее выяснилось, что автором ее является некий Михель Валич, югославский эмигрант, занимающийся подделкой картин. Результатом инцидента было решение властей применять в будущем закон от 11 марта 1957 года, который пока не применялся и согласно которому художник, подделывающий подпись своего более известного собрата или копирующий его манеру, подлежит преследованию.

Весть об этом, как сообщает парижская печать, взволновала французских художников; они заявили, что подделка картин — массовое явление и по крайней мере триста парижских жи-

«Испанской сюитой» называет французский искусствовед Жорж Будай новые рисунки Пикассо, посвященные его любимой теме — Испании детства художника. Несколько серий рисунков, большая часть которых выполнена тушью, были недавно показаны на выставке в Париже. Мы воспроизводим рисунок Пикассо «Пикадор и женщина».

(Еженедельник «Леттр франсез»)

вописцев вынуждены писать в манере того или иного видного художника, чтобы заработать себе на жизнь: подделки можно весьма выгодно продавать как внутри страны, так и за границей.

Французы по этому поводу острят: «Коро написал 3000 картин, из которых 10 000 были проданы Америке».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПЕРВАЯ ОПЕРА О СОВРЕМЕННОСТИ

В еще не написанной истории нашей оперы, отмечает рецензент еженедельника «Литерарни новины», день, когда на сцене братиславского театра была поставлена опера Ладислава Голоубека «Семья», займет почетное место, потому что эта опера — первая на современную тематику.

В основу содержания оперы положена драма Прахаржа «Дом у нас». Это произведение посвящено новой жизни словацкой деревни, изменению людей и их взаимоотношений.

В опере, отмечает критика, отчетливо видны традиции Яначека, Сухони, Бурианa. Но заслуга Л. Голоубека заключается в том, что эти традиции использованы творчески, с большим чувством.

Опера «Семья» была принята к постановке сразу же после написания автором партитуры, что свидетельствует о большом интересе к произведениям на современную тематику.

«Л. Голоубек сделал первый шаг,— отмечают «Литерарни новины»,— а он всегда самый трудный. После Голоубека должны появиться десятки новых произведений...»

ЯПОНИЯ

ЗА ДРУЖБУ ТЕАТРОВ КИТАЯ И ЯПОНИИ

Прогрессивный японский театр «Дзэнсин» поставил китайскую пьесу на сюжет классического романа XIII века «Речные заводи». В этой постановке труппа широко использовала приемы китайского театра в жанре «цзинцзюй» — «пекинской оперы».

Множество репортеров и фотографов, сообщает корреспондент агентства Синьхуа, было приглашено на генеральную репетицию спектакля. Обратившись к присутствующим, режиссер театра Миякава сказал, что он придает большое значение укреплению содружества деятелей театра Японии и Китая.

Труппа «Дзэнсин» продолжительное время гастролировала в Китайской Народной Республике.

Сцена из пьесы «Речные заводи» в постановке японского театра «Дзэнсин».

(Газета «Гуанмин жибао»)

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Дамян Дамянов (род. в 1935 г.) — болгарский поэт. Впервые выступил в печати в 1949 г. Автор сборников стихов «Если бы не было огня» («Ако нямаше огън», 1959), «Ожидание» («Очакване», 1960).

Публикуемые стихи взяты из сборника «Если бы не было огня».

Джек Линдсей — Jack Lindsay (род. в 1900 г.) — английский писатель — прозаик, поэт, критик. Автор многих произведений. В послевоенные годы опубликованы романы: «Весна, которую предали» («Betrayed Spring», 1953), вышедший в переводе на русский язык, «Поднимающийся прилив» («The Rising Tide», 1953), «Час выбора» («The Moment of Choice», 1954), исторический роман «Великий дуб» («The Great Oak», 1957), «Восстание сыновей», («The Revolt of the Sons», 1960).

Публикуемая статья написана автором для журнала «Иностранная литература».

Элфред Хатчинсон — Alfred Hutchinson — южно-африканский писатель и журналист. Автор пьесы «2005», рассказов и статей. Книга «Путь в Гану» («Road to Chana») опубликована в Лондоне в 1960 году.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов,
В. И. Верховский (ответственный секретарь), **Б. Г. Гафуров,**
С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора),
Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин,
М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон: В 3-51-47.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *В. Л. Шачнев.*

А 01029. Сдано в производство 11/I 1961 г. Подписано к печати 21/II 1961 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.; печ. л. 24,66+ 1 вкл. Зак. 90

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Молодой цейлонец

Рыбак

Семья

На улице

Разговор
с полицейским

В школу

Первенец

Музыканты

Цена 80 коп.